

**НЕИЗВЕСТНЫЙ  
ГОРЬКИЙ**

# **ГОРЬКИЙ И ЕГО ЭПОХА**

## **МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **ВЫПУСК 3**

**Серия основана в 1989 году**

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК**  
**Институт мировой литературы им. А.М. Горького**

**НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОРЬКИЙ**  
**(к 125-летию со дня рождения)**

**Москва**  
**“Наследие”**  
**1994**

Редколлегия:

В. С. Барахов, С. В. Заика, В. А. Келдыш (отв. ред.)

**Неизвестный Горький (к 125-летию со дня рождения).**— М.: Наследие, 1994.— 328 с.

В книге по-новому оценивается ряд явлений творческой и общественной деятельности Горького, пересматривается официозный культ писателя, господствовавший долгие годы. В первый раздел вошли документальные материалы из эпистолярного наследия Горького (и его корреспондентов), большая часть которых впервые получила возможность доступа к печати. Эта переписка дает понятие о драматической эволюции мысли писателя в советское время — от антитоталитарной концепции революционного обновления до глубоких противоречий завершающего периода жизни в условиях сталинского режима.

Второй раздел состоит из исследований. Читатель, в частности, найдет здесь новые подходы к хрестоматийно известным произведениям писателя "На дне", "Жизнь Клима Самгина".

Книга обращена ко всем, кто интересуется историей русской литературы и общественной мысли XX столетия.



## ОТ РЕДАКЦИИ

Юбилейный год — 125-летие со дня рождения писателя — застаёт отечественное горьковедение на распутьи и в сомнениях. Ушел в прошлое официозный культ основоположника социалистического реализма, прилежного иллюстратора идей марксизма-ленинизма, непререкаемого в своем творческом опыте. Но не менее далеки от истины и некоторые сегодняшние “пересмотры” Горького, которые сводятся к отрицанию или почти отрицанию каких бы то ни было ценностей в его наследии. Остро недостает свободной от крайностей целостной концепции творчества писателя, которая не утаивала бы мирозерцательных, художественных слабостей, теневых сторон его деятельности и вместе с тем высвечивала бы особенно значительные ее обретения. Концепции, по-новому осмысляющей хорошо известное у Горького и о Горьком и одновременно широко привлекающей неизвестные, прежде недоступные (чаще всего — по цензурным причинам) материалы. Но движение в этом направлении уже началось. Тому свидетельство — и настоящая книга.

Ее первый раздел отдан документальным публикациям. Только несколько писем из помещенных здесь эпистолярных коллекций увидело свет ранее в отдельных отечественных периодических изданиях. Некоторые тексты печатались лишь за рубежом. Большая же часть представленных в сборнике документальных материалов впервые получила возможность доступа к печати и научного комментирования. А между тем они имеют большой интерес для уяснения пути писателя.

Публикуемые тексты преимущественно относятся к первым послеоктябрьским годам деятельности Горького — одному из основных пиков его общественной независимости и гражданской активности. В письмах к Ленину, переписке с Роменом Ролланом самое важное — открытое противостояние тоталитаризму новой общественной системы, исходящее из принципиально иной, антитоталитарной, концепции революционного обновления.

Эти годы отмечены и новым творческим подъемом, новыми горизонтами художественной мысли писателя. В переписке

с К. Чуковским, письмах Л. Лунца Горький предстает одной из высших “инстанций” в российском литературном процессе начала 20-х годов. Его “учительную”, наставническую роль признают в ту пору наиболее творчески и широко мыслящие молодые писатели (особенно из группы “Серапионовы братья”).

Но позднее, с конца 20-х — начала 30-х годов, свободно признанный авторитет часто сменялся официозным, навязанным сверху. Драматические сдвиги того времени в общественной жизни страны, постепенное упрочение “сталинистского” режима отяготили глубокими противоречиями завершающий период жизни и творчества писателя. И это красноречиво отразила переписка с Г. Ягодой.

В целом, вошедшее в сборник (хотя и в самой малой своей части) эпистолярное наследие Горького и его корреспондентов весьма обогащает наши представления о судьбе писателя в советское время, об эволюции его мысли.

“Неизвестный Горький” — но в ином смысле — предстает и в разделе исследований. Наиболее масштабное и крупное среди них — исследование Г. Гачева “Человек против Правды в пьесе “На дне”. В нем предложено новое прочтение философского содержания горьковской драмы в свете философских исканий XX века. Несомненно дискуссионная, эта работа, написанная в 60-е годы, в полном виде смогла увидеть свет только в наши дни. Нетрадиционными подходами к отдельным явлениям творчества Горького отличаются и статьи Л. Колобаевой об авторе и герое в “Жизни Клима Самгина”, Н. Примочкиной о художественных исканиях писателя в начале 20-х годов (на примере рассказа “Голубая жизнь”), Е. Дубновой о сценических интерпретациях “На дне”.

Настоящий сборник — третий в серии “Горький и его эпоха”. В четвертом выпуске будут помещены материалы юбилейной горьковской конференции, прошедшей в ИМЛИ в июне 1993 года. В последующих выпусках мы намерены продолжить осмысление новых проблем творчества писателя и публикации из его наследия.

В составлении данной книги принимала участие И. А. Бочарова.

# I

## Письма М. Горького к В. И. Ленину

Предисловие И. А. Ревякиной,  
публикация и примечания И. А. Ревякиной  
и И. Н. Селезневой\*.

Научное издание тринадцати писем Горького к Ленину разных лет — 1908, 1909, 1919-1921 — осуществляется на основе ранее секретных фондов Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ — письма 1-6, 9, 11-13) и Архива А. М. Горького (АГ — письма 7, 8, 10). Семь писем — №№ 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12 — печатаются впервые; остальные — вслед за их недавними разрозненными публикациями в газетах и журналах, где они, как правило, не сопровождались ни обоснованными датировками, ни историко-литературными комментариями. Научное издание писем Горького к Ленину, многие десятилетия остававшихся запретными, должно занять важное место в той переоценке ценностей творчества Горького, которая сейчас происходит.

Изучение переписки Горького с Лениным в “доперестроечное” время жестко определялось и ограничивалось партийно-идеологической версией биографии писателя. В ней на первый план выдвигался большевизм Горького, влияние на него Ленина, а все неблагоприятное для такого истолкования либо изымалось, либо фальсифицировалось. Введение в научное изучение того, что раньше тщательно скрывалось партийно-государственной цензурой, должно приблизить исследователей к реальной биографии Горького — художника, общественного деятеля, мыслителя. Объективно-исторический подход, несомненно, откроет немало нового в понимании писателем социализма и демократии, русской революции и ее движущих сил, вопросов революции и культуры, что и являлось главным во взаимоотношениях этих двух известнейших людей России; позволит в дальнейшем точнее представить сложность эволю-

\* Письма 1, 2, 7, 8, 10, 12, а также прим. к ним подготовлены И. А. Ревякиной; письма 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 с прим. И. Н. Селезневой (при участии И. А. Ревякиной в их комментировании).

ции писателя; вероятно, внесет существенные коррективы в оценки его произведений.

Конечно, первое обращение к кругу ранее запретного ставит вопрос об общем объеме того, что долгое время находилось вне изучения. Можно с уверенностью утверждать, что мы не знаем многих и многих писем Горького к Ленину. Судя по письмам Ленина, который, как правило, извещал Горького о получении его писем, недостает не менее сорока ответных горьковских писем<sup>1</sup>. Если же учитывать упоминания об обращениях к Ленину в письмах Горького другим адресатам, то число недостающего придется значительно увеличить. Вот одно подтверждение. 13 июля 1921 г. Горький писал В. Г. Короленко: "...об аресте, болезни и смерти К. Н. Ляховича <зятя Короленко — И. Р. > знал давно от С. Д. Протопопова><...> По этому поводу я послал телеграмму Ленину и Луначарскому, первый, очевидно, ничего не сделал, второй — бессилён <...> горечь Вашего письма я очень чувствую, но — дорогой мой В. Г. — если б Вы знали, сколько я знаю тяжких драм!<...> Не могу убедить людей в необходимости для Блока выехать в Финляндию<...> Не могу перевести из Крыма в Москву Тренева, Шмелева, Сергеева-Ценского, Деренталя — не могу вот уже третий месяц"<sup>2</sup>. Здесь говорится сразу, по меньшей мере, о шести обращениях либо к Луначарскому, либо к нему и Ленину, а кроме того, и повторении их. "Хрестоматийный" состав переписки на самом деле представляет ее как своеобразный айсберг: большая часть — преобладающая — скрыта.

То, что стало наконец-то известным, — это начало подлинно документированного изучения переписки Горького с Лениным, ибо открывает возможность изучать именно диалог, горьковский голос в нем. Сборник писем, документов и воспоминаний "В. И. Ленин и А. М. Горький", выдержавший три издания и бывший, поневоле, "настойной книгой" по крайней мере двух поколений горьковедов, в этом отношении представлял слишком мало возможностей. К примеру, на сорок писем Ленина Горькому дореволюционного периода в нем напечатано всего четыре ответных.

Ставшее недавно известным — очень ценно. Перед нами — тексты, которые отвечали самым кульминационным моментам переписки, часто отражавшей особенно напряженные моменты разногласий, споров. Среди ранее опубликованных писем — много посланий строго делового характера. Рассекреченные письма значительны не только большой содержательностью, они эмоциональны, в них отчетливее отпечаток личного отношения Горького к Ленину.

Какие же главные общие вопросы этой переписки позволяют поставить вновь вводимые письма?

Всего два рассекреченных письма относятся к дооктябрьскому периоду (письмо 1 от февраля 1908 г. и письмо 2 от ноября 1909 г.), но они существенно обогащают наши пред-

ставления об отношениях Горького с Лениным. В том числе, в связи с дискуссией о социализме, которую они вели. Много позднее большевизм “затвердил” себя как единственно верную теорию, а тогда, на рубеже веков, в первое десятилетие XX в., это не было очевидным. Социалистическая идея утверждалась трудно, драматично; отнюдь не самые левые ее оттенки имели веские оправдания — в успехах социал-демократии в Европе. В поисках, как и многие, участвовал Горький. Он бывал и на стороне Ленина, и на стороне его оппонента А. Богданова, его волновала и тревожила “неопределенность”<sup>3</sup> социалистической мысли в России, он призывал прислушаться — и довольно настойчиво, не однажды — к тому, что дает европейский опыт<sup>4</sup>, и сам, очевидно, учитывал его<sup>5</sup>. Писатель противостоял окончательности прямолинейных выводов, нетерпимости в спорах — “склокам”, “эмигрантским отношениям”, как это называлось подчас в письмах к Ленину<sup>6</sup>. Горького интересовали возможности единства сил демократии, попытки синтеза разных направлений мысли. С точки зрения большевистской ортодоксальности писатель вел себя как “еретик”. Ленин, всегда склонный к резким формулировкам в отношении оппонентов, не сделал исключения и для Горького. “Горький всегда в политике архибесхарактерен и отдается чувству и настроению”, — писал он в октябре 1916 г. А. Г. Шляпникову<sup>7</sup>. Оценка имела в виду не столько собственно писательскую эмоциональность Горького, сколько именно его принципиальные позиции. Споры по вопросам социализма и отношению к нему разных течений социал-демократии постоянны в переписке, если судить по известным — ответным — письмам Ленина. Разноречия не сглаживались, напротив, обострялись. Не случайно в конце 1913 г. переписка оборвалась. Советские горьковеды не придавали значения интересному свидетельству Н. Валентинова о горьковском письме Ленину, на котором и произошел разрыв. Письмо относилось к моменту, когда писатель вынужден был “выслушать” несколько резких отзывов Ленина по поводу своих статей о “карамазовщине”. Сам Ленин в одном из писем замечал, почти извиняясь: “Не сердитесь, что я взбесился”<sup>8</sup>. Вот что вспоминал Н. Валентинов: “С Капри Горький <...> уехал в декабре 1913 г. <...> послав Ленину в некотором роде отповедь за все испытанные им нападки <...> в кратких чертах его <письма — И. Р.> содержание мне поведал сам Горький при одном разговоре, имевшем место летом 1916 г. “Что я написал Ленину? Написал, что он очень интересный человек, ума — палата, воля железная, но те, которые не желают жить в обстановке вечной склоки, должны отойти от него подальше. Создателем постоянной склоки везде является сам Ленин. Это же происходит оттого, что он изуверски нетерпим и убежден, что все на ложном пути, кроме него самого. Все, что не по Ленину, — подлежит проклятию. Я написал: Владимир Ильич, Ваш духовный отец — протопоп XVII века Аввакум,

веривший, что Дух Святой глаголет его устами, и ставивший свой авторитет выше постановлений Вселенских Соборов”<sup>9</sup>.

Ноябрьское письмо 1909 г., сравнительно недавно рассеченное, связано с одним из кульминационных эпизодов борьбы в среде большевиков между сторонниками Ленина и единомышленниками Богданова. Оно написано во время раскола в Каприйской школе, организованной богдановцами при самом деятельном участии Горького. На ленинское письмо по поводу раскола, бывшее своеобразным жестом протянутой руки, но только для писателя, последовал полемически неприемлемый ответ. Предпочтение, которое Горький отдавал идеям Богданова, не было кратковременным, не было “ошибочным” отклонением от “верных” убеждений, т. е. последовательно революционных взглядов большевиков-ленинцев<sup>10</sup>. Позиция Горького заключала в то время осознанную альтернативу этим взглядам, писатель затем долгое время ее защищал и был ей верен. В “другом марксизме” Богданова и его сторонников (если пользоваться термином, к которому прибегает по западной традиции Б. Парамонов<sup>11</sup>) Горький увидел развитие социалистической мысли, нечто ценное и новое для нее. В февральском письме 1908 г. он подчеркивал свою приверженность “живущему и развивающемуся” и неприятие того, что пытается его умертвить. Привлекало его более объемное представление о социализме, что для него было связано с комплексом взаимодополняющих идей — монизм, философия коллективизма, пролетарская культура. Социализм тем самым очерчивался не только как политическое учение по преимуществу, а как “целостное миропонимание” — это выделено в ноябрьском письме к Ленину. Увлекала Горького программа ближайших целей — “социализма в настоящем”<sup>12</sup>, т. е. революционного просветительства. Он горячо поддерживал идею рабочих школ, считал неотложной задачей создание основы для широкой пропаганды “пролетарской культуры” как новой системы ценностей. Это объясняет его пристальное внимание к проекту энциклопедии по изучению России, над которым он работал вместе с А. Богдановым, А. Луначарским, В. Базаровым. В проекте новой энциклопедии все они видели “закладной камень” будущей “пролетарской науки”. Размах замысла, казалось бы, явно утопичного, насколько не смущал ни Горького, ни его единомышленников. В 1908 г. Горький пытался вести издательские переговоры о нем с К. П. Пятницким<sup>13</sup>.

Горьковские искания 10-х годов тяготели к социал-демократической модели социализма: соединению социализма и демократии, предпочтению преемственности в развитии, гуманизации социалистического идеала. В 1917 г. в одной из апрельских статей, помещенной в “Новой жизни”, Горький вспоминал, что “еще в 1910 году” думал об организации радикально-демократической партии. Она должна была “всосать в себя всю — по возможности — массу людей, которая оставалась неорганизованной между кадетами справа и социа-

листами слева". Необходимость столь "гибкой" позиции, критикуемой неуступчивыми в принципах "праведниками", Горький отстаивал так: "Уже 17 лет я считаю себя социал-демократом, по мере сил моих служил великим задачам этой партии, не отказывая в услугах и другим партиям, не брезгуя никаким живым делом. Люди, которые деревенеют и каменеют под давлением веры, исповедуемой ими, никогда не пользовались моими симпатиями <...> Скажу более: я считаю себя везде еретиком. В моих политических взглядах, вероятно, найдется немало противоречий, примирить которые не могу и не хочу..."<sup>14</sup> Прочность для Горького всех этих тяготений подтверждает и провозглашение им в момент первого революционного кризиса 1917 г. программы "творчества новой культуры", а пролетариата — "мощной культурной силой в нашей темной мужицкой стране"<sup>15</sup>. Через призму этих идей, центральных в "Несвоевременных мыслях", Горький рассматривал главное историческое содержание совершающейся революции.

Оба дооктябрьских письма близки утверждением исканий русской социал-демократии. Полноту принятия Горьким идей коллективизма демонстрирует его попытка приложения их к области художественного творчества в статье "Разрушение личности". И тем не менее в письме 1909 г. различима нота критики "нигилизма" сторон: "...Я фракционер. Отсюда вовсе не значит, что в моих глазах ленинцы более правы, чем максимовцы, или наоборот, нет, это значит только, что и Ленин — нигилист, и Максимов — нигилист". Горького беспокоили нетерпимость и догматизм в критике, острота взаимоотрицания, а он ждал сопоставления позитивных программ, их развития. Важность для Горького последнего подтверждает одно из интересных писем к нему В. Базарова, бывшее ответом на поставленные им ключевые вопросы, которые обсуждались в их переписке. Письмо имеет дату: 11 февраля 1908 г. К этому времени Горький закончил первый вариант начала "Разрушения личности", который был отвергнут в "Пролетарии", и, видимо, работал над продолжением статьи: во всяком случае, вопросы, которые затрагивал Базаров, очевидно, связаны с проблематикой ее. Судя по ответу Базарова, Горького не удовлетворяло в новых подходах к теории социализма преобладание критического "не так" над положительным "как?". Базаров писал: "Я не могу выразить, до какой степени обрадовало меня Ваше письмо. Именно со стороны такого художника, как Вы, особенно ценно признание правильности того пути от "я" к "целому", который нащупывается мною и моими товарищами по духу. В конце Вашего письма Вы говорите, что по отношению к современным литераторам нельзя ограничиваться критическим "не так", — необходим положительный ответ на вопрос "как?". Мне кажется, что этот ответ с достаточною убедительностью может быть дан не теоретически, а только практически, не аналитиками, а артистами, воплощающими новую тенденцию в художест-

венном творчестве". Далее в письме Базаров признавал, что решение важных вопросов еще только предстоит: "Социалистическая философия может и должна *показать* с полной конкретностью, почему "так было", но она может лишь совершенно абстрактно (как "тенденцию развития") *доказать*, что "так не будет". До сих пор был роковой разрыв, — социализм несет с собой синтез. Но как конкретно осуществить этот синтез, — на этот вопрос литератор-беллетрист не найдет ответа у теоретика социализма. Тут требуется не анализировать, а демонстрировать. "В начале было дело", — и это дело должны совершить не аналитики, а художники нового духа, *от них же первый есть Вы*. Само собою разумеется, в настоящее время едва ли возможно дать образцы действительно коммунистического искусства или создать действительно коммунистическую философию. Все мы, строго говоря, не коммунисты, а лишь "мосты" к коммунизму. Но это не беда. Без прерафаэлитов не было Рафаэля, без нас, без пре-коммунистов, не родится коммунизма"<sup>16</sup>.

Горький также принял новые идеи как становящиеся, развивающиеся, принял как "мосты" к будущему. Провозглашенный им принцип "коллективности" творчества — художника и народа — далек от ясности. Однако признав совсем "юную" идею пролетарского искусства как исторически необходимую, он в первых же своих опытах ее оправдания (и в каприйских лекциях о русской литературе, и в статье "Разрушение личности") разделил и негативные ее стороны: тенденции упрощенного подхода — идеологизированного, классового — к культуре и ее ценностям. В целом идеи пролетарской культуры, связанные с важным для Горького "другим марксизмом" русского его варианта, нашли выражение в творчестве и деятельности писателя, но изучение их еще не состоялось: по причинам той же их неортодоксальности, что и политические взгляды писателя.

Как "еретичность" социал-демократизма Горького, так, в частности, и его временные связи с фракцией передовцев естественно не могли не осложнить переписки с Лениным дооктябрьской поры — нескольких размолвок (когда переписки не было), а потом разрыва и прекращения обмена письмами. В предоктябрьские годы, уже в России, Горький сотрудничал с социал-демократами — в "Летописи", "Новой жизни" — в той или иной степени противостоящими Ленину и ленинцам, близкими Богданову (например, с В. Базаровым, А. В. Луначарским и др.). В позднейшей редакции (1930 г.) очерка о Ленине Горький вспоминал лишь отдельные эпизоды своих встреч с Лениным в 1908-1910 гг., вспоминал свою роль "примирителя" между ним и богдановцами<sup>17</sup>. Но слишком большая фрагментарность этих зарисовок не дает представления о главном — драматических исканиях в среде русской социал-демократии. "Кающийся" в прежних ошибках Горький<sup>18</sup>, отступивший во многом от себя прежнего, отступал и



от историзма. Тем большее значение приобретают поиски и изучение его переписки 1908-1917 гг. не только с Лениным (она продолжалась до конца 1913 г.), но также с А. Богдановым, В. Базаровым, Г. Алексинским, этих подлинных исторических документов, передающих реальную сложность становления русской социал-демократии<sup>19</sup>.

Большая часть ставших недавно известными писем Горького Ленину относится к 1919-1921 гг. И это закономерно: именно с данным периодом связаны серьезные разногласия Горького с Лениным и большевиками, но одновременно интенсивная переписка с ними: писатель, даже "расходясь с коммунистами", принципиально стоял на позиции сотрудничества с советской властью. Из этого, ссылаясь на мемуарные источники, исходили известные деятели научной и художественной интеллигенции, когда в августе 1991 г. в Открытом письме В. В. Бакатину выразили беспокойство по поводу полной засекреченности органами КГБ СССР и неправомерно долгом хранении на таком режиме всей переписки Горького с Лениным 1918-1922 гг.<sup>20</sup> Общая заторможенность перестроечных процессов в конце 80-х годов явно сказывалась и здесь; возможности нового подхода к теме "Горький и Ленин" открылись только после августовских событий 1991 г., — они обнажили историческую изжитость большевистских мифов о революции, которые все еще оставались "неприкасаемыми".

Поворотом к научно-объективному изучению деятельности Горького первых послереволюционных лет стало возвращение из полузапретности "Несвоевременных мыслей"<sup>21</sup>, а также снятие табу с темы "Горький и русское зарубежье"<sup>22</sup>. Помочь воссозданию истории и полноты горьковского бытия тех лет призваны и публикуемые в данном издании письма. Выделим, хотя бы обращение от конца июля 1921 г. (письмо 12). В нем — сопричастность писателя самым болезненным событиям этого времени: он организует помощь голодающим, протестует против очередной провокации ЧК, так называемого таганцевского дела, и защищает арестованных по нему, выступает против гонения на одного из церковнослужителей, откликается на просьбы разных людей о помощи, "предъявляя счет" представителям власти. По сути, это и одно из трагичнейших писем Горького, т.к. оно в основном не привело ни к каким результатам: Ленин был убежден в верном течении таганцевского дела, которое закончилось массовым расстрелом на самом деле безвинных людей; Комитет помощи голодающим был распушен, члены его арестованы. Оба этих события Горький переживал чрезвычайно тяжело, чем, безусловно, был приближен момент, когда он осознал, что ему "пора уходить в сторону" (ср. письмо 7), и вынужден был уехать.

Каждое из публикуемых писем по-своему дополняет горьковскую биографию — или "стирая" так называемые "белые пятна", или внося существенные коррективы в известное.

На особое место следует поставить письмо от 6 сентября 1919 г. (письмо 4). Это протест против массовых арестов в Петрограде профессуры по очень громкому делу Национального центра<sup>23</sup>. По этому же делу были произведены массовые аресты в Москве (где затем последовали массовые расстрелы)<sup>24</sup>. В июле в Кронштадте по делу Национального центра было расстреляно 100-150 человек, в печати же сообщалось лишь о 19-ти<sup>25</sup>. На таком тревожном общественном фоне и появилось горьковское взволнованное обращение к Ленину.

Почему же это письмо оказалось среди запрещенных? Ведь о заступничестве писателя по разным поводам и за разных лиц (даже великих князей) известно. В сборнике "Ленин и Горький" есть отдельные письма-ходатайства. Все дело, видимо, в том, что в этом письме писатель не столько заступался, сколько обвинял, выступив с политическим протестом против акта красного террора, направленного против интеллигенции. Так письмо и было воспринято современниками. Об этом вспоминал И. И. Манухин, по-своему интерпретируя позицию Горького: "Когда на смену революционным страстям пришел террор, Горький вновь, как в октябрьские дни, заметался, заужасался. Его знаменитое открытое письмо в Совет Народных Комиссаров, которое в Петербурге ходило по рукам, — "Я не с вами и не с ними" — могло быть написано в порыве глубокого возмущения"<sup>26</sup>.

В октябре 1920 г. письмо было опубликовано в газетах социалистической эмиграции: эсеровских — "Воле России" (Прага, 1920, 2 окт.) и "Народном деле" (Таллин, 1920, 2 окт.), — а затем перепечатано в других русских газетах, а также в переводах. Появление письма вызвало дискуссию о неоднозначности горьковской позиции в отношении к советской власти. Дискуссия и была собственно начата по этому поводу в "Воле России", где письмо появилось под заголовком "Горький — Ленину" с кратким вступлением. В нем сопоставлялась горьковская позиция в письме и недавние выступления в поддержку советской власти: "В феврале текущего года <здесь вкралась ошибка, письмо написано раньше. —

И. Р. > Горький обратился к Ленину с письмом <...> В это время Горький считал большевиков врагами народа и бросал в лицо вождей упреки в истреблении "ценнейших сил России".

Недавно всю русскую и европейскую печать обошли заявления иного рода, прославляющие руководство и сущность советского режима. Когда же Горький был действительно искренен? Изменились ли с февраля его убеждения? Отказался ли он от своих справедливых оценок и горячего негодования?"

Итог борьбы мнений по поводу горьковского письма-протеста пыталась подвести в "Народном деле" А. Ф. Даманская. Ее статья называлась "О большом человеке в жалкой роли" (1920, 12 ноября). Подчеркнуто в статье "жалкое" мнение тех западных коммунистов, которые, подобно Бомбаччи из италья-

янской газеты "Аванти", заявили о неподлинности, поддельности письма, считая выраженную в нем резкую позицию невозможной для Горького. Вспыхнувшая в прессе русской эмиграции и западной социалистической печати дискуссия о горьковском письме была несомненно частью непрекращающейся борьбы "за" или "против" большевизма и русской революции. Спор шел об историческом и моральном праве "коммунизма" на "терроризм"; противостояние в нем вызвало раскол в европейском социалистическом движении<sup>27</sup>.

Среди запрещенных оказалось и письмо Горького, которым он ответил на послание Ленина от 15 сентября (см. письмо 5). На обвинение Ленина: "Тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов <...> разве не срам?", — на его оправдание необходимости террора против кадетской и "околокадетской" публики<sup>28</sup>, Горький ответил письмом-декларацией в защиту интеллигенции, более того — необходимости сотрудничества пролетарской власти с ней.

Содержательная направленность горьковских писем начала и середины сентября 1919 г., как и их публицистически страстная стилистика, принципиально близки "Несвоевременным мыслям". Горький тот же: не приемлет практики "революционаризма", защищает революцию как культурно-социальное строительство. Его филиппики в адрес жуликов и авантюристов от коммунизма исходят из убежденности: революции совершают "социалисты по духу", для революционеров — создателей нового — необходим высокий строй души.

Следует подчеркнуть реальный драматизм горьковских обращений к Ленину в сентябре 1919 г. Именно в то время, когда Горький протестовал против "варварской и позорной тактики" "истребления научных сил страны", "мозга народа", Ленин бесприщадно высмеивал всех "мелкобуржуазных демократов" за их любовь к возмущениям "варварскими" приемами борьбы<sup>29</sup>. Горький отстаивал необходимость "союза" власти с интеллигенцией, а Ленин утверждал неизбежность диктатуры, "железной власти" пролетариата над другими классами, отмечая: "Середины нет. О середине мечтают попусту барчата, интеллигентики, господчики"<sup>30</sup>. Когда читаешь статьи Ленина лета 1919 г. и горьковские письма, близкие им по времени, видишь их реальное противостояние. Оно касалось не частных, а самого существенного: представлений о социальной базе революции, отношения к формам борьбы. В позиции Горького проявлялись те особые стороны его социал-демократизма, которые стали для него важными еще в 10-е годы.

В то же время сентябрьские письма как бы соединяют высказанное в "Несвоевременных мыслях" с той позицией 1918-1921 гг. — "расхождения" с большевиками ("по вопросу об оценке роли интеллигенции и русской революции"), — которую писатель продолжал отстаивать и в 1924 г., в ранней редакции очерка "В. И. Ленин". При всей сложности взглядов Горького первых советских лет, они определенны: писатель,

сотрудничая с властью, последовательно противостоял тактике насилия и, даже придя к оправданию с начала 1920 г. жестокости "планетарного" эксперимента<sup>31</sup>, реально защищал человеческие жизни. Как уже сказано, многих из этих ходатайств мы пока не знаем. Поэтому важным представляется письмо к Ленину от 29 мая 1921 г., которое печатается по черновику. Благодаря этому документу становится известным, что на очередной всплеск террора Горький отозвался немедленно.

Еще раз вернемся к тому, как действительная политическая биография Горького отражена в очерке "В. И. Ленин", но уже не начала 10-х годов, а 1918-1921 гг. (имея в виду раннюю редакцию произведения). Горьковская оппозиционность этих лет не могла не привести к сложным отношениям между ним и представителями власти — Лениным и его соратниками. Мог ли писатель сказать об этом в 1924 г. в полный голос в очерке о Ленине? Разумеется, нет. И не только из соображений политического характера, но прежде всего в соответствии с законом особого жанра, в котором очерк написан, — поминального. "Обливаясь слезами" (а именно так писался очерк, о чем Горький упоминал в письмах к близким людям<sup>32</sup>), писатель не мог и не должен был яростно, непримиримо говорить об остроте полемики, размолвках, принципиальных расхождениях. Более того, должен был, по закону жанра, усилить именно все "хорошее" о покойнике. Поэтому и появились утверждения о почти идеальном взаимопонимании. "И все-таки я не помню случая — писал, например, Горький по поводу своих многочисленных просьб об арестованных, — когда бы Ильич отказал в моей просьбе". Конечно, нельзя относиться к этим словам как к точному свидетельству. Ясно, что определенной уступкой "жанру" Горький породил начало легенды о Ленине, идеализации его исторического облика. При изучении более полного состава переписки, чем ранее "дозволенный", очевидность такого вывода несомненна, ее необходимо подчеркнуть.

Очень важной линией деятельности Горького первых советских лет были поиски соглашений между властью и представителями старой интеллигенции, других социалистических партий. Об этом, но лишь как внешней примете дома Горького, вспоминал М. Алданов: "Большинство людей антибольшевистского лагеря порвало личные отношения со сторонниками Ленина еще значительно раньше, со дня его приезда в Петербург. Оглядываясь на прошлое, я даже не представляю себе, в каких частных домах могли бы тогда бывать и большевики, и их противники. Единственное исключение составляла квартира Максима Горького: у него бывали и те, и другие — случилось, бывали одновременно. Он был, вероятно, единственным человеком в Петербурге, который мог себе позволить подобный политический коктейль"<sup>33</sup>.

Среди рассекреченных писем — одно (письмо 3) о том, как Горький пытался обратить внимание Ленина на пози-

цию Н. А. Рожкова, известного меньшевика-экономиста, по поводу болезненных отношений между советской властью и деревней. Об иной плоскости поисков соглашений — с людьми, ранее “стоявшими во главе крупных торгово-промышленных предприятий” — свидетельствует письмо от конца 1919 г. (письмо 6). Наконец, с этой же темой связано и письмо от конца июля 1921 г. (письмо 12): создание Комитета помощи голодающим было актом сотрудничества советской власти со старой общественностью.

Неизвестный факт биографии Горького, весьма драматичный, — намерение уйти из всех учреждений, созданных им, работой в которых он дорожил (“Всемирной литературы”, Издательства З. И. Гржебина, Комиссии по улучшению быта ученых, Экспертной комиссии), открывают два письма Ленину: 15 и 16 сентября 1920 г. Писатель заявлял в них даже об уходе вообще из всех советских учреждений, о полном разрыве с властью. Ультиматум Горького был ответом на многочисленные проволочки со стороны руководства Госиздата и Внешторга в решении вопросов финансирования “Всемирной литературы” и Издательства Гржебина. В начале сентября это привело фактически к отмене ранее заключенных договоров, чем срывалась деятельность горьковских издательств. Неприемлемыми для писателя стали все усиливающиеся диктаторские претензии Госиздата. Признать свои издательские предприятия марионеточными, лишенными самостоятельности, принять как должное недоверие к себе и всей системе организации своих издательств Горький не мог: это было действительно равносильным их уничтожению. Осуществление ультиматума, вероятно, привело бы к более раннему отъезду писателя из России, почти на год раньше. В черновике письма есть намек на неизбежность полного разрыва: “Я знаю, чем это грозит мне, но мое решение твердо. Довольно я терпел...” Однако срочными решениями специальной комиссии ЦК РКП(б), под председательством А. И. Рыкова, назревший конфликт был преодолен. Состоялось решение о необходимых субсидиях для печатания книг при посредстве Гржебина за рубежом, а разрушительная деятельность против гржебинского издательства как будто была приостановлена (на самом деле, только на короткое время). Писатель, получив поддержку, не пошел на официальный разрыв. Уже 28 сентября на приеме, устроенно КУБУ в честь приезда в Советскую Россию Г. Уэллса, Горький выступал с одобрением деятельности советской власти. В частности, он говорил об организации международного съезда ученых в Петрограде, о сочувствии этому проекту Ленина<sup>34</sup>.

Любопытна одна деталь поведения Горького на этом приеме, подчеркивающая не только его лояльность, но даже некую официозность. Позднее, в 1922 г., после выхода горьковской статьи “О русском крестьянстве”, П. Сорокин вспоминал, что его выступление на этом приеме вызвало неприятие

Горького. П. Сорокин писал: "Горький, оплевавший теперь русское крестьянство, делал это и раньше. Тем необъяснимее для меня и для других, бывших на обеде в честь Уэллса, была его реплика, прервавшая мою речь, пытавшуюся хоть немного открыть Уэллсу глаза на роль наших "вождей" революции и на их мерзости. "Во имя уважения к русскому народу такие речи здесь неуместны", — прервал меня Горький. До сих пор не понимаю, что это значило. Очередное лицемерие просто или лицемерие для спасения репутации "вождей" и втирания очков Уэллсу?"<sup>35</sup> Не сказалось ли в поведении Горького на обеде его особое душевное состояние: ведь он лишь несколько дней назад отказался от своего "ухода", согласился на дальнейшее сотрудничество?

Благополучный исход конфликта между Горьким и руководством Госиздата в конце сентября 1920 г. тем не менее не снял его по существу. Горьковский ультиматум был закономерным, в нем проявилась важная сторона истории его издательских начинаний: имея широкую общекультурную направленность, они должны были встретить сопротивление в условиях классово-партийной культурной политики. Многочисленные запреты и полузапреты на реальные планы Горького со стороны разных властных ведомств вызывались не частными причинами, а общими соображениями. Одним горьковские планы казались недостаточно утилитарными, преждевременными. Такого рода суждение высказывалось, по некоторым воспоминаниям, Лениным<sup>36</sup>, скептически оценивавшим хлопоты Горького о "Всемирной литературе", т. е. об издании в первую очередь переводных произведений. Другие видели в них даже идеологически чуждое. Так расценил горьковский план "летописи революции" с участием авторов разной партийности (Л. Мартова, В. Чернова и др.) И. И. Скворцов-Степанов, называвший себя "грубым" марксистом<sup>37</sup>. К этой точке зрения присоединялись и другие члены редколлегии Госиздата, в их числе и С. М. Закс.

Новый всплеск противоречий между Горьким и Госиздатом пришелся на конец 1920 г. Тогда почти одновременно по вопросам книгоиздательской политики выступили Горький и Скворцов-Степанов. Горький — с Открытым письмом VIII Всероссийскому съезду Советов, где он критиковал всю издательскую политику Госиздата: отсутствие "системы, плана" в работе, "неподготовленность руководителей". Горький писал, что Госиздат выпускает книги плохого качества, а их выбор не соотнобразуется с потребностями масс: именно нужные, глубоко поучительные, не печатаются. В таких условиях Горький считал неверным приостанавливать кооперативные и частные издательства, напротив: "следует широко использовать всю энергию, все знания делателей книг"<sup>38</sup>. Позиция Скворцова-Степанова была прямо противоположной. Он в статьях "Государственное издательство, частные фирмы и подрядные предприятия" и "Государственное издательство и ведомства, худо-

жественная литература и совмещенаты”<sup>39</sup>, ратуя за отвечающую времени идеологически организующую работу Госиздата, критиковал частные издательские инициативы — и прежде всего горьковские издательства — за “несвоевременные” книги, за то, что в частных издательствах работают “люди, которые живут в прошлом и прошлом”. Степанов призывал не бояться “быть грубым”, не либеральничать, и здесь “проставить комиссаров”.

Открытой дискуссии о разном подходе к вопросам издательской политики в условиях несвободы печати состояться не могло. И все-таки одно выступление, хотя и полулегальное, увидело свет: в начале 1921 г. на правах рукописи появилась брошюра П. Витязева “Частные издательства в Советской России” (Пг., 1921). Ее автор, один из руководителей издательства “Колос”, рисовал реальное, весьма трудное положение частных издательств, их неравное противостояние Госиздату, которое урезывает их инициативы, “цензорскими” запретами всячески тормозит работу. Именно в деятельности частных издательств, их сопротивлении удушливой идеологической атмосфере, создаваемой Госиздатом, Витязев видел последнюю гарантию свободы слова.

На протяжении 1921 г. Горький продолжал отстаивать самостоятельность основанных им издательских предприятий. О том, что он обращался по этому вопросу вновь к Ленину, свидетельствует сравнительно недавно опубликованное письмо, также бывшее засекреченным долгие десятилетия: от второй половины июля 1921 г.<sup>40</sup> Возможно, писатель вновь прибегал к ультимативной форме протеста против новых изменений и поправок, вносимых Госиздатом в договорные обязательства. Предполагать это позволяет письмо Ленина от 17 сентября 1921 г. Рыкову, в котором он писал о необходимости подтверждения “чекистской комиссией” “старого договора”, при этом добавляя: “Иначе выйдет архискандал с уходом Горького, и мы будем неправы...”<sup>41</sup> Опубликованная переписка Горького пока не дает объяснения этого, по всей видимости, напряженного момента горьковской биографии, причем незадолго до его отъезда за границу в октябре 1921 г.

Горьковские письма Ленину 1919-1921 гг. — яркие документы истории тех лет. Горький писал Ленину о самых болезненных явлениях времени: трагической неадекватности целей революции (освобождения личности, творчества нового) и средств ее (тактики насилия и террора), реальной враждебности по отношению к диктатуре пролетариата “свинцовой массы русской деревни”, о потере доверия к революционной власти даже в среде рабочих, измученных разрухой, продовольственным кризисом. Очень резко отзывался Горький о политической и нравственной неготовности представителей большевистской власти к масштабной государственной деятельности, говоря об их “политическом идиотизме”, позорном “варварстве”, “бездарности”. Письма Горького отражали беспощадность

будней революции, жестокою правду о ней, которая потом была подменена большой ложью. По существу каждое из писем демонстрирует внутреннюю сложность, неоднозначность позиции писателя. Сошлемся на свидетельство такого чуткого и неординарного современника, как английский философ и общественный деятель Бертран Рассел, приезжавшего в Россию летом 1920 г. с делегацией тред-юнионов и лейбористов. В книге "Практика и теория большевизма", вскоре написанной, одна из главок, хотя и небольшая, но сомасштабная тем вопросам, над которыми размышлял автор, озаглавлена "Ленин, Троцкий и Горький"<sup>42</sup>. Первых двух Рассел воспринял как "несгибаемых ортодоксов" большевизма, а Горького — иначе. "Совершенной противоположностью обоим этим людям, — писал он о встрече с писателем, — был Горький, с которым я имел краткую беседу в Петрограде. Он лежал в постели <...> и, очевидно, находился во власти каких-то очень сильных переживаний. Он настойчиво просил меня, говоря о России, всегда подчеркивать, что ей пришлось выстрадать. Он поддерживает правительство — будь я русским, я делал бы то же самое — не потому, что считает его безгрешным, но потому, что возможные альтернативы еще хуже. В нем чувствуется любовь к русским людям, которая делает их сегодняшние страдания невыносимыми для него самого и которая ослабляет фанатизм веры, характерный для ортодоксальных марксистов. Мне он показался более других достойным уважения и, на мой взгляд, наиболее симпатичным из всех русских, которых я видел <...> Все представители интеллигенции, которых я встречал, — класс, весьма сильно пострадавший, — выражали ему благодарность за то, что он для них сделал. Материалистическая концепция истории — это хорошо, но так важно спасти духовность — высшую ценность цивилизации <...> Горький сделал все, что в состоянии сделать один человек, для сохранения интеллектуальной и художественной жизни России"<sup>43</sup>.

Вместе с тем горьковские оценки самых "больных" вопросов первых послереволюционных лет подчас совмещают разногласия и даже крайности: общегуманистическую точку зрения, а с другой стороны — классовую. Явные противоречия намечаются в это время в отношении Горького к интеллигенции, к крестьянству. Наглядно проявилось это в письмах от 16-19 сентября 1919 г. и 22 ноября 1921 г. (письма 5 и 13). В завязавшейся полемике с Лениным о месте интеллигенции в революции Горький, казалось бы, отстаивает общегуманистическую точку зрения, которая обуславливается самой жизнью, не вмещающейся в "схемы" классовых оценок. Не только защищаясь, но и нападая, писатель скажет в связи с этим: "... я вот — неумняемый художник, но — рационалист больше, чем вы". И однако, не соглашаясь с классово узкой оценкой роли интеллигенции в целом (ее враждебности революции — явной и потенциальной), Горький почти готов принять нега-



тивное отношение к “гуманитарной” интеллигенции, в отличие от “людей положительного знания”. Гуманиста и “независимого социалиста”<sup>44</sup> начинает заглушать “ортодоксальный марксист”, которому важны, прежде всего, классовые ценности. В письме различимы интонации будущих нападок Горького на “старых гуманистов” (эмигрантов) с позиций “пролетарского гуманизма”. Оглушительно громко провозгласит писатель историческую истинность “пролетарской ненависти” к “старому миру”, а вместе с ним и к той самой интеллигенции, которую он прежде защищал, в статье “О белоэмигрантской литературе” накануне своего возвращения в СССР в 1927 г.

Несет в себе Горький и другую сложность: не только совмещение гуманистического и классового мышления, но и противоречия — в данном случае, неполноту, антиисторизм — последнего. Это выступает в антикрестьянстве писателя. Являясь противником насилия, Горький, однако, готов к поддержке суровых методов в отношении к “мужичку”, угрожающему “пролетарскому престолу”, возводимой “пролетарской культуре”, где ему не находится места. Этот “изъян” горьковского миропонимания имел явно марксистское происхождение.

Итак, уже первое обращение к засекреченной части переписки Горького с Лениным, несомненно, обогащает наши представления о биографии писателя в целом. Необходимы существенные поправки к прежнему пониманию его эволюции в дореволюционные годы, необходимо более глубокое и исторически точное осмысление социалистических убеждений Горького — их неортодоксальности и утопизма. Ранее неизвестные письма 1919-1921 гг. восполняют картину общественной деятельности писателя в первые послереволюционные годы, содержат свидетельства о драматизме его сотрудничества с большевиками, а также оппозиции им. Дальнейшая задача заключается в том, чтобы ввести все эти факты в контекст изучения художественного творчества писателя.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См. сб. “В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма. Воспоминания. Документы”. Изд. 3-е, доп. М., 1969. Далее — Ленин и Горький.

<sup>2</sup> АГ. ПГ-рл-20-8-34.

<sup>3</sup> См. в письме Горького Ленину 25 января 1913 г. // М. Горький. Соч.: В 30-ти т. М., 1954. Т. 29. С. 294

<sup>4</sup> Например, в письме А. А. Трояновскому в конце января 1913 г., откликаясь на предложение о сотрудничестве в большевистском журнале “Просвещение” // Лит. наследство. М., 1988. Т. 95. С. 623-624.

<sup>5</sup> Об этом писал в воспоминаниях о Горьком Н. Валентинов. // Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. Кн. 78. См. перепечатку: Из мемуаров русского зарубежья // Реферативный журнал: Общественные науки в СССР. Литературоведение. Серия 7. 1991, № 2. С. 29-61.

- 6 См. например: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 48. С. 83-85.
- 7 Там же. Т. 49. С. 300.
- 8 Там же. Т. 48. С. 230.
- 9 Валентинов Н. Малоизвестный Ленин. Париж, 1973. С. 156.
- 10 Такой была общепринятая точка зрения на период каприйских разногласий Горького с Лениным в нашем горьковедении, выраженная, например, в работах Б. А. Балика, А. И. Овчаренко. См. в кн.: Русская литература конца XIX-начала XX в.: 1908-1917. М., 1972. С. 13, 16-17, 38-39; Овчаренко А. Публицистика М. Горького. М., 1965. С. 266-268, 280-281.
- 11 Парамонов Б. Горький, белое пятно // Октябрь, М., 1992, № 5. С. 158 и др.
- 12 Богданов А. А. Новый мир // Богданов А. А. Вопросы социализма: Работы разных лет. М., 1990. С. 99.
- 13 См. апрельские письма 1908 г. Пятницкому // Архив А. М. Горького. М., 1954. Т. IV. С. 244, 247, 249.
- 14 Новая жизнь. Пг., 1917, 25 апреля (8 мая); Переиздание: М. Горький. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре (1917-1918 гг.). М., 1990. С. 25-26.
- 15 Там же. 1917. 6(19), 10(23) декабря; указ. переизд. С. 89, 95.
- 16 АГ. КГ-п-67-1-1.
- 17 См.: М. Горький. Полн. собр. соч.: В 25-ти т. Т. 20. М., 1974. С. 19-25.
- 18 Там же. Т. 20, С. 29, 36.
- 19 Уже несколько лет в редакции "Литературного наследия" ведется работа над томом "Неизданный Горький". В него должна войти переписка Горького с А. Богдановым, В. Базаровым, Г. Алексинским. Каждая из них известна исследователям не в полном объеме.
- 20 Независимая газета. 1991. 29 августа.
- 21 В 1990 г. появились переиздания горьковского публицистического цикла, который не выходил в СССР после 1918 г. См.: М. Горький. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре (1917-1918 гг.). М., 1990.— Издатели: С. Б. Михайлова, А. М. Симонян; М. Горький. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М., 1990.— Вступительная статья, публикация, подготовка текста и комментарии И. Вайнберга.
- 22 С конца 80-х годов в советской печати стали появляться воспоминания о Горьком его современников, широко известные в литературе русской эмиграции: В. Ходасевича, Б. Зайцева, Евг. Замятина, Н. Валентинова и др.
- 23 См. о нем в работах, выражающих точку зрения официальной исторической науки прошлых лет: Думова Н. Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром: октябрь 1917-1920 гг. М., 1982. С. 242-249; Красная книга ВЧК. 2-е изд. М., 1989. Т. 2. С. 52. Новейшие исследования ставят вопрос об идеологической, но не заговорщической оппозиционности многих членов "Национального центра". См.: Букшпан Я. М., Кафенгауз Л. Б. Программа экономического возрождения страны, составленная "Национальным центром" в 1919 г. // Неизвестная Россия. XX век. I. М., 1992. С. 148-183.
- 24 См. об этом: Мельгунов С. П. Красный террор в России. 1918-1923. Берлин. 1923. Цит. по переизданию: М., 1990. С. 47, 112.
- 25 Там же. С. 47.
- 26 Манухин И. И. "С. Боткин, И. Мечников, М. Горький" // Новый журнал. Нью-Йорк, 1967, № 86. С. 156.
- 27 См. Мельгунов С. П. Красный террор в России. С. 197-202.
- 28 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 47-49.
- 29 Там же. Т. 39. С. 62.
- 30 Там же. Т. 39. С. 158.
- 31 См. в очерке "Владимир Ильич Ленин" (1920). // Перепечатка: Совершенно секретно, 1990, № 4. М., С. 6.
- 32 См. об этом: М. Горький. Соч.: В 25-ти т. Т. 20. С. 529.

- <sup>33</sup> Алданов М. Из иконоборца он стал советской иконой //Лит. газ., 1993, 24 марта.
- <sup>34</sup> См. об этом: ЛЖТГ. Вып. 3. С. 187.
- <sup>35</sup> Сорокин П. Современное состояние России //Перепечатка: Новый мир. 1992, № 5. С. 184-185.
- <sup>36</sup> См. в воспоминаниях А. К. Воронского сцену о споре "двух правд"//Ленин и Горький. С. 456-457.
- <sup>37</sup> См. об этом в брошюре П. Витязева "Частные издательства в Советской России". Пг., 1921. С. 28; см. статью И. И. Скворцова-Степанова "Государственное издательство, частные фирмы и подрядные предприятия" //Книга и революция. 1920, № 6. С. 5-6.
- <sup>38</sup> Вестник литературы. 1921, № 3; М. Горький. Соч.: В 30-ти т. Т. 29. С. 398.
- <sup>39</sup> См.: Книга и революция. 1920, № 6. С. 4-9; № 7. С. 1-6.
- <sup>40</sup> См.: Известия ЦК КПСС. М., 1989, № 6. С. 215.
- <sup>41</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 198; см. также: Лит. наследство. Т. 80. С. 698, 703.
- <sup>42</sup> Рассел Б. Практика и теория большевизма. М., 1991. С. 20-25.
- <sup>43</sup> Там же. С. 25.
- <sup>44</sup> Новая жизнь. Пг., 1917, 22 декабря (1918, 4 января); указ. переизд. С. 102.

<5(18) или 6(19) февраля 1908 г. Капри.>

Дорогой Ильич!

Посылаю мою заметку<sup>1</sup> и стихи одного юноши, полученные мною от него из "Крестов"<sup>2</sup>. Мальчик, — несомненно, — даровитый, но — увы! кажется, его повесят, ибо, участвуя в некотором предприятии, он разрушил чье-то бытие.

Получите статью, и сейчас же сообщите — годится ли<sup>3</sup>, дабы я успел дать к сроку следующую, коя будет посвящена обзору мотивов "творчества" в русской литературе, а в третьей я уже перешел бы к характеристике современности. В трех статьях можно закончить всю музыку, дав общий абрис текущей сумятицы, но можно и продолжать, освещая творения гг. российских литераторов по журналам — чего мне не хотелось бы.

Имею смелость воображать, что вся эта реакция по скорости полетит ко всем чертям. — "Гум, гум!" — говорит Ильич.

Война будет. Будет война. Из петли, коя захлестывается сразу в двух местах — на Балканах и в Балтийском море<sup>4</sup> — нашим синьорам не выскочить, нет! Она их втянет. А если они выскочат без войны — так уж с огромным проигрышем все равно.

В "Пролетарии" — следует дать статью о внешней политике нашего правительства, следует<sup>5</sup>! Ибо черносотенные газеты да и милюковские — они сим мотивом будут пользоваться в своих целях весьма усердно — вы увидите!

Было бы хорошо предупредить их поганую брехню.

Надо вообще делать газету хорошей, — не загромождать бы ее мелочами, а паче того — полемикой с коленом Дановым<sup>6</sup>! Ой, боюсь я сей полемики! Отвечать бы им, данам, раз в месяц, в особом приложении, на всю их мудрость сразу, оптом.

"Очерки по философии марксизма" изволили читать<sup>7</sup>? Хороша книжица, дядюшка, ей же Богу, хороша! И Плеханову всыпано здорово, — не умерщвляй живущее и развивающееся<sup>8</sup>!

А вот Лабриола написал статью против его, Герр. Валентина<sup>9</sup> — это вещь! Перевел он ее на российскую грамоту и хочет печатать в России. Будет скандалище. Лабриола себя убьет, но Плеханов — не почешется и многие — возликут. Ужасно задорно, беспардонно, грубо, — главное же — не доказательно.

Жду ответа от Базарова и как только он сообщит о времени своего приезда сюда — посылаю вам 600 депеш<sup>10</sup> — приезжайте!

Видеть вас хочется — во всю мочь. Привет А. А.<sup>11</sup> Его статья — художественно хороша<sup>12</sup> — пусть я буду съеден Мережковским, если это не верно!

Жму руку.

Всего доброго.

А. Пешков

2

<5(18) или 6(19) ноября 1909 г. Капри.>

Владимир Ильич, дорогой мой, я вас очень уважаю, более того — Вы органически симпатичный мне человек, но, знаете, вы наивнейшая личность в отношениях ваших к людям и в суждениях о них, уж извините меня. Ладно еще, коли только наивнейший, а порою, мне кажется, что всякий человек для Вас — не более, как флейта, на коей Вы разыгрываете ту или иную любезную Вам мелодию<sup>1</sup>, и что Вы оцениваете каждую индивидуальность с точки зрения ее пригодности для Вас — для осуществления Ваших целей, мнений, задач. Эта оценка, оставляя в стороне ее глубоко индивидуалистическую и барскую подкладку, — эта оценка необходимо должна создавать вокруг Вас пустоту — сие не суть важно, Вы человек сильный — но, главное, эта оценка неизбежно должна приводить Вас к ошибкам.

“Такие люди, как Мих<аил>”<sup>2</sup> — отнюдь не могут быть порукой за нормальную работу в деле партийного строительства — ошибаетесь Вы. Мих<аила> я знаю хорошо, он жил у меня, за время, меньшее, чем год, я его видел материалистом по Плеханову, эмпириомонистом, яростным противником центра, “Пролетария”, Ленина, проводил его отсюда сторонником Ленина, но все же эмпириомонистом, не знаю, кто он сегодня и чем будет завтра<sup>3</sup>. Это — истерик, но у него от природы, д<олжно> б<ыть>, психика крайне шаткая, в этом отношении он не лучше любого интеллигента. Человек он — даровитый, но к расколам и дезорганизации склонен в самой острой степени, это объясняется его большущим и смешным самолюбием и крайним индивидуализмом. Он хочет играть крупную роль и — коли не умрет<sup>4</sup> — будет играть ее, к сожалению. Я бы посоветовал Вам как можно более сдержанности и осторожности в отношении к нему. Это мое мнение, и о нем он знает, я не однажды говорил все сие в глаза ему.

Не такие люди, как он и Старовер<sup>5</sup>, способны расширять идейный обиход русского рабочего, не они могут внести в его сознание необходимость дисциплины — удивляюсь, как Вы этого не видите.

Писать о том, что здесь происходит, я не буду: людей — понимаю, а дела их — не понимаю. Думаю, однако, что новый раскол будет не менее глубок, чем раскол беков и

меков, и будут в нем линии, симпатичные мне: стремление рабочих выбиться из-под опеки российского интеллигента и стремление к широкой пропаганде социализма как целостного миропонимания<sup>6</sup>. Это хорошо, согласитесь, ибо когда читаешь руководящий орган Б<ольшевистского> Ц<ентра> “Пролетарий”, — скучнейшая, малограмотная и никому не нужная газетина, как Вы знаете, конечно, то ясно видишь, что ерши, сочиняющие эту газетину, во глубине своих душ не верят ни в пролетариат, ни в социализм.

Как видите — я фракционер. Отсюда совсем не значит, что в моих глазах ленинцы более правы, чем максимовцы<sup>7</sup>, или наоборот, нет, это значит только, что и Ленин — нигилист, и Максимов — нигилист. Не обижайтесь: есть сборник “Вехи”<sup>8</sup>, в нем семь человек, сразу Бога проповедуют — но и они тоже нигилисты. Судьба.

Позвольте обратить Ваше внимание на такой печальный факт: XIX век в истории русского о<бще>ства являет собой цепь убийственных доказательств полной неспособности россиян к дисциплине и организованной деятельности.

Мне хочется сказать соотечественникам:

— Милые. Вы бы хоть в XX-то веке сократили в себе этот окаянный славянский анархизм.

Знаете что, дорогой человек. Приезжайте сюда<sup>9</sup>, до поры, пока школа еще не кончилась, посмотрите на рабочих, поговорите с ними. Мало их. Да, но они стоят Вашего приезда.

Отталкивать их — ошибка, более, чем ошибка.

Есть среди них люди весьма серьезные и уж во всяком случае нормальнее, чем Мих<аил> и т<ак> д<алее>. И головы у них прекрасно приделаны.

Еще раз — не задирайте их. Ершитесь промежду себя — это Ваше, любезное дело, а их — не трогайте.

Приезжайте-ка, нигилистище.

Крепко жму руку...

### 3

*<После 11 — до 16 января 1919 г. Петроград.>*

Дорогой Владимир Ильич!

Н. А. Рожков вручил мне для передачи Вам прилагаемое письмо<sup>1</sup>; позвольте и мне присоединить к этому письму некоторые соображения.

Считаю, что разрешение свободной торговли не допустимо принципиально и не осуществимо практически<sup>2</sup> в условиях отчаянной разрухи транспорта и той анархии, кою плодит окаянная власть на местах.

Но — всемерно присоединяюсь к идее Вашей личной диктатуры<sup>3</sup>, понимая под этим самую строгую централизацию

власти в Ваших руках или в руках Вами намеченного и выбранного коллектива работников, подобных Л. Б. Красину<sup>4</sup>. Уверен, что только это может спасти русскую да и германскую революцию<sup>5</sup>, — потому что если мы не накормим немцев — они проиграют игру. Я видел Фукса<sup>6</sup>, и хотя в Москве его здорово накачали коммунизмом по-русски, однако парень не настолько обалдел, чтоб не понимать простейшей истины: без продовольственной помощи со стороны России спартаковцы<sup>7</sup> не справятся со своей задачей и что только эта помощь даст им силу и власть. Для того, чтоб кормить немцев, необходимо насытиться самим, ну, да! А мы насытимся лишь при условии, если Вы возьмете дело в свои руки, изъяв его из рук тех болванов, которые не чувствуют разницы между экономическим материализмом и политическим идиотизмом. Вы, прирожденный политик и государственный человек, не можете не понимать, что иной раз необходимо пожертвовать чистотой принципа, дабы этот же принцип глубже внедрить в сознание масс. Сейчас пуд муки имеет гораздо более серьезное политически-агитационное значение, чем митинг на 3 тысячи человек, даже и с участием самого т. Зиновьева<sup>8</sup>. Вам, конечно, не известны резолюции, которые выносят здешние рабочие, а в этих резолюциях ясно звучит потеря веры в силу и разум власти.

Дорогой В. И.! Надо что-то делать и как можно скорей. Я вовсе не панический человек, но — положение становится угрожающим.

Будьте здоровы!

А. Пешков

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

Н. А. РОЖКОВ — В. И. ЛЕНИНУ

Петроград, Нижегородс<кая>, 12, кв. 73,  
11 янв<аря> 1919.

Владимир Ильич,

Я пишу Вам это письмо не потому, что надеюсь быть Вами услышанным и понятым, а по той причине, что не могу молчать, наблюдая положение, которое мне кажется отчаянным, и должен сделать все зависящее, чтобы предотвратить угрожающие несчастья. Должен предпринять даже безнадежную попытку.

Хозяйственное, в частности, продовольственное положение советской России совершенно невозможно и с каждым днем ухудшается. Близится конечная страшная катастрофа. Не буду сейчас говорить о причинах ее в общехозяйственном смысле, — об этом, если Вы того паче чаяния пожелаете, можно написать особо, — пока же буду вести речь только о продо-

вольственным вопросе. Положение здесь таково, что, напр<имер>, половина населения Петрограда обречена на голодную смерть. При таких условиях Вы не удержитесь у власти, хотя бы никакие империалисты и белогвардейцы Вам непосредственно и не угрожали. Вам, экономисту, это должно быть понятно.

Не помогут и все Ваши угрозы заградительными отрядами: в стране господствует анархия, и Вас не испугаются и не послушают. Да если бы и послушали, то ведь дело не в этом, — дело в том, что вся Ваша продовольственная политика построена на ложном основании.

Кто мог бы возражать против государственной монополии торговли важнейшими предметами первой необходимости, если бы правительство могло снабдить ими население в достаточном количестве? Но ведь это невозможно. Вы этого не можете и не сможете. Нельзя же, не рискуя собственным существованием, брать на себя ответственность за дело заведомо безнадежное. Сохраните Ваш аппарат снабжения и продолжайте его использовать, но не монополизировать торговли ни одним предметом питания, даже хлебом. Снабжайте, чем можете, но разрешите вполне свободную торговлю, диктаторски предпишите всем местным советам снять все запрещения ввоза и вывоза, уничтожьте все заградительные отряды, если нужно, даже силой. Без содействия частной торговой инициативы Вам, да и никому, не справиться с неминуемой бедой. Если Вы этого не сделаете, — сделают Ваши враги. Нельзя в XX веке превращать страну в конгломерат средневековых замкнутых местных рынков: в наше средневековье, когда население в пределах нынешней советской России было в 20 раз меньше, это было естественно. Теперь это — вопиющая нелепость.

Мы с Вами разошлись слишком далеко. Может быть и даже всего вероятнее, мы не поймем друг друга. Но положение, по-моему, таково, что только Ваша единоличная диктатура может пересечь дорогу и перехватить власть у контрреволюционного диктатора, который не будет так глуп, как царские генералы и кадеты, по-прежнему нелепо отнимающие у крестьян землю. Такого умного диктатора еще пока нет. Но он будет: "было бы болото, — черти найдутся". Надо перехватить у него диктатуру. Это сейчас можете сделать только Вы, с Вашим авторитетом и энергией. И надо сделать это неотложно и в первую голову в наиболее остром, продовольственном деле. Иначе гибель неизбежна. Но, конечно, этим ограничиться нельзя. Надо всю экономическую политику перестроить, имея в виду социалистические цели. И опять-таки нужна будет для этого диктатура. Пусть съезд советов облечет Вас чрезвычайными полномочиями для этого.

Для чего именно "этого" в смысле общеэкономической в первую голову, а затем в связи с этим и всякой другой политики, — об этом я, если хотите, напишу Вам в другой



раз. Ваше дело судить и решить, нужно ли это. Мне и это мое письмо кажется смешным с моей стороны донкихотством. Ну, пусть в таком случае оно будет первым и последним.

*Н. Рожков*

4

*<6 сентября 1919 г. Петроград.>*

Владимир Ильич!

Убедительно прошу Вас принять и выслушать профессора В. Н. Тонкова<sup>1</sup>, Президента Военно-Медицинской Академии.

Здесь арестовано несколько десятков виднейших русских ученых, в их числе: Депп<sup>2</sup>, Осипов<sup>3</sup>, Терешин<sup>4</sup>, Буш<sup>5</sup>, Крогиус<sup>6</sup>, Ольденбург<sup>7</sup>, Белоголовый<sup>8</sup>, Д. Гримм<sup>9</sup> и т. д. и т. д.

Считаю нужным откровенно сообщить Вам мое мнение по этому поводу:

для меня богатство страны, сила народа выражается в количестве и качестве ее интеллектуальных сил. Революция имеет смысл только тогда, когда она способствует росту и развитию этих сил. К людям науки необходимо относиться возможно бережливее и уважительней, — особенно необходимо у нас, где семнадцатилетние мальчики идут в казармы и на бойню гражданской войны и где — поэтому — рост интеллектуальных сил<sup>10</sup> будет надолго задержан.

Мы, спасая свои шкуры, режем голову народа, уничтожаем его мозг.

Очевидно — у нас нет надежды победить и нет мужества с честью погибнуть, если мы прибегаем к такому варварскому и позорному приему, каким я считаю истребление научных сил страны.

Что значит этот прием самозащиты, кроме выражения отчаяния, сознания слабости или — наконец — желания мести за нашу собственную бездарность?

Я решительно протестую против этой тактики, которая поражает мозг народа, и без того достаточно нищего духовно.

Знаю, что Вы скажете обычные слова: “политическая борьба”, “кто не с нами — против нас”, “нейтральные люди — опасны” и прочее<sup>11</sup>.

Огромное большинство представителей положительной науки нейтрально и объективно, как сама наука: это люди аполитичные.

Среди них большинство — старики, больные: тюрьма убьет их: они уже достаточно истощены голодом.

Владимир Ильич! Я становлюсь на их сторону и предпочитаю арест и тюремное заключение участию — хотя бы и молчаливому — в истреблении лучших, ценнейших сил рус-

ского народа. Для меня стало ясно, что “красные” такие же враги народа, как и “белые”.

Лично я, разумеется, предпочитаю быть уничтоженным “белыми”, но “красные” тоже не товарищи мне.

Позвольте надеяться, что Вы поймете меня.

6.X.19

М. Горький

5

*<Не ранее 16 — не позднее 19 сентября 1919 г.  
Петроград.>*

Дорогой мой Владимир Ильич!

Что такое русская интеллигенция — я знаю не хуже Вас и — если Вы помните — был одним из первых литераторов России, который отнесся к ней резко-отрицательно, так же отношусь до сей поры и не вижу причин изменить мое отношение в будущем.

Но, сударь мой, надо же, наконец, понять разницу между политиканствующей интеллигенцией и представителями интеллектуальных, научных сил страны, надо же провести черту разделения между жопой Павла Милюкова<sup>1</sup> и головой профессора Делпа<sup>2</sup>, надо же понять, что одна цена Дану<sup>3</sup>, другая — Бушу, что людишки из “Бесов” Достоевского — мелкосамолюбивые, завистливые, способные на всякие преступления ради честолюбия, покоя и уюта своего, не имеют ни йоты общего с проф. Туркиным<sup>4</sup>, который произвел открытием своим полный переворот в деле книго- и хромопечатания. Человек, устраняющий совершенно свинцовый шрифт и всю современную типографскую технику, которая отравляла и убивала рабочих сотнями тысяч, — такой человек стоит не меньше любого реформатора в области политики.

Черт вас дерит! — Надо знать, что Крогиус кадетом никогда не был и что он искренне большевик, а если не лезет к власти, к сытному куску, так это — из брезгливости, это потому, что около власти группируются профессора из черной сотни, авантюристы, жулики.

Из того, что Сергей Ольденбург был когда-то секретарем Василеостровского района к<онституционно>-д<емократической> партии и даже министром при Вр<еменном> Пр<авительстве> — не следует, что он и сейчас — кадет; это крупнейший ученый, превосходный работник, человек, умеющий смотреть на события объективным взглядом историка, и, зная его отношение к Сов<етской> Вл<асти>, я утверждаю, что он — не враг, а хороший помощник.

Поймите же, что на той, на белой стороне, — порядочных людей почти нет, ни одного крупного человека из мира ученых, — все они остались по эту сторону<sup>5</sup>, и не ради заговоров,

а в искренней надежде, что новый строй даст им широкую возможность работать. И они — работают, за совесть, да!

Велите Ком<иссариату> Нар<одного> Просу<Просвещения> дать Вам краткий перечень открытий и изобретений, сделанных за время существования Сов<етской> Власти<sup>6</sup>, и Вы убедитесь, что я прав, прав! Будучи опубликован, перечень этот имел бы огромное агитационное значение не только у нас, но и за границей, в Антанте.

Да, я невменяем<sup>7</sup>, но я не слеп, я — не политик, но — не глуп, как — часто — бывают глупы политики. Я знаю, что Вы привыкли “оперировать массами” и личность для Вас — явление ничтожное,— для меня Мечников, Павлов, Федоров<sup>8</sup> — гениальнейшие ученые мира, мозг его. Вы, политики,— метафизики, а я вот, невменяемый художник, но — рационалист больше, чем вы.

В России мозга мало, у нас мало талантливых людей и слишком — слишком! — много жуликов, мерзавцев, авантюристов. Эта революция наша — на десятки лет; где силы, которые поведут ее достаточно разумно и энергично? Рабочий класс истребляется,— крестьянство? До сей поры оно еще не делало революций социалистических,— Вы думаете, сделает? “Блажен, кто верует,— тепло ему на свете”,<sup>9</sup> — а я в мужика не верю, считая его непримиримым врагом рабочего и культуры.

Ученый человек ныне для нас должен быть дороже, чем когда-либо, именно он, и только он, способен обогатить страну новой интеллектуальной энергией, он разовьет ее, он создаст необходимую нам армию техников во всех областях борьбы человеческого разума с мертвой материей.

Я говорю — сделайте подсчет всего, что совершено людьми науки за время существования Сов<етской> Вл<асти> — вы встретите в этом перечне и уплотнение ткани рыбацких сетей, и открытие бациллы испанской болезни, революцию в области цветного печатания, интереснейшие домыслы в области химии пищевых веществ и т. д. и т. д.— Вас удивит количество и качество работы, совершенной людьми полуголодными, которых выселяют из квартир, оскорбляют всячески, таскают в тюрьмы.

Понятно недоверчивое и даже подозрительное отношение к представителям гуманитарных наук, но отношение к людям положительного знания я считаю варварским, дурацким, крайне вредным делу революции. Это — социальная революция, стало быть, пере[о]ценка всех ценностей — ну, да, я понимаю! Но, сударь мой — ценность положительного знания для Вас, марксиста, должна быть непререкаема, и Вам должно быть памятно и ясно, что именно положительное знание являлось, является, явится силою наиболее революционной; только разум, направленный в эту сторону, энергично двигает людей вперед, организуя их желания, потребности и бесконечно расширяя их.

Вот в чем дело. А искоренять полуголодных стариков-ученых, засовывая их в тюрьмы, ставя под кулаки обалдевших от сознания власти своей идиотов,— это не дело, а варварство.

И еще раз: одна вещь Викторьен Чернов<sup>10</sup>, другая — доктор Белоголовый или Манухин<sup>11</sup>. Нет, Вы должны оценить иначе — выше — лучший мозг страны. И не смешивайте интеллигенцию политиканствующую с творцами интеллектуальной — научной — энергии.

Деппа — выпустили, очень рад и благодарен. Освободите Терешина, Осипова — один из лучших хирургов,— Буша, Ольденбурга, Шербу<sup>12</sup> и вообще — ученых.

Засим — пребываю невменяем до конца дней и крепко жму руку вашу. Вы тоже невменяемый господин.

Хотя я с Леонидом Андреевым и разошелся давно, резко, а — жалко мне его! Рано умер.<sup>13</sup> Талантлив был — дьявольски.

А. П.

6

*<После 6-го, первая половина декабря 1919 г.  
Петроград.>*

Дорогой

Владимир Ильич!

Посылаю Вам докладную записку петроградских ученых<sup>1</sup> и убедительно прошу Вас обратить на нее серьезное внимание. Положение ученых — отчаянное. Я говорю главным образом о представителях “положительного знания”, а не о гуманистах.

Работают они — превосходно, продуктивно, как никогда, и Сов<етская> Власть может, не хвастаясь, сказать, что за два года ее бытия почти во всех отраслях наук естественных достигнут целый ряд открытий и изобретений высокой важности<sup>2</sup>. Если Вы поручите кому-нибудь — человеку ученому и серьезному, а не Рязанову<sup>3</sup>, напр., — составить перечень открытий и работ научных за два года — вас поразит обилие ценнейших фактов высокого практического значения. Этот перечень имел бы большое агитационное и моральное значение и в глазах людей Антанты.

Но — все-таки ученые погибают с голода и холода. Необходимо сделать все возможное, чтоб поддержать их здоровье и трудоспособность. Нужно дать им хлеба и дров. Сделайте что-нибудь в этом направлении<sup>4</sup>! Когда-то социалисты обещали дать простор и свободу людям науки, обещали создать для них особо удобные условия жизни. Теперь речь идет только о красноармейском пайке.

Засим: несколько раз бывшие “буржуи”, люди, стоявшие во главе крупных торгово-промышленных предприятий, <выражали желание> заявить от их лица Антанте, что они не

считают Колчака, Деникина и прочих врагов Сов<етской> Власти представителями действительных интересов страны и народа<sup>5</sup>, хотя и не являются сторонниками коммунистов в их приемах управления страной. На службу С<оветской> В<лас-ти> они не идут потому, что считают большинство коммунистов бездельниками, неучами, а — главное — ворами. Это совершенно справедливо и — сколь сие ни странно — рабочие относятся к коммунистам так же отрицательно, как и бывшие хозяева их.

Но — дело не в этом, а в том, что все-таки эти люди выражают желание заявить Антанте, что они отнюдь не являются сторонниками Деникина и Колчака. В вашей воле использовать это желание или отвергнуть его. Я говорю о людях, которых заграничный торгово-промышленный мир хорошо знает. Их голоса могут оказать весьма значительное влияние. И вы понимаете, конечно, что этим актом они накидывают на свои шеи петлю — Колчаки и Деникины не простят им этого выступления.

Далее: посылаю доклад одной коммунистки<sup>6</sup>, которая все время последнего наступления белых была на фронте. Она сама видела, как жестоко порят солдат, и ей нельзя не верить, — это баба честная и не глупая.

Нельзя ли не пороть? Она говорит: “Я бы ничего не имела против, если б пороли коммунистов, — это люди сознательные, они должны отвечать за свои поступки. Но истязать бессознательных людей — это значит внушать им ту же ненависть к революции, которую они питали к монархии”.

Я, конечно, не верю, что русский народ питал активную ненависть к монархии, нет, — он просто терпел ее, так же позорно, как ныне терпит бессмысленный и бездарный режим Сов<етской> Власти.

Но я совершенно согласен с тем, что коммунистов необходимо пороть. Ах, какие это воры, если б Вы знали! И какие подлые буржуи будут из них года через два-три!

Засим — до свидания! Желаю всего доброго.

А. Пешков

Очень прошу — поставьте ученых более достойно, дайте им возможность работать!

А. П.

7

<15 сентября 1920 г. Москва.>

Владимир Ильич,

с Заксом я не буду работать и разговаривать не хочу<sup>1</sup>. Я слишком стар для того, чтоб позволять издеваться надо мною.

Да и вообще я вижу, что мне пора уходить в сторону.— Поэтому я отказываюсь вообще от работы в тех учреждениях, которые созданы мною, как например: во “Всемирной Литературе”, Издательстве Гржебина, в “Комиссии по улучшению быта ученых”.

Сегодня же подаю заявление во Внешторг о том, что снимаю с себя обязанности Председателя “Экспертной комиссии”, и во все другие учреждения, где до сего дня работал<sup>2</sup>.

Это решение обдуманное, чтоб заявить о нем, я ждал только конца дела с Заксом.

Всего хорошего.

А. Пешков

15. IX....г.

8

*<16 сентября 1920 г. Москва.>*

Владимир Ильич,  
предъявленные мне поправки к договору 10-го января со мной и Гржебиным — уничтожают этот договор. Было бы лучше не вытягивать из меня жилы в течение трех недель, а просто сказать “договор уничтожается”<sup>1</sup>.

В сущности меня водили за нос даже не три недели, а несколько месяцев, в продолжение коих мною все-таки была сделана огромная работа: привлечено к делу популяризации научных знаний около 300 человек лучших ученых России, заказаны, написаны и сданы в печать заграницей десятки книг и т. д.<sup>2</sup>

Теперь вся моя работа идет прахом. Пусть так.

Но я имею пред родиной и революцией некоторые заслуги и достаточно стар для того, чтоб позволить и дальше издаться надо мною, относясь к моей работе так небрежно и глупо.

Ни работать, ни разговаривать с Заксом и подобными ему я не стану. И вообще я отказываюсь работать как в учреждениях, созданных моим трудом — во “Всемирной литературе”, Издательстве Гржебина, в “Экспертной комиссии”, в “Комиссии по улучшению быта ученых”, так и во всех других учреждениях, где работал до сего дня.

Иначе поступить я не могу. Я устал от бестолковщины.

Всего доброго.

А. Пешков

16. IX-20 г.

*<Конец октября — первая половина ноября 1920 г.  
Петроград или Москва.>*

Владимир Ильич!

“Комиссия по улучшению быта рабочих” принялась за дело весьма усердно<sup>1</sup>, но сие усердие лишено не только милосердия, а и разума.

Вот уже наблюдается несколько случаев выселения докторов из занимаемых ими квартир: выселили известного специалиста по болезням сердца Плетнева<sup>2</sup>, выселяют специалиста по туберкулезу д-ра Алексина<sup>3</sup>, причем отбирают у него и всю мебель.

Есть и еще десяток аналогичных случаев.

Послушайте, В. И.: не будет ли лучше сделать так:

*отвести в каждом городском районе дом для докторов в полное их распоряжение?* Это и докторов устроит, и для населения района удобно — каждый будет знать, где ему найти хирурга, акушера и т. д.

А так, как это делается сейчас, мы ничего, кроме излишнего раздражения одних и разврата других, — не создадим.

Говоря о разврате, я имею в виду воровство обстановки из квартир.

Я особенно прошу Вас оказать внимание д-ру Алексину, это прекрасный медик, — его знает Мария Ильинишна<sup>4</sup> — мой старый друг. Распорядитесь, прошу Вас, чтоб у него не отбирали мебель!

Очень прошу!

*А. Пешков*

И нельзя ли дать Алексину какую-нибудь квартиру — не на улицу же ему идти с детьми!

Пожалуйста!

*А. П.*

Тел. Алексина: 2-69-76

Мыльников переул., 9.<sup>5</sup>

*Черновое*

*<29 мая 1921 г. Петроград>*

Ленину — без последней фразы!

29. V. 21.

Анатолий Васильевич!

У Александра Александровича Блока — цынга, кроме того за последние дни он в таком нервном состоянии, что его близкие, а также и врачи опасаются возникновения серьезной

психической болезни. И участились припадки астмы, которой он страдает давно уже.

Не можете ли Вы выхлопотать — в спешном порядке — для Блока выезд в Финляндию, где я мог бы помочь ему устроиться в одной из лучших санаторий?

Сделайте возможное, очень прошу Вас!<sup>1</sup>

Сегодня ночью в квартиру Ив. Ив. Манухина явились люди из П<етроградской> Ч. К. с ордером на арест онаго Манухина<sup>2</sup>. Когда им сообщили, <что> д<октор> Ман<ухин> три месяца тому назад уехал в научную командировку, они, не поверив в это, устроили в его квартире засаду. Квартира забронирована Компросом <Комиссариатом просвещения>.

Произведены обыски<sup>3</sup>: у П. С. Осадчего<sup>4</sup>, заместителя Кржижановского по Госплану, у С. Ф. Ольденбурга<sup>5</sup>, — они оба в Москве.

Арестован проф. психиатр Осипов<sup>6</sup>, заместитель Осадчего по Электро-Техническому Институту П. А. Шуркевич<sup>7</sup>, проф. Щерба<sup>8</sup> и еще немало людей науки<sup>9</sup>.

Не думаю, что при таком отношении симпатии профессуры к Сов<етской> Вл<асти> и желание работать с нею — будут возрастать. Всех этих людей я хорошо знаю, — люди вполне лояльные и прекрасно понимающие, что “всякий удар по Сов<етской> Власти суть удар по России, ибо эта власть уже срослась со страной”<sup>10</sup>.

Вам, руководителю просвещения страны и поборнику ее культуры, надлежало бы поднять голос против этих безобразий.

Жму руку.

А. Пешков

*<Около 19-20 июля 1921 г. Москва.>*

Дорогой Владимир Ильич,

не удивляйтесь тому, что я снова говорю о Гржебине<sup>1</sup>.

Когда в наше тяжелое время по адресу ответственных работников легко бросаются словами, какие были немыслимы еще 2-3 года тому назад, то это делается и без особого злого умысла и без особого ущерба для других. Всевозможные обвинения, дикие выходки, клеветнические непристойности — стали настолько обычным явлением, вошли в быт, что на это перестали реагировать — это развлекает только общество.

Иное дело — Гржебин.

Вот уже два года<sup>2</sup>, как его травят самым отвратительным образом. Тут все: и клевета, и сплетня, и зависть, и злоба — и нет такого преступления, в котором бы его не обвиняли<sup>3</sup>.

Меня удивляет его настойчивость, упорство и выдержка, с каким он, не взирая ни на что, продолжает свою ценную



работу, слишком тяжелую при создавшихся условиях. Гржебин, постоянно рискуя, рискуя подчас жизнью, ибо клевета иногда доходит до чудовищных размеров, работает, как фанатик.

Я его хорошо знаю по ежедневной работе с ним за последние 16-17 лет<sup>4</sup>. Вы, конечно, думаете, что меня легко обмануть, что я доверчив и т. д. Нет, не беспокойтесь, я людей знаю и знаю не хуже Вас. Гржебина знают Ладыжников, Тихонов<sup>5</sup>, знают его Подвойский, Ганецкий<sup>6</sup>, не говоря уже о целом ряде ученых, писателей, художников, с которыми он давно и глубоко связан.

Гржебин отказался от всякой личной жизни. Ему не безразлична его семья — а он почти не видит своих детей; он мог двадцать раз эмигрировать из России и жить спокойно, мог бы даже устроить какое-нибудь Издательство за границей — но он не может порвать с Россией.

Положительно, всю жизнь он отдает нашему Издательству, общему делу, которое я нахожу необходимым. Вы поймете лишь тогда, в чем состоит оно, когда внимательно просмотрите каталог-план Издательства<sup>7</sup>.

Гржебин вышел из семьи, где не только не знали книги, но говорить по-русски не умели. Все его детство прошло в кошмарной нищете, невежестве, до 13 лет он не знал азбуки.

Это его чисто еврейское упорство и стремление “выйти в люди” меня больше всего восхищает.

Он сумел перешагнуть через очень многое, жалкое, нищее — обо всем этом подробно не могу говорить в письме — и все это достойно уважения, а не преследования и травли. “Новая Жизнь” и многие другие литературные дела обязаны своим техническим и коммерческим успехом исключительно ему.

Я знаю также, что если бы ему теперь не мешали на каждом шагу, не подхватывали все те инсинуации, которыми пользуются клеветники-конкуренты его или просто завистники — много ценного создал бы он.

Судите его по делам его, а не по разговорам Рубинштейнов, Лундбергов, Вейсов, Заксов<sup>8</sup>, Мережковских, Гиппиус<sup>9</sup>.

Содействуйте нашему Издательству — и Вы сами скоро убедитесь, какие значительные результаты получаются.

Теперь же все делается, чтобы сорвать его работу, сорвать Издательство.

Было постановлено ЦК, чтобы Госиздат в недельный срок установил список книг, их тираж и цены<sup>10</sup>. Прошло два с половиной месяца, а “воз и ныне там” — в деле Гржебина Госиздат находит возможным не подчиняться постановлениям даже ЦК.

Чем опасен Гржебин<?>

Книги, которые он будет издавать за границей, будут приходить с маркой РСФСР.

Выбор книг устанавливает Госиздат.

Цены, по договору с Госиздатом, будет Внешторг устанавливать на месте.

Уплата будет производиться только по сдаче книг.

Никаких авансов Гржебин не требует.

В чем же дело<?>

Еще ни разу ему не сказали, в чем его обвиняют, я же, повторяю, — я верю Гржебину до конца.

Могут быть те или иные ошибки — но считаться нужно с его главным, а не частностями.

И затем: из “дела” Гржебина постепенно создается дело Бейлиса<sup>11</sup> — маленькое, но все-таки достаточно гнусное. Это последнее особенно возмущает меня<sup>12</sup>.

## 12

*<29 или 30 июля 1921 г. Петроград.>*

Владимир Ильич!

Посылаю Вам письмо Кадьян, она сказала мне, что в нем идет речь о деле Таганцева<sup>1</sup>.

Сообщение об этом “заговоре”, напечатанное в Петрогр. газетах<sup>2</sup>, фактически так неуклюже и отредактировано настолько неумело, что вызывает очень досадное впечатление у одних и злорадство других. В общем же из сообщения следует, что Таганцев был спровоцирован. Люди, знающие его, единодушно говорят о нем как о человеке глупом.

Я говорил Вам об аресте священника Боярского<sup>3</sup> и о том, что за него ручаются 647 <человек> колпинских рабочих<sup>4</sup>. Вы обещали мне дать по этому поводу ответ, но я его не получил.

Сегодня количество подписей под прошением об освобождении Боярского достигло 1400 и обещает еще возрасти. Ежедневно ко мне являются группы рабочих разных заводов с ходатайствами за Боярского. Все они утверждают, что Боярский “политикой не интересуется”, но имеет огромное моральное влияние и “десятком слов может заставить работать. Примерно: лесная заготовка (прошлого года) организована вся им и огородное дело тоже. Он умеет говорить с нами и любит нас”.

Среди подписавших прошение об освобождении Боярского немало коммунистов. Я очень прошу Вас обратить внимание на это дело, а то, пожалуй, мы получим еще один Кронштадт.

Далее: моя поездка за границу организуется нелепо. На правое плечо мне сажают Кускову, Прокоповича, Тарасевича, Головина и Авсаркисова, а на левое — Хинчука, и А. И. Рыкова<sup>5</sup>. Поверьте, что мне не нужно ни тех, ни этих, гораздо больше я сделаю один, сам по себе, как М. Горький, а не как “особоуполномоченный”.

Да, пожалуй, и нет для меня смысла ехать за границу<sup>6</sup>, ибо я уже послал воззвания от своего имени С. А. Штатам, Канаде, республикам Южной Америки, Франции, французским рабочим, Англии, Германии — о медикаментах — и т. д.<sup>7</sup>

Масарик уже сообщил мне, что правительство Чехии дало миллион чешских марок<sup>8</sup>, т. е. 800 германских. Нансен действует великолепно<sup>9</sup>, испанцы — Ибаньес и Ромáнес — тоже<sup>10</sup>, и вообще люди работают неплохо. Так что торопиться с поездкой — не вижу причин, дело идет и без меня. А здесь я — необходим, мне нужно наладить дело снабжения ученых<sup>11</sup>, для чего я мог бы получить десять вагонов продуктов, если б В. Ч. К. немедля выпустила за границу уполномоченного “Дома ученых” Адолия Родэ, в чем она отказывает по какому-то капризу<sup>12</sup>.

Кроме того, я должен организовать в Пётр<ограде> отделение Московского комитета<sup>13</sup> в достаточной мере дееспособное, ибо голодные уже добрались из Самары до Новой Ладоги и скоро явятся на улицах Петрограда<sup>14</sup>. Их нужно принять, организовать, разместить, кормить, лечить, — а Питерские мальчики и девочки из Сов. учреждений с этим не сладят, — будьте уверены!

Наконец — у меня вот уже третьи сутки кровохарканье, а с этой штучкой являться в Европы на злую работу, по меньшей мере, неприлично.

Так что Вы меня не торопите с отъездом, да и вообще предоставьте мне побольше свободы действий.

А если б я и пересолил — на словах — в чем-нибудь, так это не беда и всегда можно сказать: Совет<ская> власть не ответственна за субъективизм беллетриста.

Подумайте над этим, право, это не плохо. А народишко сильно голодает и помогать ему надобно очень спешно<sup>15</sup>.

Я написал целому ряду частных лиц, чтоб они делали все, что могут, и некоторые из них начали работать весьма успешно.

Будьте здоровы!

На днях здесь умер от дизентерии Яков Ильин, литейщик, рабочий, который знал Вас в Самаре. За день до смерти я его видел, и он очень просил меня кланяться Вам при встрече. Видимо — очень хороший парень был, умница и грамотный такой.

Всего доброго.

*А. Пешков*

А что Михайло Тихвинский? Он все еще сидит. Скандальны эти аресты старых большевиков<sup>16</sup>!

*А. П.*

<22 ноября 1921 г. Берлин.>

Дорогой В. И.!

По дороге в Германию здоровьишко мое несколько растрепалось, а приехав сюда, я узнал, что у меня рецидив туберкулеза легких,— это требует двух-трехмесячного лечения в Шварцвальде, куда я и отправляюсь<sup>1</sup>.

Беру с собой Максима, он тоже достаточно растрепан<sup>2</sup>, нервы — расшатаны, настроение — скверное, в голове — сумбур. Он — честный парень и ему слишком тяжело видеть различных интернациональных жуликов, которые, прикрываясь званием “коммунистов”, обворовывают русского рабочего, тратя его деньги не на пропаганду и агитацию, а на свои жульнические делишки<sup>3</sup>.

Не менее тяжело ему наблюдать взаимную вражду и грызню и среди русских “советских” людей, видеть сотни совбездельников, припеваючи живущих на средства “казны”.

О этих людях Вам немало интересного может рассказать А. М. Лежава<sup>4</sup>,— если он решится,— во всяком случае, предложите ему показать Вам книжки, изданные неким Оцупом<sup>5</sup>,— это, конечно, мелочь, но — туберкулезная бацилла тоже мелочь, однако она разрушает весьма сильные организмы. Атом — тоже мелочь, но — основа мира, видимого нами.

Недавно о мелочах очень умно — хотя и с опозданием — говорил Троцкий<sup>6</sup>,— Вам бы тоже не мешало бросить в бесстыжие зенки россиян горсточку перца этих мелочей.

Извините меня, если я скажу Вам, что мне очень тревожно за Вас,— как бы Вам голову не свернули за Вашу экономическую политику<sup>7</sup>. Идиотов на Руси стало значительно больше, чем было их при старом режиме,— может быть, это потому так кажется, что тогда они бездействовали, а ныне — призваны к власти.

Власть пришла к ним по вкусу, и новую экономическую политику они не могут рассматривать иначе, как посягательство на их власть, а потому я думаю, что в данный момент у Вас гораздо больше врагов слева, и что они опаснее врагов справа<sup>8</sup>. Да, пожалуй, и бесстыднее. Присматриваясь к тому, что пишут и делают враги справа — ясно видишь: какое гнилье! Неприятно, все-таки, видеть соотечественника гниющим в проказе. Собираюсь написать книжечку о русском народе, сиречь — о мужичке нашем, о том чужом дяде, на которого работаете Вы и который постепенно поглощает остатки революционной энергии русского рабочего<sup>9</sup>. Книжка, конечно, явится апологией советской власти,— она одна только и могла поднять на ноги свинцовую массу русской деревни, и одно это вполне оправдывает все ее грехи — вольные и невольные.

Здесь, — начиная с Финляндии — о России ничего толком не знают и ничего не понимают, но интерес к нам во всех слоях — невероятно напряжен. Соввласть могла бы привлечь симпатии наиболее здоровой и ценной технической, а также литературной интеллигенции Запада, если б умела “показать товар лицом” — могли бы толково информировать обо всем, что делается у нас в области науки, искусства. Больше всего кричат о падении последнего — белые, а шведы, немцы, даже французы покупают русские картины для своих музеев и всячески имитируют наших молодых художников.

Следовало бы устроить в Берлине выставку русского искусства за время революции, — это будет иметь серьезное значение. И затем следует подумать: зачем, для кого издаются за границей советские газеты на русском языке?<sup>10</sup> Стоят они огромных денег, кормится около них куча безграмотных лентяев — в этом, что ли, смысл их бытия? Белые издеваются над ними, и есть за что.

Сколько денег тратится зря страной, население которой издыхает с голода! Неужели нельзя иначе устроить, несколько умнее все это?

Вот и я должен собирать деньги для голодных<sup>11</sup>, но видя, что делается с ними — с деньгами — здесь, как-то странно чувствуешь себя<sup>12</sup>. Тем более, что ведь немцы видят голову-тупство и жульничество наше, видят и — хотя еще не пишут об этом, — но и не молчат. Возможен момент, когда протянешь руку за милостиней голодному мужику — филантроп скажет нечто такое, на что ему трудно будет ответить. И рабочий Европы может сказать: “Вот как — Вы сегодня просите у нас, а еще вчера прислали нам 80 т<ысяч> лир, которые украл один из вождей наших”. — Ох, как все это скучно, дорогой В. И.

До свидания. Будьте здоровы.

*А. Пешков*

22. XI 21

#### ПРИМЕЧАНИЯ

##### 1

Печатается впервые полностью по А. Письмо частично изложено в статье В. Молчанова “Письмо с Капри: Поиски, находки” // Правда, 1976, 7 мая; найден И. С. Зильберштейном. См. об этом: Лит. наследство. Т. 95. М., 1988. С. 841.

Датируется по сопоставлению письма В. И. Ленина к А. В. Луначарскому 31 января (13 февраля) 1908 г. с письмом Горького И. П. Ладыжникову 7(20) февраля (см. подробнее ниже). Ответное письмо Ленина 12(25) февраля выслано с задержкой (что оговаривалось в его начале: “На письмо Ваше не ответил немедленно...” — Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 141).

Письмо Горького сопровождало пересылку начала ранней редакции статьи “Разрушение личности” для газеты “Пролетарий”. До этого, о чем можно

судить по известным письмам Ленина Горькому и Луначарскому (см. письма 20 и 25 января (2 и 7 февраля) к Горькому и 31 января (13 февраля) Луначарскому: Там же. Т. 47. С. 130, 133-134, 135-136), велась интенсивная переписка о желательности привлечения Горького к сотрудничеству в партийной газете. 31 января (13 февраля) Ленин в письме Луначарскому выразил удовлетворение согласием Горького ("Ваш проект беллетристического отдела в *"Пролетарии"* и поручения его А. М. — чу превосходен<...> Я именно мечтал о том, чтобы литературно-критический отдел сделать в *"Пролетарии"* постоянным и поручить его А. М. — чу). — Там же. С. 135.) и обозначил сроки, к которым мог быть прислан материал для ближайшего номера газеты. *"Пролетарий"* № 21 выходит 13(26) февраля, — писал он. — Значит, время еще есть. Желательно иметь рукописи к пятнице, чтобы свободно поспеть к номеру, который выходит в среду. Если спешно <...> — даже (крайность!) в понедельник" (Там же. С. 136). По всей вероятности, Горький выслал статью и письмо, не ориентируясь на "крайность", именно к пятнице — к 8(21) февраля, т. е. 5(18) или 6(19), т. к. письма с Капри в Женеву шли около 2-х дней. Это подтверждает упоминание о статье — как уже отосланной в *"Пролетарий"* — в письме Горького к Ладыжникову от 7(20) февраля (М. Горький. Собр. соч.: В 30-ти т. Т. 29. С. 53).

<sup>1</sup> Машинопись статьи под названием "Разрушение личности. Очерки современной жизни и литературы" (10 с.) сохранилась в АГ: АСГ-10-4-2.

<sup>2</sup> О ком идет речь, не установлено.

<sup>3</sup> Ленин ответил 12(25) февраля 1908 г. Задержка с ответом была вызвана обсуждением статьи в редакции *"Пролетария"* и серьезными расхождениями в ее оценке между Лениным и А. А. Богдановым. Отрицательное отношение Ленина к статье вызывалось и содержанием (связью статьи с идеями, близкими Богданову), и тактическими соображениями (с точки зрения Ленина, было нецелесообразно ее появление в момент обострения расхождений "среди беков" по философским вопросам). См. об этом: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 143-145. Ленин сообщал Горькому и общее решение редакции: "Относительно же Вашей статьи решили отложить вопрос о ней, изложив Вам в трех письмах каждого из редакторов *"Пролетария"* все положение дела и ускорив поездку мою и Богданова к Вам" (Там же. С. 144).

Богданов писал Горькому о своем отношении к статье 13(26) февраля: "...При обсуждении Вашей статьи в ред. *"Пролетария"* мнения разделились <...> Моя позиция была такова. Ввиду полного единогласия коллегии относительно того, что статья хороша и вполне соответствует той подписи, которая под ней значится, и что помещение статьи было бы выгодно для успеха и распространения газеты, остаются, по-моему, только вопросы в том, подходит ли она к газете по сюжету и направлению. По сюжету — я полагаю, подходит, хотя до сих пор литературно-критического и историко-философского отдела в газете не было. Дело в том, что для понимания политического разложения буржуазии и различных слоев "интеллигенции", частью даже социалистической, нужно понимание психологического разложения индивидуалистических классов. Для читателя, который не понимал бы этого, полезно это сказать в маленьком редакционном предисловии. — Затем, что касается направления, то ни один из редакторов не указывает на какое бы то ни было противоречие статьи с принципами революционного марксизма. Этим исчерпывается материал, на основании которого должен быть решен вопрос о статье. Внесение сюда постороннего вопроса об (якобы или действительно) "эмпириомонистической" окраске изложения и метода, налагающей якобы на газету отпечаток определенной философской школы, я считаю неправильным вообще, и особенно необоснованным после того, как в № 1 газеты печатается официальное заявление о ее нейтральности в философском отношении. Если коллегия понимает эту "нейтральность" так, что будет душить и искоренять "эмпириомонистический дух" в статьях, не противоречащих принципам революционного марксизма, — то я в коллегии

оставаться, очевидно, не могу, ибо сам весь пропитан этим "духом". Поэтому прошу коллегию возможно скорее решить, как она понимает свою "нейтральность". По отношению же к статье предлагаю — поместить ее с указанным выше предисловием от редакции и с сокращением того примечания, в котором говорится о книге "Новый мир": неудобно, чтобы в газете, одним из редакторов которой я состою, помещался отзыв о моей книге, и автор статьи, конечно, согласился бы, что достаточно простой ссылки на эту книгу.

Когда мое мнение было отвергнуто 2-мя против 1-го, тогда я предложил: 1), просить автора, чтобы он продолжил и закончил статью и тем дал редакции возможность судить о ней в целом: все равно, ведь, такая статья не должна пропасть для публики, с чем все редакторы согласны; 2), как можно скорее организовать свидание редакции с Горьким и Луначарским для совместного обсуждения плана работы. Оба предложения были приняты, поездка предложена после выхода 2-го номера, т. е. около 8-10 марта.

Принципиальный вопрос о понимании философской "нейтральности" решено отложить до того же времени" (РЦХИДНИ. Ф. 75. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 2; см. также: АГ. КГ-од-1-22-17, копия).

Непринятие статьи в "Пролетарии" (двумя голосами — Ленина и И. Ф. Дубровинского — против одного — Богданова) расстроило планы сотрудничества Горького в партийной газете. Более того, обсуждение статьи обострило разногласия между Лениным и Богдановым, на стороне которого был и писатель. В существенно расширенном виде статья появилась в сб. "Очерки философии коллективизма" (СПб., 1909). О работе над ней Горький не однажды упоминал в письмах И. П. Ладыжникову — от середины марта 1908 г., в марте 1909 г.// Архив А. М. Горького. Т. 7. С. 177, 191.

- <sup>4</sup> В начале 1908 г. в русской прессе немало писалось об изменениях международного положения — переоценках прежних отношений между странами — не в пользу России. Это касалось как положения на Балканах (на Ближнем Востоке), так и новой складывающейся ситуации на Балтийском море. См., например, статьи "Новые перспективы на Ближнем Востоке" и "Речь барона Эренталя по Балканскому вопросу" в "Русских ведомостях" (1908, 27 января и 5 февраля). Планы усиления австро-венгерского влияния на Македонию рассматривались как попытка одностороннего отказа Австро-Венгрии от Мюрцштегского соглашения с Россией (которое обеспечивало равновесие их интересов), как шаг к германизации Ближнего Востока, вытеснению влияния России из македонских провинций.

В конце января русские газеты писали также о переговорах между Россией, Швецией и Германией по поводу Балтийского моря. "Скрытый смысл балтийского соглашения" русские обозреватели видели в "гарантиях" для Германии "против Англии", что воспринималось как серьезная ошибка, как акция, противоречащая курсу международной политики России, ориентированной на сближение с Англией и укрепление союза с Францией. См.: Рус. вед. 1908, 20 янв.

- <sup>5</sup> Среди выступлений на эту тему — статья Ленина "Заказная полицейски-патриотическая демонстрация" // Пролетарий, 1908, 12(25) марта. См. также: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 455-460.
- <sup>6</sup> Т. е. полемикой с меньшевиками — Ф. И. Даном и др.
- <sup>7</sup> Речь идет о кн.: Очерки по философии марксизма. Философский сборник. СПб., Зерно, 1908. В него вошли статьи: В. Базарова — "Мистицизм и реализм нашего времени", Бермана — "О диалектике", А. В. Луначарского — "Атеисты", П. Юшкевича — "Современная энергетика с точки зрения эмпириосимволизма", А. Богданова — "Страна идолов и философия марксизма", О. Гельфонда — "Философия Дицгена и современный позитивизм", С. Суворова — "Основания социальной философии". В предисловии к сборнику авторы, оговаривая, что они не сходятся в

понимании ряда проблем, подчеркивали единство в двух основных точках зрения. Во-первых, в том, что связывают свои философские взгляды с социализмом, "как новым типом общественного бытия, которому должен соответствовать и новый тип мышления" — т. е. с "научным социализмом или марксизмом" (Указ. изд. С. I). Во-вторых, авторы писали о необходимости усвоения марксизмом методов точной, "положительной науки", и как следствии — критики "на два фронта": "против некоторых сторон научного социализма, пытающихся закрепиться в марксистской философии", но превратившихся "из форм развития мысли в ее оковы" (по выражению Маркса). Другое же направление "критики" авторы видели в борьбе против принципиальных противников научной методологии, "апеллирующих от "обанкротившегося" разума к иным, не разумным или — что то же — сверхразумным методам воздействия на природу и общество" (Там же. С. 2).

Горького привлекали в философских построениях Богданова и его единомышленников принципы "монизма" — целостного объяснения мира, в систему которого входила и новая гуманистическая идея — идея "коллективизма", а также позиция исторической активности.

Ленин в ответном письме Горькому объяснял свое неприятие философии новых русских критиков Маркса. См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 142. Уже в январе 1908 г. Лениным была начата философско-полемическая книга на эту тему — "Материализм и эмпириокритицизм". В момент завязавшейся в среде большевиков полемики вокруг сборника "Очерки по философии марксизма" "Пролетарий" выступил с заявлением, что философский спор ("согласуется ли марксизм в теоретико-познавательном отношении с учением Спинозы и Гольбаха или Маха и Авенариуса") фракционным не является: "В среде той и другой фракций <как большевиков, так и меньшевиков — И. Р. > есть сторонники обоих философских направлений" (Пролетарий, 1908, 26(13) февраля; Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 421). В письме Горькому Ленин упоминал о посылке ему выходящей газеты с этим заявлением.

<sup>8</sup> Имеется в виду статья Базарова. См., например, в ней: "Материализм Маркса и Энгельса — живой метод научного исследования, материализм Плеханова — мертвая схоластика, стоящая "по ту сторону" всякого научного исследования" (Очерки по философии марксизма, С. 71). Полемика русских махистов с Плехановым велась уже в 1903 г., о чем Ленин упоминал в письме Горькому 12(25) февраля (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 141-142).

<sup>9</sup> Речь идет об итальянском социалисте Артуро Лабриола (1873-1959) и Г. В. Плеханове. Валентинов — один из литературных псевдонимов Плеханова. К Лабриоле, представителю "революционного синдикализма", Горький относился с дружеской симпатией. Плеханов в конце 1907 г. в статье "Критика теории и практики синдикализма" (Современный мир, 1907, № 11-12) подверг критике книгу А. Лабриолы "Реформизм и синдикализм" (СПб., 1907). Речь, видимо, шла об ответном выступлении Лабриолы. Публикация в русской прессе не найдена. См. также: Лит. наследство. Т. 80. М., 1971. С. 740-741; Архив А. М. Горького. Т. 14. С. 16-17.

<sup>10</sup> Уже в конце 1907 г. Горький усиленно звал Ленина на Капри. См., например, упоминание в ответном письме Ленина от 9 января 1908 г. (нов. ст.) на неизвестное письмо Горького (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 119-120).

От "съезда" партийных литераторов писатель ждал многого: выработки новых издательских планов и направлений мысли, обсуждения разногласий и их сглаживания. Горький приглашал приехать и Базарова, жившего в это время в Москве. Вероятно, тот не смог сразу ответить положительно, а в это время обсуждение статьи Горького в "Пролетарии" вызвало сначала решение о скорейшем приезде на Капри Ленина и Богданова (см. письмо Ленина Горькому от 12(25) февраля), но потом этот план осуще-



ствить оказалось невозможным: отчасти из-за занятости Ленина (он должен был ехать на заседание Международного социалистического бюро), отчасти из-за трудностей издания "Пролетария". В середине марта Ленин уже выразил сомнения в целесообразности поездки на Капри вместе с Богдановым, т. к. разногласия в редакции обострились: см. письмо от 11(24) марта (Там же. С. 150-153). В первой половине апреля на Капри выехал Богданов, а Ленин, напротив, от поездки отказался: см. письма Ленина 3(16) и 6(19) апреля (Там же. С. 155-157). И только во второй половине апреля Ленин все-таки выехал на Капри. Независимо от трудностей сборов на Капри редакторов "Пролетария", Базаров прислал Горькому обещание приехать к 6(19) или 7(20) апреля (АГ. КГ-п-67-1-1). К его приезду Горький, вероятно, и выслал телеграмму Ленину 6(19) апреля: см. ответное письмо Ленина 6(19) апреля (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 156-157).

11 Т. е. Богданову.

12 Речь идет о статье в сб. "Очерки по философии марксизма". Богданов посвятил ее развенчанию философского идеализма. Ленин оценил статью, как и сборник в целом, резко отрицательно. См. его письмо Горькому 11(24) марта 1908 г. (Там же С. 150-153).

## 2

Печатается впервые полностью по АМ. АМ без подписи, однако авторизацией можно считать на об. л. 2-го запись карандашом рукой Горького: "Ленин". Отрывок из письма впервые напечатан в сб. "Ленин и Горький" (М., 1958. С. 46).

Датируется по сопоставлению с письмом В. И. Ленина 3(16) ноября 1909 г., ответом на которое является, с учетом времени пересылки из Парижа на Капри (около 2-х дней). Ленин отвечал на горьковское письмо после 7(20) ноября (письмо без даты). См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 221-222.

1 Сравнение содержит ассоциации с текстом шекспировского "Гамлета". См. действие третье, сцена вторая:

Гамлет. <...> Ты хочешь играть на мне, ты хочешь проникнуть в тайны моего сердца <...> ты думаешь, что на мне легче играть, чем на флейте?

2 Слова в кавычках — цитата из письма Ленина 3(16) ноября: "... На Капри развернулось противоречие между частью с.—д. интеллигенции и рабочими-русаками, которые вывезут социал-демократию на верный путь *во что бы то ни стало* и что бы ни произошло, вывезут вопреки всем заграничным склокам и сварам, "историям" и пр. и т. п. Такие люди, как Михаил, тому порукой" (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 219). Имеется в виду Н. Е. Вилонов; "Михаил" — его партийная кличка.

3 О появлении Вилонова на Капри 1(14) января 1909 г. Горький писал И. П. Ладыжникову: "Приехал один рабоч<sup>ий</sup> — уралец — "изучать философию" <...> Какой, между прочим, великолепный парень этот рабочий, какую интеллигенцию обещает выдвинуть наша рабочая масса, если судить по этой фигуре! К сожалению, его страшно избили солдаты прикладами во время побега из тюрьмы, и у него туберкулез, кажется. Но это не беда, парнище здоровенный!" (Архив А. М. Горького. Т. 7. С. 186). Письма Горького от весны 1909 г. отражают интерес писателя к идейному росту Вилонова, дружеское расположение к нему. См. в письме А. В. Амфитеатрову 9 или 10 (22 или 23) марта: "Михайло стыдится — музыка нравится ему, а что ж такое музыка? Пролетарий — а музыкой увлекается — какой позор! Сердит это его <...> Он как губка всасывает в себя все интересное и красивое, наполняется им и богатырски растет изо дня в день" (Лит. наследство. Т. 95. С. 143). В течение каприйской зимы 1909 г., весны и начала лета (потом Михаил уехал нелегально в Россию по делам организации школы для рабочих-революционеров) Вилонов был свидетелем вновь завязавшихся дискуссий между

ленинцами и богдановцами, а также богдановцами и сторонниками Плеханова и по вопросам тактики социал-демократии, и по вопросам основ философии. Как свидетельствует переписка Горького с Богдановым этого времени, при участии Богданова Вилонов изучал философию и при его поддержке начинал работу над популярной философской брошюрой. В одном из писем Горькому Богданов предлагал ее название: "Чего мы требуем от философии?" (АГ. КГ-од-1-22-36, письмо от 8(21) марта 1909 г.). Как один из организаторов Каприйской школы, автор обращений к с.—д. организациям России по этому поводу, Вилонов осуществлял тем самым деятельность, противостоящую сторонникам Ленина. Негативная оценка Вилонова в этом письме отражала остроту переживаний самим писателем раскола в школе, инициатором которого оказался один из ее организаторов и самых искренних сторонников.

- 4 Вилонов умер весной 1910 г. Горькому принадлежит некролог о нем с высокой оценкой его незаурядной личности. См.: РЦХИДНИ. Ф. 75. Оп. I. Ед. хр. 66. Опубликовано в газете "Социал-Демократ" (1910, 22 июня).
- 5 Партийная кличка И. И. Панкратова (1886-1962). Один из пяти учеников Каприйской школы (как и "Василий", "Аля-Алексинский", "Пахом" и "Фома"), которые были исключены ее Советом за противостояние организации фракционного течения. Именно он был инициатором раскола среди учеников. Об этом вспоминал Луначарский: "В школе был талантливый рабочий, по прозвищу "Старовер", который открыто являлся в нашей среде "агентом" Ленина.

По мере того, как дело подходило к концу и мы занялись выработкой нашей политической декларации — выяснилось, что не все 20 <...> учеников стоят на "впередовской" точке зрения. Правда, кроме "Старовера", примкнувшие к ленинцам представляли собой и количественно и качественно ничтожную группу, но беда заключалась в том, что пошатнулся сам Михаил Вилонов.

Нельзя сказать, чтобы он прямо примкнул к большевикам "умеренного толка", но ему казалось, что будущее всего выводка первой партийной школы омрачается перспективой борьбы в своей собственной большевистской среде. Эта примиренческая позиция Вилонова вызвала целую грозу над ним. Богданов, Алексинский объявили его буквально изменником" (Луначарский А. В. Великий переворот. (Октябрьская революция). Часть первая. Пб., 1919. С. 46).

Группа учеников, побуждаемых "Старовером", обращалась в Расширенную редакцию "Пролетария" с письмами о состоянии дел в школе: о том, что в ней критиковался ленинский Большевистский Центр, что часть слушателей и лекторы работают над особой платформой. 17 ноября пятеро исключенных написали туда же письмо с просьбой о защите своих прав. Письма учеников вместе со статьей Ленина "Позорный провал" были опубликованы в отдельном оттиске № 50 "Пролетария" (1909. 28 ноября/11 декабря).

В начале ноября исключенные ученики вместе с Вилоновым покинули школу и по приглашению Ленина переехали в Париж. Там для них читали лекции Ленин, Г. Е. Зиновьев, И. Ф. Дубровинский, Л. Б. Каменев, С. А. Лозовский. Встреча Ленина с Вилоновым послужила поводом письма к Горькому от 3(16) ноября, на которое и отвечал писатель. См. также: Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 год бывшего Охранного отделения. 3-е изд. М. 1990. С. 77-82.

- 6 Борьба сторонников ортодоксального и неортодоксального марксизма в среде большевиков обострилась в начале 1908 г. См. предыдущее письмо и комментарии к нему. Богданов и его единомышленники сопротивлялись фракционному отлучению, считая себя связанными именно с революционной социал-демократией. Организация Каприйской школы в 1909 г., являясь попыткой реального претворения идей "несогласных" в партийных "низах", открыла также возможность их идейного объединения. Вскоре после завершения школы образовалась литературно-пропагандист-

ская группа-фракция "Вперед". В начале 1910 г. в Париже она выпустила брошюру "Современное положение и задачи партии. Платформа, выработанная группой большевиков". В ней содержалось систематическое изложение позиций группы. В середине года вышел "сборник статей по очередным вопросам" под названием "Вперед". Затем группа организовала еще одну школу — в Болонье, готовила выпуски статей "школьников". Впередовцы намечали широкую программу: и научного творчества в теории социализма, и революционного просветительства в организациях России. Однако новая фракция не могла оказать серьезного пропагандистского воздействия на низовые организации в России. Слишком серьезными оказались и теоретические задачи для небольшой по численности группы. Деятельность ее постепенно сошла на нет. Тем не менее она поставила важные для революционного движения задачи интеграции научных знаний, просвещения, воспитания. Эти идеи имели по существу внефракционное значение. Все это писатель и связывал с формированием социализма как "целостного миропонимания".

- <sup>7</sup> Т. е. сторонники Богданова. "Максимов", как и "А. Богданов" — псевдонимы А. А. Малиновского.
- <sup>8</sup> Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. В него вошли статьи Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева (Ланде), Б. А. Кистяковского, П. Б. Струве, С. Л. Франка. "Общей платформой" авторов явилось "признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития", над "самодовлеющими началами политического порядка" (из "Предисловия" Гершензона). Сборник, вышедший в марте 1909 г., горячо и ожесточенно обсуждался в прессе. См. об этом приложение "Вокруг "Вех" в кн.: Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей. 1909-1910. М., 1991. С. 455-462.
- <sup>9</sup> Ленин ответил вскоре — после 7(20) ноября — отказом и принципиальным неприятием соображений Горького о "глубине" раскола (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 221-222).

### 3

Печатается по А. Впервые напечатано в подборке с четырьмя другими письмами (см. 4, 6, 9, 13) под заголовком "...Красные" тоже не товарищи мне": Письма М. Горького В. Ленину". //Труд, 1993, 16 февраля. Публикация в газете подготовлена И. Селезневой и Н. Надеждиной. В настоящем издании письмо впервые датируется и сопровождается комментариями.

Датируется по сопоставлению фактов: после 11 января (эту дату имеет письмо Н. А. Рожкова Ленину, которое пересылалось Горьким), но до 16-го того же месяца, когда стало известно о трагическом повороте в развитии событий в Германии, о котором Горький, судя по письму, не знал. См. подробнее в примеч.

Ответ Ленина Горькому не известен.

- <sup>1</sup> См. письмо — в приложении. Впервые опубликовано вместе с другими письмами Рожкова Ленину в журнале "Родина" (1991, № 11/12. С. 30). Ленин ответил Рожкову 29 января 1919 г. //Родина, 1992, № 3. С. 49.

Н. А. Рожков (1868-1927), один из лидеров меньшевиков, известный историк, экономист, публицист. Вступил в РСДРП в 1905 г. Автор работ по истории сельского хозяйства и развития капитализма в России, в частности — "Русской истории в сравнительно-историческом освещении" (т. 1-12; 1918-1926). Горького интересовала позиция Рожкова в дореволюционный период, он переписывался с ним (см.: АГ. КГ-п-66-3-1, 2-5). В конце 1911 г. писатель откликнулся на предложение Рожкова о сотрудничестве в редактируемых им изданиях (еженедельнике "Иркутское слово" и журнале "Новая Сибирь") пересылкой одного из рассказов будущего цикла "По Руси". Рожков печатался в горьковской "Летописи". О своей убежденности в том, что "старые способы и приемы отошли в

прошлое", "наступило время борьбы за легальность политической организации и за легальную открытую деятельность по европейскому образцу", Рожков писал Горькому 9 декабря 1911 г., вероятно, отвечая на его вопрос о путях развития социал-демократии в России. (См.: АГ. КГ-п-66-3-2.) Неприятие "меньшевистско-ликвидаторской" позиции Рожкова, ее резкую критику Ленин развернул в статьях "Манифест либеральной рабочей партии" и "Из лагеря столыпинской "рабочей" партии" (см.: Соч., изд. 4, т. 17. С. 278-288, 315-319). После Февральской революции Рожков входил в ЦК меньшевиков, был товарищем министра почт и телеграфов Временного правительства. Октябрьского переворота не принял. Недавно стали известны письма Рожкова Ленину и Зиновьеву первых послеоктябрьских лет. Излагая в них свое понимание экономического положения России послереволюционных лет, Рожков предлагал пути выхода из кризиса. См.: Родина. 1991. № 11/12. С. 30-32. В письме от 19 декабря 1922 г. для пленума ЦК, продиктованном Сталину, Ленин, соглашаясь с Зиновьевым в характеристике Рожкова как "человека твердых и прямых убеждений", считал необходимой его высылку в Псков, "под строгим надзор", т. к. он — "наш враг до конца" (Родина, 1992, № 3. С. 49).

Ходатайство Горького по поводу ареста Рыжкова в 1921 г. во время событий в Кронштадте (см.: Уч. зап. Тартуского ун-та. 1968, Вып. 217. С. 211) позволяет предполагать, что писатель, по всей вероятности, не раз принимал участие в его судьбе.

<sup>2</sup> Ср. в письме Рожкова (приложение).

<sup>3</sup> См. там же.

<sup>4</sup> Красин Л. Б. (1870-1926) участвовал в социал-демократическом движении с 1890 г. В советские годы занимал важные государственные посты: был членом президиума ВСНХ, наркомом торговли и промышленности, с 1919 г. — на дипломатической работе. Горький знал Красина еще в дореволюционные годы. Красин бывал не раз на Капри. (См.: Архив А. М. Горького. Т. 14. С. 209-210; АГ. КГ-од-1-22-2, 3, 4, 10.) Памяти Красина Горький посвятил очерк "Леонид Красин".

<sup>5</sup> К началу января 1919 г. обострение революционной ситуации в Германии, которое воспринималось левыми силами как возможность углубления происшедшей в конце 1918 г. Ноябрьской революции (она свергла монархию и привела к образованию республики). Новую волну демонстраций протеста рабочих энергично поддерживали представители крайне левого крыла немецкой социал-демократии — спартаковцы, надеясь на перерастание ее во всеобщую стачку и вооруженное восстание против правительства Эберта-Шейдемана. Однако этого не произошло. Правительство при поддержке влиятельного большинства немецкой социал-демократии (умеренной ориентации) перешло в наступление на рабочее движение: более 20 тыс. рабочих было убито. В разгар террора, 15 января 1919 г., реакция расправилась и с лидерами движения К. Либкнехтом и Р. Люксембург.

<sup>6</sup> Эдуард Фукс (Fuchs, 1870-1940), публицист. Был членом группы "Спартак" и членом Центрального совета "Союза Спартака". В конце декабря 1918 г. Фукс приезжал в Москву, чтобы информировать Ленина о положении в Германии. Его приезд Ленин использовал для подготовки участия немецких коммунистов в социалистической конференции, целью которой была организация III Интернационала (См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 227-230).

Позднее Фукс отошел от политической деятельности. Занимался книгоизданием. Об издании к 60-летию Горького его биографии переписывался с ним. (См.: Архив А. М. Горького. Т. 9. С. 409-410).

<sup>7</sup> Группа левых немецких социал-демократов "Спартак" была создана в начале первой мировой войны. Спартаковцы вели революционную пропаганду, организовывали антивоенные выступления. В апреле 1917 г. группа вошла в Независимую социал-демократическую партию Германии,

сохранив, однако, в ней свою организационную самостоятельность. Во время Ноябрьской революции спартаковцы порвали с "независимцами" и, провозгласив свою программу, оформились в "Союз Спартака". На его основе возникла Коммунистическая партия Германии.

<sup>8</sup> Г. Е. Зиновьев (1883-1936, партийный псевдоним Радомысльского) состоял в партии с 1901 г. После Октября — Председатель Петроградского Совета, член Политбюро ЦК, председатель Исполкома Коминтерна. Зиновьев и его окружение относились с недоверием к Горькому (см. об этом в прим. к письмам 7, 8, 12). Письма Горького к Зиновьеву впервые опубликованы: Известия ЦК КПС С. 1989, № 1. С. 239-241.

4

Печатается по АМ с подписью-автографом. Несмотря на ряд зарубежных публикаций, письмо до недавнего времени оставалось засекреченным в России. Печаталось по разным — сначала неавторским, потом авторским — источникам. Впервые — по копии с АМ в газете "Воля России" (Прага, 1920, 2 октября) под заголовком "Горький — Ленину" с указанием, что написано в феврале 1920 г.; одновременно — в газете "Народное дело" (Таллин, 1920, 2 октября). С этих первых публикаций было перепечатано в других газетах русской эмиграции, а также в переводах в европейской социалистической прессе. (См.: Даманская А. Ф. О большом человеке в жалкой роли. // Народное дело. Таллин, 1920, 12 ноября.) Впервые по А, с комментариями напечатано (вместе с двумя другими письмами — см. письма 6, 9) С. Г. Исаковым в статье "Неизвестные письма М. Горького В. Ленину" // Revue des études slaves. Paris, 1992. Т. 64. Fascicule I. С. 146-147. По АМ впервые напечатано в газете "Труд", 1993, 16 февраля.

Датируется по А(РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 1. Ед. хр. 980. Л. I-Юб.) с уточнением месяца: в А — "6. X. 19", надо — 6. IX. 1919. Ошибка в обозначении месяца устанавливается по сопоставлению фактов: письмо было передано В. Н. Тонковым Ленину 11 сентября (как следует из пометы в его записной книжке — см. об этом в прим. 1); Ленин ответил 15 сентября (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 47-49). Датировка впервые определена С. Г. Исаковым в статье "Неизвестные письма М. Горького В. Ленину".

Письмо вызвано массовыми арестами среди интеллигенции в Петрограде в начале сентября 1919 г. Аресты последовали за раскрытием Петроградской ЧК летом 1919 г. нелегальной кадетской организации "Национальный центр", которая была связана с белым движением. Однако большинство арестованных тогда представителей интеллигенции, — по их прежней принадлежности к кадетской партии, ничего общего с заговорщической деятельностью "Национального центра" не имело. В тот же день протест против арестов в профессорской среде Горький направил Ф. Э. Дзержинскому. (См.: Известия ЦК КПСС. 1989, № 1. С. 241.) В дате этого письма — та же ошибка в обозначении месяца.

Разбирательство началось еще до горьковского обращения. В постановлении ЦК РКП(б) от 11 сентября 1919 г. констатировалась причина "массовых арестов профессоров и ученых" — их бывшая принадлежность к партии кадетов, а также предлагалось Дзержинскому, Бухарину и Каменеву "пересмотреть совместно списки и дела арестованных во время последних массовых арестов. Разногласия по вопросу об освобождении тех или других арестованных вносить в ЦК" (Там же). В ответном письме Горькому 15 сентября Ленин, оправдывая необходимость террора, признавал, что в арестах "буржуазных интеллигентов околокадетского типа" "ошибки были" (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 47). 18 сентября в письме М. Ф. Андреевой Ленин извещал: "Меры к освобождению приняты", — и настаивал: "Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей кадетской и околокадетской публики. Она способна, вся, помогать заговорщикам. Преступно не арестовывать ее" (Там же. С. 52).

По поводу арестов среди интеллигенции в Петрограде в начале сентября 1919 г. почти одновременно с Горьким хлопоты велись также со стороны литературных общественных организаций: Союза писателей, Литературного Фонда, Общества Взаимопомощи литераторов и ученых, Союза Журналистов.

См. об этом: Два эпизода из жизни литературных организаций. /Публикация Н. Крамера. Примечания: Н. Крамера и Р. Баха. //Минувшее. Исторический альманах. I. М., 1990. С. 323-333.

- <sup>1</sup> В. Н. Тонков (1872-1954), видный ученый-анатом. С 1900 г. — профессор Военно-медицинской академии. Являлся членом Петроградской комиссии по улучшению быта ученых (ПетроКУБУ), по ее делам неоднократно бывал на приемах у Ленина. С 1944 г. — действительный член Академии медицинских наук.

Тонков приехал в Москву с поручительствами об арестованных 8 сентября. В следующие дни он встречался с Луначарским, Семашко, Лениным, Каменевым, что было отмечено в его записной книжке:

9 сент. "Видел Лун<ачарс>кого (Ленина, к сожалению, еще нет). Был в Комиссариате здравоохранения, говорил с Семашко, подал поручительство за своих профессоров (Осипова и Терешина). Был у Бонч-Бруевича <управляющий делами Совнаркома — И. Р. >, передал все документы об арестованных <...> Ах, как бы важно было лично переговорить с Лениным! Неужели не удастся?!"

11 сент. "После 7 часов с Луначарским — у Ленина. Беседовал с ним с полчаса, даже спорил об аполитичности ученых (братья Пергамент); добился обещания о пайке, о скорейшем рассмотрении дела об арестованных и об освобождении их".

12 сент. "С трудом добился Каменева, очень хорошо переговорил — он обещал скоро освободить арестованных и разрешил сноситься с ним по прямому проводу".

20 сент. "Днем узнал, что выпущен Осипов. <...> сделал доклад о Москве и прочем. Меня очень благодарили..." (АГ. МоГ-12-27-2).

О том, как было передано горьковское письмо, Тонков вспоминал: "Когда в сентябре 1919 года я поехал к В. И. Ленину в Москву для доклада о положении петроградских ученых, М. Горький дал мне письмо, адресованное Ленину. Я знал содержание письма и, не зная, как Ленин будет реагировать на него, утаил его от Ленина, чтобы не испортить беседы, которой мы придавали важное значение. И только уходя от него, сказал: "Да, вот письмо от Алексея Максимовича". Прочитав письмо, Ленин рассмеялся и сказал: "Горький как был ребенком в политике, так и остался... Ну, как его здоровье?.. Передайте ему привет..." А в письме была такая фраза: "Если положение ученых не изменится, я уйду от большевиков к белым" (Там же).

Ответ Ленина Горькому был предельно резким. См. об этом подробнее в предисловии.

- <sup>2</sup> Г. Ф. Депп (1854-1921), крупный ученый-теплотехник, известный специалист по паровым котлам и двигателям внутреннего сгорания. С 1899 г. профессор Петербургского технологического ин-та. Депп был председателем 2-го (механического) отделения Русского технического общества.
- <sup>3</sup> В. П. Осипов (1871-1947), видный психиатр, развивал патофизиологическое направление в психиатрии. С 1944 г. академик Академии медицинских наук.
- <sup>4</sup> С. Я. Терешин — профессор Военно-медицинской академии. В А написано ошибочно — Терехин, в АМ неверное написание фамилии исправлено. После его смерти в 1921 г. Горький хлопотал о разрешении на выезд за границу его вдовы (АГ. Био-16-19).
- <sup>5</sup> Н. А. Буш (1869-1941), профессор, видный ботаник; с 1920 г. член-корреспондент Академии наук. Позднее работал в Тартуском ун-те.
- <sup>6</sup> А. А. Крогиус (1871-1933), ученый-психолог; исследовал, в частности, психологию слепых; автор работ по психологии, педагогике и психиатрии.
- <sup>7</sup> С. Ф. Ольденбург (1863-1934), востоковед; с 1900 г. член Петербургской академии, один из основателей русской индологической школы. Автор трудов по фольклору, этнографии, искусству Востока, России и Западной Европы, по истории буддизма и востоковедения. Вместе с Горьким рабо-

тал в ПетроКУБУ, в 1921 г. в Петроградском отделении Всероссийской комиссии помощи голодающим.

<sup>8</sup> Возможно, речь идет о Белоголовом Аполлоне Аполлоновиче. Ко времени 1917 г. был старшим врачом Обуховской больницы, а также Константиновского общества сестер милосердия Красного Креста им. генерал-адъютанта фон Кауфмана. Практикующий врач.

<sup>9</sup> Д. Д. Grimm — профессор Петроградского ун-та, юрист; позднее работал в Тартуском ун-те.

<sup>10</sup> В А — “новых интеллектуальных сил”.

<sup>11</sup> В А далее — текст: “Среди лиц, арестованных здесь, С. Ф. Ольденбург, Крогиус, Терехин, Ильинский и много других относились к Советской Власти с активным сочувствием к ней”.

Вероятно, упомянут М. А. Ильинский (1856-1941), известный химик-органик.

## 5

Печатается по А. Впервые опубликовано вместе с письмом П. А. Кропоткина под названием “Два письма В. И. Ленину об отношении к интеллигенции”. //Кентавр, 1993, № 1. С. 60-62. Публикацию в журнале подготовили: А. С. Масальская, И. Н. Селезнева и А. М. Гак. В настоящем издании впервые датируется и сопровождается подробным комментарием.

Датируется как ответное на письмо В. И. Ленина от 15 сентября 1919 г. (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 47-49), несомненно, написано вскоре после его получения. См. об этом далее.

На листе сверху рукой Ленина сделана помета “в архив”, также карандашом в тексте письма подчеркнуты фамилии: Крогиуса, Терешина, Осипова, Буша, Ольденбурга, Шербы; Крогиуса тремя чертами, остальных — двумя. У Горького в написании фамилии Шербы — ошибка: Шурба. Карандашом над строкой исправлено на Шерба. Подчеркивание Лениным фамилий в тексте воспроизводится в наст. издании.

Ответил ли Ленин письмом, не установлено.

Освобождения арестованных последовали в конце сентября. О том, что В. П. Осипов “выпущен”, стало известно 20 сентября (см. в прим. к предыдущему письму). Это позволяет уточнить дату горьковского письма: не позднее 19 сентября, т. к. писатель повторяет просьбу о его освобождении.

<sup>1</sup> П. Н. Милюков (1859-1943) — один из лидеров партии кадетов, член ее ЦК, историк и публицист. Был редактором газеты “Речь”. В 1917 г. — министр иностранных дел Временного правительства. После Октября Милюков являлся одним из идеологов активной кадетской оппозиции Советской власти, идеологом белого движения. См. об этом в публикации материалов русского зарубежья: “...Скандал очень большой и безнадёжное положение партии”. Из протоколов Парижского совещания членов ЦК партии народной свободы 26 мая — 2 июня 1921 г. //Исторический архив, 1992, № 1. С. 89-113.

<sup>2</sup> О Г. Ф. Дёппе и далее упоминаемых — Н. А. Буше, А. А. Крогиусе, С. Ф. Ольденбурге, А. А. Белоголовом, С. Я. Терешине и В. П. Осипове — см. прим. к предыдущему письму.

<sup>3</sup> Ф. И. Дан (Гурвич, 1871-1947), один из лидеров меньшевиков. После Февральской революции — член Исполкома Петроградского Совета и Президиума ЦИК первого созыва. В 1920 г. был депутатом Моссовета. Выслан за границу в начале 1922 г.

<sup>4</sup> В. Н. Туркин (1861-1933) — изобретатель в области печатной техники, журналист. Окончил Моск. гос. ун-т. Служил губернатором в семье Л. Н. Толстого. В 1892-1912 гг. редактировал журнал “Природа и охота”. Работал над технологией изготовления типографских красок. В 1919 г. изобрел способ многокрасочной однопроводной печати с мозаичной формы.

<sup>5</sup> Полемизируя с ленинской позицией, Горький и сам "упрощал" историю: известно, что по "ту" сторону оказалось немало "крупных" русских интеллигентов, и не только гуманитариев, но и людей науки. Они насильственно выбрасывались из страны самой властью, не принимавшей свободы мысли. Эта политика — при участии Ленина — выразилась особенно очевидно в массовой высылке представителей интеллигенции осенью 1922 г. Секретные документы этой акции лишь недавно стали предаваться гласности. См.: РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. I. Ед. хр. 2603; Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 1338. См.: Хоружий С. Философский пароход: Как это было. // Лит. газ. 1990, 5 мая; Владимир Ильич Ленин: "Морали в политике нет" <Публикация обозревателя "Демократической газеты" Анатолия Латышева>. // Комсомольская правда. 1992, 12 февраля; Тополянский В. "На каждого интеллигента должно быть дело" // Лит. газ. 1993, 11 августа; Коган Л. А. "Выслать за границу безжалостно". (Новое об изгнании духовной элиты). // Вопросы философии. 1993, № 9. С. 61-84.

<sup>6</sup> См. об этом в прим. 2 к письму 6.

<sup>7</sup> См. об этом в письме Ленина 15 сентября 1919 г.

<sup>8</sup> С. П. Федоров (1869-1936), известный не только в России, но и Европе хирург-уролог, профессор Военно-медицинской академии в С. — Петербурге. Одним из первых в России применил эндоскопический метод исследования. Позднее стал заслуженным деятелем науки РСФСР, был награжден орденом Ленина. В 1920 г. арестовывался (из-за брата, который пытался эмигрировать), Горький принимал участие в хлопотах о его освобождении. См.: Ленин и Горький. С. 180, 568.

<sup>9</sup> Выражение из "Горя от ума" А. С. Грибоедова (в речи Чацкого — действие I, явление 7), ставшее крылатым.

<sup>10</sup> В. М. Чернов (1876-1952), один из лидеров партии эсеров. После Февральской революции, в мае-августе 1917 г., министр земледелия Временного правительства. В январе 1918 г. избран председателем Учредительного собрания. Вынужден был эмигрировать в 1920 г. В конце 1919 г. Горький поддержал включение автобиографии Чернова в серию "Летопись революции", которая была намечена в издательстве З. И. Гржебина. План серии резкой критике подвергла тогдашняя "Правда" за состав авторов, как писала газета, контрреволюционеров "всех цветов и оттенков" — Чернова, Дана, Мартова, Потресова и др. (Правда, 1919, 9 ноября; ЛЖТГ. Вып. 3. С. 148. См. также: Ленин и Горький. С. 183-184).

Имя Чернова Горький приводит в искаженной французской транскрипции, видимо, вкладывая в это уничижительный смысл.

Об отношениях Горького с Черновым в дореволюционный период см. публикации: "Переписка с В. М. Черновым" (И. И. Вайнберга) и "О Горьком и Лопатине (по письмам Лопатина к В. Л. Бурцеву 1908-1914 гг.)" (Е. Г. Коляды). // Лит. наследство. Т. 95. С. 582-610, 853-854.

<sup>11</sup> И. И. Манухин (1882-1930), известный русский врач, доктор медицины, первооткрыватель метода лечения туберкулеза путем облучения селезенки рентгеновскими лучами. Этим методом он успешно лечил Горького в 1912 г. и в последующем, повторяя курсы лечения. Писатель в качестве пациента участвовал в обсуждении метода Манухина в печати. (См.: Русское слово, 1914, 16 марта; Речь, 1914, 19 мая; Практический врач, 1914, 19 мая). Горький был дружен с Манухиным, бывал в его семье. Получила известность деятельность Манухина-врача в Политическом Красном Кресте. В 1917 г. он исполнял должность врача при Чрезвычайной следственной комиссии, а после Октября вел наблюдение над членами Временного правительства, заключенными в Петропавловскую крепость. Он ежедневно бывал в казематах у больных, делая все, что от него зависело, чтобы облегчить их положение. Манухин спасал от бессмысленных расправ всех, кого мог: кадетов, эсеров, царских генералов, простых смертных и Великих князей. Его рассказы о заключенных — один из источников записей З. Гиппиус. (См. ее "Петербургские дневники. (1914-1919)". См.



воспоминания самого Манухина: Воспоминания о 1917-1918 гг. //Новый журнал. Нью-Йорк, 1958, № 54; Революция//Там же. 1964, № 73.). При содействии Манухина — его врачебном поручительстве — Горький вел хлопоты об освобождении бывшего великого князя Гавриила Константиновича Романова. (См. публикацию письма Горького Ленину от 20 ноября 1918 г. в кн.: Буранов Ю., Хрусталева В. Гибель императорского дома. 1917-1919 гг. М., 1992. С. 323-324.). Просьба была удовлетворена. З. Гиппиус писала о деятельности Манухина в Красном Кресте: "Типичные черты русского интеллигента, — крайняя прямота, стойкость, непримиримость, — выражались у него не словесно, а именно действенно" (Гиппиус З. Петербургские дневники. (1914-1919). Нью-Йорк, 1982. С. 12; Переизд.: Гиппиус З. Живые лица. Стихи. Дневники. Тбилиси, 1991. С. 167). После Февральской революции Манухин принял участие в организации "Свободной ассоциации для развития и распространения положительных наук" (См.: Летопись, 1917, № 5-6. С. 223-228.) Манухин являлся членом правления Петроградской КУБУ. В 1920 г. Горький хлопотал о научной командировке Манухина для работы в Институте Пастера во Франции. (См. об этом: Ленин и Горький. С. 170, 174-176, 240.) В начале 1921 г. Манухин уехал в командировку, в советскую Россию не вернулся. (О страницах "Петербургского дневника" Гиппиус, связанных с Манухиным, см.: Из небытия. Публикация, вступительная статья и комментарии Маргариты Павловой. //Наше наследие, 1990, № 6. С. 87.)

<sup>12</sup> Л. В. Щерба (1880-1944), известный языковед, с 1916 г. проф. Петроградского ун-та; с 1943 г. — академик. См. о нем также в письме 10.

<sup>13</sup> Л. Н. Андреев скончался 12 сентября 1919 г. На вечере его памяти, устроенном изд-вом "Всемирной литературы" 26 октября 1919 г., Горький впервые читал свои воспоминания о нем (Вестник литературы, 1919, № 11. С. 2). Очерк "Леонид Андреев" в полном объеме появился в сб.: Книга о Леониде Андрееве. Воспоминания. Пб. — Берлин, 1922.

## 6

Печатается по А. Впервые с комментариями напечатано в "Revue des études slaves." Paris, 1992. Т. 64. Fascicule I. С. 149-150. Затем в газете "Труд", 1993, 16 февраля. Датируется по упоминанию о совещаниях "инициативной группы по выработке декларации к странам Антанты" (см. прим. 5), состоявшихся 29 ноября, 3 и 6 декабря 1919 г., а также сопоставлению с письмом Горького Л. Б. Красину 29 ноября с просьбой о встрече с представителями этой группы и содействии тому, чтобы их выслушал Ленин (см.: ЛЖТГ. Вып. 3. С. 150).

Ответил ли Ленин — не установлено.

<sup>1</sup> В приложении к письму докладной записки не сохранилось.

<sup>2</sup> Вместе с письмом хранятся краткие машинописные справки — на отдельных листках — об успехах русской науки в области точных знаний, естественных наук, а также техники и медицины последних лет (без дат). (См.: РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. I. Ед. хр. 980. Л. 5-10.) В них сведения о направлении работ и достижениях Физического института (в Москве), работах в области использования водных сил, залежей торфа и сланцев, работах в области радиотехники, научных планах Русского Географического общества, исследованиях в астрономии, направлениях научной медицины (исследованиях в бактериологии, диагностике, психотерапии, задачах Физиотерапевтического института им. И. М. Сеченова).

<sup>3</sup> Рязанов (Гольдендах) Д. Б. (1870-1938) участвовал в революционном движении с 90-х годов, занимался изучением истории социализма; по поручению социал-демократической партии Германии Рязанов в течение ряда лет готовил издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. (См. его дореволюционные работы: Карл Маркс и русские люди сороковых годов // Совр. мир. 1912, № 8-12; Карл Маркс и Фридрих Энгельс в их переписке до революции 1848 г. // Там же. 1914, № 5, 10, 11; Энгельс о Бебеле и

Марксе //Просвещение, 1913, № 7-8.) Во время Октября поддержал большевиков. Затем работал в профсоюзах. В 1921 г. — один из основателей Института Маркса и Энгельса.

<sup>4</sup> Вероятно, докладная записка петроградских ученых явилась одним из тех материалов, которые вызвали постановление Совета Народных Комиссаров от 23 декабря 1919 г. о выдаче усиленных пайков научным специалистам. (См.: Декреты Советской власти. М., 1975. С. 427-428; ЛЖТГ. Вып. 3. С. 151.)

<sup>5</sup> Речь идет об "Инициативной группе по выработке декларации к странам Антанты о прекращении интервенции и возобновлении культурных связей с Советской Россией". В Архиве А. М. Горького сохранилось приглашение писателю на ее заседание 29 ноября (АГ. Био-14-79). Состоялись также совещания 3 и 6 декабря 1919 г. В группу входили профессора, бывшие промышленники, банковские и железнодорожные деятели. Горький обращался к Г. Е. Зиновьеву с предложением поддержать организаторов группы: "Лица, имена которых ниже названы мною, берут на себя обязанности организовать группу представителей промышленности и техники на предмет заявления Антанте об отношении этой группы к Советской Власти и авантюрам белых". Затем перечислялись: Н. В. Ивановский, И. А. Марголис, Е. С. Каратыгин, З. Ф. Кан (РЦХИДНИ. Ф. 75. Оп. I. Ед. хр. 150). В 1920 г. эта группа под названием "Союз трудовой интеллигенции" выступила в печати с соответствующим обращением.

<sup>6</sup> О ком идет речь, не установлено.

7

Печатается впервые по первому экземпляру МК, являющейся перлюстриацией письма Горького. Копия "заверена" в соответствующем отделе ЧК: под письмом стоит — "Верно" и подпись проверяющего (неразборчиво). Кроме заверенной, в АГ поступили еще четыре экземпляра той же копии. Фонд перлюстрированных писем передан в АГ из Архива МГБ СССР в 1991 г.

Датируется по сопоставлению с письмом, отправленным на следующий день — 16 сентября (близким по содержанию), которое содержит полную авторскую дату, включая год.

<sup>1</sup> В конце июня 1920 г. С. М. Закс-Гладнев стал заведующим административно-техническим аппаратом Госиздата. С этим назначением и без того существовавшие трудности отношений между горьковскими издательскими предприятиями — "Всемирной литературой" и Издательством Гржебина, с одной стороны, и Госиздатом — с другой, чрезвычайно обострились. Дело в том, что осуществление грандиозных планов "Всемирной литературы" и гржебинского изд-ва, с которыми писатель связывал большие задачи культурного строительства, сталкивалось не столько с нехваткой средств, что было понятно в то тяжелое время, сколько с проводимой властью политикой монополизации (в том числе идеологической) книгоиздательского дела. Непосредственным проводником этой политики стало Государственное издательство (Госиздат), организованное в 1919 г. (См.: Лит. наследство. Т. 80. С. 673.) На первых порах, не имея опыта работы, оно опиралось на инициативу частных издательств, заключая с ними договоры на издание тех или иных книг. Однако очень скоро Госиздат перешел от тактики сотрудничества с частными издательствами к подчинению их и вытеснению с книжного рынка. Именно этим обуславливались — в преобладающей степени — конфликтные отношения между Горьким с его издательскими начинаниями, подразумевавшими свободу действий, и Госиздатом, у руководства которого оказались люди прямолинейные как идеологически, так и в приемах действий, опасавшиеся сильного конкурента. Закса, например, очень задевало, что Горький "квалифицировал" его как "неинтеллигентного и неграмотного человека". (См. в его письме Ленину от 3 сентября 1920 г. //РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. I. Ед. хр. 1018. Л. 2.)

Противостояние началось уже в середине 1920 г., когда Горький упорно вел хлопоты о финансировании очередных издательских планов. В письме Ленину от 17 июля он просил поддержки на реализацию планов обоих издательств. (См.: Ленин и Горький. С. 185-186.) На это ходатайство, переданное в Малый Совнарком, редколлегия Госиздата ответила отрицательно, отказавшись от финансовой поддержки договоров, заключенных прежде с Гржебиным, а от "Всемирной литературы" потребовав отчетов о напечатанных книгах (См.: Лит. наследство. Т. 80. С. 681.). Отчет вскоре — к 21 августа — был представлен. Он свидетельствовал о том, что "прекрасно налаженное дело" "Всемирной литературы", как писал Горький Ленину 17 июля, "разрушается". За два года работы издательство сумело напечатать по сути лишь ничтожную часть подготовленного редакционного портфеля, только 6% его: всего 13 книг, 2 каталога, 2 сборника статей и 36 брошюр народной библиотеки, а более 3000 листов рукописей ждали своей реализации (См. об этом: Лит. наследство. Т. 80. С. 681; А. М. Горький — организатор издательства "Всемирная литература": (1918-1921) // Исторический архив, 1958, № 2. С. 85.). 2 сентября редколлегия Госиздата предприняла еще один шаг к "разрушению" горьковских начинаний: решив проверить выполнение Гржебиным договора, заключенного с В. Воровским, затребовала не перечень книг, а рукописи, подготовленные к набору. Решение было направлено именно против Горького: Гржебин находился за границей, ответственность лежала на Горьком. Противостояние фактически останавливало работу — тогда писатель и решился на протест-ультиматум.

Очевидно, ультиматум подействовал, и с Горьким немедленно, в тот же день (он был в Москве), были начаты переговоры. Однако писатель, вероятно, не вполне уверенный в их исходе, повторил свое заявление, тем подкрепляя позицию, но сделав уже конкретные предложения. (См. прим. к следующему письму.) И только после новых предложений и гарантий радикально изменить обстановку отказался от угрозы "ухода" из всех советских учреждений.

Ответом на оба обращения Горького к Ленину стало разбирательство в специальной комиссии ЦК РКП(б), руководителем которой был назначен А. И. Рыков (См.: Лит. наследство. Т. 80. С. 682). 22 сентября комиссия предложила С. М. Заксу, а через него — Государственному издательству: 1) немедленно приступить к субсидированию Горькому 6 мил. руб. для работ по исполнению договора между Госиздатом и Издательством З. И. Гржебина; 2) "не осложнять и не затруднять работу тов. Горького в Петрограде и за границей по книгоиздательству" и потребовала (со стороны Закса) "внимательного и бережного отношения к этому делу" (Там же. С. 683).

С этим решением в поддержку Горького Закс повел борьбу. На следующий день — 23 сентября — он обратился к Ленину, явно желая скомпрометировать в его глазах Горького как идеологического противника. Безапелляционная резкость письма Закса отчасти объясняет горьковскую остроту в неприятии этого человека. "Я очень сожалею,— писал Закс Ленину,— что в этом вопросе (о Гржебине — Горьком) мне приходится идти и против Вас. <...> При всей любви к Вам я никогда не почитал за партийный долг ладить с людьми, почему-либо сумевшими нисколько В<аше> доверие <...> Назову одиночные случаи Мирона Черномазова и Романа Малиновского, коих доверия я не заслужил и не добивался, ибо сам им не доверял. <Оба провокатора пользовались известностью в партии: Р. В. Малиновский был избран рабочими депутатом IV Государственной думы, М. Е. Черномазов был секретарем газеты "Правда".— И. Р. >

По моему внутреннему убеждению М. Горький в теперешней революции играет роль не на много более почетную, нежели та, которую играли те оба лица в борьбе с царизмом. Как и они, он не верит в пролетарскую революцию, и огромное его преимущество в том, что он свое будущее

ренегатство на случай — если мы будем когда-нибудь разбиты — подготовляет открыто на наших глазах и на наши никчемные гознаки...

Так же мало, как Миров и Роман, Максим Горький верит в революцию, так же мало, как они, он верит в силы рабочего интернационала и в мировую революцию. То, что для Вас, для нас, для сотен тысяч и миллионов, иже с нами, является стимулом к борьбе, оставляет Горького холодным.

<...> я категорически отказываюсь последовать Вашему совету исполнять предписание т. Рыкова. <...> из глубокого убеждения, что моими руками РСФСР совершила бы роковую ошибку, что похоронена была бы вся та неимоверная огромная работа, которую я без усталости и сроку делал последние 2 1/2 месяца.

Я очень рад, что хоть и не в столь резкой форме, но по существу, <мою точку зрения — И. Р.> разделяет также и редакционная коллегия Госуд. Изд-ва, что на ней, оказывается, давно стоит редакционная коллегия "Правды".

Если я ошибаюсь, то ошибаюсь в милой компании тт. Бухарина, Мещерякова и др.

Я всегда очень любил Вас<...> Вы по-прежнему высоко стоите над всеми, как воплощенная партийная совесть! При моей оценке Гржебина — Горького мне особенно досадно и больно, что Вы доверяете человеку, в котором я вижу воплощение Вашей противоположности" (РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. I. Ед. хр. 1018. Л. 3-4 об.).

В октябре — в результате конфликта с Горьким — Закс был смещен с поста заведующего Госиздатом. Однако вскоре назначен представителем Госиздата за границей. Горький протестовал против этого, вновь защищая гржебинское дело в письме Ленину от 2 ноября 1920 г. (Ленин и Горький. С. 206-207).

<sup>2</sup> Горький мог иметь в виду и Петроградский Совет, куда он был избран в июне 1920 г., и ряд редколлегий журналов, членом которых он состоял.

## 8

Печатается впервые по первому экземпляру МК, являющейся перлюстрацией письма Горького. Копия заверена в соответствующем отделе ЧК: под письмом стоит — "Верно" и подпись проверяющего (неразборчиво). Кроме заверенной, в АГ поступили еще четыре экземпляра той же копии. На обороте первого экз. МК — пометы: В дело. Формуляр М. Горького.

В АГ поступила также МК, являющаяся перлюстрацией незавершенного черновика письма от 16 сентября, изъятая, вероятно, из бумаг З. И. Гржебина (АГ. Фонд перлюстрированных писем). Копия заверена, имеет разъяснение: "Примечание: Согласно показаний Гржебина — отрывок этот написан собственноручно М. Горьким и адресован т. Ленину.

21/III-22 г. /подпись/".

Кроме заверенной, в АГ — еще четыре экземпляра той же копии черновика.

Об "ответных" мерах на письмо см. в прим. к письму 7.

<sup>1</sup> Постановкой вопроса о возвращении к договорным обязательствам 10 января 1920 г. Горький уже предполагал возможность снятия своего ультиматума.

10 января 1920 г. Госиздат подписал с З. И. Гржебиным договор на издание русских книг за границей, однако субсидировались лишь строго определенные заказы (по выбору и одобрению Госиздата). Хотя издательская деятельность Гржебина и была поставлена под строгий контроль, но тем не менее она поддерживалась. В последующем Госиздат стремился фактически аннулировать это соглашение, обвиняя Гржебина в его невыполнении: издавал не те книги, которые обещал, не по тем ценам и т. д. Особую остроту разногласия приобрели в конце лета, после назначения Закса на одну из руководящих должностей в Госиздате (см. об этом в

примеч. к предыдущему письму). К неприемлемым поправкам к договору Горький относил: 1) отказ от предварительного авансирования и переход к оплате расходов по точно предъявляемым счетам, чем выражалось недоверие организаторам дела — и Горькому, и Гржебину; 2) Госиздат требовал передачи уже приобретенных Гржебиным рукописей в свой фонд. (См. об этом в письме Луначарского А. И. Рыкову от 18 сентября 1920 г. //Лит. наследство. Т. 80. С. 682-683.)

<sup>2</sup> Далее в черновике несколько отличающийся текст:

“Теперь в угоду зависти или капризам т. Закс<а>, за которым я знаю, пока, одно достоинство: он шурин Зиновьева,— теперь вся моя работа идет прахом. Пусть так.

Но — я уж достаточно стар, я имею пред родиной и революцией солидные заслуги, ценимые иначе, а не степенью родства или свойства с начальством, и достаточно стар для того, чтоб позволить и дальше издеваться надо мною, относясь к моей работе так небрежно и глупо. Ни разговаривать, ни работать с Заксом и подобными ему я не стану. Да и вообще я отказываюсь работать как в учреждениях, созданных моим трудом — во “Всемирной Литературе”, Издательстве Гржебина, в “Экспертной комиссии”, в “Комиссии по улучшению быта ученых”, так и во всех других учреждениях, где работал до сего дня.— Я знаю, чем это грозит мне, но мое решение твердо. Довольно я терпел. Лучше издохнуть с голода, чем позволять все то, что до”.

На этом текст обрывается.

О чинимых ему помехах, даже травле со стороны Г. Е. Зиновьева и его окружения Горький писал не раз Ленину. См., например, в письме от 2 ноября 1920 г. //Ленин и Горький. С. 206-207. О недоверии со стороны Зиновьева к Горькому см.: Ходасевич В. Ф. Горький //Ходасевич В. Ф. Некрополь: Воспоминания. Брюссель, 1939; Переизд.: Ходасевич В. Воспоминания о Горьком. М., 1989. С. 7, 31-33.

## 9

Печатается по А. Впервые с кратким комментарием напечатано в “Revue des études slaves”. Paris, 1992. Т. 64. Fascicule I. С. 152. Затем в газете “Труд”, 1993, 16 февраля.

Датируется предположительно по сопоставлению с документами и письмами осени 1920 г., вызванными необходимостью “оградить квартиры ученых” и лиц интеллигентных профессий, в том числе — врачей, “от вселения в целях уплотнения” (см.: обращение Комиссии по улучшению быта ученых в Петросовет не позднее 21 октября 1920 г. //Ленин и Горький. С. 198-201; письмо Ленину не ранее 1 ноября 1920 г. о квартирном кризисе в Москве //Там же. С. 205).

Ответил ли Ленин, не установлено.

<sup>1</sup> Постановление о реквизиции квартир представителей буржуазии действовало с начала 1918 г. В газете “Наш век” (“Речь”) от 8 марта (23 февраля) 1918 г. была опубликована “Инструкция о вселении в квартиры”, в которой приводились правила “вселения семейств безработных и красногвардейцев в квартиры буржуазии”.

Как позволяют судить воспоминания, а также многочисленные документы (см.: Горький и наука. М., 1964; Минц З. Г. А. М. Горький и КУБУ // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1968, Вып. 217. С. 190-206), Горький, начиная с августа 1920 г., написал десятки писем и ходатайств в органы советской власти как Петрограда, так и Москвы, с просьбами сохранить за учеными и врачами их квартиры. Петроградская комиссия по улучшению быта ученых приняла на этот счет специальное постановление, поставив себе задачей оградить квартиры ученых “от вселения в целях уплотнения”, представитель Комиссии был направлен с ним к Ленину (см.: АГ. Био-15-49, 42; Био-16-72).

- Упомянув об "усердии" "Комиссии по улучшению быта рабочих", Горький, вероятно, имел в виду результаты постановления СНК об улучшении жилищных условий рабочих заводов и фабрик, принятого 30 октября 1920 г. (Декреты Советской власти. Т. 11. М., 1975. С. 140-142).
- <sup>2</sup> Д. Д. Плетнев (1873-1944), известный терапевт, с 1911 г. — профессор Высших женских курсов, с 1917 г. — директор факультетской, а в 1924-1929 гг. госпитальной и терапевтической клиник I-го МГУ, почетный член ряда зарубежных медицинских обществ. Позднее засл. деятель науки РСФСР (1932). Принимал участие в лечении Горького, был необоснованно обвинен во вредительстве, репрессирован. Умер в лагере. См. об этом: Никё Мишель. К вопросу о смерти М. Горького // Минувшее. Исторический альманах. 5. М., 1991. С. 336.
- <sup>3</sup> А. Н. Алексин (1863-1923), известный специалист по туберкулезу, талантливый диагностик. Горький познакомился с ним в 1897 г., в Крыму, куда приехал лечиться. Алексин был в то время старшим врачом Ялтинской земской больницы. Вскоре они подружились. Памяти Алексина Горький посвятил небольшой очерк <"А. Н. Алексин">.
- <sup>4</sup> М. И. Ульянова (1878-1937), младшая сестра Ленина.
- <sup>5</sup> Алексин жил в Москве. Мыльников переулок позднее переименован в улицу Жуковского.

# 10

Печатается впервые полностью по ЧА. Сохранился ли оригинал — не установлено. Начало письма, включая слова: "Сделайте возможное, очень прошу Вас!" — печаталось в кн.: Архив А. М. Горького. Т. 14. С. 99.

Публикуемый текст является черновиком сразу двух писем. Это не единственный случай одновременного обращения Горького в те годы в разные "инстанции". Ср. письма Ленину и Дзержинскому 6 сентября 1919 г. (см. прим. к письму 4), а также письма Ленину и Луначарскому от второй половины июля 1921 г. (в них тоже говорилось о Блоке) (Известия ЦК КПСС, 1989, № 5. С. 215-217; 1991, № 6. С. 154).

На обращение Горького (или Луначарского?) по поводу арестов и обысков в среде интеллигенции Петрограда Ленин ответил срочными запросами в ВЧК. См. об этом далее в прим.

- <sup>1</sup> Драматичная и безуспешная по конечным результатам история обращений Горького и Луначарского по поводу болезни А. Блока к правительству — лично Ленину и в ЦК РКП(б) (когда решение, наконец, — через 2 месяца — было принято, поэт, умирая, не смог им воспользоваться) — тщательно исследовалась; опубликован ряд писем — Горького, Луначарского, Л. Д. Блок, — раскрывающих ее в деталях. (См.: Горький М. Соч.: В 30-ти т. М., 1953. Т. 30. С. 83; Лит. наследство. Т. 80. С. 292-294; Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1987. С. 274-277; Дикушина Н. И. Как решалась судьба поэта. // Лит. газ. 1990, 28 ноября). Неизвестными, именно в документах, остаются отрицательные решения Особого отдела ВЧК: факты их принятия известны лишь по ответным реакциям в письмах Горького и Луначарского. Кроме того, до сих пор не опубликовано обращение Петроградского отделения Всероссийского профессионального Союза писателей в правительство (адресовано — "Председателю Совнаркома В. И. Ленину"). Оно было отослано, вероятно, 1 июня: в начале его говорилось о слушании на заседании 31 мая сообщения о тяжелой болезни Блока. "Правление Союза, — сказано в обращении, — в твердой уверенности, что оно говорит от имени всей русской литературы, просит безотлагательно выдать А. А. Блоку и его жене разрешение на выезд в Финляндию.

Правление полагает, что к этому ходатайству о спасении жизни Блока присоединится каждый, кому дорога русская литература, одним из лучших современных представителей которой он является" (РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед. хр. 564. Л. 2, копия).

По всей вероятности, акция почти одновременного обращения Союза писателей и Горького (на два дня раньше) к Луначарскому и Ленину была скоординирована. Горький был не только одним из первых, кто принял все меры, зависящие от него, но и продолжал упорные хлопоты до самого конца. Об этом свидетельствует его неопубликованное письмо к Л. Д. Блок — предположительно от 4 августа. Сообщая ей о незамедлительной отправке анкет в Москву, Горький писал: "Вчера спрашивал по телефону — разрешен ли Ваш выезд? — Ответчено: "еще не рассматривался Ос<обым> отделом", но — без сомнения — будет решен на этой неделе" (РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. I. Ед. хр. 564. Л. 3).

<sup>2</sup> Об И. И. Манухине см. прим. 11 к письму 5. О причине обыска см. далее в прим. 3.

<sup>3</sup> Речь идет далее о массовых арестах и обысках в Петрограде в ночь на 27 мая 1921 г. Запросы Ленина об этой акции, относительно конкретных лиц, упомянутых в письме Горького, сделаны И. С. Уншлихту 1 и 2 июня. 2 июня в телефонограмме с пометой "Срочно. Секретно" Ленин запрашивал: "Наведите справки и сообщите мне не позднее завтрашнего дня точные и исчерпывающие ответы на следующие вопросы:

1) Верно ли, что в Петрограде 27 мая арестованы: проф. П. А. Шуркевич (Электротехнический институт) <...> проф. Щерба (Университет, проф. по сравнительному языкознанию) <...>

2) Верно ли, что проф. Пантелей Антонович Шуркевич арестовывается уже в пятый раз <...>

3) Что является причиной ареста и почему именно арест избран мерой пресечения..." (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 243-244). Уншлихт ответил 4 июня: "Имея сведения, что часть членов партии КД <кадетов — И. Р. > принимает участие в только что открытом заговоре <потом он получит наименование "Петроградской боевой организации" — дела Таганцева, см. об этом в примеч. к письму 12 — И. Р. >, по оперативным соображениям было решено произвести массовый обыск и арест как членов, так и бывших членов партии КД <...> Немедля было приступлено к следствию, не имеющие компрометирующего материала освобождены <...> Все указанные Вами лица освобождены" (В. И. Ленин и ВЧК. Сб. документов. (1917-1922 гг.). М., 2-е изд., 1987. С. 431).

По поводу начавшихся в конце мая 1921 г. в Петрограде арестов в среде интеллигенции Горький обращался с многочисленными конкретными ходатайствами от Петроградской КУБУ в Петроградскую ЧК. Эти обращения за подписями Горького, в частности, касающиеся В. П. Осипова, П. А. Шуркевича, Л. В. Щербы (в числе других также и по иным поводам), были разысканы З. Г. Минц и ее учениками. См. об этом: Минц З. Г. А. М. Горький и КУБУ // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1968, Вып. 217. С. 219, 221.

<sup>4</sup> П. С. Осадчий (1866-1943), крупный специалист в электротехнике; профессор, а затем ректор Петербургского электротехнического ин-та; с марта 1921 г. был зам. председателя Госплана (Г. М. Кржижановского). Являлся членом Правления Петроградской КУБУ. Он арестовывался в марте 1921 г. По всей вероятности, тогда Горький также обращался к Ленину лично или от КУБУ. Сохранилась телефонограмма от 21 марта из секретариата председателя ВЧК на запрос Ленина 17 марта с сообщением: "Осадчий Петр Семенович был арестован по инициативе районной тройки во время кронштадских событий и теперь уже освобожден. Его с Осадчим-эсером Петроградская ЧК не смешивала" (В. И. Ленин и ВЧК. С. 404). Дело было прекращено 1 апреля (Там же). По поводу обыска у Осадчего 27 мая Ленин писал Г. М. Кржижановскому, видимо, отвечая на его беспокойство о заместителе:

"По секрету:

В Питере открыт новый заговор. Участвовала интеллигенция. Есть профессора, не очень далекие от Осадчего. Из-за этого куча обысков у его друзей и справедливо" (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 251).

- <sup>5</sup> Об академике С. Ф. Ольденбурге см. прим. 7 к письму 4 и письмо 5. Мотивы "предупредительных мер" ЧК были, вероятно, те же, что и в случае с П. С. Осадчим.
- <sup>6</sup> О В. П. Осипове, профессоре Военно-медицинской академии, видном психиатре, см. в прим. 3 к письму 4. Как следует из примечания к списку арестованных 27 мая, на котором делал пометки В. И. Ленин, он был освобожден 29 июня (В. И. Ленин и ВЧК. С. 428).
- <sup>7</sup> П. А. Шуркевич (1873-1942), профессор Петроградского электротехнического института.
- <sup>8</sup> Щерба Л. В. См. о нем также в письме 5.
- <sup>9</sup> Всего 27 мая в Петрограде было арестовано 180 человек (В. И. Ленин и ВЧК. С. 431).
- <sup>10</sup> Источник цитаты не установлен.

Печатается впервые по первому экземпляру *НМ*.

Датируется предположительно по сопоставлению с письмом Горького в ЦК РКП(б) от 9 июля 1921 г. (Известия ЦК КПСС. 1991. № 6. С. 152-153), с которым связано по содержанию. Вероятно, выждав время, обусловленное в этом письме — не менее 10-ти дней (Горький предлагал в течение трех дней Госиздату пересмотреть список книг, намеченный изд-вом Гржебина, а затем Внешторгу в течение недели, по получении списка, заключить договор с ним) — Горький считал необходимым, не получив ответа, вновь обратиться, но уже не в ЦК, а к Ленину, рассчитывая на его поддержку.

Было ли отправлено это письмо не установлено.

6 сент. 1921 г. Политбюро ЦК поручило секретарю ЦК напомнить Госиздату и Внешторгу о решении 27 апреля, которое так и не было выполнено. Положительное решение вопроса Малым Совнаркомом, принятое вскоре, было опротестовано Наркоматом внешней торговли. На это Горьким был заявлен протест, о котором можно судить по письму Ленина Рыкову от 17 сентября. См. об этом в статье Л. М. Хлебникова "Из истории горьковских издательств: "Всемирная литература" и "Издательство З. И. Гржебина" //Лит. наследство. Т. 80. С. 697-698. Деньги издательству выданы не были.

<sup>1</sup> См.: упомянутое выше письмо от 9 июля 1921 г.

<sup>2</sup> Издательство З. И. Гржебина было создано в конце 1919 г.

<sup>3</sup> О причинах сложных отношений между Госиздатом и издательствами, основанными Горьким, см. в прим. к письмам 7, 8 и предисловию к настоящей публикации.

<sup>4</sup> Как издатель З. И. Гржебин (1877-1929) стал известен в 1900-е годы. Первая деловая встреча с Горьким произошла в 1905 г. и связана с замыслом издания сатирического журнала "Жупел". Гржебин был одним из организаторов издательства "Шиповник" (1906-1918), возглавлял издательство "Пантеон" (1907-1910), участвовал вместе с Горьким в создании изд-ва "Парус" (1916-1918), газеты "Новая жизнь" (1917-1918). В 1918 г. вместе с Горьким стал создателем изд-ва "Всемирная литература", а в 1919 г., при поддержке писателя, основал частное "Издательство З. И. Гржебина" с чрезвычайно широкой программой выпуска литературы научного и научно-популярного характера, а также художественной литературы. Горький придавал гржебинскому издательству большое общекультурное значение. (См. об этом в его письме В. В. Воровскому 21 мая 1919 г. //Архив А. М. Горького. Т. 10. Кн. I. М., 1964. С. 11.) Гржебин, в особых условиях первых послереволюционных лет, ориентировался на издание книг для России за границей, где распространялась часть тиражей. О работе издательства и выпускаемых им книгах сообщалось пресой русского зарубежья. См.: Д. А. Издатели и писатели в советской России //Воля России. Прага, 1920, 17 октября; Издательство З. И. Гржебина <в разд. Хроника> //Русская книга. Берлин, 1921, № 1. С. 9-10; Накануне. Берлин, 1922, 10 сентября.



- <sup>5</sup> И. П. Ладыжников (1874-1945) и А. Н. Тихонов (1880-1956), участники многих литературно-издательских начинаний Горького, знали Гржебина по совместной работе в них.
- <sup>6</sup> Я. С. Ганецкий (Фюрстенберг) (1879-1937), член коллегии Народного комиссариата внешней торговли, и Н. И. Подвойский (1880-1948), председатель Военно-революционного комитета в Петрограде, а затем командующий Петроградским военным округом, знали, несомненно, послереволюционную издательскую работу Гржебина.
- <sup>7</sup> См.: Каталог издательства З. И. Гржебина. С предисл. М. Горького. Пб. — Берлин, 1921. Каталог-проспект представлял универсальные издательские планы, которые включали многочисленные отрасли науки, техники, общественной жизни, искусства и литературы. Подразумевалась строгая дифференциация: от популярных брошюр до учебников и фундаментальных монографий. О подобном грандиозном издательском предприятии Горький помышлял еще в дореволюционные годы.
- <sup>8</sup> Б. Н. Рубинштейн и Евг. Лундберг работали в издательстве Научно-технического отдела ВСНХ, единственном советском изд-ве за рубежом, С. М. Закс (Гладнев) представлял Заграничное отделение Госиздата, Д. Л. Вейс являлся членом Редколлегии Госиздата. От своих ведомств, представляя их интересы, они не однажды предъявляли в 1920 и 1921 гг. претензии к деятельности Гржебина, считая, что он не выполняет взятых обязательств, печатает книги по искусственно завышенным ценам, а инициативы его имеют спекулятивный характер. (См. об этом подробно в указ. статье Хлебникова // Лит. наследство. Т. 80. С. 690-699. См. также письмо Горького Ленину от 2 ноября 1920 г. // Ленин и Горький. С. 206-207.)
- <sup>9</sup> Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус обвиняли Гржебина в том, что он в трудное время скупал у бедствующих русских писателей права на издание их сочинений по чрезвычайно низким ценам. Об этом между Мережковским и Гржебиным состоялся полемический обмен письмами на страницах "Русской книги" (1921, № 1. С. 9-10; № 2. С. 19-20). А Гиппиус в частично опубликованном в 1921 г. петербургском дневнике также в скандально резкой форме касалась этой темы, неприязненно освещая отношения Гржебина с Горьким: "С первого момента революции он, как клещ, впился в Горького. Не отставал от него ни на шаг, кто-то видел его на запятках автомобиля вел. княгини Ксении Александровны, когда в нем, в мартовские дни, развезжал Горький. <...> Теперь он правая рука — главный фактор Горького. Вхож к нему во всякое время, достает ему по случаю разные "предметы искусства" — ведь Горький жадно скупает всякие вазы и эмали у презренных "буржуев", умирающих с голоду. <...> К писателям Гржебин относится теперь по-меценатски. У него есть как бы свое (полулегальное, под крылом Горького) издательство. Он скупает всех писателей с именами, — скупает "впрок", — ведь теперь нельзя издавать. На случай переворота — вся русская литература в его руках, по договорам, на многие лета, — и как выгодно приобретенная! Буквально, буквально за несколько кусков хлеба!

Ни один издатель при мне и со мной так бесстыдно не торговался, как Гржебин. <...>

Стыдно сказать, за сколько он покупал меня и Мережковского. Стыдно не нам, конечно. Люди с петлей на шее уже таких вещей не стыдятся" (Мережковский Д. С., Гиппиус З. Н., Философов Д. В. и Злобин В. А. Царство Антихриста. Мюнхен, 1921. Цит. по: Гиппиус З. Живые лица: Стихи. Дневники. Тбилиси, 1991. С. 184-185.

- <sup>10</sup> Речь идет о постановлении ЦК РКП(б) от 27 апреля 1921 г., по которому предстояло аннулировать договор Госиздата с изд-вом Гржебина и выкупить у него все заказанные издания. Госиздату предписывалось доложить об исполнении этого решения. О неисполнении постановления Горький писал 9 июля в обращении к ЦК РКП(б).

- <sup>11</sup> Еврей М. Бейлис обвинялся в убийстве с ритуальной целью русского мальчика А. Ющинского. Процесс состоялся в Киеве в 1913 г. Благодаря широкому общественному протесту Бейлис был оправдан.
- <sup>12</sup> Главные деловые позиции этого письма совпадают с письмом Горького к Ленину после 12 — не позднее 24 июля 1921 г. //Известия ЦК КПСС, 1991, № 6. С. 154-156.

О перипетиях судьбы З. И. Гржебина и его издательского начинания, отношениях с Горьким, позднее приобретших драматический характер, см. в воспоминаниях и статьях: Юниверг Л. Из истории послереволюционной издательской деятельности З. И. Гржебина; Елена Гржебина. З. И. Гржебин — издатель (по документам и воспоминаниям его дочери); Иосиф Вайнберг. "Все будет оценено — не может быть иначе" //Евреи в культуре русского зарубежья: Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Вып. I. 1919-1939. Иерусалим, 1992. С. 142-192.

## 12

Печатается впервые по А.

Датируется по сопоставлению с письмом А. Ю. Кадыан, имеющем дату 29 июля 1921 г. Вероятно, письмо было написано в тот же или на следующий день. Пересылая его через Е. П. Пешкову, Горький торопил ее: "...пошли немедленно прилагаемое письмо Ленину, Марии Ильиничне, это очень важно!" (ЛЖТГ. Вып. 3. С. 243). По всей вероятности, именно на это письмо Ленин ответил короткой запиской 9 августа. Он настойчиво советовал ехать лечиться в Европу (что могло быть вызвано замечанием в письме Горького — "у меня <...> третьи сутки кровохарканье") и сообщал о передаче письма Л. Б. Каменеву. На горьковском письме сверху — помета карандашом рукой Ленина: "Л. Б. Каменеву с Дзержинским" (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 109; в комментариях к записке указывается на связь ее с неизвестным письмом Горького об АРА (Американской администрации помощи) — см. там же, С. 400).

- <sup>1</sup> А. Ю. Кадыан, знакомая семьи Ульяновых по Симбирску, писала В. И. Ленину: "Много лет прошло с тех пор, но и теперь я живо помню тот ужас, который мы с мужем <доктором Кадыаном. — И. Р. > пережили <...> когда над Вашей семьей разразилась страшная беда — я говорю о казни Вашего брата; помню, что муж делал все от него зависящее, чтобы хоть чем-нибудь помочь Вашей матери и облегчить ее горе <...> я решила Вам написать и просить Вас сделать, что найдете возможным, для племянника моего мужа, Владимира Николаевича Таганцева, которого он горячо любил" (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. I. Ед. хр. 20264; Биохроника. Т. 11. С. 182). Кадыан просила также об освобождении жены Таганцева — слабой здоровьем, упоминала о том, что отец Таганцева обращался к Ленину. На письме пометы карандашом. 10 августа Ленин сделал распоряжение секретарю Л. А. Фотиевой: "Напишите ей, что я письмо прочел, по болезни уехал и поручил Вам ответить: Таганцев так серьезно обвиняется, с так-ими> уликами, что его освобождение сейчас невозможно. Я наводил справки о нем не раз уже". (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. I. Ед. хр. 20264; Ленинский сб. 37. С. 314.)

- <sup>2</sup> О раскрытии Петроградской Губчека крупного заговора, руководимого В. Н. Таганцевым, говорилось в редакционной статье "Уроки заговора", помещенной в "Петроградской правде" (1921, 27 июля).

Тема якобы массовых контрреволюционных выступлений — отсюда — необходимости красного террора постоянно присутствовала в официальной советской прессе лета 1921 г. Так готовилось в общественном восприятии и таганцевское дело. 24 июля в "Правде" публиковался своеобразный отчет — выдержки из доклада Всероссийской ЧК о раскрытых и ликвидированных в РСФСР заговорах за период мая-июня 1921 г. 2 августа "Петроградская правда" сообщала, как контрреволюция использует "Боженкин" фронт, и призывала к антирелигиозной пропаганде. 4

августа там же писалось о раскрытии белогвардейской организации Савинкова в Киеве, а 5 августа о том, как кронштадский мятеж освещался в эмигрантской прессе.

Мнение Горького о том, что дело Таганцева не имеет реальной основы, сфабриковано в ЧК, разделяли многие современники. Об этом в отношении к Н. Гумилеву, расстрелянному по этому же делу, вспоминал А. Амфитеатров: "По первому следствию вина супругов Таганцевых была признана настолько сомнительной, что ему дали двухлетние принудительные работы, жене (уже вовсе неизвестно за что привлеченной) — один год. Но как раз перед тем престарелый отец В. Н., знаменитый юрист Н. С. Таганцев, обратился к Ленину с ходатайством за сына. Ленин ответил любезно телеграммой с предписанием пересмотреть дело. Телеграмма сошлась с уже готовым было приговором и механически его остановила. Следственная канитель возобновилась <...> Тогда чрезвычайка, обозленная вмешательством премьера в ее самовластную компетенцию, особенно постаралась превратить В. Н. Таганцева в ужасного государственного преступника. Другие с большим скептицизмом и с большой вероятностью утверждают, что вся эта история с телеграммой — незамысловатое повторение старой комедии с расстрелянием князей. Как тогда М. Горький привез в Петроград письменное разрешение взять их на поруки, а покида он ехал, Москва приказала по телефону поскорее расстрелять, так и теперь циническая телефонограмма — засудить во что бы то ни стало, обогнала и отменила лицемерную телеграмму — судить по совести" (Последние новости, 1921, 20 сент.; см. также: Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 308).

С. П. Мельгунов, несколько позднее, писал, что "морально", с точки зрения "общественной совести", нельзя примириться с расстрелами "по мотивам, выставленным в <...>таганцевском деле по отношению к Н. И. Лазаревскому, кн. Ухтомскому и др. За что расстреляли этих людей? В официальной публикации (1-го сентября) о Н. И. Лазаревском сказано: "по убеждениям сторонник демократического строя", "к моменту свержения советской власти подготовил проекты по целому ряду вопросов, как-то: а) формы местного самоуправления в России, б) о судьбе разного рода бумажных денег (русских), в) о форме восстановления кредита в России"; о скульпторе С. А. Ухтомском: доставлял организации для передачи за границу сведения о музее(?) деле и доклад о том же для напечатания в белой прессе "(Мельгунов С. П. Красный террор в России. 1918-1923. М., 1990. С. 113; книга вышла впервые в 1923 г. в Берлине).

Горький и до этого обращения к Ленину вел хлопоты об арестованных по делу Таганцева (о чем свидетельствуют, в частности, некоторые документы, найденные З. Г. Минц и ее учениками, см. в прим. 3 к письму 10 указ. источник. С. 216, 222). Об этом хорошо знали люди из ближайшего окружения писателя, в частности В. Ф. Ходасевич. Он подчеркивал в воспоминаниях 1940 г.: "Впоследствии обвиняли Горького в том, что по этому делу он не проявлял достаточно энергии. <...> меня не было в Петербурге, я вернулся туда только после того, как осужденные были уже расстреляны. Однако на основании самых достоверных источников я утверждаю, что Горький делал неслыханные усилия, чтобы спасти привлеченных по делу, но его авторитет в Москве <т. е. кругах правительства — И. Р. > был уже равен почти нулю. Не могу этого утверждать положительно, но вполне допускаю, что, в связи с Зиновьевым <имеется в виду недоверие Зиновьева к Горькому — И. Р. >, заступничество Горького даже еще ухудшило положение осужденных.

Слухи о том, что его обвиняют в бездействии, доходили до Горького. Обычно он мало, даже слишком мало считался с общественным мнением, даже любил его раздражать, но на этот раз переживал напраслину очень тяжело..." (Ходасевич В. Современные записки. Париж, 1940. № 70; Переизд.: Ходасевич Владислав. Воспоминания о Горьком. М., 1989. С. 34).

Документальные свидетельства заступничества Горького по делам таганцевского заговора до сих пор остаются закрытыми. Лишь сравнительно недавно стало известно о просьбе Горького в пользу Н. Гумилева (Терехов Г. А. Возвращаясь к делу Н. С. Гумилева //Новый мир, 1987, № 12. С. 257-258). Собственное "расследование" А. А. Ахматовой "дела" Н. Гумилева подтвердило, что никакого заговора на самом деле не было. (См.: Латманизов М. В. Разговоры с Ахматовой. //Русская литература, 1989, № 3.) Как писал А. Солженицын, "А. А. Ахматова называла <...>имя того чекиста, кто избрал это дело — Яков Агранов" (Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1990. Т. 1. С. 101. См. также: С. 328-329). См. также прим. 16.

- <sup>3</sup> А. И. Боярский (1885-1937) был в 1921 г. священником Троицкой церкви г. Колпино Петроградской губернии. Вероятно, Горький говорил с Лениным о его аресте во время приезда в Москву в 20-х числах июля, когда там начал работу Всероссийский комитет помощи голодающим. (См.: ЛЖТГ. Вып. 3. С. 228-229.) 27 июля Ленин запросил И. С. Уншлихта (зам. председателя ВЧК) о причинах ареста священника Александра Боярского (Ленинский сб. 37. С. 311). Ответ последовал 29 июля. В нем сообщалось, что Боярский арестован "за контрреволюционную агитацию, которой он занимался в продолжении последних лет. Кроме того установлено, что в 15-16 годах он имел близкое отношение к охранке. Освобожден быть не может." (В. И. Ленин и ВЧК. Сб. документов (1917-1922 гг.). С. 452). "Основательность" этого заключения, вероятно, базировалась на том, что в то время религиозная деятельность вообще рассматривалась как контрреволюционная. 3 сентября 1921 г. Боярский был осужден на 1 год принудительных работ и высылку из Петроградской губернии; 31 октября его освободили "в связи с заболеванием туберкулезом легких" (Там же).

Священник Александр Боярский — участник обновленческого движения в русской церкви. (См. о нем: Левитин А. и Шавров В. Очерки по истории церковной смуты //Новый журнал. Нью-Йорк, 1967, № 86. С. 163, 198, 210; см. переизд.: Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1990. С. 559 и др.; Сорокин П. Современное состояние России. Прага, 1922; см. переизд.: Новый мир, 1992, № 5. С. 182.)

- <sup>4</sup> Колпино — одна из ближайших к Петрограду ж.-д. станций, где располагался ижорский завод (деревообрабатывающий). По-видимому, его рабочих имел в виду Горький в своем письме — от них исходила, вероятно, и просьба в защиту священника.
- <sup>5</sup> Е. Д. Кускова (1869-1958), С. Н. Прокопович (1871-1955), А. Л. Тарасевич, Ф. А. Головин, М. П. Авсаркисов — известные общественные деятели либерального и лево-либерального толка, инициаторы создания и члены Всероссийского комитета помощи голодающим.

Речь идет об обсуждении вопроса о составе делегации — или даже делегаций — для поездки за границу. В одном составе ее явно преобладало бы влияние главных организаторов комитета, представителей старой интеллигенции, в другом — официальной власти. В прессе русской эмиграции не однажды писалось о "двойственной" позиции советского правительства в деле помощи голодающим, т. е. о фактическом недоверии комитету: "не ограничиваясь подчинением Московского комитета <т. е. Всероссийского, или Центрального.— И. Р. > довольно ярким советским деятелям <Л. Б. Каменеву, Л. Б. Красину — И. Р. >, большевики создали комитет помощи голодающим при ВЦИК'е с совпадающими функциями. Теперь эта двойственность переносится на за границу. С одной стороны в Стокгольме ожидают члены Всероссийского общественного комитета помощи голодающим. Головин, Прокопович, Кускова, Авсаркисов, Тарасевич, Александра Толстая отправлены комитетом за границу <...> Одновременно в Ригу направляется делегация Комитета <...> при ВЦИК'е. В составе М. Горький, Хинчук и представитель профсоюзов Циперович" (Руль, Берлин, 1921, 7 августа).

Как сообщалось в советской печати, 3 августа состоялось утверждение совместного представительства для заграницы Центральной комиссии Помогла, ВЦСПС и Центросоюза (структуры новых советских кооперативов) в составе Горького, Л. М. Хинчука и Е. Н. Игнатова (Петроградская правда, 1921, 6 августа).

- 6 Поездка делегации от Комитета помощи голодающим за границу не состоялась. Предварительные переговоры представителей зарубежных комитетов помощи голодающим в России — от Г. Гувера, Ф. Нансена — с советской властью велись уже во второй половине июля через дипломатические каналы. (См., например, заметку “Помощь Америки” — Руль, 1921, 3 августа.)

В середине августа вопрос о поездке представительства от Всероссийского комитета за границу стал причиной конфликта между ним и правительством, что привело к прекращению деятельности комитета. (См.: Кускова Е. Д. Месяц “соглашательства” // Воля России, Прага, 1928, № 5. С. 59-78.)

- 7 Горьковское воззвание к мировой общественности, озаглавленное “Честные люди”, о помощи голодающим в России, в IX числах июля 1921 г. было передано по финскому радио в Чикаго, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мадрид, Берлин, Прагу. Оно посылалось по телеграфу видным деятелем мировой общественности — А. Франсу, Г. Уэллсу, Э. Синклеру, Х. — Ч. Райту, Б. Ибаньесу, Г. Гауптману, Т. Масарику. (См. его публикации: Правда, 27 июля; Юманите, 18 июля.) Горький пишет обращение “Стихийное бедствие” (печаталось: Правда, 23 июля; Юманите, 6 августа), воззвания — “К французам!” (Юманите, 14 августа), “Рабочим Франции” (Юманите, 6 августа), “Гражданам Соединенных Штатов Северной Америки, гражданам республик Америки Южной, гражданам Канады” (см.: ЛЖТГ. Вып. 3. С. 241), “Гражданам Испании”, “Гражданам Великобритании”, “Гражданам Германии”. Они передавались по радио, о них сообщалось в зарубежной прессе, в том числе газетах русской эмиграции. На призывы Горького откликались общественные деятели и писатели. См. в “Руде Право” (21 июля) отклик-статью; телеграмму Г. Гувера от 25 июля (Красная газета, 11 августа); телеграмму Г. Гауптмана (Правда, 5 августа).

- 8 Т. Масарик (1850-1937) в это время — президент Чехословакии. См. сообщение в газете “Воля России” (Прага, 1921, 3 августа) о предложенных чехословацким правительством мерах помощи голодающим в России: посылке поездов с лекарствами, одеждой, продовольствием; отправке докторов; внесении в парламент законопроекта о значительной денежной сумме.

- 9 Ф. Нансен (1861-1930), норвежский ученый, исследователь Арктики, был председателем Международного Красного Креста. В 1921 г. стал организатором международной комиссии по оказанию помощи голодающим в России. Уже в начале июля он предложил посылку продовольствия населению Петрограда при условии установления надзора за распределением с участием иностранного представителя. Предложение было принято. В 1921-1922 гг. представители Комитета Нансена оказывали большую помощь голодающим в Поволжье (См. Г. Хьетсо. Максим Горький в Норвегии // Русская литература, 1977, № 2.)

- 10 Данных об этом в Архиве А. М. Горького нет.

- 11 Речь идет о работе Петроградской комиссии по улучшению быта ученых, которую возглавлял Горький. В данный момент приобрела особо острое значение деятельность Финского Академического комитета, организованного весной 1921 г. и ставшего одним из международных центров по оказанию помощи русским ученым. 1 августа его представители — Игельстрём и Мансика — сопровождали партии продовольствия в Петроград. (См.: Г. Хьетсо. Неопубликованное письмо М. Горького гельсингфорскому профессору И. Ю. Микколе // Scando-Slavica, Oslo, 1991, Т. 37. С. 101-107). “Петроградская правда” (4 августа) печатала под рубрикой “В ко-

миссии по улучшению быта ученых”: на заседании 2 августа присутствовали профессор гельсингфоргского университета и представители Скандинавии и Франции, которые привезли три вагона продуктов для русских ученых (консервы, рыбу, муку).

- <sup>12</sup> Родэ Адольф Сергеевич (ум. 1930, Париж) в 1920-1921 гг. был заведующим хозяйством Петроградской КУБУ и директором созданного при ней Дома ученых. Его энергию, талант организатора ценил Горький. До революции Родэ был владельцем первоклассного ресторана и популярного в Петербурге кафе-шантана “Вилла Родэ”. Начав с малого, как повар, он в несколько лет развернул большое доходное предприятие. Это “прошлое” и вызывало после революции разного рода кривотолки вокруг его имени. Позднее жил за границей (литовец, он сменил подданство), где встречался с Горьким и его семьей. (См. о нем также в дневнике К. Чуковского. //Новый мир, 1990, № 8. С. 137, 140.) О необходимости поездки Родэ за границу для получения помощи петроградским ученым Горький писал и в другом письме Ленину — около середины июля 1921 г. (См.: Известия ЦК КПСС, 1991, № 6. С. 153)

- <sup>13</sup> Петроградское отделение Всероссийского комитета помощи голодающим было образовано 1 августа. В его Президиум вошли: М. Горький (председатель), М. В. Новорусский, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург, Я. Д. Щупак. Со 2 августа “Петроградская правда” ежедневно печатала сообщения о его работе: денежных и продуктовых пожертвованиях, их распределении, связях с другими местными комитетами. Однако судьба комитета оказалась столь же драматичной, как и Всероссийского (см. прим. 15). 23 августа деятельность комитета была прекращена: Петроградские власти потребовали изменения его состава, т. е. превращения его из органа общесоветской помощи в новый комисариат, как писали организаторы комитета. Из-за “невозможности вести деловую работу” члены комитета заявили о его роспуске. (См.: АГ, Био-24-2-1,7.)

- <sup>14</sup> В конце июля — начале августа советские газеты передавали немало сообщений о наступившем голоде, писалось и о том, что особенно бедствовало население Самарской и Саратовской губерний.

Сведения о голоде постоянно печатали газеты русской эмиграции. (См., например: Руль, 1921, 3 августа — корреспонденцию под заголовком “Ужасы голода”.) 4 августа “Руль” сообщал о беженцах из голодных мест: “Советское правительство приняло беспощадные меры для остановки движения голодающих в Москву. Троцкий выехал в Тамбов для организации военной обороны против наплыва голодающих <...> Массы движущихся с мест голодающих из Нижнего Поволжья достигли Казани”. К 20-м числам августа в советской печати появились данные о размерах наступившей катастрофы: голодом охвачены районы, где проживают 18-25 млн. человек (Берлинер Тагеблат, 1921, 24 августа).

- <sup>15</sup> Тревога Горького, одного из инициаторов создания Комитета помощи голодающим, за его работу (ею пронизано все письмо), стремление убедить Ленина в необходимости доверия к общественности были не случайны. Горький предугадывал возможность драматического поворота событий, зная об органическом недоверии правительства большевиков “буржуазным” деятелям, и даже предупреждал об этом. (См.: Кускова Е. Месяц “соглашательства” //Воля России, Прага, 1928, № 3. С. 68.) Работа комитета продолжалась всего несколько недель — с 21 июля по 27 августа. Когда во многом благодаря комитету, с советской России была снята блокада (пошли пароходы и поезда помощи), комитет был разогнан. Получив донос от внедренных в комитет коммунистов о том, что Прокопович произнес на одном из заседаний противоправительственную речь, Ленин предложил распустить комитет и арестовать его членов. (См. его письмо от 26 августа И. В. Сталину и всем членам политбюро ЦК РСРП(б) //Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 140-142.) О тяжелейшем впечатлении, произведенном на Горького этой акцией, вспоминал В. Ходасевич: “Его стыду и досаде не было границ. Встретив Каменева <он был офици-

альным председателем комитета — И. Р. > в кремлевской столовой, он сказал ему со слезами: — Вы сделали меня провокатором <...>.

Вернувшись в Петербург в конце сентября или начале октября, Горький, наконец, понял, что пора воспользоваться советами Ленина, и через несколько дней покинул советскую Россию" (Ходасевич В. Горький //Современные записки, Париж, 1940, № 70; переизд.: Ходасевич В. Воспоминания о Горьком. М., 1989. С. 31).

- <sup>16</sup> Тихвинский М. М. (1868-1921), участник социал-демократического движения, уже до революции был связан с большевиками; известный инженер-химик. После Октября был управляющим лабораторным отделом Главного нефтяного комитета ВСНХ. Арестован 25 июля 1921 г. Расстрелян по делу о таганцевском заговоре ("Петроградской боевой организации"). Хлопоты о нем — Горького и не только его — велись еще до этого письма. Уже 29 июля И. С. Уншлихт ответил на запрос Ленина, что по справке Петроградской Губчека есть "достаточно веские документы" его виновности и освобождению он не подлежит (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. I Ед. хр. 26253). Он обвинялся, в частности, в передаче за границу сведений о российской нефти: направлении в Стокгольм Нобелю "Доклада о бакинской нефти". (См.: В. И. Ленин и ВЧК. С. 452.) За Тихвинского ходатайствовало Русское физико-химическое общество, к чему Ленин отнесся с недоверием. В записке по этому поводу он писал Н. П. Горбуну: "Направьте запрос в ВЧК. Тихвинский не "случайно" арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга" (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 169). Роман Гуль, не без оснований считая следователя Я. Агранова виновником массовых расстрелов интеллигенции в 1919 г., а также одним из "создателей" дела Таганцева, писал: "Он убил многих известных общественных деятелей и замечательных русских ученых: проф. Тихвинского, проф. Волкова, проф. Лазаревского, Н. Н. Шепкина, братьев Астровых, К. К. Черносвитова, Н. А. Огородникова и многих других. Проф. В. Н. Таганцева, не желавшего давать показания, он пытал, заключив его в пробковую камеру, и держал его там 45 дней, пока путем пытки и провокации не добился нужных показаний. Агранов уничтожал цвет русской науки и общественности, посылая людей на расстрел за такие вины, как "по убеждениям сторонник демократического строя" или "враг рабочих и крестьян" (с точки зрения Агранова)" (Гуль Р. Дзержинский: (Начало террора). Нью-Йорк, 2-е изд., 1974. С. 93). По выражению историка русского зарубежья М. Я. Геллера, в лице Тихвинского "русская революция убила своего Лавуазье" (Вестник русского христианского движения. Париж, № 119. С. 196).

### 13

Печатается по А. Впервые напечатано в газете "Труд", 1993, 16 февраля. В настоящем издании письмо впервые сопровождается научным комментарием. Ответил ли Ленин, не установлено.

- <sup>1</sup> Горький уехал из России 16 октября 1921 г., по официальной версии (которую он и сам поддерживал), с целью лечения. На самом деле были и другие причины выезда Горького за границу. Об этом позднее писали его современники, оказавшиеся в эмиграции: Ек. Кускова (Соврем. зап., Париж, 1928, № 36. С. 307-309), В. Ходасевич (Соврем. зап., Париж, 1940, № 70. С. 131-158), Е. Замятин (Лица. Нью-Йорк, 1955. С. 93-94) и др. См. об этом также в прим. 15 к письму 12.

В Шварцвальде, на юге Германии (в санатории курорта Санкт-Блазиен), Горький лечился с 4 декабря 1921 г. до 3 апреля 1922 г.

- <sup>2</sup> М. А. Пешков (1897-1934) — сын Горького и Е. П. Пешковой. В марте 1917 г. вступил в РСДРП. После Октября служил в Красной Армии: был помощником коменданта Кремля, сотрудником Центрального управления Всеобуча. С марта 1921 г. — дипломатический курьер НКВД

РСФСР. См. о нем: Архив А. М. Горького. Т. 13: М. Горький и сын; Иванов Вяч. Вс. Почему Сталин убил Горького? // Вопросы лит., 1993, Вып. 1. С. 122-124.

О душевном состоянии и здоровье сына Горький около этого времени писал Е. П. Пешковой: "Постоянное метание из Рима в Берлин и обратно в тревожных условиях должности диктурьера натянуло ему нервы и очень утомило. Затем: "новая экономическая" политика" и речи В. И. Ленина сбили его с толка, ошарашили — как и многих других, — возбудили у юноши ряд серьезных вопросов" (Архив А. М. Горького. Т. 9. С. 213.). 30 декабря Горький сообщил Е. П. Пешковой об успешном лечении Максима в Сан-Блазиене (Там же. С. 216).

<sup>3</sup> В письме Е. П. Пешковой от 18 ноября, из-за границы, близком по времени, Горький, в частности, замечал: "Работают здесь из русских очень немногие и лишь такие, как Ладыжников, — честные люди, а остальная шваль и тля всячески сосет последние капли крови русской" (Там же. С. 215). Судя по словам: "тратя деньги на пропаганду и агитацию", — писатель мог иметь в виду, говоря об "интернациональных жуликах", тех советских и иностранных журналистов, которые были связаны с Отделом международной революционной пропаганды. Уже в декабре 1917 г. такая структура была организована при Наркомате по иностранным делам для широкого осведомления общественного мнения Европы о характере и смысле происходящего в России.

<sup>4</sup> А. М. Лежава (1870-1937), член РСДРП с 1904 г., был в это время заместителем наркома внешней торговли.

<sup>5</sup> Возможно, речь идет о Н. А. Оцупе (1894-1958), поэте-акмеисте, эссеисте. Был членом "Цеха поэтов", работал за границей. Эмигрировал в 1923 г. Стал известным биографом Н. Гумилева, редактором журнала "Числа". О каких книгах идет речь, не установлено. В 1921 г. вышел сб. стихов Н. Оцупа "Град" (Пг.), а также сб. стихов "Цеха поэтов" — "Новый гиперборей" (Пг., 1921, № 1) — с его участием.

<sup>6</sup> В "Правде" с 25 по 28 октября 1921 г. печаталась большая "Речь тов. Троцкого на II-ом Всероссийском съезде политпросветов". В ней шла речь и о "мелочах": Троцкий призывал в малом, рядовых фактах, видеть политику государственного строительства новых отношений.

<sup>7</sup> Решения о переходе к новой экономической политике были приняты X съездом партии, состоявшимся в первой половине марта 1921 г.

<sup>8</sup> Вероятный отклик на статью Ленина "Новые времена, старые ошибки в новом виде" (Правда, 1921, 20 августа). Направлена против "двух "потоков" <...> шатаний": "мелкобуржуазного реформизма" и "мелкобуржуазного революционаризма" (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 101). В эмигрантской прессе рассматривалась как выступление против нападок "левого крыла" (Последние новости, Париж, 1921, 9 сентября).

<sup>9</sup> Речь идет о замысле брошюры "О русском крестьянстве". Вышла в полном составе (10-ти заметок) осенью 1922 г. (Берлин. Изд. И. Ладыжникова), в апреле печаталась частично в переводах. (См.: ЛЖТГ. Вып. 3. С. 276, 290.) Была негативно принята в советской прессе. (См.: Там же. С. 279; Василевский И. М. (Не-Буква). Что они пишут? (Мемуары бывших людей). Л., 1925. С. 152-153; Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. Париж, 1983. С. 363, 365.)

<sup>10</sup> Об издании большевистских газет за рубежом в пропагандистских целях (Отделом международной революционной пропаганды при Наркомате по иностранным делам — см. прим. 3) сообщалось в разных изданиях русской эмиграции. (См.: Последние новости, Париж, 1921, 11 марта; 1 ноября; Русская книга, Берлин, 1921, № 3. С. 26.) С этими газетами — "Новый путь" (Рига), "Новый мир" (Берлин), "Путь" (Гельсингфорс) — пресса эмиграции вела постоянную полемику. Так, "Последние новости" в постоянной рубрике обзоров "Печать", обычно оговаривая характер издания — "большевистский "Путь", "большевистская рептилия "Новый мир", "коммунистический "Новый путь", "рупор Москвы..." и т. д. —



оспаривали либо объективность даваемой информации, либо очевидную ее идеологизированность. В ноябрьских номерах обсуждались вопросы "новой экономической политики", отношения к сменовеховству, оказания помощи голодающим. 1 ноября газета поместила отклик на статью Н. А. Гредескула в "Новом мире" по вопросам "новой экономической политики" ("продолжает свои коммунистические упражнения"); 8 ноября — статью З. Г. Ашкинази "Кающиеся интеллигенты" о сменовеховцах в "Новом мире"; 10 ноября — статью-реплику по поводу возражений "Нового мира" на статью Ашкинази и др.

- <sup>11</sup> Уехав за границу, Горький продолжал сотрудничество с общественными комитетами помощи голодающим, а также комитетами помощи русским ученым. О сборе денег для голодающих в России комитетами разных стран — Швейцарии, Франции, Бразилии, Аргентины, Международной комиссией помощи — а также целесообразности их использования Горький писал Ленину 25 декабря 1921 г. (Ленин и Горький. С. 219-221).

- <sup>12</sup> Пресса русской эмиграции много писала о неумеренных расходах, роскошной жизни отдельных советских дипломатов и торговых представителей России (М. М. Литвинова, Л. Б. Красина и других — см.: Последние новости, 1921, 1 марта; 4 ноября; 12 ноября) — и это на фоне сообщений о голоде, сборе средств для голодающих. Возможно, Горький имел в виду и нерациональность затрат для России, в обстановке голода, на помощь коммунистическому движению в Европе: зарубежная печать определенного направления, а также русская эмигрантская пресса не оставляли без разоблачающего внимания активности левых сил, в чем видели влияние III Интернационала. См. близкие по времени к письму Горького сообщения в "Последних новостях" об "усилении большевистской деятельности в Париже", которая проявлялась в незаконном распространении газеты "Новый мир" (1921, 8 ноября), о предъявлении советскому представителю в Австрии обвинения в организации восстания (15 ноября), о большевистском заговоре в Венгрии (17 ноября), о помощи "московского интернационала" коммунистическим партиям Европы (24 ноября).

## Из переписки М. Горького и Р. Роллана

Предисловие, подготовка текстов Горького  
и примечания Л. А. Спиридоновой;  
подготовка писем Р. Роллана и примечания Н. Ф. Ржевской  
при участии Л. А. Спиридоновой.

Переписка Горького и Роллана, продолжавшаяся с декабря 1916 г. до июня 1936 г., — взволнованный диалог двух очень непохожих друг на друга писателей, в котором подчас с поразительной откровенностью обнажался их духовный мир. Казалось бы, что могло связывать на протяжении двух десятилетий утонченного французского интеллигента, профессора истории искусств и музыки, и “пролетарского писателя”, бывшего босняка, у которого вместо Сорбонны университетами были долгие странствования по Руси? Проповедника “независимости духа”, стоявшего “над схваткой” даже в годы первой мировой войны, и приверженца идеи социализма, связавшего свою жизнь с большевиками? Тем не менее они сблизились, придя друг к другу, по словам Роллана, “с двух противоположных точек горизонта”.

Когда Горькому исполнилось шестьдесят лет, Роллан писал: “Имя Горького для меня с юности — имя друга. Младший по возрасту, он уже тогда казался мне старшим, потому что его слава уже сияла на Западе, когда я только начал писать. Где-то я уже рассказывал, что его портрет, на котором он снят вместе с Толстым в Ясной Поляне, — он один только украшал нашу маленькую редакционную комнату...”

Эти изображения были защитниками нашей независимости и правды” (Груздев И. Современный Запад о Горьком. Л., 1930. С. 182). Горький высоко ценил не только Роллана-художника, но и мыслителя.

Переписка шла на разных языках (переводчиками в разное время были Р. П. Аврамов, М. Ф. Андреева, Н. Н. Берберова, М. А. Пешков, но более всего — М. И. Будберг), и писатели не всегда понимали друг друга. Тем не менее они обменивались мыслями обо всем происходящем. Их волновали судьбы мира, сотрясаемого войной и революцией, проблемы культуры и морали, философии и социологии. В письмах мы находим размышления о социализме, о “буржуазном” и “пролетарском”

гуманизме, оценку толстовства и гандизма, поисков путей к народу, оценки "скептицизма невежества" и "яда идеализма". Приехав в Германию осенью 1921 г. (не по своей воле, а фактически "высланный" из России), Горький сразу же стал обсуждать с Ролланом проблемы русской революции и ее перспективы, делиться мыслями о судьбах Европы и Азии.

"Латинский ум" Роллана восхищал Горького, Роллана привлекала в Горьком истинно русская широта взглядов, умение связать "века мировой культуры с революцией" ("Литературная газета", 1938, 15 июня, № 33). Он отдавал должное "ясности взгляда" писателя, его пытливому уму, стремлению к правде и справедливости. Он нашел в Горьком достойного собеседника, постигшего особенности загадочной русской души, о которой так много спорили на Западе после Октябрьской революции. По существу, его представление о социализме соприкасалось с горьковским. Автору "Несвоевременных мыслей" должно было быть близко такое, например, суждение Роллана из письма от мая 1917 г.: "Я весьма сочувствую социализму, при условии, что он не будет применять к классам, которые он ниспровергнет, деспотических методов и не будет посягать на индивидуальную свободу" (Ромен Роллан. Собр. соч., Т. 1. М., 1954. С. XXXI).

Пройдя — каждый по-своему — через искус богоискательства, соблазны индивидуализма, отбросив предрассудки "абстрактного прекраснотушия", не разделяя лозунга "цель оправдывает средства", Горький и Роллан в конце концов почувствовали себя единомышленниками. "Наши руки братски сплелись", — писал Р. Роллан (Собр. соч. Т. 13. М., 1958, С. 268).

В 30-е годы переписка Горького и Роллана становится не столь откровенной, как вначале. Письма иногда пропадали или шли бесконечно долго, подвергались перлюстрации. В них возникает постоянная тема политических репрессий, волновавшая западную общественность. В письмах Горького Роллан и раньше находил ответ на свои вопросы о Ленине и его преемниках, о политике большевиков по отношению к интеллигенции, о молодых писателях и новинках советской литературы. Однако доминировали в их переписке все же глобальные, мировоззренческие проблемы.

В 1930-х гг. Горький становится главным информатором Роллана (а через него — прогрессивных кругов Запада) о событиях в Советском Союзе. Писатель, как и в первые годы революции, пытается помочь жертвам политических преследований, о которых пишет Роллан. Эта скрытая от посторонних глаз деятельность Горького становится значительно яснее сегодня, когда стали доступны письма Горького И. Сталину, Г. Ягоде, Л. Каменеву, А. Рыкову, П. Крючкову и др. Гораздо больше бросалось в глаза восхваление — порой искреннее, порой наигранное — достижений Октября, защита завоеваний социализма, грубоватые комплименты Сталину и Ягоде. Иногда они служили вывеской, за которой скрывалось внутреннее

противостояние все ужесточающемуся режиму, попытки примирить непримиримое, а иногда, особенно перед зарубежными друзьями, скрыть недостатки. Таковы письма последних лет жизни писателя. Благодаря Горькому и Е. П. Пешковой, у Роллана, по его собственному признанию, была некоторая возможность влиять на приговоры и смягчать наказания.

Встреча Горького и Роллана в Москве, которая произошла 29 июня 1935 г., подобно описана в "Московском дневнике" Роллана (см.: "Вопросы литературы", 1989, № 3-5). По этим записям видно, что Роллан почувствовал весь трагизм последних лет жизни писателя, ставшего "пленником в своей стране", осознал его духовное одиночество, столь тяготившее самого Роллана. Однако вряд ли можно согласиться с его утверждением, что Горький — добрый и слабый человек, идущий против своей природы, чтобы оправдать своих сановных "друзей" в СССР. Точнее характеристики, данные Ролланом после смерти Горького. В 1937 г. он написал второй литературный портрет писателя, представив его как гордого и независимого человека, выполняющего "задачу, которая была целью его жизни", а в статье "Памяти друга", оценивая общее содержание переписки с Горьким, заметил: "Целых двадцать лет я поддерживал с ним дружеские отношения и переписку, где отразилась страстность пережитых им кризисов, обозначавших поворотные пункты его жизни — символическую драму великой эпохи". (Литературная газета, 1938, № 33, 15 июня).

Переписка Горького и Роллана до сих пор недоступна широкому читателю в полном объеме. Вышедший в Париже в 1991 г. на французском языке том "Переписка. Ромен Роллан — Максим Горький" (вступительная статья, подготовка текста и примечания Ж. Перюса) не дает полного представления о содержании писем Горького, хотя бы потому, что это перевод, а не подлинник. В Архиве А. М. Горького хранятся автографы и авторизованные машинописные копии этих писем, переданные вдовой Р. Роллана, М. П. Кудашевой-Роллан, а также черновики писем, которые в отдельных случаях существенно отличаются от белого текста. Здесь же хранятся подлинники писем Р. Роллана. Мы предлагаем читателям переписку 1921-1922 гг. из подготовленного в ИМЛИ им. А. М. Горького РАН и Архиве А. М. Горького тома "М. Горький и Р. Роллан". Тексты печатаются по подлинникам из Архива А. М. Горького: письма 1-7, 9-11 — по автографам, письмо 8 — по авторизованной машинописной копии. Большая часть публикуемых писем имеет авторскую датировку, п. 1 датировано Р. П. Аврамовым, письмо 8 — М. И. Будберг во французском переводе. Письма Горького публикуются на русском языке впервые, за исключением письма 5, напечатанного в журнале "Юность", 1988, № 2. С. 81. Письма Роллана опубликованы в "Cahiers Romain Rolland", V.28, Paris, 1991, Р. 37-78 на французском языке. В настоящем издании перевод с французского — А. Д. Михайлова и Н. Ф. Ржевской.

## 1. ГОРЬКИЙ — РОЛЛАНУ

*<25 ноября 1921, Берлин>*

Дорогой Ромэн Роллан!

Благодарю Вас за Ваше доброе письмо!<sup>1</sup> Ваш почерк напоминает шрифт арабов, и за красивыми линиями строк я чувствую жаркое биение Вашего прекрасного сердца.

Да, я нездоров, — у меня рецидив туберкулеза легких, но в моем возрасте это не опасно. Несравнимо хуже этого — печальная усталость души.

Вы, конечно, правы: меня нимало не беспокоит злая грязь, изливаемая на мою голову людьми, которые, очевидно, не способны на дело, более полезное, — я слишком хорошо отшлифован жизнью для того, чтоб ко мне пристала грязь<sup>2</sup>.

Но я чувствую себя очень утомленным, за последние семь лет жизни в России я видел и пережил много тяжелых драм<sup>3</sup>, — тем более тяжелых, что они вызваны к жизни не могучей логикой чувства и воли, а тупым и холодным рассудком фанатиков и трусов.

Тяжело также видеть зловещую настороженность хищных птиц и зверей, которые, глядя на судороги смертельно уставшей России, ожидают безопасной минуты, чтобы выклевывать ее глаза и разорвать голодное тело.

Знаю, что Вашему сердцу так же тревожно и больно думать о будущем Франции, как моему о России, но — не кажется ли Вам, что страдания той и другой страны — индивидуальная драма в общей, глубокой трагедии всей семьи народов Европы?

Эта мысль особенно мучает меня.

Я непоколебимо верю в прекрасное будущее человечества, но меня болезненно смущает рост количества страданий, которыми люди платят за красоту своих надежд.

Может быть, это только результат утомления, однако — это очень больно, говорю я, человек, вообще не привыкший жаловаться на боль.

Скоро еду лечиться в Шварцвальд, курорт St. Blasien<sup>4</sup>.

Крепко жму Вашу руку, дорогой Роллан, всем сердцем желаю Вам всего доброго.

*М. Г.*

## 2. РОЛЛАН — ГОРЬКОМУ

*Париж, 3, ул. Буассонад (XIV)  
Вторник, 20 декабря 1921*

Дорогой Максим Горький.

Я одновременно обрадовался и опечалился, читая Ваше письмо. Ваши страдания не удивили меня. Я и без слов знал о них. Много раз за последние годы я думал о Вас и ясно

представлял себе, какую муку Вы должны преодолевать в себе.

Зрелище Революции и ее развития было всегда, во все времена, тяжким испытанием для идеалистов. Революция — это судорога человечества: все силы (и, хуже всего, слабости), дурные и злые, прорываются наружу, и это становится еще заметнее, если кризис затянулся: первоначальные благородные порывы бывают попорчены, сломлены или извращены — отсюда непреодолимая усталость, лихорадочное возбуждение, разгул грязных страстей, жажда наслаждения, малодушие, жестокость...

Но самое ужасное случается, когда под влиянием необходимости или в пылу боя руководители приносят в жертву политическим интересам величайшие моральные ценности: человечность, свободу и — высшее благо — истину.

Я очень опасаясь, что это и происходит на данной ступени русской Революции. Если судить по доходящим до меня слухам, можно сказать с полной уверенностью, что для большинства руководящих умов русской Революции (как, впрочем, и в остальных странах Европы) все должно быть подчинено "государственным интересам"...

Так вот, дорогой Горький, не надо допускать этого в полной мере. Пусть хоть несколько людей — мы с Вами — останемся неизменными хранителями моральных ценностей. Это необходимо для человечества и самой Революции. Ибо Революция, которая пренебрегает ими, осуждена рано или поздно на нечто худшее, чем поражение, она осуждена на моральный крах. "Победить любой ценой" — гибельная политика для всякой Революции. Ибо принцип любой ценой заранее лишает Революцию наиболее ценного ее оружия — оружия мысли. И если к тому же она будет побеждена, она не только проиграет битву, она все потеряет. Старинное изречение Монте-скье — "Республики основаны на добродетели" — более глубоко, чем это может показаться. Совершенно ясно, что основой Республики может служить лишь истина и чувство святого уважения к человеческой личности. Ибо если Республика опирается только на силу, на хитрость, ложь, всякий другой режим обладает в этом отношении неоспоримыми преимуществами. Кроме того: из какого источника станет черпать Революция ту жертвенность, без которой она не может существовать?

Все это я только что изложил Барбюсу в ответ на его статью в "Кларте"<sup>2</sup>, где он требует от меня и моих друзей временного отказа от всякого "морализирования" ради безоговорочного присоединения *perinde ac cadaver*\* к "святой" доктрине.

"До тех пор, пока я не почувствую, что партия (ответил я ему) охвачена жаждой истины, неизбежным следствием кото-

\* Слепо и не рассуждая; дословно: подобно труп (лат.)

рой является уважение к свободе критики, до тех пор, пока я буду видеть в ней лишь желание победить любой ценой, всеми доступными средствами, а также смешение партийных интересов с абсолютными понятиями справедливости и добра, словом, пока служители Революции мыслят узко политически и презируют под названием "анархизма" или "сентиментализма" святые требования свободной совести,— я останусь в стороне без всяких иллюзий относительно исхода сражения... Конечно, мы с Вами принадлежим к одному и тому же потоку Революции или, точнее, к одному и тому же потоку Возрождения человечества, его вечного Обновления. Оба мы стремимся порвать губительные узы прошлого, тормозящие шествие человека вперед. Но я не желаю заменять их тяжкими новыми узами.

— Вместе с революционерами против тирании прошлого! Вместе с обездоленными завтрашнего дня против завтрашней тирании! Изречение Шиллера "In tyrannos" (Против всяких тиранов) стало моим девизом на все времена".

Что касается будущего, я сужу о нем трезво. Я прекрасно вижу, что мы вступили в эру потрясений, переживаем длительную болезнь роста человечества, во время которой народам придется претерпеть множество новых ударов. Вполне возможно, что вся Европа будет изранена, истощена, что она потеряет свое превосходство... Не все ли равно? Ведь в мире есть и другие светочи. Я не больше патриот Европы, чем Франции. Тот или другой народ возьмет в свои руки дело прогресса и продолжит его. Поразительный моральный фактор последних тридцати лет (свидетелем которого я являюсь) — это духовное братство, понемногу связывающее передовых людей всех стран Европы, Азии, Америки. Конечно, эти люди только провозвестники будущего, за которыми следует на протяжении веков вся великая человеческая армия. Но она идет и пойдет за ними. Я убежден в этом. Подобно Колумбу, который стоял, устремляя взоры вперед, на палубе своего корабля, разрезавшего темные воды Атлантики, мы знаем, что новый мир — впереди. Наши глаза не увидят его. Не все ли равно? Он там.

А в ожидании сохраним и объединим все силы разума, любви и веры ради соратников, которые переживут нас, и тем самым поможем им преодолеть века испытаний, еще отделяющие их от новой земли. Это наша основная задача. Спасти души. Пока она сохраняется, свободная и чистая, хотя бы в одном человеке, ничего не потеряно: человечество не погибнет.

Простите меня за это длинное письмо, дорогой Горький. Я невольно поддался искушению поговорить по душам с человеком, который мне дорог.

Шлю Вам свои самые сердечные пожелания к Новому году, пожелания здоровья и плодотворной работы. (Я страдаю чем-

го вроде Вашей болезни, и у меня тоже был рецидив этой осенью).

Братски жму Вашу руку

Ромен Роллан

### 3. ГОРЬКИЙ — РОЛЛАНУ

<3 января 1922, St. Blasien>

Сердечное спасибо, дорогой друг, за Ваше прекрасное, мудрое и бодрое письмо.

Но меня не надо утешать, я не жалуясь на свою боль и тревоги, привычные мне, как, вероятно, и Вам. Речь идет не обо мне, а о старой великой Европе и о России, подростке среди ее народов. Да, Европа тяжело больна, и меня, русского, ее состояние тревожит не меньше, а больше, чем многих бесстрашно мыслящих европейцев. Ибо, если Европа, — этот мощный творческий организм, который насыщает весь мир величайшими достижениями науки, искусства, техники, — если этот организм перестанет работать, как работал до XX-го столетия — его бессилие прежде всего и всего пагубнее отзовется на России. Мы, русские, от времен Петра Великого жили за счет европейской культуры, и без этой опоры нам грозит поглощение пассивным анархизмом<sup>1</sup>.

Ошибочно думать, что русская революция есть результат активности всей массы русского народа, — нет, народная масса все еще не усвоила, не понимает значения событий. Разумеется, последние четыре года значительно поколебали ее инерцию, но — основным стремлением всякого народа является стремление к покою. Революции всегда совершались — Вы это знаете, — волею немногих безумцев, — русская революция подчинена этому же закону. И теперь, когда истинные революционеры, — люди высокого духа — частью погибли в борьбе, частью изработались, устали и поглощаются будничной, черной работой, — теперь возможно в русском крестьянстве возвращение к старине, к “порядку”, во что бы то ни стало. Консерватизм деревни может быть побежден только мощно развитой техникой — машины, машины!<sup>2</sup> — а без помощи Европы Россия не может создать такую технику, которая убедила бы мужика в силе, разуме, в грандиозном значении науки и городской культуры.

В крестьянстве растет все глубже и шире вражда к городам, к тем точкам, на которых концентрируется интеллектуальная сила и откуда исходит всяческий духовный бунт и мятеж. Эта вражда была всегда и всюду, но она особенно опасна в России, где отношение города и деревни = 15 к 85-и. Это — не весело<sup>3</sup>!

Да, конечно, романо-германская культура не погибнет, как не погибала бесследно ни одна из культур древнего мира.



Великие достижения европейской мысли уже и теперь всасываются возрождающимся к новой жизни мозгом Китая, Индии. Это — так. Но — разве не больно Вам за Францию, еще не допевшую песнь своего гения? И как не бояться за Россию, которая только что начала творить драму новой жизни и — рискует погибнуть от голода, усталости. Вот о чем думаешь и чего боишься.

Интеллектуальная сила России быстро убывает — за эти четыре года погибли десятки ученых, литераторов, художников — только что помер В. Короленко<sup>4</sup>, интересный писатель и прекрасный человек, недавно погиб наш крупнейший поэт А. Блок<sup>5</sup> и другой — Гумилев<sup>6</sup>. Рост и развитие новых сил замедляется общими условиями времени, а — Вы стократно правы! — нам нужно много людей, любящих человека, свободу, справедливость, красоту.

Ваше письмо к Барбюсу — превосходно<sup>7</sup>, и я безгранично рад духовному единению с Вами, — Ваши мысли — любимые мною, дорогие мне, я все эти годы неуклонно повторяю в моей стране.

Освободить себя от морали? О нет, я знаю, к чему это ведет, я вижу это, наблюдая жизнь России. И если б Барбюс с товарищами его<sup>8</sup> видел, к чему ведет этот вид свободы — он закричал бы всем сердцем вместе с Вами “долой всех тиранов” — “In tȳrannos”<sup>9</sup>! Нет, никогда еще слова чести, гуманизма и добра не имели такого значения и веса — какое имеют сегодня — в этот страшный день, грозящий разрушением человека, чья душа выработана веками мучений сердца, страданий мысли.

Крепко жму Вашу руку, дорогой Ромэн Роллан!

Хотел бы видеть Вас, но сначала научусь говорить на Вашем языке, который изучаю<sup>10</sup>. Некогда было мне заниматься самим собою.

Будьте здоровы, будьте счастливы в новом году. Желаю Вам всего, всего доброго.

*М. Горький*

3. I. 22.

St. Blasien.

#### 4. РОЛЛАН — ГОРЬКОМУ

*Париж, 3, ул. Буассонад (XIV)  
Суббота, 21 января 1922*

Дорогой друг!

Я с волнением прочел Ваше замечательное письмо. Верьте, я глубоко чувствую всю его горестную правду! Есть много страданий, которые я подавляю в себе. И одно из них Вы назвали, сказав, что “Франция не могла спеть до конца гимн своего гения”... Вы дотронулись до раны, которую я скрываю

от посторонних глаз, она открыта уже много лет и ныне особенно сильно кровоточит. Больно ощущать, что окружающая жизнь уходит от тебя, и видеть, что ты становишься чуждым, ненужным среди людей Запада, апатичных, застывших от ужаса или подверженных припадкам губительной жестокости.

И все же непобедимая надежда нашептывает мне: "Эти мертвецы воскреснут или уступят место живым". Что знаем мы о подспудных жизненных силах человечества — (и даже народа) — и сколько раз весна неожиданно расцветала на развалинах! — Я только что прочел как раз тот крик души, который начертал под законченной им росписью алтаря известный немецкий художник Лукас Мозер, отчасти еще — принадлежащий Средневековью:

"Плачь, о Искусство, плачь и жалуйся! Ибо никто больше не любит тебя.— Вот почему, о горе! в 1431 году Лукас Мозер, создатель сего творения, молит Бога за тебя"<sup>1</sup>.

В том же 1431 году Ван Эйки создали Гентский триптих<sup>2</sup>, и первые фиалки, анемоны и примулы итальянского Rinascimento\* расцвели на древней земле мертвецов! —

И для нашей Европы тоже придет весна.

Вы пишете, что одобряете мысли, изложенные в моем письме к Барбюсу. Но я привел Вам лишь несколько отрывков из него. Посылаю Вам этот текст полностью, ведь все письмо может Вам и не понравиться. Для меня же дело чести подвергнуть себя Вашему суду, если таковой последует. Мне не хотелось бы обманным путем пользоваться Вашим сочувствием. Будьте так добры, сообщите мне (не утомляясь, в двух словах), кажется ли Вам правильным или нет это письмо в целом.

Надеюсь, Вы лучше себя чувствуете после пребывания в Шварцвальде и от всего сердца жму Вашу руку.

*Ромен Роллан*

## 5. ГОРЬКИЙ — РОЛЛАНУ

<25 января 1922, St. Blasien.>

25.I 22

Дорогой друг!

Основой Вашего письма Барбюсу является — на мой взгляд — оценка Вами иезуитского принципа: "Цель оправдывает средства".

Какова цель? Создать условия, которые воспитали бы людей добрыми, умными, сильными, честными.

Для меня вполне и давно ясно, что средства, употребляемые ныне для создания таких условий, ведут в сторону, прямо противоположную цели.

\* Rinascimento (ит.) — Возрождение.

Необходимость этики в борьбе я пропагандировал с первых дней революции в России. Мне говорили, что это наивно, неосуществимо, даже — вредно. Иногда это говорили люди, которым иезуитизм органически противен, но они все-таки сознательно приняли его, приняли, насилуя себя; это — фанатики, честные люди, они грешили ради спасения других. Я не видел, чтоб это кого-либо или что-либо спасло, не думаю, что спасет, а фанатики уже погибли, обессилив сами себя большою возмущенной совестью, страданиями нравственного раздвоения.

Дорогой мой Роллан, — мысли, выраженные Вами в письме Барбюсу, — хорошие, еретические мысли. Они с достаточной ясностью выражают основы “ролландизма” — если я правильно чувствую его в “Жан-Кристофе” и других Ваших книгах.

То место письма, где Вы называете себя “чужим” и “бесполезным” — почти оскорбляет меня. Нет, еретики не бесполезны, они всегда являлись борцами против тиранов ортодоксии, и только поэтому — еретики. Да здравствуют во веки веков!

Барбюсу и другим людям этой линии мышления не бесполезно было бы подумать над смыслом некоторых горестных фактов.

В 14 году пролетарии всех стран соединились на прекрасных полях Франции, а также других полях Европы и Азии — соединились и четыре года мужественно истребляли друг друга — ради чего<sup>1</sup>? В этой бойне принимали активное участие тысячи сознательных, искренних социалистов и миллионы людей, которые сознательно вотировали за них на выборах в парламенты и рейхстаги<sup>2</sup>. Так?

Думает ли Барбюс, что это позорное преступление было бы возможно, если б этика социализма внедрялась в сознание масс так же глубоко, как внедряется политика и экономика?

Возможно ли прикрыть мрачное значение этого факта словами “обманутый народ”<sup>3</sup>?

Обманутый народ — легенда, полезная только для тех, кто хочет обмануть его. Я не верю, что в XX веке существует “обманутый народ”, я думаю, что его нет уже и в Африке, стране черных. Существует только народ неорганизованный и потому — бессильный пока. Но — идет процесс организации жадности, зависти, ненависти и всех грубейших инстинктов народа. Он — самоорганизуется.

Что наблюдаем мы сейчас как прямое последствие войны?

Пролетариат Европы оказался морально и физически бессильным помешать блокаде и интервенции России<sup>4</sup>, он бессильно помешать и процессу поглощения России капиталом Европы. Мне известно, что коммунистические организации Европы получают большие деньги из Москвы, в то время как треть России подыхает от голода, а власть собирает милостину у капиталистов той же Европы<sup>5</sup>.

Я вижу, что пролетариат не может — и можно думать: не хочет — помешать процессу ограбления Германии<sup>6</sup>. Я чувств-

вую, как в германском пролетариате бурно развивается дух шовинизма, как растет среди него идея реванша, я слышу грозные слова непримиримой мести:

“Когда начнется новая война, мы пройдем всю Францию до Средиземного моря и каждый город ее почувствует, чем он обязан политике Пуанкаре”<sup>7</sup>.

Думаете ли Вы, что такие мысли и чувства были бы возможны, если б сознание пролетариата содержало в себе принципы социалистической этики?

При наличии этического сознания все, указанное мною, было бы невозможно.

Без этого сознания идеи “братства народов”, “единства интересов человечества”, “интернациональные цели пролетариата” — все это слова, лишенные живого содержания, революционного энтузиазма, это абстракции, они не имеют корней в душе человека, они лишены творческой силы.

Я заключаю: истинных социалистов — нет и не может быть до той поры, пока не вырастет в сознание этика, сильная, как религия на заре возникновения.

Эти мысли возникли у меня не сегодня. Они дорого стоят мне. Они обязывают меня к той резкости, с которой я их выражаю.

Вы видите, дорогой друг, что я не испуган Вашей критикой коммунизма. И тот факт, что Вы не коммунист, — не является для меня пороком, право — нет!

Но, дорогой, мы, еретики, обязаны бороться за наши верования, мы обязаны внести их в жизнь, хотя бы на позор и поругание.

Я — не самонадеян, но думаю, что мы способны кое-что сделать, — не правда ли?

Давайте же искать людей, думающих согласно с нами, и, может быть, нам удастся внушить мыслящим иначе необходимость самокритики, необходимой и для нас.

Прилагаю несколько слов, написанных мною для газеты “Франкфуртской” по поводу “Недели Гете”<sup>8</sup>. Как видите, у меня — злое настроение.

Я сердечно благодарен Вам за Ваши письма, прекрасные письма хорошего человека.

Будьте здоровы! Крепко жму руку.

*М. Горький.*

## 6. РОЛЛАН — ГОРЬКОМУ

*Вторник, 4 апреля 1922*

*Париж, 3, ул. Буассонад (XIV)*

Дорогой друг,

за последние месяцы я провел долгие часы с Вами — с Вашими книгами. Вы ведь знаете, что недавно вышли во

французском переводе "Детство", "Хозяин" (Одна зима в моей жизни) и Ваши статьи, начиная с 1917 г. (под заглавием "Статьи о Революции")<sup>1</sup>. Вы хлебнули больше, чем следует, горечи жизни. Надо обладать поразительной жизнеспособностью, чтобы выдержать столь тяжкие испытания. Я восхищен главным образом тем, что Вы сумели сохранить, несмотря на полное разочарование в людях, безграничную веру в жизнь и человеческий разум. Я тоже сочетаю в себе пессимизм и оптимизм (таков закон жизни: вдох, выдох), но мне меньше, чем Вам, удавалось сохранять между ними гармонию, ибо я не погружался, подобно Вам, в глубины этого страшного народа, темного, зыбкого, лишенного нравственных устоев, народа, увы, неплохого — он ни плох, ни хорош по-настоящему, — который сам себя не знает и, как апостол Петр, по двадцать раз на дню отрывается от себя<sup>2</sup>. Как превосходно Вы знаете свой народ! Познакомившись с Вашими произведениями, я почувствовал, насколько великий Толстой, который так мне дорог, идеализировал его помимо воли: благодаря своей гениальной интуиции он видел чужую душу как бы при вспышке молнии, но молния озаряла потемки лишь на мгновение, и по одному этому мгновению он судил о душе в целом. Он видел народ лишь мимоходом, он не делил с ним хлеб и жизнь.

И как это странно, однако! Вы, деливший с народом хлеб и жизнь (стоит прочесть ваш рассказ "Хозяин"), словно принадлежали к другой расе. Ютясь на мерзком чердаке булочной, Вы оставались чужаком, аристократом духа. Ваши товарищи и сам хозяин сознавали это.

Я еще лучше понял Вас, прочтя Речь, которую Вы произнесли в ноябре 1918 года на собрании общества "Культура и Свобода" в Москве<sup>3</sup>. Вы говорили в ней о молодой рабочей интеллигенции, "столь же оторванной от массы, столь же одинокой среди пролетариата, как была одинока наша старая буржуазная интеллигенция". — Я полагаю, как и Вы, что наша задача заключается в объединении обеих интеллигенций. Подлинный мировой прогресс зависит от этого. — В Париже мы уже делаем кое-какие попытки.

Ваши "Статьи о Революции" являют в целом превосходный пример гражданского мужества. Когда я узнал, что Вами высказаны горькие истины народу-победителю и грозным морякам<sup>4</sup>, мне стало хорошо на душе: теперь я могу гордиться интеллигенцией, или, вернее, это служит мне утешением при виде тех подлостей, которые повсеместно совершают люди умственного труда.

Ваши взгляды на общество, по-видимому, претерпели изменение за 1919-1920 годы. Очевидно, во французском издании не хватает некоторых статей, объясняющих эту эволюцию, ибо, понимая, что она могла произойти, трудно понять истинные причины такой перемены.

Я не согласен с Вашей оценкой Востока<sup>5</sup>. Я вижу в нем источник могучего обновления человеческой цивилизации. Но наши разногласия объясняются, мне кажется, тем, что существует не один Восток, а несколько, и мы с Вами говорим о разных вещах. Вы нападаете, главным образом, на расслабляющий человеческую волю фаталистический Восток, который проник и в Россию. Но в Индии и новом Китае мне известен другой Восток: Восток идеализма и героического действия. Вы не принимаете, надеюсь, моего Жана Кристофа за нервного фаталиста? Так вот, представьте себе: в словах, с которыми Жан-Кристоф обращается к своему Богу из "Неопалимой купины"<sup>6</sup> в минуту тяжкого испытания, когда его воля надломлена и он готов уже сдаться, но все же возобновляет извечную героическую борьбу, молодые индусы нашли почти текстуальное совпадение с ведическими гимнами Вишну и Шиве<sup>7</sup> (хотя я и понятия о них не имел), иными словами, с их мировоззрением в наиболее чистом виде. Будда, как и Лао-цзе<sup>8</sup> — лишь выражение (возвышенное) эры пессимизма, разочарования людей в действии. Но первичный ведизм и брахманизм<sup>9</sup> насыщены кипучей энергией, и этот источник не иссяк в душах многих тысяч азиатов. Великие силы, заложенные в человеческой душе, никогда не умирают. Они дремлют. Будь то в Европе или Азии, мне всюду хотелось бы их пробудить.

Надеюсь, что вы чувствуете себя лучше. Я был бы счастлив узнать об этом.

Я уеду из Парижа в конце месяца и водворюсь вместе со своими книгами на вилле "Ольга" — в домике, который я снял в Швейцарии, в Вильнёве, неподалеку от Монтре (Во).

Сердечно жму Вашу руку, дорогой друг. Верьте, что во Франции у Вас имеется маленькая группа горячо любящих Вас друзей.

*Ваш Ромен Роллан*

## 7. РОЛЛАН — ГОРЬКОМУ

*Вильнёв (Во) — Швейцария,  
вилла "Ольга"*

*Понедельник, 22 мая 1922*

Мой дорогой друг,

редакция "Кларте" сообщила мне, что Вам хотелось бы поехать на юг Франции для полного выздоровления; она просит меня поддержать ее ходатайство (я это и делаю)<sup>1</sup>, чтобы Вы не встретили препятствий при въезде во Францию.

Спешу уведомить Вас, что я уже не живу во Франции. Я окончательно расстался со своей парижской квартирой и поселился в домике, снятом мною на берегу Женевского озера, в кантоне Во, Я, конечно, буду проводить несколько ме-

сяцев в году во Франции, но отныне мое постоянное местожительство — Швейцария, Вильнёв (Во), вилла “Ольга”. Пожалуйста, не забудьте об этом, и, если Вам случится побывать в наших краях, известите меня о своем приезде и остановитесь на вилле “Ольга”. Для меня это было бы большой радостью.

Напишите также, прошу Вас, есть ли какая-нибудь надежда, что Вы приедете во второй половине августа в Варезе, Италия, поблизости от Лаго-Маджоре, куда Вы приглашены на международный съезд друзей-интеллигентов — французов, немцев, англичан, итальянцев<sup>2</sup>. Я поеду на этот съезд лишь в том случае, если буду уверен, что встречу там Вас. Иначе я проведу все лето в Вильнёве или его окрестностях.

Сердечно жму Вашу руку и желаю, чтобы здоровье Ваше окрепло.

*Ваш Ромен Роллан*

Вильнёв расположен на берегу Женевского озера, противоположном Женеве, за Шильоном, недалеко от впадения Роны в озеро. Это старинная деревушка виноградарей и рыбаков. Мой домик стоит несколько дальше над ней, около дома Байрона<sup>3</sup>.

## 8. ГОРЬКИЙ — РОЛЛАНУ

*<5 июня 1922, Герингсдорф>  
Ромэну Роллану*

Дорогой мой друг!

Только вчера получил Ваше письмо, посланное Вами на адрес Абрамова<sup>1</sup> более месяца тому назад. Случилось так, что Абрамов был в Румынии, и письмо лежало у него все это время.

Вы сказали в нем много лестного для меня, немало такого, что ласково коснулось моего сердца, и — провидец, как всякий большой художник, — Вы сказали печальную истину, назвав меня “человеком другой расы”<sup>2</sup>.

Да, это так. По какой-то злой иронии почти все русские интеллигенты — чужие люди в своей родной стране. Величайший, удивительный наш поэт Александр Пушкин был, как волк: “Черт меня дернул родиться в России с умом и талантом”<sup>3</sup>. Один из лучших писателей наших Николай Лесков кричал о народе: “Дрянь родная! Навоз славянский! Как жить с тобою!”<sup>4</sup> Это был прекрасный знаток народа и виртуоз языка. И почти у каждого из крупных русских людей вы найдете этот вопль отчаяния одиноких, потерянных в массе народной, бессильных пред силою ее пассивного сопротивления тому, во что верит интеллигенция.

Вот и сейчас я слышу этот вопль — он вырывается из груди старых большевиков, революционной гвардии нашей,

из уст мучеников идеи, которые пережили годы тюрьмы, ссылки, каторги. Разумеется, мне больно за этих людей. Не потому только, что среди них есть личности, которых я люблю и уважаю, а потому, что — истощается энтузиазм и вера, исчезает сила, способная организовать Россию как европейское государство.

Здесь я поспорю с Вами по вопросу о Востоке. Когда Вы, европейцы, люди активные, с грандиозной историей сзади вас, смотрите на Восток, вы видите там только то величественное, что дала его Мысль, его творческий дух. Вас интересует динамика. Мы, русские, — не европейцы, мы очень сложный конгломерат славянских и тюркско-финских племен. Мы смотрим на быт Востока, нашу массу увлекает его социальная статика, его любовь к покою, к безответственности. После японской войны солдаты, возвратясь домой, с восторгом говорили о том, как хорошо живут китайцы и манчжуры. Индия для нас интересна как страна деревень, мужиков, а не как почва Ведаизма и Брахманизма.

У нас мечтают о государстве без власти над человеком, — это утопическая мечта в крови, в природе народа. Русский не любит работать и не хочет брать на себя никакой ответственности за ход жизни, за условия ее. Это очень странный человек, болеющий скептицизмом невежества, с душой, запутанной в противоречиях, полной фантастических неожиданностей.

Но — это талантливый народ. Я в достаточной мере объективен и знаю, о чем говорю. Я вижу, что в моей области — в литературе — несмотря на невыносимые условия жизни, растут и развиваются целые группы — да, — именно группы! — очень талантливых молодых людей. Некоторые из них будут, без сомнения, очень крупными писателями, и скоро Европа услышит о них. Это — удивительные люди. Все они — аполитичны, индивидуалисты и романтики<sup>5</sup>.

Быть аполитичным в стране, живущей исключительно политикой, — это фокус, почти волшебный. Но — в нем скрыт все тот же анархизм, все то же стремление от жизни, к безответственности, к покою.

Вот, дорогой мой, где скрыта великая мука моя, я боюсь за народ, — за огромное его ленивое тело, за его талантливую, но чуждую жизни душу. Народ этот еще не жил, не делал истории своими руками, своей волей, как это делали латинская и англо-саксонская расы. И — ему не хочется делать историю. Он хочет только одного: безответственно и спокойно жить на своей плоской широкой земле, в сущности, — пустынной.

К этой тревоге за свой народ присоединяется страх за Европу, в которой все растет ненависть, злоба, отчаяние.

Наше время подобно эпохе Римской империи в III-IV веках — в воздухе носится запах разложения.



У вас в Париже, в Батиньоле, живут троглодиты, полузвери, они живут в Уайт-Чапеле Лондона, в Моабите Берлина<sup>6</sup>. Они не могут сделать социальную революцию, они способны только к мести и анархии. Они — ни во что не веруют и хотят только одного — чтобы все полетело к черту.

Сейчас получил Ваше третье письмо.

Указание на эклектизм журнала<sup>7</sup> совершенно правильно, объясняется же эклектизм нашей неосведомленностью — кого пригласить?

В сущности — нам нужны информаторы по литературе и науке, — вот укажите кого-либо на роль обозревателя науки. И дайте адрес Жоржа Дюамель<sup>8</sup>, — спасибо за совет пригласить его.

Из Англии у нас будут писать радиоактивист Содди и Ребекка Вебб<sup>9</sup>, кажется.

Кого бы из ученых французов указали Вы?

Привет!

## 9. РОЛЛАН — ГОРЬКОМУ

*Вильнёв (Во), вилла "Ольга"  
Суббота, 16 сентября 1922*

Дорогой друг,

я буду рад познакомиться с произведениями Исаия Добровейна и, если сумею, постараюсь ввести его в музыкальные круги Парижа<sup>1</sup>.

Отвечая просьбой на просьбу, посылаю Вам в этом письме записку, переданную мне добрыми швейцарскими друзьями. Будьте любезны написать, что Вы о ней думаете.

Я получил Ваше прекрасное, сердечное письмо от 5 июня. Как Вы могли подумать, что оно обидит меня? Прежде всего, ничто, исходящее от Вас, убежден в этом, никогда меня не обидит, ибо я слишком глубоко верю в великодушие Вашего сердца и Вашу искренность. Да и к тому же в Вашем письме от 5 июня нет ни одного слова, которое не вызывало бы моего сочувствия. Конечно, мы не одинаково смотрим на некоторые вопросы, как, например, на восточный вопрос; но дело в том, что мы оцениваем его с разных точек зрения. Вы и сами прекрасно почувствовали, что я говорю об интеллектуальной верхушке Индии, Китая и Японии, а не о широких слоях населения этих стран. Я считаю совершенно необходимым обновление европейской мысли путем соприкосновения ее с мыслью Азии. Но я вижу, как и Вы, какую огромную опасность представляет собою грубое вторжение в Европу множества азиатов — этого неудержимого потока миллионов людей, которые стремятся отомстить за века жестокого угнетения и постыдного насилия. — Для меня это лишний повод настаивать на срочности нашего сближения с интеллектуальной верхуш-

кой Азии, на союзе с ней, дабы бороться всем вместе против фанатичного национализма как народов Азии, так и народов Европы. Я нашел в Японии и Индии достойных единомышленников, играющих в своих странах роль, подобную той, которую я играю во Франции.

И все же, дорогой Горький, среди бедствий нашего времени есть новый и утешительный факт: во всех странах мира имеются теперь единомышленники и соратники, что было немыслимо тридцать — пятьдесят лет тому назад; и несмотря ни на что, гнусная мировая война во многом способствовала этому.

Меня очень огорчает, что Вы все еще больны. Неужели Вы не можете добиться разрешения на въезд в Швейцарию?

В Тессине, в Локарно и Лугано (особенно в Локарно) Вы найдете, мне кажется, больше тепла и солнца. Я не советую Вам ехать в Италию, так как опасаясь, что Ваша жизнь может оказаться там под угрозой. Италия переживает сейчас один из эпилептических припадков, к которым она, по своей природе, несколько предрасположена<sup>2</sup>. (Я очень люблю эту страну, но, хорошо зная ее, не больше ей доверяю, чем моей черной кошке). Она находится сейчас во власти бесчинствующих фашистов. Совсем еще недавно нам пришлось перенести из Варезе в Лугано заседания Международной конференции, о которой Вам писала моя сестра, ибо из-за фашистов, захвативших муниципалитет Варезе, всякая работа стала там невозможной. Наши делегаты, прозванные ими пораженцами (иначе говоря, пояснили они, "большевиками"!), были занесены в черные списки, и нас с сестрой предупредили, что мы лично подвергаемся опасности.

Во Франции же добиваются для Вас разрешения на въезд, — но весьма плохо взялись за дело. Коммунисты сразу подняли шум вокруг этого проекта (Вы что-либо читали об этом?)<sup>3</sup>, как бы бросая своим поведением вызов правительству. Но если по состоянию здоровья Вам необходимо провести несколько месяцев на Лазурном побережье, мне кажется (так я слышал по крайней мере), что получить официальное разрешение будет не так уж невозможно. Подумайте, однако, о Локарно или о Лугано. Пожалуй, это будет проще всего. Сердечно любящий Вас

*Ромен Роллан*

Несколько слов по поводу Исаия Добровейна. Если произведения его интересны, будет довольно легко включить их в парижские концертные программы, но трудно и даже практически невозможно их издать. Наши парижские издатели, никогда не отличавшиеся смелостью и инициативой, подвержены в настоящее время приступам малодушия и впали поэтому в своего рода оцепенение.

*Вильнёв (Во), вилла "Ольга"  
Четверг, 12 октября 1922*

Мой дорогой друг, я был очень рад получить Вашу книжку с таким сердечным посвящением<sup>1</sup>. Искренне благодарю Вас за нее. Она волнует своим трагизмом. Я понимаю, что Вас тяготит описанная в ней действительность. Не знаю, так ли это, но мне кажется, что "великая скорбь", которой проникнута Ваша книга, сопровождала Вас на протяжении почти всей Вашей жизни, почти всю Вашу жизнь Вы несли, затаив в себе, страдания этого страшного русского народа, который Вы хотели и не могли спасти. Дело тут не в открытии, сделанном в последние годы, но за последние годы рухнула великая иллюзия начала Революции (всякой Революции), и это принесло Вам новое разочарование, более глубокое и горькое, чем все предыдущие.

Я полагаю, дорогой друг, что все, описанное Вами, является частью незыблемого целого, ответственность за которое трудно возложить на один народ, каким бы он ни был. Требуется не так уж много, чтобы пробудить в народах Запада склонность к холодной жестокости, которую Вы с ужасом отмечаете у русских крестьян. Человечество еще слишком недавно вышло из своего первоначального скотского состояния! Достаточно пустяка, чтобы оно в любую минуту снова впало в него. А в сочетании со звериными инстинктами человеческая мысль (эта гениальная болезнь!) порождает садизм. Удивляться тут нечему: мы поднялись с самого низа и путь совершили слишком быстро. Не следует также отчаиваться: идет непрерывная ожесточенная борьба, которая продлится, быть может, тысячелетия. Мы чересчур спешим. У природы же есть время!

Что касается Вашего поразительного заключения<sup>2</sup>, в котором Вы рисуете перед нами будущую новую породу русских крестьян — людей, которые лишены доброты, сердечности, великодушия, отвергают интеллигенцию, питают недоверие к науке и с огромной силой и напористостью используют разум лишь для удовлетворения своих материальных потребностей, — конечно, в такой перспективе нет для нас ничего отрадного; но, как знать, друг Горький, не окажется ли это, вопреки всему, спасительной реакцией на другую опасность цивилизации? В самом деле, научный и промышленный прогресс Европы и Америки, предоставленный сам себе, неминуемо и в самый короткий срок приведет человечество к гибели в результате горячки изобретательства, к которой неизменно присоединяется жажда господства и разрушения. (И стремление это только усиливается по мере роста возможностей, которые мысль изобретателя дает в руки людям). Отовсюду

уже доносятся крики тревоги. Но для того, чтобы остановить или замедлить это страшное поступательное движение, следовало бы пустить в ход тормоза, на что цивилизованные страны Запада уже не способны. Как знать, не послужит ли этой цели непримиримый консерватизм крестьянского населения России?

Далеко не все ложно в том, что говорит наш рязанский мужик (стр. 35), а также стр. 30: "Zuerst muss man auf der Erde richtig festen Fuss fassen: für die Luft ist später noch Zeit"\*

Старинная французская поговорка гласит: "Шаг за шагом уйдешь дальше". Я полагаю, что Кола Брюньон не раз думал то же самое.

Нас с Вами строго отчитали наши друзья-коммунисты. Я удостоился этой чести в последнем № "Кларте", в статье, принадлежащей державному перу самого Троцкого<sup>3</sup>, и даже вторично на страницах "Юманите"<sup>4</sup>, в то время как Вас раскритиковал какой-то француз под псевдонимом "Парижанин", который утверждает с ученым видом, будто Вы не знаете русского народа<sup>5</sup>! (Он же, разумеется, знает его! Это восхитительно!) Люди, свободные духом, как мы с Вами, свободные и преданные истине, всегда одиноки среди людей. Но они не бывают и никогда не будут одиноки в глубине своей души, ибо чувствуют себя связанными с жизнью всего мира.

Я узнал, что в Германии празднуется Ваш юбилей<sup>6</sup>. Обнимаю Вас, мой друг. Долго еще живите и творите!

*Ваш Ромен Роллан*

## 11. ГОРЬКИЙ — РОЛЛАНУ

*<7 декабря 1922, Сааров>*

Разумеется, дорогой друг, я принимаю Ваше лестное предложение с огромным удовольствием. Я думаю, что могу дать Вам для г. Ронигер книгу моих воспоминаний о Чехове, Толстом, Андрееве и Короленко<sup>1</sup>. Воспоминания о Чехове я бы несколько изменил и кое-что прибавил к ним. Также добавил бы страницы две-три о Толстом. О Короленко печатает А. Жермен в журнале "Les essais nouveaux"<sup>2</sup>, но для отдельного издания я тоже сделаю добавления и, таким образом, книга будет значительно отличаться от того, что появилось уже в печати<sup>3</sup>.

Далее: мною написан третий — и последний — том автобиографических очерков "Мои университеты".

И, наконец, сейчас я пишу "О любви"<sup>4</sup>, это не Овидий и не Стендаль, конечно, а три рассказа на темы о любви к

\* "Сперва надо укрепитсья, как следует, на земле, а для неба еще будет время" (нем.)

людям, к женщине и о любви женщины к миру. Два уже готовы<sup>5</sup>, третий напишу к весне.

Как видите — работаю много. Затеваю книгу “Русские люди”<sup>6</sup>. Эта книга, наверное, будет интересна для Европы, все же вышеназванное — едва ли. Уверен, что все, что я пишу сейчас, не будут читать и в России, ибо там о любви теперь не говорят и необходимость этой любви под сильным сомнением.

Когда желаешь осчастливить сразу все человечество — человек несколько мешает этой задаче.

Жить очень трудно, дорогой друг, до смешного трудно. Особенно — ночами, когда устаешь читать, а спать — не можешь. Там, на родине, воют вьюги и коммунисты, землю засыпает снег, людей — сугробы слов. Превосходные слова, но — тоже, как снег, и не потому, что они так же обильны, а потому, что холодны. Когда фанатизм холоден, он холоднее полярного мороза.

А все-таки меня восхищает изумительное напряжение воли вождей русского коммунизма. За всю свою страшную историю Россия еще не имела таких волевых людей ни в эпоху Ивана Грозного, ни при Петре Великом. Их — ничтожная кучка, искренних друзей, они имеют сотни непримиримых врагов — десятки миллионов русских крестьян, всю европейскую буржуазию, да прибавьте сюда и социалистов Европы. И все-таки эти Архимеды уверены, что найдут точку опоры и перевернут весь мир. Право же — хорошие люди!

Иногда мне очень жаль, что я не согласен с ними в деле истребления культурных людей и никогда не соглашусь на это<sup>7</sup>.

Всего доброго и будьте здоровы!

*М. Горький*

7. XII. 22.

Furstenwald.

Saarow-Sanatorium.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

##### 1

<sup>1</sup> 1 ноября 1921 г. Р. Роллан писал Горькому: “Шлю Вам выражение самых задушевных чувств и горячо желаю, чтобы Вы поскорее поправились. Сколько раз за эти два года я думал о Вас! Я пережил мысленно все Ваши нравственные мучения. Не нахожу слов, чтобы выразить, как я восхищен ролью, которую Вы играете, Вашим самоотречением и преданностью. Эта роль тем выше и чище, что она не нашла понимания ни у одной из партий. Но Вы, наверное, привыкли (как привык и я) к человеческой неблагодарности и глупости. Не грустите! Не отчаивайтесь!” (Cahier Romain Rolland. 28, p. 55)

<sup>2</sup> Речь идет о нападках на Горького в связи с его отъездом за границу. 8 ноября 1921 г. он писал Е. П. Пешковой из Берлина: “Разумеется, меня грызут, кусают и всячески охотятся за мною товарищи журналисты.

Подстерегают на улицах, на лестницах, щелкают аппаратами Кодака и слезно умоляют поделиться с ними моей старческой мудростью. Это началось с Гельсингфорса, продолжалось в Стокгольме, продолжается здесь. Мучительно и глупо. Кроме журналистов — шпионы — финские, шведские, немецкие, а всего более и всех нахальнее — русские — справа и слева". /АГ ПГрл-30-19-643/. Белоземгрантская печать в этот период неоднократно упрекала Горького в причастности ко всем беззакониям советской власти, не гнушаясь сообщениями о продаже им сокровищ из фондов возглавляемой им Экспертной комиссии /Руль, 1921, № 314, 16/29 ноября/.

- <sup>3</sup> Горький вернулся в Россию с Капри 30 декабря 1913 г. (2 января 1914), уехал 3 ноября 1921. Тяжелые впечатления, вызванные событиями первой мировой войны и Октябрьской революции, протест против "белого" и "красного" террора, неоправданных жестокостей "революционной тактики и быта" отразились в циклах его статей "Несвоевременные мысли", "Революция и культура", опубликованных в газете "Новая жизнь" в 1917-1918 гг., письмах к В. И. Ленину, Ф. Э. Дзержинскому, Г. Е. Зиновьеву, Л. Б. Каменеву и др.
- <sup>4</sup> 4 декабря 1921 г. Горький приехал в санаторий, расположенный в курортном местечке Сант-Блазиен в Шварцвальде (Германия) и пробыл там до 3 или 4 апреля 1922 г.

## 2

- <sup>1</sup> Имеется в виду работа французского философа Ш. — Л. Монтескье "О духе законов" (1748), где говорится: "Все определяет и сдерживает сила законов в монархии и вечно поднятая длань государя в деспотическом государстве. Но народное государство нуждается в добавочном двигателе; этот двигатель — добродетель" (Монтескье Ш. Избр. произведения. М., 1955. С. 179).
- <sup>2</sup> См. статью А. Барбюса "Вторая половина долга. По поводу "ролландизма" (Clarté, 1921 № 3) и ответ Р. Роллана на нее, опубликованный в брюссельском журнале "L'Art libre" в январе 1922 г. О сущности своей полемики с Барбюсом Р. Роллан рассказал впоследствии в статье "Панорама" (Роллан Р. Собр. соч. Т. 13. С. 21-76).

## 3

- <sup>1</sup> Эти мысли Горький более подробно развил в цикле статей "О русском крестьянстве" (Берлин, 1922), где утверждал, что русский народ все еще остается стихией анархической, ибо в крестьянстве не изжит инстинкт кочевника.
- <sup>2</sup> Курс на техническое перевооружение крестьянской России был провозглашен В. И. Лениным в речи на московской губернской конференции РКП(б) 20-22 ноября 1920 г. (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 30).
- <sup>3</sup> В статье "Две культуры" Горький писал: "Везде и всегда история воспитывала человека деревни и города как два типа психологически совершенно различных" (Коммунистический Интернационал, 1919, № 2, 1 июня, стлб. 171). Противоречия между городом и деревней особенно обострились в годы "военного коммунизма", когда продотряды насильственно изымали хлеб у крестьян.
- <sup>4</sup> В. Г. Короленко скончался 25 ноября 1921 г. в Полтаве.
- <sup>5</sup> А. А. Блок умер в результате тяжелой болезни 7 августа 1921 г. Разрешение на выезд за границу для лечения, которого добивался для него Горький, пришло слишком поздно.
- <sup>6</sup> Н. С. Гумилев был расстрелян 24 августа 1921 г. по ложному обвинению в причастности к так называемой "Петроградской боевой организации".
- <sup>7</sup> В открытом письме А. Барбюсу Роллан упрекал его и группу "Clarté" в игнорировании свободы личности и апологии насилия в революционной борьбе. Ратуя за "примат духа", а не "примат экономики", Роллан писал:

- “Пока я не почувствую в партии пылкого стремления к истине, последствием чего является уважение к свободной критике, пока я буду ощущать в ней желание победить любой ценой и любыми средствами, а это — смешение интересов партии со справедливостью и абсолютным добром, одним словом, пока дух служителей Революции будет оставаться узко политическим, который презирает священные требования свободной совести, окрестив их “анархизмом” и “сентиментализмом”, до тех пор я буду держаться в стороне, не обманывая себя относительно исхода борьбы...” (L'Art libre, Bruxelles, janv. 1922).
- <sup>8</sup> Имеется в виду группа “Кларте” (“Ясность”), основанная А. Барбюсом в 1919 г. Ее принципы изложены в книге А. Барбюса “Свет из бездны. К чему стремится группа “Кларте” (1920).
- <sup>9</sup> Слова Ф. Шиллера, являющиеся эпиграфом к драме “Разбойники”, Р. Роллан использовал в упомянутом письме к А. Барбюсу, признавшись: “Слова Шиллера — мой девиз на все времена”.
- <sup>10</sup> Горький занимался французским языком в течение всего 1922 г. Об этом сообщил М. А. Пешков Е. П. Пешковой в письме от 14 октября 1922 г. (АГ, ФМП-4-16-49). Встреча с Ролланом состоялась только 29 июня 1935 г.

#### 4

- <sup>1</sup> Имеется в виду алтарное изображение Марии Магдалины в церкви Тифенбронна около Пфорцхайма, принадлежащее Лукасу Мозеру из Роттвайля (середина XV в.).
- <sup>2</sup> Речь идет об алтарном складне в церкви св. Бавона города Гента, состоящем из 20 больших картин, созданном нидерландскими живописцами Губертом (ок. 1370-1426) и Яном (ок. 1390-1441) Ван-Эйками. Триптих был закончен в 1432 г.

#### 5

- <sup>1</sup> Речь идет о Первой мировой войне 1914-1918 гг.
- <sup>2</sup> В годы первой мировой войны лидеры большинства европейских социал-демократических партий перешли на позиции оборончества, а миллионы рядовых социалистов поддержали лозунг “защита отечества”. 21 июля 1914 г. парламентская фракция социалистов в германском рейхстаге проголосовала за военные кредиты правительству Вильгельма II. О поддержке своего правительства заявили правые социалисты Англии и Австро-Венгрии. За военные кредиты проголосовали социалистические партии Франции и Бельгии. Руководители французских социалистов Жюль Гед, Марсель Самба, Альбер Тома вошли в состав буржуазного правительства. В Англии членом правительства стал социалист Артур Гендерсон, в Бельгии — председатель руководящего центра II Интернационала Эмиль Вандервельде (см. Антивоенные традиции международного рабочего движения. М., 1972. С. 166-167).
- <sup>3</sup> Намек на главу “Народ-солдат был повсюду обманут” из манифеста группы “Кларте”. А. Барбюс писал: “Кому только они не верили, все эти французские солдаты, эти англичане, немцы, австрияки, эти итальянцы, эти русские, которые в необозримой зыби мазурских озер, превращенных зимою в камни, в гущах тумана и ледяных безднах Монте Перо или Монте Кристалло, в бесконечных болотах Изера, в прожорливой грязи и пыли Артуа бросались, как безумные, друг на друга” (Анри Барбюс. Свет из бездны. Харьков, ГИЗ, 1923. С. 17-18).
- <sup>4</sup> В июле 1920 г. II Конгресс Коминтерна обратился к рабочим всех стран с призывом встать на защиту революционной России (Коммунистический Интернационал в документах. М., 1933. С. 152-158). В разгар гражданской войны и военной интервенции по всему миру прокатились забастовки солидарности, стачки были особенно активными в марте 1919 и в течение всего 1920 г. В частях и подразделениях Красной Армии было

- создано свыше 370 интернациональных отрядов (История гражданской войны СССР. Т. 3. М., 1961. С. 781-839).
- <sup>5</sup> Речь идет о деятельности "Комитета помощи голодающим в России". 6 августа 1921 г. было опубликовано обращение В. И. Ленина к международному пролетариату собирать средства для помощи голодающим Поволжья и Юга Украины (Правда, 1921, № 172).
  - <sup>6</sup> По условиям Версальского договора (1919) Германия теряла 1/8 территории, 1/12 населения, более 3/4 запасов железной руды, около 1/3 угля, более 2/5 выплавки чугуна, более 1/3 производства стали, около 1/7 посевной площади (см. Кульбакин В. Д. Очерки новейшей истории Германии. М., 1962. С. 144). Она должна была выплатить странам Антанты 20 млрд. марок золотом, ежемесячно поставлять уголь в размере 2 млн. тонн.
  - <sup>7</sup> Президент Французской республики Раймон Пуанкаре (1860-1934) проводил активную милитаристскую политику, стремясь утвердить гегемонию Франции в Европе.
  - <sup>8</sup> Вместе с письмом Горький отправил Роллану статью "Неделя Гете", переведенную на французский язык Р. П. Аврамовым. Статья предназначалась для "Gazette de Francfort", но не была там опубликована.

## 6

- <sup>1</sup> Имеются в виду книги "Детство" (пер. С. Перского, Париж, 1921, изд. "Кальман-Леви"), "Хозяин" (пер. С. Перского, Париж, 1921, изд. "Фламарион") и "Статьи о революции" (пер. А. Пьер, Париж, 1922, изд. "Сток"), в последнюю вошли, главным образом, статьи из цикла "Несвоевременные мысли".
- <sup>2</sup> Намек на евангельскую притчу об ученике Иисуса Христа апостоле Петре, который трижды отрекся от своего учителя ("Евангелие от Матфея"; 26, 69-74).
- <sup>3</sup> См. "Речь на Московском публичном собрании общества "Культура и свобода" (Новая жизнь, 1918. № 126. 30 июня), опубликованную на французском языке в журнале "Clarté" (1920, № 20).
- <sup>4</sup> Видимо, имеются в виду статьи XLII и XLV из цикла "Несвоевременные мысли", в которых Горький резко критиковал советскую власть за жестокость и безрассудство. Он писал: "Недавно матрос Железняков, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей" (Новая жизнь, 1918. № 11, 17 (30) января). Статья XLV, обращенная к морякам, которые охотно восприняли призывы Ленина к уничтожению буржуазии, заканчивается так: "Господа моряки! Надобно опомниться. Надо постараться быть людьми. Это — трудно, но — это необходимо" ((Новая жизнь, 1918, № 51. 26 (13) марта).
- <sup>5</sup> Речь идет о статье Горького "Две души" (1915), в которой преувеличено значение пассивности Востока и его отрицательного влияния на душу русского человека.
- <sup>6</sup> "Неопалимая купина" — девятая часть эпоса Р. Роллана "Жан Кристоф".
- <sup>7</sup> Вишну — в инд. мифологии бог — хранитель мира, Шива — бог изобилия.
- <sup>8</sup> Лао-цзы (VI-V вв. до н. э.), легендарный древнекитайский философ, основоположник "даосизма", утверждавшего, что в основе чувственного бытия лежит нематериальная сила "дао", которую можно постичь путем интуитивного созерцания в состоянии покоя.
- <sup>9</sup> Ведизм и брахманизм — древнейшие религии индусов.

## 7

- <sup>1</sup> Группа "Кларте" в своем органе опубликовала обращение к французской общественности с призывом потребовать въездную визу для Горького ("Clarté", 1922. № 14). Обращение подписали А. Франс, Р. Роллан,



- А. Барбюс, его поддержали Э. Эррио, П. Вайян-Кутюрье, Ж.-Р. Блок, Ж. Дюамель и др. Поездка Горького на юг Франции не состоялась.
- 2 Речь идет о встрече, организуемой "Международной женской лигой в защиту мира и свободы", на которую Горького пригласила сестра Р. Роллана — Мадлен Роллан (см. письмо Горького М. Роллан). Встреча в Варезе не состоялась, конгресс был перенесен в швейцарский город Лугано.
  - 3 Имеется в виду существующий поныне отель "Байрон", где останавливались также Гюго, Вагнер, Тагор.

8

- 1 Имеется в виду письмо Роллана от 4 апреля 1922 г., посланное Горькому через болгарского писателя и общественного деятеля Р. П. Аврамова (Аврамова, 1882-1937), который переводил письмо на русский язык.
- 2 См. в письме 6: "словно принадлежали к другой расе".
- 3 Неточная цитата из письма А. С. Пушкина жене 18 мая 1836 г.: "...черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом" (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. X. М., 1958. С. 583).
- 4 Слова "Ах вы, сор славянский! Ах вы, дрянь родная!" принадлежат герою рассказа Н. С. Лескова "Продукт природы". Их произносит исправник, расправляющийся с крестьянами (Лесков Н. С. Собр. соч. Т. IX. М., 1958. С. 354).
- 5 Речь идет, в первую очередь, о писателях, объединившихся вокруг литературной группы "Серапионовы братья", возникшей в Петрограде в 1921 г. (Вс. Иванов, М. Зощенко, Л. Лунц, В. Каверин, Н. Тихонов, Н. Никитин, М. Слонимский и др.).
- 6 Горький называет районы европейских столиц, где находились тюрьмы и жили деклассированные элементы.
- 7 Имеется в виду задуманный Горьким журнал "Беседа" (выходил в Берлине с 1923 по 1925 гг. под редакцией Б. Ф. Адлера, Андрея Белого, Ф. А. Брауна, В. Ф. Ходасевича и М. Горького). В письме от 30 мая 1922 г. Горький пригласил Роллана сотрудничать в журнале, заметив, что его цель — "ознакомить русскую интеллигенцию с работами, посвященными развитию науки и литературы в Европе" (Архив А. М. Горького. Т. VIII. М., 1960. С. 333). Роллан ответил 2 июня 1922 г. согласием, однако указал, что не признает "за собой права быть "эклектиком" в такой мере, чтобы равнодушно сотрудничать в настоящее время с писателями любого направления" (Там же. С. 334).
- 8 Жорж Дюамель (1884-1966) — французский романист и поэт, в "Беседе" не сотрудничал.
- 9 Английский радиохимик Фредерик Содди (1877-1956), автор книги "Радий" (1915) и английская писательница Ребекка Вест (Цицилия Изабель Фейерфельд, 1892-1982), автор романа "Судья", в "Беседе" не печатались.

9

- 1 В письме от 25 августа 1922 г. Горький рекомендовал Роллану молодого русского пианиста и композитора И. А. Добровейна (1894-1953) и просил помочь ему. По рекомендации Роллана И. Добровейн был приглашен в оркестр Дрезденской оперы.
- 2 В 1922 г. к власти в Италии пришла фашистская партия во главе с Б. Муссолини (1883-1945).
- 3 Речь идет о кампании, развернутой А. Барбюсом, П. Вайяном-Кутюрье, Ж. Р. Блоком и др., с целью добиться от французского правительства разрешения Горькому жить на юге Франции (см. письмо 7. прим. 1).

- <sup>1</sup> Посылая в немецком издании книгу "О русском крестьянстве" (Берлин, 1922) Роллану, Горький сделал следующее посвящение: "Одинокому человеку, моему очень близкому другу Ромену Роллану. М. Горький. Сааров-Фюрстенвальд 5. X. 22". В письме от 5 октября 1922 г. он писал: "Посылаю Вам, дорогой друг, маленькую книжку, насыщенную большим горем" (Архив М. Горького Т. VIII. С. 335).
- <sup>2</sup> Имеются в виду заключительные строки статьи Горького "Русская жестокость": "Вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень — все эти, почти страшные люди, и место их займет новое племя — грамотных, разумных, бодрых людей" (Огонек, 1991, № 49. С. 12).
- <sup>3</sup> См. статью Л. Троцкого "Драма французского пролетариата", напечатанную в "Известиях" (1922, 16 мая, перепечатана в "Clarité" 1922. 1 октября), в которой подводились итоги дискуссии между Р. Ролланом и А. Барбюсом (см. письмо 2 и прим 7 к письму 3). Троцкому была ближе позиция А. Барбюса.
- <sup>4</sup> Речь идет о рецензии Троцкого на пьесу Мартине "Ночь" с резким выпадам против Роллана (Юманите, 1922, 7 октября).
- <sup>5</sup> Имеется в виду рецензия Мориса Донзеля (1885-1937) на статьи Горького о русском крестьянстве (Clarité, 1922, № 22. 1 октября).
- <sup>6</sup> Юбилей, посвященный 30-летию литературной деятельности Горького, праздновался в Берлине 25 сентября 1922 г. (ЛЖТГ Вып. 3. М., 1959. С. 294).

- <sup>1</sup> В письме от 25 ноября 1922 г. Роллан сообщил Горькому, что издатель Эмиль Рониер (1883-1957) предлагает издать одну из его новых книг по-французски или по-немецки и сообщил условия. (О переговорах с Рониером см. Архив А. М. Горького. Т. VIII. С. 428-430). В книгу должны были войти очерки Горького "Лев Толстой" и "Леонид Андреев", которые частично были опубликованы в газете "Жизнь искусства" (1919. № 241-242, 273-275 и 293-294); отдельными изданиями оба очерка вышли в издательстве З. И. Гржебина (Пб., 1919 и Пб-Берлин, 1922). Очерк "А. П. Чехов" (первая часть) напечатан в "Нижегородском сборнике" (СПб., 1905), вторая часть — в журнале "Беседа", (1923, № 2 (август) в цикле "Из дневника"; очерки "Время Короленко" и "В. Г. Короленко. Глава из воспоминаний" — в журнале "Летопись революции" (1923, № 1. С. 29-49).
- <sup>2</sup> Воспоминания "Время Короленко" были опубликованы в переводе на французский язык в журнале "Les Ecrits nouveaux", 1922, 1 ноября, возглавляемом Андре Жерменом.
- <sup>3</sup> Воспоминания Горького о Л. Толстом, А. Чехове и Л. Андрееве были изданы на французском языке отдельной книгой: "Souvenirs de ma vie littéraire. Trad. du russe par Dumesnil de Gramont. Paris. 1923."
- <sup>4</sup> Горький предполагал объединить в книгу с таким названием три рассказа: "Отшельник", "Рассказ о безответной любви" и "О первой любви". Намерение не осуществилось.
- <sup>5</sup> "Отшельник" и "О первой любви".
- <sup>6</sup> В книгу должны были войти произведения, которые составили цикл "Рассказы 1922-1924 гг.": "Карамора", "Анекдот", "Рассказ о герое", "Рассказ об одном романе" и др.
- <sup>7</sup> Горький неоднократно писал об этом в письмах В. И. Ленину, Г. Е. Зиновьеву, Л. Б. Каменеву, А. И. Рыкову и др.

## Письмо А. М. Горького Мадлен Роллан.

28 февраля 1922 г. сестра Ромена Роллана Мадлен Роллан обратилась к Горькому от имени созданной в Париже "Интернациональной женской лиги за свободу и мир". М. Роллан рассказала о деятельности лиги, которая объединила французских, английских, итальянских и немецких женщин, и пропагандировала идеи "Декларации Независимости Духа" (1919). Пригласив М. Горького принять участие в проведении "Летних курсов" на севере Италии в г. Варезе, она выразила надежду, что писатель отзовется "несколькими словами или хотя бы доставит радость одним своим присутствием" (АГ, КГ-ин-ф-4-51-2). В другом письме от 31 мая 1922 г. М. Роллан вновь повторила приглашение и сообщила, что встреча состоится в Варезе с 18 августа до 8 сентября. Она информировала Горького, что докладчики "будут говорить о значении идей интернационализма в мировой цивилизации" и просила подумать о выступлении на ту же или любую другую тему. М. Роллан посоветовала использовать съезд, чтобы обратиться к европейской общественности "с призывом облегчить ужасающий голод, от которого страдает несчастная Россия" (АГ, КГ-ин-ф-4-51-3). На съезд "Интернациональной женской лиги" должен был приехать вместе с сестрой Ромен Роллан.

Встреча в Варезе не состоялась. Участники "Летних курсов" подверглись репрессиям местных властей и фашиствующих организаций. 24 сентября 1922 г. М. А. Пешков сообщил Е. П. Пешковой: "Папа только что получил письмо от Р. Роллана, который был делегатом литературного съезда в Италии. Съезд этот фашисты разогнали, а его и сестру чуть не убили" (АГ, ФМП-4-16-48).

Было ли написано "Обращение" Горького к "Интернациональной женской лиге", неизвестно. Однако страница "Предисловия" к книге Л.-П. Локнера "Генри Форд и его "Корабль мира"", над которым писатель работал в этот период, звучит как такое обращение. Заключительные строки адресованы женщинам мира: "Матери! Жены! Вам принадлежит голос, вам принадлежит право творить законы. Жизнь исходит от вас, и все, как одна, должны вы подняться на защиту жизни против смерти. Вы — вековые ненавистницы смерти. Вы — та сила, что неустанно борется и одолевает" (М. Горький. Собр. соч. Т. 24. С. 248). Не с этими ли словами думал Горький обратиться к участникам съезда в Варезе?

Письмо публикуется по автографу, хранящемуся в Архиве А. М. Горького.

Публикация текста, предисловие и примечания Л. А. Спиридоновой.

<5 июня 1922, Герингсдорфф.>

Мадэлен Роллан.

Сударыня,

простите меня за то, что я так долго не отвечал на Ваше любезное письмо<sup>1</sup>, а также и за то, что я отвечаю отрицательно на Ваше предложение от имени Женской интернациональной лиги...

Зачем бы приехал я, немой человек, на собрание людей, с которыми необходимо много и от души, совершенно искренно говорить о вопросах запутанных, очень тонких и, скажу, страшных? Беседы обо всем этом требуют точного и глубокого знания языка. Я не обладаю таким знанием. Я — каторжник, который всю жизнь работал на других, и у меня не было времени позаботиться о себе так внимательно, как это следовало бы. И чем дальше я живу, тем с большей силой и горечью сознаю, как много потерял, не зная языка Франции, страны, которую люблю, как мать, страны прекрасной литературы<sup>2</sup>. Франция на протяжении всей трудной жизни моей была для меня самым глубоким источником бодрости духа, красотой ее я восхищался и восхищаюсь, в ней почерпнул бесконечно много радости.

Мне очень грустно отказаться от счастья видеть Вашего брата, от наслаждения беседовать с ним, — я так крепко и нежно люблю этого человека. Грустно, что я не могу видеть Вас и членов Лиги Вашей. К тому же в конце июля или начале августа я уже буду в России<sup>3</sup>.

Если Вам угодно — я могу написать и прислать Вам мое обращение к Женской лиге, заключив его воззванием о помощи России.

Хотя, знаете ли, очень тяжело протягивать руку за милостиной! Вы поймете это. Я уже делал это много раз, а результаты так ничтожны. Они и не могут быть иными, ибо катастрофа России глубока и обширна, как океан.

Желаю всего доброго Вам и успеха делу, которому Вы служите.

<sup>1</sup> Имеется в виду письмо Мадлен Роллан от 31 мая 1922 г.

<sup>2</sup> Об огромном влиянии "большой" французской литературы на формирование своего духовного мира М. Горький рассказал в статье "О том, как я учился писать" (Горький М. Собр. соч., т. 24. М., 1953, С. 485-486).

<sup>3</sup> Горький уехал за границу 16 октября 1921 г., надеясь вернуться через несколько месяцев. Однако его пребывание в Германии затянулось: 25 сентября 1922 г. из Герингсдорфа, близ Свинемюнде, он переехал в Сааров под Берлином, а 26 ноября 1923 г. выехал из Германии в Чехословакию, затем в Италию.

## Переписка М. Горького с К. И. Чуковским

Предисловие и подготовка текста  
Е. Ц. Чуковской и Н. Н. Примочкиной;  
примечания Н. Н. Примочкиной

Переписка крупнейшего писателя первой трети XX столетия с одним из наиболее ярких литературных критиков этого времени представляет заметный историко-литературный интерес.

В настоящем серийном издании впервые публикуется вся дошедшая до нас переписка Горького с Чуковским. Она включает в себя 25 писем и записок Горького и 33 письма Чуковского и охватывает около двадцати лет: с 1917 г. почти до конца жизни Горького. Это двадцатилетие вместило в себя бурные и трагические события нашей истории, так или иначе отразившиеся в переписке. В данном сборнике печатается переписка 1917-1921 гг. Письма с 1926 по 1935 г. будут опубликованы в следующем, четвертом выпуске серии.

Часть писем и записок Горького, в основном относящихся к периоду работы в издательстве "Всемирная литература", Чуковский опубликовал в мемуарном очерке "Горький" и других статьях о писателе (см. комментарий к письмам). Однако критик не ставил перед собой задачу их научной публикации. Он обращался с этими текстами достаточно вольно: редактировал их по своему вкусу, отсекал, по его мнению, лишнее, не относящееся к сюжету его рассказа о писателе и т.п. Поэтому следует подчеркнуть, что читатель не только впервые познакомится с перепиской Горького и Чуковского во всем ее объеме, но и сможет прочитать подлинные, полные тексты этих писем. Письма Чуковского, за отдельными исключениями (они оговорены в комментариях), печатаются впервые.

Отношения Горького с Чуковским никогда не были особенно близкими. Однако их объединяли многие литературные дела и культурные начинания. Еще до революции Чуковский написал несколько статей и рецензий (в основном они носили резко критический характер) о творчестве писателя. Личное знакомство Горького с Чуковским состоялось в сентябре 1916 г., когда они вместе начали работать над сборником произведений для детей "Елка". Первые послереволюционные

годы — время наиболее интенсивного личного и эпистолярного общения писателя и критика. В сентябре 1918 г. Горький основал в Петрограде издательство “Всемирная литература”. Чуковский был привлечен к его работе в качестве специалиста по англо-американской литературе. К этому периоду относится значительная часть их переписки. Горький часто писал членам Коллегии, в том числе Чуковскому, по поводу какой-либо прочитанной рукописи или перевода намеченной к изданию книги. Вместе с Горьким Чуковский работал в эти годы в Секции исторических картин Петроградского театрального отдела, в Союзе писателей, в “Издательстве З. И. Гржебина” и т. д. Как один из организаторов петроградского “Дома искусств” он писал Горькому о бытовых нуждах писателей и художников, делился с ним своими литературными замыслами, мечтал с его помощью организовать журнал “для интеллигенции”.

После отъезда Горького осенью 1921 г. за границу их отношения временно прервались. Однако именно в это время Чуковский написал интереснейшую, до сих пор недостаточно у нас оцененную книгу о творчестве писателя “Две души М. Горького” (1924). Переписка возобновилась в 1926 г. Посылая Горькому свою новую книгу о Некрасове, Чуковский вспоминал “те баснословные года, когда Вы помогали нам, литераторам, остаться литераторами”. В 1928 г., в период очередной травли Чуковского, борьбы с “вредной” “чуковщиной”, Горький выступил в “Правде” с “Письмом в редакцию”, в котором взял под защиту его литературоведческие работы. Переписка сохранила и другие свидетельства творческой, а иногда и материальной поддержки Горьким Чуковского в трудные для него годы. Несомненный интерес представляет эпистолярная полемика между ними в 1930 г. по поводу только что созданного журнала “Литературная учеба”, отразившая их различное отношение к методам обучения начинающих писателей литературному мастерству. Среди писем Чуковского 30-х годов есть несколько характерных для него — “заступнических”. В них, как правило, содержится просьба защитить кого-либо из несправедливо гонимых.

К переписке 1917-1921 гг. хронологически и тематически примыкают два документа, публикуемые в качестве приложений. Это составленный Горьким черновой набросок плана североамериканской литературы для издания во “Всемирной литературе” и написанный им проспект собрания критических статей Чуковского, которое предполагалось издать в начале 20-х годов. Особый интерес представляет последний из названных документов, содержащий, наряду с проницательными оценками литературоведческих работ Чуковского, интересные суждения о творчестве В. Короленко, Н. Лескова, С. Сергеева-Ценского, Ф. Сологуба, А. Блока и других писателей.

Почти все тексты писем и документов печатаются по автографам, хранящимся в Архиве А. М. Горького ИМЛИ РАН. Иное местонахождение отдельных писем оговаривается в комментариях.

## 1. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*<Сентябрь 1917 г., Петроград>*

Глубокоуважаемый

Алексей Максимович.

Позвольте мне, чужому, поздравить Вас с 25-летием Вашей упрямой, тяжелой и смелой работы. Я чувствую это, как долг пред самим собою — приветствовать Вас в нынешний день.

*К. Чуковский*

## 2. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<Конец ноября — декабрь 1918 г., Петроград>*

Дорогой Корней Иванович,

как все у Вас, — статья об Уайльде<sup>1</sup> написана ярко, убедительно и — как всегда у Вас — очень субъективно. Я отнюдь не решаюсь навязывать Вам своего отношения к делу, но — убедительно прошу Вас помыслить вот о чем.

Вы неоспоримо правы, когда говорите, что парадоксы Уайльда — “общие места навыворот”<sup>2</sup>, но — не допускаете ли Вы за этим стремлением вывернуть наизнанку все “общие места” более или менее сознательного желания насолить мистрис Грэнди<sup>3</sup>, пошатнуть английский пуританизм?

Мне думается, что такие явления, каковы Уайльд и Б. Шоу<sup>4</sup>, слишком неожиданны для Англии конца XIX века и в то же время они — вполне естественны — английское лицемерие наилучше организованное лицемерие, и, полагаю, что парадокс в области морали — очень законное оружие борьбы против пуританизма.

Полагаю также, что Уайльд не чужд влиянию Нитцше<sup>5</sup>.

Моя просьба: прибавьте к статье одну, две главы об английском пуританизме и попытках борьбы с ним! Весьма прошу Вас об этом, считая сие необходимым. Свяжите Уайльда с Шоу и предшествовавшими им вроде Дженкинса<sup>6</sup> и др.

Извиняюсь за то, что позволил себе исправить некоторые описки в тексте статьи.

Жму руку.

*А. Пешков*

## 3. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<Февраль 1919 г., Петроград>*

Мне кажется, что в большинстве случаев переводчик начинает работу перевода сразу, как только книга попала ему в руки, не прочитав ее предварительно и не имея представления о ее особенностях.

Но и по одной книге, даже в том случае, если она хорошо прочитана — нельзя получить должного знакомства со всей сложностью технических приемов автора и его словесных капризов, с его музыкальными симпатиями и характером его фразы,— со всеми приемами его творчества.

Если автор не болтун типа Поль де Кок<sup>а</sup><sup>1</sup>, не моралист, как Диккенс и т. д.— у него почти всегда есть свои, только ему присущие тайные намерения, прикрытые — более или менее искусно — игрой слов, блеском картин, сложностью характеров.

Поэтому — необходимо иметь возможно точное представление не только о том, что любит автор и о чем он говорит охотно, но и о том, что ему ненавистно или чуждо, о чем он предпочитает молчать.

Следует читать все, что написано данным автором или же — по крайней мере — хотя бы все его книги, признанные лучшими публикой и критикой, не забывая, однако, что лучшее — это только то, что нравится нам, понято нами и что есть немало книг в свое время не понятых, однако — прекрасных.

Как мышь в мышеловке, мысль человека мечется в поисках свободы, в поисках ответов на социальные и космические загадки бытия, те и другие одинаково требовательны и важны,— следует очень ясно чувствовать всю последовательность, а также и все противоречия метаний пленной мысли.

Писатель, который мог исчерпать себя в одной, двух книгах, написал одну, две, многие написали по десять книг и более,— это не мешало им умереть непонятыми и неудовлетворенными лично,— не высказавшимися до конца.

О чем бы человек ни говорил — он учит, отрицание проповеди и дидактики есть тоже проповедь и дидактика; лучшими писателями считаются те, которые наиболее искусно скрывают свой дидактизм.

Но за всем, что говорится, есть нечто, о чем человек молчит — по немоте души, по недостатку сил выразить невыразимое, иногда — из скромности,— которую следует назвать ложной — чаще из жалости к людям, нередко из презрения к ним, гораздо реже — из похвального желания скрыть язвы и раны своей души. Флобер мудр не менее Достоевского, но — никогда не позволял себе психической разнузданности нашего гения. Отсюда следует, что переводчик должен знать не только историю литературы, но также историю развития творческой личности автора,— только тогда он воспроизведет более или менее точно дух каждой книги в формах русской речи. Требование — тяжелое, однако — необходимое.

И м<ожет> б<ыть>, “Студия В<семирной> Л<итературы>” найдет возможным остановить внимание свое на мыслях, изложенных здесь, и, как все мысли, подлежащих критике.



#### 4. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*«Февраль — март 1919 г., Петроград»*

Дорогой Алексей Максимович.

Позвольте изложить отчетливо и кратко все, что относится к моей книге о Некрасове<sup>1</sup>.

Я затеял ее лет восемь назад. Она называется: "Некрасов как Человек и Поэт." Мне посчастливилось добыть для нее драгоценнейшие материалы:

1. Целый чемодан неизданных рукописей Некрасова, в том числе около 2000 строк не бывших в печати стихов.
2. Переписку Некрасова с цензорами.
3. Незданные письма Щедрина, Глеба Успенского, Гончарова, Добролюбова и т. д.

Сделав всю черновую подготовительную работу, исследовав всю огромную литературу о Некрасове, изучив его эпоху, я взялся за писание этой фундаментальной книги. Она писалась как роман, но после нескольких глав я заболел бессонницей — и больше не могу написать ни строки. Целые дни сижу за столом и вымучиваю какую-то дрянь. Доктор Манухин<sup>2</sup> говорит, что это у меня переутомление, что, ежели я на месяц откажусь от работы да полечусь у него, я опять здоровый человек.

Если это так, я с радостью принимаю Ваше предложение<sup>3</sup>. Никаких субсидий мне не нужно. Пусть комиссариат<sup>4</sup> купит у меня теперь же мою будущую книгу и таким образом даст мне возможность закончить ее. Я уверен, что издатель в убытке не будет: культ Некрасова все растет; истинный читатель Некрасова нарождается только теперь. Близится его столетний юбилей<sup>5</sup>. Эту книгу смело можно будет печатать в 50 000 экз.

Но для того, чтобы написать эту книгу, мне нужно отдохнуть и полечиться. Нужно, чтобы в течение целого года я не нуждался в заработке. У меня большая семья, которую содержу я один. В последнее время я тратил на себя и семью около 12-13 тысяч в месяц. (Детей нужно учить и музыке и языкам, нужно посылать матери и т. д.) В год это выйдет 150 тыс. рублей. Конечно, это мало, ибо за этот год все вздорожало вдесятеро. Но, я надеюсь, довольно и этого. Я впервые за всю свою жизнь отдохну целый месяц, возьму себе секретаря и к 1-му марта 1920 года представлю издательству книгу: "Некрасов как Человек и Поэт."

Вот и все.

Если же те, от кого это зависит, взглянут на мое предложение как на покушение сорвать с них деньгу, то они идиоты, и ну их к чертям!

Ваш Чуковский

## 5. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<Март 1919 г., Петроград>*

Корней Иванович,  
не можете ли Вы вкупе с А. Я. Левинсоном<sup>1</sup> и еще кем-то составить список нужных заграничных изданий<sup>2</sup> и послать его завтра в 12 ч. по адресу: Мойка, 42, Норвежское посольство, Елизавете Адамовне Красовской?

Тогда дело будет сделано.

Ваш альбом передан мною В. М. Ходасевич, которая сказала мне, что Вы просили ее сделать Вам рисунок<sup>3</sup>.

Посылаю Вам редкую гравюрку для альбома, — ее история рассказана мною в альбоме же<sup>4</sup>.

Посылаю телеграмму относительно Иванова<sup>5</sup>.

Желаю всего доброго.

*А. Пешков*

## 6. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<Первая половина 1919 г., Петроград>*

*К. И. Чуковскому*

Корней Иванович!

Нужен ли “Сартор Резартус”?<sup>1</sup> Перевод этой книги есть, она не разошлась в русском издании, читается трудно.

Не много ли Теккерей? “Базар житейской суеты” и “Ньюкомы” очень тяжелые книги. Они потребуют 8 томов нашего издания<sup>2</sup>.

У Барри есть хорошая вещь “Леди Никотин”, не следует ли ввести ее<sup>3</sup>?

Достаточно ли одной книги Холл Кэна? У него есть недурной роман “Христианин”, кажется<sup>4</sup>?

Нужно несколько рассказов Джерома для брошюр<sup>5</sup>.

Во: все, что могу сказать по поводу Вашего списка.

*А. П.*

## 7. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<Октябрь 1919 г., Петроград>*

Саути<sup>1</sup>.

“Завещание хирурга” требует примечаний, — необходимо рассказать о воровстве трупов для целей анатомии и вообще науки<sup>2</sup>.

Переводы Жуковского тяжелы и скучны даже рядом с Плещеевым и Миллером, не говоря о работе Рождественского. Полагаю, что лучше эти переводы изъять<sup>3</sup>.

“Разрушение Иерусалима” и все другие баллады исторического характера обязательно требуют пояснений<sup>4</sup>.

Из Жуковского можно взять только “Суд над епископом”.

## 8. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<Вторая половина ноября 1919 г., Петроград>*

Ключ — разве в ту пору были замки!

Ключом в подбородок — естественнее в живот<sup>1</sup>.

Не следует ли вставить картину оплодотворения Данаи солнцем<sup>2</sup>?

Съели дельфины — этого не надо бы<sup>3</sup>!

Два щита — Паллады и Гермеса<sup>4</sup>?

Атлант, Серые сестры, Афина, Гермес и т. д. — все это требует пояснений на экране.

Достаточно ли понятно отношение Персея к Атланту<sup>5</sup>.

— Ат<лант> ударил его ногою, Персей освободил его от вечной скуки.

Почему не обрушились небеса, когда Ат<лант> окаменел?

## 9. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<17 ноября 1919 г., Петроград>*

К<орней> И<ванович>!

Я не могу придти сегодня — ненормальная температура и кровь.

В переводе Диккенса не усмотрел заметных разноречий между Введенским<sup>1</sup> — Чуковским; — Ваша работа очень тщательна. Вот и все, что могу сказать по этому поводу<sup>2</sup>.

Несколько неловкостей выписаны мною на отдельном листке, вложенном в книгу<sup>3</sup>.

Записка в Совнарком — должна быть подписана поименно всеми, кто пожелает подписать ее<sup>4</sup>.

Жму руку.

*А. Пешков*

## 10. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<Ноябрь — декабрь 1919 г., Петроград>*

Пожалуй необходимо, чтоб автор, собрав все свои предисловия к Диккенсу<sup>1</sup>, одновременно прочел их и устранил из некоторых неизбежно у него повторяющиеся указания на спешность работы Д<иккенса>, на его сентиментализм, театральность “положительных” характеров и проч.

Может быть следует — хотя бы для разнообразия — указать — в том месте данного предисловия, где говорится о

матери Д<иккенса> и об отце его<sup>2</sup> — на то, что для искусства нет ничего запретного — ни матерей, ни отцов, ни Бога, ни любимой женщины и что зоркие очи таланта видят смешное и уродливое в самом близком, дорогом.

Вообще предисловия носят слишком внешний характер, не пытаясь заглянуть глубже в процесс творчества Д<иккенса>. Совершенно игнорируется связь Д<иккенса> с литературой, современной ему, его влияние на других авторов — Гринвуда<sup>3</sup>, Дженкинса и т. д. и, — как везде у нас во “В<семирной л<итературе>” — нет запаха эпохи. За это нас будут ругать и — справедливо!

## 11. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<1919 г., Петроград>*

К. И. Чуковскому

Корней Иванович!

“Фарисеи” Голсуорти — вещь очень схематичная и художественно слабая, как мне кажется. Процесс развития социальной совести у героя слишком напоминает плохие русские книги 70-х годов. Не думаю, чтоб англичанин мог достичь в столь краткий срок гипертрофии совести, как это случилось с героем Голсуорти.

Я всецело предпочитаю “Братство”, эта книга написана более убедительно и мастерски<sup>1</sup>.

Мне кажется, что к ней нужно дать небольшое предисловие на тему о развитии самокритики в английском обществе конца XIX века.

А. Пешков

## 12. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<1919 г., Петроград>*

Джекобс<sup>1</sup>

Вниманию переводчика<sup>2</sup>.

Все рассказы испещрены глаголом “говорить” в настоящем времени, — это дает читателю право упрекнуть переводчика в небрежности и безграмотности.

Кроме “говорить” можно употреблять формы “сказал”, “заметил”, “отозвался”, “откликнулся”, “повторил”, “молвил”, “добавил”, “воскликнул”, “заявил”, “дополнил” и т. д.

Строение фразы местами — недопустимо небрежно и неверно.

Все переводы нуждаются в самом тщательном просмотре, в серьезных исправлениях.

Рассказы:

“Падения Билиа”, “Адмирал Питерс”, “Смена номеров”, “Возвращение Диксона” — не годятся.

Все же остальные, — как сказано выше, должны быть тщательно отредактированы.

А. П.

### 13. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<1919 г., Петроград>*

Рэкс Бич. “Хищники”.

Очень интересный роман, кинематографически живо рисующий быт золотоискателей<sup>1</sup>.

Если к нему добавить статью об Аляске\* — будет довольно полезная книга.

Перевод — отчаянно плох и требует серьезнейшей редакции.

---

\* Аляска — география, история продажи ее Россией С. Ш. С. А., разработка золотоносных жил, законоположения, быт.

### 14. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<1919 г., Петроград>*

К. И. Чуковскому

Просьба — приготовить для народного издания:

Рамакришна. “Жизнь в индусской деревне”.

— “Сказки Инда”.

Чарлз Рид. “Монастырь и любовь”.

Морьер. “Мирза Хаджи Баба Исфагани”<sup>1</sup>.

### 15. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<1919 г., Петроград>*

Очень огорчен, что моя шутка взволновала Вас, Корней Иванович, взволновала и вызвала те мысли, которые Вы изложили в письме<sup>1</sup>.

Я думаю — эти мысли одинаково обидны Вам и мне, и я хотел бы, чтоб Вы забыли их.

Как бы Вы ни относились к моей работе и лично ко мне, я считаю Вас человеком искренним в каждый данный момент и, конечно, я никогда не думал, что Вы способны “покривить душою” ради чего бы то ни было.

Поверьте, я не придаю никакого значения факту, что некоторые Ваши замечания, лестные для меня, совпадают во времени с началом личного нашего знакомства. Я слишком люблю литературу и уважаю человека для того чтоб думать так. Спешу ответить и отвечаю, может быть не ясно, но

просил бы Вас верить мне — у меня нет сомнений в искренности Вашей.

Жму руку.

А. Пешков

## 16. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<Конец 1919 — начало 1920 г., Петроград>*

Корней Иванович!

Переделать “Барнеби Редж” — следует<sup>1</sup>. Посылаю Вам книгу, которую хвалят, если Вы согласитесь с этим, т. е. признаете достойной перевода — отдайте перевести<sup>2</sup>.

Всего доброго.

А. Пешков

## 17. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<Начало 1920 г., Петроград>*

В примечании к стихотворению “Дедушка” необходимо кратко сказать, почему именно “произошло замешательство”; упомянуть о праве Константина на престол и о его отказе от престолонаследия<sup>1</sup>.

## 18. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<12 апреля 1920 г., Петроград>*

Дорогой Корней Иванович!

Будьте добры — посмотрите прилагаемые сказки и дайте Вашу рецензию о них<sup>1</sup>.

С Праздником<sup>2</sup>!

А. Пешков

12. IV. 20

## 19. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*<После 11 апреля 1920 г., Петроград>*

Дорогой Алексей Максимович.

У меня положение отчаянное. Вся надежда — на Вас. Оказывается, что, покуда я бегал и, как дурак, хлопотал о богаче-Мережковском<sup>1</sup>, жена моя стояла на Бассейной и предлагала прохожим стенные часы, ибо у нее не было керенок. Всю зиму я зарабатывал много, но после Пасхи внезапно оказался банкротом. Из “Всемирной”<sup>2</sup> жалование взято авансом и съедено в 3-4 дня. У меня нет денег даже на бритве.

Наш милый “Союз”<sup>3</sup> за два месяца не выдал нам ни копейки жалования, а я работал для него, как сукин сын.

И вообще сразу все мои денежные расчеты и упования рухнули.

Коллегия<sup>4</sup> постановила купить мои “Критические очерки”<sup>5</sup> — и не купила.

Постановила купить у меня мемуары Головачевой-Панаевой<sup>6</sup> и не купила.

Я надеялся, что у меня купят мою полуготовую книгу о Некрасове<sup>7</sup> (помните, я писал Вам о ней), но и ее не купили.

А у меня семья — шесть едоков, и каких! Я уверен, что Луначарский и Гринберг<sup>8</sup> рады были бы мне помочь, но обратиться к ним я не могу. Мне легко и весело хлопотать перед ними о других, но о себе — не могу.

А к Вам я обращаюсь без стеснения. Вы свой человек. Прошу об одном: нельзя ли в ускоренном порядке купить у меня что-нибудь: либо две книжки критических статей, либо Некрасова, либо мемуары Панаевой.

А нельзя — не надо.

Ваш Чуковский

## 20. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<После 11 апреля 1920 г.(?), Петроград>*

Непременно устроим, все это необходимо, но — только в пятницу. А до той поры? Я смогу достать Вам 3 000,— хотите? Позвоните, и я пришлю.

А. П.

## 21. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*<Июль 1920 г., Петроград>*

Дорогой Алексей Максимович.

Сегодня я весь день прорыскал с тов. Ивановым (из Жилищного Отдела), отыскивая особняк для зимнего общежития писателей. Общежитие будет под эгидой “Дома Искусств”<sup>1</sup>. Я ищу такой дом, который мог бы вместить человек 60, не меньше. Каплун<sup>2</sup> клянется, что будут дрова.

Профессиональный Союз Писателей работает споро и гладко. Союз поэтов примкнул к нам и никаких сепаратных призываний на паяк не заявляет. Я предложил разбить членов союза на две категории: всех сомнительных и начинающих (вроде Оцупа<sup>3</sup>) отнести к разряду соревнователей, чтобы впоследствии при раздаче пайка не было обид и нареканий; как Вы относитесь к этой мере?

Если у писателей будет паек и теплая квартира, то они снова станут писателями. Значит, можно издавать журнал! Можно заказывать рукописи. Журнал, предпринятый “Домом Искусств”, до сих пор был мертв. Теперь Вы можете вдохнуть в него жизнь<sup>4</sup>. Мы создали бы единственный в России журнал, страшно нужный, журнал для интеллигенции. Теперь журналов для массового читателя — сколько угодно, но для интеллигенции нет ни одного. А между тем необходимо создать такой орган, где интеллигенция была бы снова введена в необходимую ей сферу искусства, литературных споров, идейных течений и пр.

Особенно это важно для 16-летних, 17-летних подростков, которые слоняются по разным студиям, “вечерам поэтов”, “Вольфилам”<sup>5</sup>, нося в себе неутоленную тоску по литературе, по хорошим культурным словам и растут без книг, без идеологий, без живых связей с духовной жизнью мира.

Я таких вижу много, и мне их жалко. Они, как мухи на сахар, кинутся на этот журнал. Журнал снова может воспитать поколение, как в былые времена — “Современник”<sup>6</sup>. Вы должны этот журнал создать. А Замятин и я будем Ваши помощники: соберем рукописи, просеем их — и дадим Вам для окончательной редакции.

В качестве секретарей я наметил моих испытанных — Лунца и Мишу Слонимского. Оба дельные и работающие. Лунц знает четыре языка и сам недурной писатель.

Боюсь, что Вы со мной не согласитесь, но для организации критико-библиографического отдела я предлагаю Семена Венгерова<sup>7</sup>. Каковы бы ни были его недостатки, но во-первых, это человек глубоко честный: т. е. никогда не руководящийся личными симпатиями и антипатиями, во-вторых, отличный организатор, что он доказал и Книжной палатой, и изданием Пушкина, и словарем и т. д.; в-третьих, не фанатик — широко-терпимый человек, приемлющий и Шкловского, и Маяковского, и Розанова.

К тому же под рукой у него есть готовая армия библиографов, историков литературы и проч., в лице сотрудников Книжной палаты. Сам же он так занят, что вряд ли что будет писать.

Недавно, как вы знаете (кажется?), я прочитал доклад о Герцене, выходящем под редакцией Лемке<sup>8</sup>. Я насчитал около 300 грубых искажений текста, глупостей, пошлостей и т. д. Лемке был на докладе и, как лошадь, мотал головою. Теперь в своем саморекламном журнале “Книга и революция” — он в трех статьях мордует меня всячески<sup>9</sup>, — между прочим за опечатки, которые допустил в изд. Некрасова его же товарищ Ионов<sup>10</sup>!

Все это дразги и вздор; Венгеров на такое не способен. У него чистые руки.



Нужно также привлечь Гершензона<sup>11</sup> из Москвы. С. Ф. Ольденбургу<sup>12</sup> отдел — о восточном искусстве и т. д.

Простите, что так длинно. Это в первый и последний раз!

Ваш Чуковский

Еще: если Вы находите переделку "Гулливера" — стоящей, то нельзя ли назначить автору этой переделки, Полонской<sup>13</sup>, гонорар в 12 000 р. за первый печатный лист, 10 000 за второй и т. д. Я говорю о ее дальнейших работах, которые нам насущно нужны.

## 22. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*<Декабрь 1920 г., Петроград>*

Дорогой Алексей Максимович.

Оказывается, Тихонов<sup>1</sup> дал мне не все материалы, относящиеся к его поездке. Сейчас я получил от него эстафету: просит подождать два-три дня, не докладывать, а он к тому времени пришлет остальное. Посему я оставляю доклад Тихонова у Товия Наумовича Гржебина<sup>2</sup>: чуть только Мечников<sup>3</sup> привезет нехватящие страницы — у Вас будет возможность представить этот доклад во Внешторге<sup>4</sup>.

А покуда — Тихонов просил подождать.

---

Теперь о себе: голодаю.

Так как для семейных людей не существует увеличенных семейных пайков, то и выходит, что я, содержащий 6 человек, и Волынский<sup>5</sup> (один как перст) получаем одинаковое количество продуктов. Неужели мои дети совсем не нужны государству? Неужели меня нужно наказывать голодом за то, что у меня есть дети? Во многих студиях я читаю бесплатно, так как получение академического пайка лишает меня права получать другие, будь у меня даже 20 детей, а не четверо!

Все это жестоко и глупо.

Как будто я не работаю за четверых: я написал огромную книгу о Некрасове<sup>6</sup>, приготовил к печати новую книгу о Уолте Уитмене<sup>7</sup>, написал о Блоке<sup>8</sup>, Маяковском, Ахматовой<sup>9</sup>, редактирую журнал<sup>10</sup>, читаю 6 лекций в неделю и т. д., и т. д. и вот в результате: у моих детей нет ни калаша, ни башмаков, ни чулок, моя жена сама стирает и моет полы, и мы по целым неделям мечтаем о картошке.

Я не жалуясь. Я прошу Вас при случае выругать от меня кого следует — и попросить, чтобы семейные могли получать больше, чем одинокие и холостые.

Ваш Чуковский

## 23. ГОРЬКИЙ — ЧУКОВСКОМУ

*<Конец 1920 — начало 1921 г., Петроград>*

“Я боюсь”<sup>1</sup> — очень хорошо; жаль, что кратко.

“О человеке”<sup>2</sup> — холодно, надумано, не интересно.

Статья К. И.<sup>3</sup> — на мой взгляд — самое замечательное и продуманное из всего, что он написал до сего дня.

Но — слишком много слов и есть ненужные повторения — напр. — стр. 30-я.

Стр. 18-я — “Событий никаких не случилось”, — не верно: с 910 по 14 год было множество событий огромного значения и рокового: напр. Балканская война<sup>4</sup>, Триполи<sup>5</sup>, общее всем странам Европы возбуждение масс, напряженность интеллектуальной жизни — футуризм и т. д. На все это автору могут указать злорадно.

19-я. В 16 году — и даже раньше — революция считалась неизбежной всеми политическими партиями.

20-я. “Улицу” следовало бы заменить толпой.

30-я. Маяковский — “сам свой предок” — не допустима ли здесь некоторая оговорка — указание — на его зависимость — подмеченную автором — от Игоря Северянина и — раньше — от Саши Черного? Последний давал в стихах своих немало резкостей и грубостей порою не менее значительных и правдивых, чем Маяков<sup>овск</sup>ий. Это не важно, что острие сатиры Черного было направлено против интеллигента, — здесь речь идет о форме, о преемственности. Как-то, в Мустамяках, Маяков<sup>ский</sup> изъяснялся в почитании Черного и с удовольствием цитировал его наиболее злые стихи<sup>6</sup>.

Любить — прекрасно, перехваливать — не следует. Порою К. И. перехваливает и Ах<sup>матову</sup> и М<sup>аяковского</sup>. Но — насколько — тактически и всячески — уместна в наши дни похвала анархизму?

Мы — Русь — идем к нему неизбежно и быстро. Так не следует ли, видя это, выразить, — хотя бы в двух словах, кратко, — что сие назначение пути нашего не весьма приятно нам и очень вредно будущему страны<sup>7</sup>?

## 24. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*<Конец 1920 — начало 1921 г., Петроград>*

Позвольте, Алексей Максимович, откликнуться на Вашу рецензию, так как она задела меня за живое. Вы пишете, что моя статья об Ахматовой и Маяковском — многословная. Верно. Я писал ее для лекции, для публичного чтения, и, боясь рассеянного внимания слушателей, часто варьировал одну и ту же мысль на несколько ладов. Это прием необходимый при чтении лекций; ежели слушатель не уловит одного варианта,

он уловит другой. Но для печати статья будет сокращена чуть не на четверть.

Но в остальном я с вами не согласен. Меня, как литературного критика, интересовало здесь не то, как относится Маяковский к революции, анархист он или социалист, каковы политические убеждения Анны Ахматовой, — все это я отдаю в полное ведение Быстряных<sup>1</sup>, Лемок, Фриче<sup>2</sup> и т. д. Меня здесь интересовало практическое применение неких драгоценных критических методов для исследования литературных явлений. Я затеял характеризовать писателя не его мнениями и убеждениями, которые ведь могут меняться, а его органическим стилем, теми инстинктивными, бессознательными навыками творчества, коих часто не замечает он сам. Я изучаю излюбленные приемы писателя, пристрастие его к тем или иным эпитетам, тропам, фигурам, ритмам, словам, и на основании этого чисто-формального, технического, научного разбора делаю психологические выводы, воссоздаю духовную личность писателя. Что думает Маяковский о революции, для меня дело побочное, а то, что он строит свой стих на метафорах и гиперболах, что у него пристрастие к моторным, динамическим образам, что ритмы у него разговорные, уличные (совершенно неизвестные Саше Черному, у которого чаще всего напевная, еврейская, романтико-гейновская структура стиха) — для меня, как для критика, главное дело. Нет, Вы затронули мое самое дорогое и позвольте высказаться до конца. Наши милые “русские мальчики”, вроде Шкловского, стоят за формальный метод, требуют, чтобы к литературному творчеству применяли меру, число и вес, но они на этом останавливаются; я же думаю, что нужно идти дальше, нужно на основании формальных подходов к материалу конструировать то, что прежде называлось душою поэта. Мало подметить, что эпитеты Ахматовой стремятся к умалению и обеднению вещей, нужно также сказать, как в этих эпитетах отражается душа поэта. И сказать так, чтобы это поняли не только Гумилевы и Блоки, но и желторотый студент, и комиссариатская барышня. Критика должна быть универсальной, научные выкладки должны претворяться в эмоции. Ее анализ должен завершаться синтезом, и, покуда критик анализирует, он ученый, но, когда он переходит к синтезу, он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека. Среди критиков у нас были эстетствующие импрессионисты, как Ин. Анненский, были философы, как Вл. Соловьев, ученые, как Овсяннико-Куликовский, не пора ли слить эти элементы воедино? Критика должна быть и научной, и эстетической, и философской, и публицистической. В своей книге о Некрасове я применяю все эти методы, ибо книгу затеял, чтобы оправдать и воплотить их на деле.

А в публицистике я действительно хромаю. Все указанные Вами ошибки исправлю. Но мне жаль, что Вы взглянули на эту статью только публицистическим оком.

Очень мне дорого Ваше указание на анархизм. Я всегда говорил Маяковскому, что ему нужно заштопать в себе ту нигилистическую дыру, которая мешает ему быть хорошим художником. И меня тронуло, что он все же пробует заштопать ее. Это старинное русское дело: ведь и Достоевский заштопывал свой атеизм и свой нигилизм православием, народностью и пр., побеждал свою смердяковщину старцем Зосимой. Маяковский побеждал маяковщину Марксом, и дай Бог ему всякой удачи.

Простите, что письмо длинное, но это в первый и последний раз.

И еще: перехвалить поэта теперь я считаю полезнейшим делом. Я теперь не мог бы ругать своего брата-писателя. Теперь не время взаимной полемики. Маяковского будут ругать без меня, но важно, чтобы из нашего интеллигентского лагеря, который почитается белогвардейским, было сказано приветливое слово о нем.

Ваш Чуковский

## 25. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*<7 марта 1921 г., Петроград>*

Алексей Максимович.

Вы сказали, чтобы Вам к понедельнику был представлен список тридцати наиболее нуждающихся писателей<sup>1</sup>. Но никто из отдельных писателей не берет на себя столь тяжелой ответственности. Просят, чтобы Вы подождали до вторника, потому что во вторник состоится заседание Правления Союза Писателей, которое и решит это дело. Многие высказываются за то, чтобы Вы лично назначили, кому выдать.

Что касается меня, я считаю наиболее нуждающимися:

Петра Быкова<sup>2</sup> (80 лет).

Мариэтту Шагинян. (Никаких пайков. Содержит семью).

Э. Пименову<sup>3</sup>.

Свириденко<sup>4</sup>.

Ольгу Форш.

Всеволода Иванова.

Мих. Слонимского (приехала мать, пайков нет) и себя (содержу семерых).

Ваш Чуковский

## 26. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*<30 апреля или начало мая 1921 г., Петроград>*

Алексей Максимович, я был у Роде<sup>1</sup>. Этот вдохновенный гигант ошеломил и очаровал меня, но не убедил. То, что он говорил, упоительно, но отсюда не следует, что "Дому Искусств" покуда, сейчас, нужно отказаться от своей инициативы. Время идет грозное. Художники и особенно писатели, — семейные, — переживают страшные дни. Как же было нам не объединиться и не попросить у Вас помощи? Я не принадлежу к тем, которые брюзжат, жалуются, сплетничают, ноют, клеветают, — я готов работать и работаю; наш "Дом Искусств" показал уже, что мы действительно работоспособны. Я создал литер<атурную> Студию<sup>2</sup>, организовал публичные лекции, хорошую библиотеку, объединил целые кадры литературных работников, привлек к "Дому Искусств" молодежь, Познера<sup>3</sup>, Одоевцеву<sup>4</sup>, Лунца и проч. Я положил основу общежитию. Я имею право любить "Дом Искусств", хотя мне это не по карману: получаю там 7000 р. жалованья. Вы сами знаете, что без Вашей могучей поддержки — нам смерть. Стоит мне только подумать, что Ходасевич, Шкловский, Чудовский<sup>5</sup>, Форш, Вольтинский, Леткова<sup>6</sup>, Одоевцева, Врубель (сестра художника)<sup>7</sup>, Шагинян и другие наши "жильцы" могут оказаться на улице, и я готов избить Лилину<sup>8</sup> и поколотить Кузьмина<sup>9</sup>. Вы один наш заступник<sup>10</sup>. Вы всегда помогали нам. Зная, что Вы не совсем доверяете Сазонову<sup>11</sup>, я по поручению Высшего Совета взялся лично провести в Москве нашу продовольственную операцию. Конечно, теперь я отказался от этого, но все же прошу Вас — прочитать все протоколы наших заседаний, посвященных хозяйственному Отделу "Дома Искусств". Вы увидите, что после самой тщательной ревизии Сазонов был признан энергичным и честным работником, заслуживающим полного доверия. Прочтите протоколы, и Вы увидите, что Вам нечего стыдиться того, что Вы — председатель "Дома Искусств". Да и неужели я, Замятин, Ал. Бенуа, Добужинский, Кони<sup>12</sup>, Л. Дейч<sup>13</sup>, Ал. Блок — работали бы 2 года с человеком сомнительным. Прочтите протоколы!

А Роде — гениален. Голова кружится от тех широких замыслов, которыми он обуюн. От его кооператива пришел бы в восторг сам Фурье<sup>14</sup>. Наш общий долг помочь ему в осуществлении этой грандиозной мечты; "Дом Искусств" рад будет сотрудничать с ним. Но не может же Роде притязать, чтобы Ваша подпись была в его исключительном ведении! Я уверен, он и сам не желает, чтобы Вы отошли от "Всемирной Литер<атуры>", "Дома Искусств" и Гржебина<sup>15</sup>.

Ваш Чуковский

Повесть Пильняка замечательна. Это первое художественное слово — о революции. Ее нужно печатать немедленно. Ее

переведут на все языки, и через год Pilnjak — всемирная знаменитость<sup>16</sup>.

## 27. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*<Начало июля 1921 г., Порхов>*

Алексей Максимович.

Победа на всех фронтах: порховские власти каждому приезжающему писателю выдают (по моему ходатайству) особый паек — мясо, масло, ежедневно молоко, рис, сахар — все в изрядном количестве<sup>1</sup>. Лошади у нас есть. Мебель тоже. Устроен в полном смысле слова продовольственный рай. Петербуржцы о таком и не мечтают.

Одного у нас нет — писателей. Художники есть — и ведут себя прегнусно. А писателя нет ни одного. Между тем, повторяю, здесь для всякого писателя — и для всей его семьи уготована сытая и приятная жизнь.

Умоляю Вас, помогите писателям приехать сюда. Пускай едет побольше народу. Всем хватит места. Все будут сыты. Если кто из ученых хочет провести приятно лето — пожалуйста! Попросите Москвина<sup>2</sup> облегчить им приезд.

Яблоки почти готовы (у нас сад в 1000 деревьев) — а есть их некому. Овощей сколько угодно, а все съедят художники, которые палец о палец не ударили, а только мешали. Пусть приедут писатели, мы устроим колонию имени М. Горького — и ей-богу облегчим нашу жизнь! Было бы чудесно, если бы приехали сюда Вы, Ходасевичи, Пинкевич<sup>3</sup>, Строев<sup>4</sup>, — кого Вы ни направите сюда, всем будем рады. Пусть человек приедет с Вашей запиской, и он сыт до ноября.

Помните, Вы сказали, что не верите в Колонию. Вам придется взять свои слова обратно. Колония готова — и к Вашим услугам. Гоните сюда всех труждающихся и обремененных.

Ваш Чуковский

Порхов Псковской губ.  
Колония Бельское Устье

Замечательно, что всем нашим благополучием мы обязаны одному здешнему рабочему. В то время как мужики обнаружили единственное стремление — раздеть нас донага, этот рабочий, человек необыкновенного таланта, один вставил стекла в 40 окон, починил печь и плиту в кухне, достал для нас лошадей и т. д. Зовут его Зайцев<sup>5</sup>. Он как будто из какой-то Вашей повести. Починяет швейные машины, гармони, изготавливает чудесную мебель, делает зажигалки, влюблен в цыганку, танцует великолепно, любит литературу до страсти, натура очень творческая и поэтическая. Я назначил его помощником завед. хозяйством, он доволен, как младенец,

и с утра до ночи ведет борьбу с мужиками, норовящими нас обжудить<sup>6</sup>.

Урожай здесь хорош.

## 28. ЧУКОВСКИЙ — ГОРЬКОМУ

*<Конец октября 1921 г., Петроград>*

Многоуважаемый  
Алексей Максимович.

Вскоре в Петербурге ожидается событие, к которому Вы не можете остаться равнодушным: юбилей Большого Драматического театра<sup>1</sup>. Было бы великолепно, если бы Вы написали воспоминания об этом театре, об эпохе зарождения и пр. Подготавливается "Сборник", посвященный этому театру, и все актеры, во главе с Монаховым<sup>2</sup>, просят Вас, чтобы Вы дали в сборник хоть несколько строк.

В сборнике предполагается статья по истории театра. Историограф этого театра молодой литератор, Симон Давыдович Дрейден<sup>3</sup>, подробно напишет Вам, какие сведения было бы желательно ему получить от Вас.

Ваш Чуковский

В Москве я хотел прочитать лекцию о Ваших произведениях, но, оказывается, это теперь невозможно<sup>4</sup>.

### ПРИЛОЖЕНИЯ

#### 1. План издания североамериканской литературы

*<Первая половина 1919 г., Петроград>*

*"Всемирная литература".*

*Литература Соединенных Штатов Северной Америки.*

*Эмерсон<sup>1</sup>*

№ 1-й. *О вере в самого себя.*

№ 2-й. *О дружбе.*

Приложить небольшой очерк жизни и деятельности Эмерсона с указанием влияния его идей на литературу Америки — Брет-Гарт<sup>2</sup>, Торо<sup>3</sup>, Девис<sup>4</sup>, Дж. Лондон<sup>5</sup>, — Англии — Карлейль, — Германии — Нитцше, Шпильгаген<sup>6</sup> и т. д.

Марк Твэн<sup>7</sup>.

Очерк.

1. Моя жизнь.
2. Рассказ калифорнийца.
3. Эскимоска, — объяснить слово.
4. Дневник Адама.
5. Рассказ больного.
6. Комиссионер.
7. Роджерс.
8. Об упадке искусства лжи.
9. Странное приключение.
10. Лягушка.
  1. Разговор с репортером.
  2. Похищение слона.
  3. Как я редактировал с<ельско>-х<озяйственную> газету.
  4. Я — секретарь сенатора.
  5. О моей отставке.
  6. Поучительные рассказы.
  - \* Литература великодушных поступков?
  7. Болтовня гробовщика.
  8. Полковник Стормфилд в раю.
  9. Обстоятельства, вызвавшие взрыв преступлений в Коннектикуте.
  10. Мой первый литератур<ный> опыт.

## 2. План собрания критических статей Чуковского

*<Первая половина 1920 г., Петроград>*

Первая книга<sup>1</sup>.

### 1. Леонид Андреев.

Вместе со статьей "Леонид Андреев и русская критика", (ибо эта статья, м<ожет> б<ыть>, заставит устыдиться некоторых языкоблудников).

### 2. Ф. Сологуб.

Требует большой осторожности в обращении с ним, ибо самолюбив болезненно, а в то же время дьявольски талантлив и заслуживает всяческого уважения. Выкиньте, пожалуйста, все подобное "гнусным подробностям" и т. д.<sup>3</sup> Было бы, пожалуй, уместно сказать, что Федор Кузьмич наиболее настойчивый и убедительный проповедник "ухода из жизни", столь любезного бессильным россиянам.

### 3. Сергеев-Ценский.

Следует включить — частями — статью из книги "От Чехова до наших дней"<sup>4</sup>. Мысль — "Ценский не был бы русский



писатель, если бы умел прославить дельца”<sup>5</sup> — верна и великолепна, ее надо немножко развить. Лескова, прославлявшего дело и дельца — не читают, не знают<sup>6</sup>. Прилагаю статью Айхенвальда о поэзии безделья<sup>7</sup>.

#### 4. Арцыбашев.

Не выбросить ли Горького в роли суфлера<sup>8</sup>? Это особенно обидит автора, да и не верно, ибо Арцыбашев всегда стремился идти за Л. Н. Толстым.

#### 5. Куприн.

“Наталья Давыдовна” отнюдь не исключительный случай, а весьма распространенное бытовое явление. 76-я стр., нет ли здесь ошибки? Едва ли можно противопоставлять события — быту, событие нечто неизменно сопутствующее, составляющее — быт, в сущности своей со-бытие. Да и еврейские погромы не суть нечто исключительное, а “бытовое явление”<sup>9</sup>.

#### 6. Горький.

Не соединить ли обе статьи в одну<sup>10</sup>? Убедительнее и сильней.

“Плюнул на Америку”<sup>11</sup> — не верно, на Францию (банкиров и политиков). Не помню, чтоб когда-либо беседовал с Измайловым<sup>12</sup>, кажется — не встречался с ним. “Князь Шахро” — мой, ваш, наш спутник, я не аполог его, а враг<sup>13</sup>.

#### 7. Мережковский<sup>14</sup>.

#### 8. А. Н. Толстой<sup>15</sup>.

#### 9. Зайцев.

Обе статьи объединить<sup>16</sup>.

#### 10. А. Блок.

Мало о нем. Не следует ли устранить такие резкости, как “виляя задом” и проч. в этом духе<sup>17</sup>? Ведь хождение Владычицы по Невскому есть тоже хождение по мукам — в сущности своей.

#### 11. Брюсов<sup>18</sup>.

#### 12. Короленко.

“Теперь, когда в душе каждого гимназиста — апокалипсис”<sup>19</sup> — это очень глубокая, страшно верная мысль, крайне жалко, что вы ее бросили без призора, без развития, точно робкая девица “незаконнорожденного” ребенка. А ведь ребенок-то наизаконнейше рожден, заслуживает нежного ухода, внимательного воспитания. От этой мысли во все стороны — на всю книгу — сверкает свет, освещающий все и всех. Считаю, — убежден — что положительно необходимо закончить книгу развитием этой мысли — вы, конечно, понимаете, какой она от сего приобретет глубокий, исторический интерес.

И вот что: право же следовало бы Вам отметить одну крупную — м<ожет> б<ыть> великую заслугу Короленко пред

всеми нами: он первый, с поразительной ясностью и простотой дал тип великорусского мужика, исторически сложившийся тип. Это — Тюлин, “Река играет” — это Козьма Минин<sup>20</sup>, который “спас Москву” и потом погиб от лени, пьянства, съеден вшами. Это Дежнев<sup>21</sup>, Крашенинниковы<sup>22</sup> и др. “рыцари” и герои “на час”, — “герои лапотники”.

Короленко смотрит на великорусскую жизнь глазами человека со стороны, человека несколько иной культуры, поэтому он и разглядел Тюлина так великолепно верно. Без Тюлина — невозможны “Мужики”, “В овраге”<sup>23</sup>, невозможны рассказы Бунина. Тюлин — осторожный, но решительный разрыв с традициями народнических акафистов мужику<sup>24</sup>.

Вот так рисуется мне первая книга. Думаю, что в этом виде — с некоторыми поправками и чисткой текста — у нее есть начало, продолжение — очень содержательное — и логический хороший конец.

Вторая книга.

1. Нат Пинкертон<sup>25</sup>.
2. Вербицкая<sup>26</sup>.
3. Дымов<sup>27</sup>.
4. Каменский<sup>28</sup>.
5. Джек Лондон.
6. Футуристы.
7. Они и мы<sup>29</sup>.

Сомневаюсь, что статьи о Рославлеве<sup>30</sup>, Године<sup>31</sup>, Цензоре<sup>32</sup> и др. — нужны.

Очень советую издать отдельной книжкой у Белопольского<sup>33</sup> в издательстве “Северное сияние” —

Детский язык.

Лидия Чарская<sup>34</sup>.

Об этом издании с Белопольским могу говорить я.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### ПИСЬМА

#### 1

Датируется по содержанию: 12 сентября 1892 г. в газете “Кавказ” был напечатан первый рассказ М. Горького “Макар Чудра”. Эта дата считается началом его литературной деятельности.

#### 2

Датируется по записи в дневнике Чуковского от 23 ноября 1918 г.: “<...> я написал <...> сегодня об Уайльде”. (Чуковский К. Дневник. 1901-1929. М., 1991. С. 96. В дальнейшем издании обозначается сокращенно: Дневник).

Впервые: Литературная учеба, 1940, № 6. С. 11 (в очерке Чуковского “Горький”).

- <sup>1</sup> Имеется в виду вступительная статья Чуковского к предполагавшемуся собранию сочинений английского писателя Оскара Уайльда (1854-1900) в издательстве "Всемирная литература". Впоследствии статья вышла отдельной брошюрой: Чуковский К. Оскар Уайльд. Пб., Эпоха, 1922.
- <sup>2</sup> Чуковский писал о художественном мире Уайльда: "Все наизуворот, все наоборот в этом перевёрнутом мире <...> Во всех этих изречениях именно та особенность, что они — наоборот. Берется общепринятая мысль и почти механически ставится вверх ногами <...> Таких афоризмов наизнанку, таких <...> "противоположных общих мест" у Оскара Уайльда — тысячи" (Чуковский К. Оскар Уайльд. С. 30).
- <sup>3</sup> Мистрисс Грэнди — нарицательное имя английских буржуазных лицемеров.
- <sup>4</sup> Шоу Бернард (1856-1950), английский писатель и драматург.
- <sup>5</sup> Ницше Фридрих (1844-1900), немецкий философ и писатель.
- <sup>6</sup> Дженкинс Эдвард (1838-1910), английский писатель-сатирик.

### 3

Датируется по времени создания Студии художественного перевода при издательстве "Всемирная литература". Чуковский вспоминал, что Горький обратился с данным посланием к слушателям студии в феврале 1919 г. (Чуковский К. Современники. Портреты и этюды. М., 1962. С. 348-349. В дальнейшем обозначается: Современники).

- <sup>1</sup> Кок Поль де (1793-1871), французский писатель, имя которого по традиции связывалось с "эротической", "фривольной" литературой.

### 4

Датируется по заверению Чуковского, что ему нужен один год, чтобы к 1 марта 1920 г. представить издательству книгу "Некрасов как Человек и Поэт". Впервые с купюрой: Литературная газета, 1982, 31 марта.

- <sup>1</sup> Работа Чуковского в годы революции над творческим наследием Н. А. Некрасова вылилась в несколько различных книг: "Некрасов как художник", "Поэт и палач (Некрасов и Муравьев)", "Жена поэта (Авдотья Яковлевна Панаева)". Все они были выпущены в 1922 г. издательством "Эпоха" (Пб.) в серии "Некрасовская библиотека".
- <sup>2</sup> О И. И. Манухине см. в публикации "Письма М. Горького к В. И. Ленину" (п. 5, прим. 11).
- <sup>3</sup> О каком предложении идет речь, установить не удалось.
- <sup>4</sup> Имеется в виду Комиссариат народного просвещения, при котором был образован Литературно-издательский отдел, выпускавший преимущественно художественную и учебную литературу.
- <sup>5</sup> 100-летие Некрасова отмечалось 10 декабря 1921 г.

### 5

Датируется по упоминанию о записи Горького в "Чукокколе" (см. прим. 3, 4), помеченной Чуковским мартом 1919 г.

- <sup>1</sup> Левинсон Андрей Яковлевич (1887-1933), художественный и театральный критик, член Коллегии издательства "Всемирная литература".
- <sup>2</sup> Книги за границы приобретались для библиотеки "Всемирной литературы", деятельное участие в комплектовании которой принимал Горький. К 1923 г. библиотека содержала около 80 тысяч томов иностранной художественной литературы; она стала крупнейшим книгохранилищем иностранных книг в России (См.: Исторический архив, 1958, № 2. С. 94).
- <sup>3</sup> Альбом — рукописный альманах "Чукоккола", составленный из различных записей и рисунков писателей и художников начала XX века.

Рисунков художницы Валентины Михайловны Ходасевич (1894-1970) в "Чукокколе" нет.

- <sup>4</sup> На гравюре, сохранившейся в "Чукокколе", изображен еврей, а ниже два небольших портрета Л. Н. Толстого и Горького. Рядом с гравюрой Горький сделал следующую запись: "По словам Юргенсона, подарившего мне эту гравюру, история ее такова: однажды Л. Н. Толстой и я написали статьи о еврейских погромах. Известный гравер Бобров, антисемит, выгравировал портрет еврея, и, присовокупив к нему наши, хотел пустить гравюру — с соответствующей надписью — в продажу. Кто-то догадался убедить Боброва, что затея его не очень красива. Тогда он спилил доску и остался только один оттиск, который я Вам и предлагаю от души для Вашего интересного альбома. М. Горький" (Публикуется впервые).
- <sup>5</sup> Возможно, речь идет о сыне писателя К. В. Иванова, офицере А. К. Иванове. 12 января 1919 г. Чуковский записал в дневнике: "Горький <...> хлопочет о сыне К. Иванова — Александре Константиновиче — прапорщике" (Дневник. С. 99).

6

Датируется по времени выхода в свет "Каталога издательства "Всемирная литература" (22 июня 1919 г.). В письме речь идет о составленном Чуковским списке произведений английской и американской литературы для этого "Каталога".

Впервые: Литературная учеба, 1940, № 6. С. 12.

На письме Чуковский оставил пометы, свидетельствующие о его несогласии с Горьким. Возле слов "Не много ли Теккерей?" он написал: "Теккерей — учреждение, институт. "Ньюкомы" без "Пенденниса" невозможны"; рядом с названием книги Д. Барри "Леди Никотин" заметил: "И еще "Розалинда". Взгляд — ценою в 5 ф<унтов> стерлингов".

- <sup>1</sup> Книга английского писателя Томаса Карлейля (1795-1881) "Сартор Резартус" вошла в "Каталог".
- <sup>2</sup> В "Каталог" были включены следующие произведения Уильяма Теккерей (1811-1863): "Записки Бэрри Линдона", "Ярмарка житейской суеты", "Пенденнис", "Генри Эсмонд", "Ньюкомы", "Английские юмористы XVIII в.", "Роза и кольцо", "Четыре Джорджа", "Стихи".
- <sup>3</sup> Кроме "Леди Никотин", в "Каталог" вошли следующие произведения английского писателя Джеймса Барри (1870-1937): "Шотландские идиоллии", "Белая птичка", "Розалинда".
- <sup>4</sup> В "Каталог" была включена книга английского писателя Холла Кейна (1853-1925) "Житель острова Мана".
- <sup>5</sup> В "Каталоге" представлена одна книга Джерома К. Джерома (1859-1927) — "Трое в лодке, кроме собаки". В виде брошюр во "Всемирной литературе" издавались книги так называемой народной серии. В нее, в отличие от основной, входили произведения, по теме и изложению более доступные для читательской массы.

7

Датируется по дневниковой записи Чуковского от 28 октября 1919 г. о заседании Коллегии "Всемирной литературы", на котором обсуждалось издание Р. Саути (См. прим. 3).

Печатается по автографу, хранящемуся в архиве Е. Ц. Чуковской.

- <sup>1</sup> Книга английского поэта Роберта Саути (1774-1843) "Баллады" вышла в издательстве "Всемирная литература" в 1922 г. (Пб., вып. 50) под редакцией и с предисловием Н. Гумилева.
- <sup>2</sup> Баллада была напечатана под заглавием "Предостережение хирурга" в переводе Н. Гумилева с необходимыми примечаниями и разъяснениями.
- <sup>3</sup> Подобное же мнение Горький высказал и на заседании "Всемирной литературы". Чуковский записал в дневнике: "Гумилев приготовил для

народного издания Саути — и вдруг Горький заявил, что оттуда надо изъять... все переводы Жуковского, к~~ото~~рые рядом с переводами Гумилева страшно теряют! Блок пришел в священный ужас, я визжал — я говорил, что мои дети читают Варвика и Гаттона с восторгом. Горький стоял на своем" (Дневник. С. 117).

В книгу вошли следующие баллады в переводе В. Жуковского: "Доника", "Адельстан", "Суд божий над епископом", "Баллада о старушке". В переводе А. Плещеева баллада напечатана баллада "Бленгеймский бой", в переводе Ф. Миллера — "Ингкапский риф", Вс. Рождественского — "Св. Ромуальд", "Скала любовников", "Епископ Бруно", "Баллада о молодом человеке", "Мэри, девушка с постоянного двора", "Колодец св. Екатерины", "Баллада о кресле св. Михаила".

- <sup>4</sup> Упомянутая баллада в сборник не вошла. Все исторические произведения были сопровождаемы необходимыми пояснениями.

## 8

Датируется по записи в дневнике Чуковского от 19 ноября 1919 г.: "Вчера три заседания подряд: первое — секция исторических картин, второе — Всемирная Литература, третье — у Гржебина <...>. На первом заседании я читал своего Персея, к~~ото~~рый неожиданно всем понравился" (Дневник. С. 125, 126. См. прим. 1).

Печатается по автографу, хранящемуся в архиве Е. Ц. Чуковской.

Сверху на листе рукой Чуковского помечено: "О моем Персее Горький".

Записка представляет собой отрыв от сценария Чуковского "Персей". Осенью 1919 г. Горький задумал создать серию исторических пьес для театра и сценариев для кинематографа, в которых на материале далеких веков и разных народов была бы показана история культурного развития человечества. Для этой цели при Петроградском отделе театров и зрелищ (ПТО) была создана Секция исторических картин. В работе над сценариями и пьесами приняли участие А. Блок, Н. Гумилев, В. Шилейко и др. К этой серии принадлежал и сценарий Чуковского, в основу которого положен древнегреческий миф о Персее. Его рукопись сохранилась в Архиве А. М. Горького (фонд А. Н. Тихонова, ед. хр. 575. С. 2).

- <sup>1</sup> Горький обращает внимание на тот эпизод в сценарии Чуковского, когда царь Акрийсй запирает Данаю в темнице на ключ, затем показывает его звездочету и тычет его "ключом в подбородок".
- <sup>2</sup> Согласно мифу, Зевс проник к Данае в виде золотого дождя (солнца). Этот эпизод в сценарий не вошел.
- <sup>3</sup> Во втором действии злой царь Полидект, помогаясь Данаи, силой отнимает у нее сына и ссылает его на остров Самос. Данае же Полидект говорит, что Персея "давно уже съели дельфины".
- <sup>4</sup> По сценарию, богиня Паллада и бог Гермес — каждый дарит Персею по волшебному щиту, чтобы сразиться с Медузой Горгоной.
- <sup>5</sup> По сценарию, Персей идет к Атланту, поддерживающему небо, и спрашивает его, как найти путь к Горгоне. В ответ Атлант "ударяет Персея ногою и в злобе потрясает небесами". Возвращаясь назад с головой побежденной Медузы, Персей показывает ее Атланту, и тот окаменеет. Согласно древнегреческому мифу, в тот момент, когда Атлант окаменел, небеса обрушились. В сценарии этот момент отражен не был.

## 9

Печатается по автографу, хранящемуся в архиве Е. Ц. Чуковской.

Впервые неполностью: Современники. С. 344; полный текст: Новый мир, 1990, № 7. С. 176.

Дата на записке поставлена рукой Чуковского.

- <sup>1</sup> Введенский Иринарх Иванович (1813-1855), общественный деятель, переводчик.

- <sup>2</sup> Чуковский следующим образом прокомментировал содержание письма: "Вот еще одна записка Алексея Максимовича — по поводу "Давида Копперфильда" в переводе Иринарха Введенского. Введенский был небрежным переводчиком. В его "Давиде Копперфильде" немало отсебятины и ошибок. Но так как он был очень талантлив и отлично воспроизводил самый стиль великого писателя, я сделал попытку исправить его перевод, причем, мне было важно узнать, не вносят ли мои обильные поправки стилистического разнobia в переработанный текст. Алексей Максимович в своей краткой записке развеял мои опасения" (Современники. С. 344).

Говоря о своей редакции перевода "Давида Копперфильда", Чуковский писал: "Проредактировав его перевод "Копперфильда", мы исправили там около трех тысяч ошибок и отбросили оттуда около девятисот отсебятины, как бы удачны ни были иные из них" (Принципы художественного перевода. 2-е изд. Пб., 1920. С. 49). Тем не менее Чуковский вскоре пришел к выводу, что переводы Введенского "исправить нельзя", и передал работу над "Давидом Копперфильдом" М. А. Шишмаревой. В протоколе заседания Коллегии издательства "Всемирная литература" от 13 мая 1921 г. записано следующее выступление Чуковского: "У нас есть чудесная переводчица Шишмарева. Она, наконец, закончила перевод "Давида Копперфильда". Перевод очень хороший" (АГ. КГ-изд. 4-4-18). Издание романа во "Всемирной литературе" не состоялось.

- <sup>3</sup> Листок не разыскан.

- <sup>4</sup> Вопрос об этой записке обсуждался на заседании редколлегии "Всемирной литературы" 18 ноября 1919 г. 19 ноября Чуковский записал у себя в дневнике: "На <...> заседании мы говорили о записке от лица литераторов, которую мы намерены послать Ленину". (Дневник. С. 126). Инициатором составления записки был Чуковский. Речь в ней шла о тяжелом материальном положении и плохом продовольственном обеспечении писателей. См. записи Чуковского в дневнике от 12, 13, 18 ноября 1919 г. (Там же. С. 123, 125).

## 10

Датируется по времени работы Чуковского над переводами романов Ч. Диккенса для издательства "Всемирная литература".

- <sup>1</sup> Для издательства "Всемирная литература" Чуковский не только редактировал переводы романов Диккенса, но и писал к некоторым из них предисловия. "Всемирной литературой" были изданы две его книги под редакцией и с предисловием Чуковского: "Повесть о двух городах" (1919) и "Колокола" (1922). Другие произведения изданы не были.
- <sup>2</sup> Речь идет о предисловии Чуковского к "Николасу Никкльби", в котором, в частности, утверждалось, что Диккенс вывел в этом романе своих родителей "в самом комическом виде" и "высмеял родную мать" (Современники. С. 345).
- <sup>3</sup> Гринвуд Джеймс (1833-1929), английский писатель.

## 11

Датируется по орфографии и по времени работы над подготовкой к изданию произведений английского писателя Джона Голсуорси (1867-1933) во "Всемирной литературе".

Впервые: Литературная учеба, 1940, № 6. С. 10.

- <sup>1</sup> Речь идет о книге "Остров фарисеев" (1904), положившей начало большой серии социально-бытовых романов Голсуорси о жизни английского общества. Роман "Братство" (1909) — третий в этой серии. Издание упомянутых книг во "Всемирной литературе" не состоялось.

Датируется по орфографии и по времени работы над переводами для "Всемирной литературы".

Печатается по автографу, хранящемуся в архиве Е. Ц. Чуковской.

Впервые полностью: Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком. М. — Л., 1928. С. 343-344 (в статье Чуковского "Горький во "Всемирной").

<sup>1</sup> Джекобс Вильям (1863-1943), английский писатель.

<sup>2</sup> Имя переводчика юмористических рассказов Джекобса для "Всемирной литературы" установить не удалось. Издание не состоялось.

Датируется по орфографии и по времени подготовки к изданию переводных книг во "Всемирной литературе".

Впервые неполностью: Современники. С. 339-340.

<sup>1</sup> В основу романа американского писателя Рэкса Бича (1877-1949) "Хищники" положен реальный случай, происшедший на золотых шахтах Клондайка. В России роман издавался в 1907 г. (СПб., изд. Булгакова) и в 1926 г. (Л., изд. "Мысль"). Издание его во "Всемирной литературе" не состоялось.

Датируется по орфографии и по времени подготовки к изданию переводных книг во "Всемирной литературе".

<sup>1</sup> Перечисленные произведения индийского философа Бхагавана Рамакришны (наст. имя Гададхар Чаттерджи, 1836-1886), английских писателей Чарлза Рида (1814-1884) и Джеймса Морьера (1780-1849) во "Всемирной литературе" не издавались.

Датируется приблизительно по орфографии и времени наиболее интенсивного общения адресатов.

<sup>1</sup> Не сохранилось.

Датируется по орфографии и по времени подготовки к изданию романа Ч. Диккенса "Барнеби Радж" во "Всемирной литературе".

Впервые неполностью: Литературная учеба, 1940, № 6. С. 11.

На обороте рукой Горького написано: "К. И. Чуковскому".

<sup>1</sup> Вероятно, речь идет о переводе романа М. А. Шишмаревой. Эту работу переводчицы Чуковский подробно анализировал как образцовую в статье 1919 г. "Переводы прозаические" (Принципы художественного перевода. 2-е изд. Пб., 1920. С. 26, 31, 32, 42-43).

<sup>2</sup> Название книги установить не удалось.

Датируется по времени работы Чуковского над выпуском сборника: Стихотворения Н. А. Некрасова. Издание исправленное и дополненное, под редакцией К. И. Чуковского. Пб., 1920. 20 марта 1920 г. Чуковский записал в дневнике: "Я — после звериных трудов — сдал, наконец, Некрасова" (Дневник. С. 142).

- <sup>1</sup> Стихотворение Некрасова "Дедушка", посвященное возвращению декабриста из ссылки, было напечатано без комментариев. Горький имеет в виду события, связанные с восстанием декабристов 14 декабря 1825 г. Замешательство среди восставших было вызвано неожиданным отказом их лидера князя С. Трубецкого явиться на Сенатскую площадь. Как известно, поводом к восстанию послужила смерть Александра I и отказ от престола его брата Константина.

## 18

- <sup>1</sup> Вероятно, речь идет о сказках Оскара Уайльда. В издательстве "Всемирная литература" вышло два сборника его сказок под редакцией Чуковского: "Счастливый принц и другие сказки" (Пб., 1920) и "Гранатовый дом. Рассказы" (Пб., 1922).
- <sup>2</sup> 11 апреля 1920 г. праздновалась Пасха.

## 19

Датируется по содержанию и фразе "...после Пасхи<...> оказался банкротом".

- <sup>1</sup> Осенью-зимой 1919 г. Чуковский помогал Д. С. Мережковскому устроить издание его произведений в государственных издательствах, чтобы получить деньги, необходимые для отъезда Мережковского и З.Н.Гиппиус в декабре 1919 г. за границу. (См.: Дневник. 1919 г.)
- <sup>2</sup> Издательство "Всемирная литература".
- <sup>3</sup> Вероятно, имеется в виду Петроградский профессиональный союз писателей, созданный весной 1920 г.
- <sup>4</sup> Коллегия Наркомпроса, при котором был образован Литературно-издательский отдел (ЛИТО).
- <sup>5</sup> План издания критических работ Чуковского был составлен Горьким. (См. приложение 2). Издание не состоялось.
- <sup>6</sup> Панаева Авдотья Яковлевна (1819-1893), писательница. Ее мемуары были изданы позже: Панаева А. Воспоминания. 1824-1870. С предисловием и примечаниями К. Чуковского. Л., 1927.
- <sup>7</sup> См. письмо 4, прим. 1.
- <sup>8</sup> Гринберг Захар Григорьевич (1889-1949), член коллегии Наркомпроса РСФСР. После отъезда А. В. Луначарского в начале 1919 г. в Москву возглавлял Петроградский Наркомпрос.

## 20

Датируется предположительно по связи с предыдущим письмом Чуковского, на которое, возможно, является ответом.

## 21

Датируется на основании упомянутых статей М. К. Лемке против Чуковского, напечатанных в журнале "Книга и революция" (1920, № 1, июль).

- <sup>1</sup> "Дом Искусств" был открыт в Петрограде 19 ноября 1919 г. Осенью 1920 г. при "Доме Искусств" было создано общежитие, в котором поселились писатели: А. Волинский, А. Грин, Н. Гумилев, Е. Леткова, Л. Лунц, О. Мандельштам, В. Пяст, М. Слонимский, О. Форш, В. Ходасевич, М. Шагинян, В. Шкловский и др. Трудный быт тех лет в общежитии ярко описан Ольгой Форш в романе "Сумасшедший корабль" (1931).
- <sup>2</sup> Каплун Борис Гитманович (1894-?), возглавлял Управление Петроградского Совета.
- <sup>3</sup> Оцуп Николай Авдиевич (1894-1959), поэт.
- <sup>4</sup> Журнал "Дом Искусств" начал выходить с начала 1921 г. (вышло два номера). Его редактировали Горький, Чуковский и Е. Замятин.



- 5 Вольфила — Вольная философская ассоциация, созданная в Петрограде в конце 1919 г.
- 6 Речь идет о ежемесячном литературно-художественном журнале “Современник” (1847-1866), издававшемся Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым. Попытки Горького, Чуковского, Замiatина и А. Н. Тихонова организовать после революции независимый журнал интеллигенции увенчались созданием в 1924 г. “Русского современника” (после выхода 4-го номера был закрыт).
- 7 Венгеров Семен Афанасьевич (1855-1920), историк русской литературы, библиограф. С 1886 г. начал издавать “Критико-биографический словарь русских писателей и ученых” (вышло 6 томов). Был редактором многих изданий, в том числе Полного собрания сочинений Пушкина в 6 томах (СПб. (Пг.), 1907-1915), являлся организатором и первым директором Российской книжной палаты.
- 8 Речь идет о собрании сочинений А. И. Герцена, которое выходило в 1915-1923 гг. под редакцией историка русской общественной мысли и литературы Михаила Константиновича Лемке (1872-1923).
- 9 В первом номере журнала “Книга и революция” (1920), выходившего под ред. В. Быстринского, И. Ионова и М. Лемке, были напечатаны три отрицательные рецензии на работы К. Чуковского: рецензия на сказку “Крокодил” под названием “Два крокодила”, подписанная “Тумим”; рецензия на “Стихотворения” Н. А. Некрасова под ред. Чуковского (Пб., Госиздат, 1920), подписанная псевдонимом “А”, рецензия на “Неизданные произведения Н. А. Некрасова” с объяснительными статьями и примечаниями Чуковского (СПб., Петербург, 1918), подписанная “М. Маврин”. Лемке обвинил Чуковского в “шутовстве и скоморошестве”. Чуковский позже вспоминал: “... в одном из томов Герцена он (Лемке — Н. П.) опубликовал найденное им где-то письмо Некрасова к Герцену, приписал ему фальшивую дату и сделал из этого письма чудовищные выводы. Я отнесся к его ошибкам юмористически и указал на них в печати в своей статье “Жена поэта”. В 1919 году, едва написав эту статью, я читал ее в Доме искусств. Присутствовал Лемке. Когда я стал доказывать, что он не понял найденного им письма, он порывисто сорвался с места — и, бормоча ругательства, демонстративно покинул зал. В это время — или несколько позже — в Ленинграде стал издаваться журнал “Литература и революция” или что-то в этом роде. Там Лемке был заправилкой. Первым долгом он напечатал статью против моего “Крокодила”... Здесь же, рядом, чуть ли не в том же номере журнала Лемке (под псевдонимом Маврин) ополчился против моих некрасоведческих работ. Здесь он был во многом прав, но кипящая в нем злоба, личная злоба, порожденная обидой, чувствуется в каждой строке” (Чуковский К. Несобранные статьи о Н. А. Некрасове. Калининград, 1974. С. 81).
- 10 Ионов Илья Иванович (1887-1942), издательский работник, в это время заведовал петроградским отделением Госиздата, где были напечатаны “Стихотворения” Н. А. Некрасова под ред. К. Чуковского.
- 11 Гершензон Михаил Осипович (1869-1925), историк литературы и общественной мысли, публицист.
- 12 Ольденбург Сергей Федорович (1863-1934), ученый-востоковед, член Коллегии издательства “Всемирная литература”.
- 13 Полонская Елизавета Григорьевна (1890-1969), поэтесса, переводчица. Книга Дж. Свифта “Путешествие Гулливера” в обработке Е. Полонской не выходила.

Датируется по сопоставлению с письмом Горького А. В. Луначарскому от 13 декабря 1920 г., в котором, как и в данном письме, речь идет о докладе А. Н. Тихонова о печатании русских книг за границей (см. прим. 4).

- 1 Тихонов Александр Николаевич (1880-1956), писатель, издатель. Принимал активное участие во многих издательских начинаниях Горького: "Всемирная литература", "Издательство З. И. Гржебина", "Academia", серии книг "ЖЗЛ" и др.
- 2 Гржебин Товий Наумович, сотрудник "Издательства З. И. Гржебина".
- 3 Мечников Илья Николаевич, агент по снабжению "Всемирной литературы" и "Издательства З. И. Гржебина".
- 4 Из-за бумажного и типографского кризиса в стране издательство "Всемирная литература", подготовившее большое количество рукописей к печати, было вынуждено искать возможности печатания книг за границей. По решению, утвержденному на заседании Совета труда и обороны, для этих целей была выделена валюта, и сотрудник издательства Тихонов отправился за границу для организации печатания там книг. 13 декабря 1920 г. Горький сообщал Луначарскому: "Вернувшись в Россию, А. Н. Тихонов представил доклад, в котором он <...> дает необходимые практические сведения для составления смет и договоров. Я посылаю Вам копию этого доклада <...>". (Архив А. М. Горького. М. 1976. Т. 14. С. 97).
- 5 Волинский Аким Львович (1863-1926), критик, историк литературы, историк словесности. В издательстве "Всемирная литература" ведал итальянской словесностью.
- 6 См. письмо 4, прим. 1.
- 7 Книга Чуковского об американском поэте Уоте Уитмене (1819-1892) не выходила. В годы революции в Петрограде вышли книги стихов Уитмена "Поэзия грядущей демократии" (1918, 1919) и "Листья травы" (1922) в переводе Чуковского и с его большими критико-биографическими вступительными статьями о поэте.
- 8 Чуковский К. Книга об Александре Блоке. Берлин, Эпоха, 1922. Книга была начата в 1920 г. и в основном закончена в апреле-мае 1921 г.
- 9 Речь идет о статье "Ахматова и Маяковский", опубликованной в журнале "Дом искусств", (1921, № 1). Статья перепечатана в журнале "Вопросы литературы", (1988, № 1). Там же во вступительной заметке Е. Ц. Чуковской рассказано об истории ее написания и об отзывах на статью в тогдашней прессе.
- 10 "Дом искусств".

## 23

Датируется по времени выхода первого номера журнала "Дом искусств" (январь 1921 г.). В письме Горький дает отзыв на материалы, предназначенные для журнала.

- 1 Статья Е. Замятина о современной литературе.
- 2 Статья А. Ремизова "О человеке, звездах и свинье", открывающая номер журнала.
- 3 Речь идет о статье Чуковского "Ахматова и Маяковский". См. письмо 22, прим. 9.
- 4 Первая и вторая Балканские войны (1912-1913) велись Болгарией, Грецией, Сербией и Черногорией против Турции, третья война (1913) происходила между Болгарией, с одной стороны, и Грецией, Румынией, Сербией — с другой. Балканские войны, завершившие в основном освобождение балканских славян от турецкого гнета, явились прологом событий, приведших к первой мировой войне.
- 5 Речь идет об итало-турецкой войне 1911-1912 годов, в результате которой от Османской империи были отторгнуты две североафриканские провинции — Триполитания и Киренаика — и превращены в итальянские колонии.
- 6 В начале июля 1916 г. Маяковский по приглашению Горького побывал у него на даче в Мустаяках (Финляндская железная дорога). Там он читал Горькому свою поэму "Облако в штанах". Тогда же, вероятно, и состоялся упомянутый разговор о Саше Черном.

- <sup>7</sup> Видимо, следуя этому совету, Чуковский завершил статью призывом к синтезу двух стихий: стихии старой культурной Руси, воплощаемой в поэзии Ахматовой, и "бравурной", "площадной", анархической стихии, воплощаемой Маяковским.

24

Датируется по связи с письмом 23, на которое является ответом.  
Впервые частично: Литературное обозрение, 1982, № 4. С. 102-103.

- <sup>1</sup> Быстрянский Вадим Александрович (1886-1940), историк, публицист.  
<sup>2</sup> Фриче Владимир Максимович (1870-1929), историк литературы, искусствовед, критик.

25

Датируется по дневниковым записям Чуковского от 7 и 9 марта 1921 г. (см. прим. 1).

- <sup>1</sup> В связи с надвигающимся голодом перед литераторами встал вопрос о распределении продовольственных пайков. 7 марта 1921 г. Чуковский записал в дневнике: "Вчера меня вызвали к Горькому <...> оказалось — по поводу пайков". И еще одна запись: "9 марта. Среда <...>. Вчера было заседание Проф. Союза Писателей о пайках" (Дневник. С. 160, 161). В тот же день Чуковский записал о своем тяжелом материальном положении: "Я хочу продать мои сказки — т. к. у меня ни гроша, а нужно полтора или двести тысяч немедленно. Каждый день нам грозит голод" (Там же).  
<sup>2</sup> Быков Петр Васильевич (1843-1930), писатель и библиограф.  
<sup>3</sup> Пименова Эмилия Кирилловна (1885-1935), журналистка.  
<sup>4</sup> Свириденко С., критик-музыковед.

26

Датируется по сопоставлению с дневниковой записью Чуковского от 30 апреля — 1 мая 1921 г. (см. прим. 1, 3).

- <sup>1</sup> Роде Анатолий Сергеевич (?-1930), директор открытого 31 января 1920 г. Дома ученых в Петрограде. В. Шкловский в воспоминаниях о Горьком нарисовал портрет Роде: "Роде — человек кафешантанный. В это время он заведовал ЦКУБУ. Как мог попасть Роде к Горькому? Роде знал много вещей и он умел разговаривать. Если Вы скажете Роде: "Принесите мне веревку!". Он вызовет помощника и скажет, предположим: "Принесите мне шпагат № 13". Факт, что шпагат имеет номер и что существует шпагатная культура, поражал Горького, и Роде попадал в число вещей ему нужных". (Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком. М. — Л., 1928. С. 383). В дневнике Чуковский так описал это свое посещение Роде 30 апреля 1921 г.: "Оттуда (от Горького. — Н. П.) я к Родэ. Гигант, весь состоящий из животов и подбородков. Черные маслянистые глаза. Сначала закричал: приходите во вторник, но потом, узнав, что я еду завтра, милостиво принял меня и даже удостоил разговора. Впрочем, это был не разговор, а гимн. Гимн во славу одного человека, энергичного, благородного, увлекающегося, самоотверженного, — и этот человек — сам Родэ" (Дневник. С. 163).  
<sup>2</sup> Созданная в начале 1919 г. Студия художественного перевода при издательстве "Всемирная литература" после открытия Дома Искусств перебазировалась туда и была преобразована в Литературную студию. В ней занимались многие известные впоследствии писатели: М. Зощенко, Вс. Иванов, Н. Никитин, М. Слонимский, Л. Лунц и др.  
<sup>3</sup> Познер Владимир Соломонович (1905-1992), член группы "Серапионовы братья", позднее французский писатель.

- 4 Одоевцева Ирина Владимировна (наст. имя Ираида Густавовна Гейнике, 1901-1991), поэтесса, писательница, мемуаристка.
- 5 Чудовский Валериан Адольфович (1891-1937<?>), литературный критик.
- 6 Леткова (Султанова) Екатерина Павловна (1856-1937), писательница, мемуаристка.
- 7 Врубель Анна Александровна (1855-1929), педагог.
- 8 Вероятно, имеется в виду Лилина Злата Ионовна (1882-1929), член Петрогубисполкома, первая жена Г. Е. Зиновьева.
- 9 О ком идет речь, установить не удалось.
- 10 Чуковский был обеспокоен тем, что Горький, увлекшись идеей организации помощи творческой интеллигенции в рамках возглавляемых им Петроградской комиссии по улучшению быта ученых и Дома ученых, разочаровался в деятельности Дома искусств и хотел, видимо, отказаться от поста его председателя. Лишившись могущественного покровителя, это учреждение могло оказаться под угрозой закрытия. Перед отъездом 1 мая 1921 г. с А. Блоком в Москву Чуковский составил ряд писем, прошений и других бумаг, в которых хлопотал о продовольственной помощи петроградским писателям, и понес их на подпись Горькому. Однако Горький, по свидетельству Чуковского, подписал только его бумаги и отказался подписывать составленные работником Дома искусств Сазоновым. (См. Дневник. С. 163). 22 мая 1921 г. Чуковский записал в дневнике о Горьком: "Никакого интереса к Дому Искусств у него нет. Литераторы чужды ему совершенно" (Там же. С. 169).
- 11 Сазонов Петр Владимирович, заведующий хозяйственным отделом Дома искусств.
- 12 Кони Анатолий Федорович (1844-1927), юрист, общественный деятель, мемуарист.
- 13 Дейч Лев Григорьевич (1855-1941), революционный деятель, историк.
- 14 Фурье Шарль (1772-1837), французский писатель, утопический социалист.
- 15 Гржебин Зиновий Исаевич (1869-1929), художник, издатель. Первое время "Издательством З. И. Гржебина", отпочковавшимся весной 1919 г. от "Всемирной литературы", фактически руководил Горький.
- 16 Речь идет о романе Б. Пильняка "Голый год". Закончив его в первых числах января 1921 г., он передал его через Б. Пастернака Горькому для ознакомления. Глава из него под названием "Поезд № 57 смешанный" была вскоре напечатана в редактируемом Горьким и Чуковским журнале "Дом Искусств" (1921, № 2). В 1922 г. "Голый год" был опубликован целиком (вероятно, не без помощи Горького) в "Издательстве З. И. Гржебина" (Пб.—Берлин). Чуковский не ошибся, предрекая всемирную известность молодому писателю. Его роман еще при жизни был переведен на французский, немецкий, английский, испанский, чешский, норвежский, японский и др. языки мира.

## 27

Датируется по сопоставлению с дневниковой записью Чуковского от 5 июля 1921 г. (см. прим. 1, 5).

- 1 Летом 1921 г. Чуковский вместе с художником М. В. Добужинским организовал под эгидой Дома искусств колонию для петроградских писателей и художников. Колония располагалась в Псковской губернии близ города Порхова в бывших имениях князей Гагариных "Холомки" и "Бельское устье".

5 июля 1921 г. Чуковский записал в дневнике: "Я единолично добыл Колонию Бельское Устье, добыл сад <...> добыл две десятины ржи, десятину клевера, добыл двух лошадей, жмыхи <...>. Я добыл фураж для лошадей и, что главное, добыл второй паек для всех членов колонии и их семейств — паек с сахаром и крупой" (Дневник. С. 175-176).

- <sup>2</sup> Москвин Иван Михайлович, советский партийный и государственный деятель, занимал второе после Г. Е. Зиновьева место в петроградской партийной иерархии. О его судьбе подробно рассказано в воспоминаниях Л. Разгона "Непридуманное" (Юность, 1988, № 5. С. 5-15).
- <sup>3</sup> Пинкевич Альберт Петрович (1883-1939), профессор, педагог.
- <sup>4</sup> Десницкий-Строев Василий Алексеевич (1878-1958), литератор, близкий знакомый Горького. Из перечисленных лиц в порховской колонии в августе-сентябре 1921 г. отдыхал поэт Ходасевич с женой. См.: Безродный М. Месяц в деревне Владислава Ходасевича // Литературное обозрение, 1989, № 11. С. 104-105.
- <sup>5</sup> Чуковский записал в дневнике 5 июля 1921 г.: "Ради меня по моей просьбе Зайцев отдал верх для колонии, устроил кухню, починил окна и замки на дверях" (Дневник. С. 176).
- <sup>6</sup> В отрицательной характеристике местного "мужика" сказалось, может быть, бессознательное стремление Чуковского "подыграть" настроению Горького. В его дневнике есть ряд записей, свидетельствующих о скептическом отношении Горького того времени к русскому крестьянству, о недоверии к деревне. Чуковский же, судя по тем же дневниковым записям, не разделял этих убеждений Горького, писал о русском мужике как об "очень правильном жизнеспособном несокрушимом человеке", главная сила которого — доброта (Там же. С. 159).

## 28

Датируется по указанию С. Д. Дрейдена (см. прим. 1) и времени отъезда Горького за границу (21 октября 1921 г.).

Печатается по автографу, хранящемуся в архиве С. Д. Дрейдена.

- <sup>1</sup> 15 февраля 1919 г. в Петрограде открылся Большой драматический театр. Стоявший у истоков театра Горький проявлял большую заботу о его судьбе. К первой годовщине существования театра был выпущен сборник статей "Дела и дни Большого Драматического театра", (№ 1. Пг., 1919), открывавшийся статьей Горького "Трудный вопрос". К третьей годовщине театра предполагалось также выпустить юбилейный сборник статей и воспоминаний. Позже Дрейден вспоминал: "Когда "историограф" БДТ (Дрейден.— Н. П.), которому тогда еще не минуло шестнадцать лет (весной 1921 года он по окончании школы был рекомендован Корнеем Ивановичем Н. Ф. Монахову для работы по подготовке материалов по истории театра), пришел к Горькому, на Кронверкский, то выяснилось, что Горький только что уехал для лечения в Германию" (Документ хранится в архиве Е. П. Чуковской). Вероятно, после этого визита и было написано публикуемое письмо.
- <sup>2</sup> Монахов Николай Федорович (1875-1936), актер, режиссер Большого драматического театра.
- <sup>3</sup> Дрейден Симон Давыдович (1905-1991), театральный критик.
- <sup>4</sup> Вероятно, трудности с популяризацией имени и творчества Горького возникли из-за его отъезда за границу.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### 1

Датируется по времени выхода в свет "Каталога издательства "Всемирная литература" (22 июня 1919 г.). Данный список был составлен Горьким, вероятно, при подготовке этого "Каталога".

- <sup>1</sup> В "Каталог" вошли следующие книги американского философа, поэта и эссеиста Ральфа Эмерсона (1803-1882): "Представители человечества", "Опыты", "Стихи".

- <sup>2</sup> Брет-Гарт (Френсис Гарт, 1836-1902), американский писатель.
- <sup>3</sup> Торо Генри (1817-1862), американский писатель и философ.
- <sup>4</sup> Дейвис Артур (1868-1935), австралийский писатель.
- <sup>5</sup> Лондон Джек (наст. имя Джон Гриффит, 1876-1916), американский писатель.
- <sup>6</sup> Шпильгаген Фридрих (1829-1911), немецкий писатель.
- <sup>7</sup> В "Каталог" были включены такие произведения американского писателя Марка Твена (наст. имя Сэмюэл Клеменс, 1835-1919): "Том Соьер", "Гекльберри Финн", "Пешком по Европе", "Принц и нищий", "Американский претендент" и "Мелкие рассказы". Публикуемый план дает представление о том, какие именно рассказы Твена предполагалось издавать во "Всемирной литературе".

## 2

Датируется по фразе из письма 19 ("Коллегия постановила купить мои "Критические очерки") и по указанию самого Чуковского (см. прим. 1).

Печатается по МК, сохранившейся в архиве Е. Ц. Чуковской. Отрывки публиковались в книге "Современники", С. 361-362.

- <sup>1</sup> Документ представляет собой составленный Горьким план двухтомного собрания критических статей и очерков Чуковского, написанных еще до революции и опубликованных в книгах "От Чехова до наших дней" (СПб., 1908), "От Чехова до наших дней", 3-е изд. (СПб.— М., <б. г.>), "Критические рассказы", кн. I (СПб., 1911), "Лица и маски" (Пб., 1914). "В 1920 г., — вспоминал Чуковский, — Горький предложил мне подготовить к печати собрание моих критических статей и взялся редактировать их <...> Почти о каждой моей статье, намеченной им для первого тома, он пишет мне тут же рецензию <...> Так были отремонтированы Горьким три мои книги <...>" (Современники. С. 361).
- <sup>2</sup> Горький предлагал печатать статью "О Леониде Андрееве" вместе со статьей "Леонид Андреев и русская критика", где были собраны "позорнейшие суждения российской критики" о писателе, свидетельствовавшие о полном непонимании и недооценке его творчества (См.: Лица и маски. С. 345-454).
- <sup>3</sup> "<...> какие гнусные подробности страшного воображения!" — фраза из статьи "Федор Сологуб" (От Чехова до наших дней. С. 44).
- <sup>4</sup> Горький советует соединить статьи "Сергеев-Ценский" из книги "От Чехова до наших дней" со статьей о Ценском "Поэт бесплодия", напечатанной в книге "Критические рассказы".
- <sup>5</sup> Фраза из статьи "Поэт бесплодия" (Критические рассказы. С. 81).
- <sup>6</sup> Ср. высказывание Горького в статье "Н. С. Лесков" (1923): "Вышло так, что писатель, открывший праведника в каждом сословии, во всех группах, — никому не понравился и остался в стороне, в подозрении" (Горький М. Собр. соч. Т. 24. С. 235).
- <sup>7</sup> Вероятно, речь идет о статье Ю. Айхенвальда "Похвала праздности", включенной в одноименный сборник критика (Айхенвальд Ю. Похвала праздности. М., 1922).
- <sup>8</sup> В статье "М. Арцыбашев" Чуковский писал: "Немного жаль, что декорации эти запылены, и читатель, чихая от пыли, видит между ними суфлерскую будку, где сидит Максим Горький, но ведь на то это и декорации" (От Чехова до наших дней. С. 80).
- <sup>9</sup> В очерке "А. И. Куприн" Чуковский назвал рассказ "Наталья Давыдовна" "выдуманнейшим" (От Чехова до наших дней. 3-е изд. С. 74). Горький возражал также против таких рассуждений критика: "Куприн консерватор. Вот нарушился быт "Гамбринуса", и из быта выступило событие: еврейский погром, и Куприн встречает его с ненавистью. Быт и событие всегда во вражде у Куприна" (Там же. С. 76).

- 10 Речь идет о резко критических статьях Чуковского "Максим Горький" (От Чехова до наших дней) и "Пфуль" (Критические рассказы).
- 11 Фраза из статьи "Максим Горький": "Вспоминается, как плюнул он на Америку <...>" (От Чехова до наших дней. С. 70).
- 12 Измайлов Александр Алексеевич (1873-1921), писатель, критик.
- 13 Князь Шахро — герой горьковского рассказа "Мой спутник" (1897). Вероятно, речь идет о следующих суждениях из статьи "Пфуль": "восхитительный циник и эгоист Шахро, о котором Горький восторженно написал в первом томе своих "Рассказов"; "князь Шахро мог быть мелким паразитом, но Горькому какое дело до этого" (Критические рассказы. С. 185-186, 195).
- 14 Статья из книги "От Чехова до наших дней".
- 15 Очерк "Об Алексее Н. Толстом" из книги "Лица и маски".
- 16 Речь идет о статьях Чуковского о Б. Зайцеве, напечатанных в книгах "Люди и маски" и "От Чехова до наших дней".
- 17 Горький справедливо возражал против упрощенной трактовки Чуковским изменения образа лирической героини Блока во втором томе его стихотворений: "<...> вначале, попав на Невский, Владычица вселенной растерялась, с ужасом озиралась по сторонам <...> но вскоре она привыкла <...> и лихо, подобрав юбки, пошла, вихля задом, по мокрому тротуару" (Статья "А. Блок" из книги "От Чехова до наших дней", 3-е изд. С. 35).
- 18 Статья из книги "От Чехова до наших дней".
- 19 Фраза из статьи "Владимир Короленко как художник": "<...> у каждого мальчишки теперь в душе апокалипсис". (Критические рассказы. С. 205).
- 20 Минин Кузьма (?-1616), организатор и руководитель борьбы русского народа против польских захватчиков.
- 21 Дежнев Семен Иванович (ок. 1605-1673), путешественник, землепроходец. Открыл пролив между Азией и Америкой.
- 22 Крашенинников Степан Петрович (1711-1755), путешественник, исследователь Камчатки.
- 23 Рассказы А. П. Чехова.
- 24 Об "огромной правде" образа мужика Тюлина из рассказа "Река играет" Горький говорил также 28 июля 1918 г. на юбилейном заседании, посвященном 65-летию со дня рождения Короленко (Горький М. Полн. собр. соч.: В 25 т. М., 1973. Т. 16. С. 423, 426), и в воспоминаниях о писателе 1922 г. (Там же. С. 241).
- 25 Нат Пинкертон — герой бульварной литературы о детективах, знаменитый американский сыщик. Речь идет о статье Чуковского "Нат Пинкертон и современная литература" (Критические рассказы).
- 26 Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861-1928), писательница. Имеется в виду статья Чуковского "Вербицкая" из книги "Критические рассказы".
- 27 Дымов Осип (наст. имя Осип Исидорович Перельман, 1878-1959), писатель и журналист. В данном случае речь идет о статье Чуковского "Осип Дымов" (От Чехова до наших дней, 3-е изд.).
- 28 Каменский Анатолий Павлович (1876-1941), писатель. Статья Чуковского "Анатолий Каменский" входила в книгу "От Чехова до наших дней", 3-е изд.
- 29 Очерки "Джек Лондон", "Футуристы", "Мы и они" из книги "Лица и маски".
- 30 Рославлев Александр Степанович (1883-1920), поэт, писатель.
- 31 Годин Яков Владимирович (1886-1954), поэт.
- 32 Цензор Дмитрий Михайлович (1877-1947), поэт. Имеется в виду статья Чуковского "Третий сорт" о творчестве Г. Чулкова, А. Рославлева, Е. Тарасова, Я. Година, Д. Цензора, Т. Ардова, Вл. Ленского и др. из книги "От Чехова до наших дней", 3-е изд.
- 33 Белопольский Иосиф Романович (1879-1956), журналист, издатель.

<sup>34</sup> Чарская Лидия Алексеевна (1875-1937), детская писательница. Статьи Чуковского "О детском языке" и "Лидия Чарская" входили в книгу "Лица и маски". Статья "О детском языке" была позже включена в книгу "От двух до пяти" (впервые издана под названием "Маленькие дети". Л., 1928).



## Письмо А. М. Горького Л. Н. Лунцу и письма Лунца к Горькому

Предисловие М. О. Чудаковой; подготовка  
текста и примечания Е. Г. Коляды

Письма к Горькому Льва Натановича Лунца (1901-1924) — одного из двух самых младших “Серапионовых братьев” (см. прим. 1 к письму I) — важны по меньшей мере в двух аспектах. Они на редкость откровенны, а вместе с тем, благодаря высокому авторитету адресата в глазах автора, заставляют пишущего говорить о самом существенном и являются, таким образом, ценным источником для реконструкции фигуры Лунца и, в определенной степени, тогдашнего Горького. Во-вторых, письма относятся к 1922-1923 гг., когда завершился разрыв новой литературы с традицией (направление собственно литературных интенций совпало в тот момент с намерениями официоза — или, точнее, телеологией нового социума), и в то же время еще не стало очевидным роковое обстоятельство (уяснившееся в основном к 1924 году): давление социума не позволит свободно выбрать новые пути. Перед нами, таким образом, драгоценный своей достоверностью отпечаток рубежного литературного момента.

Судьба писем Горького к Лунцу (кроме одного) до сих пор неизвестна. Однако отношение Горького к рано погибшему молодому литератору (помимо ответных писем Лунца и горьковского некролога “Памяти Л. Лунца”) достаточно полно восстанавливается по хорошо сохранившимся горьковским письмам к другим Серапионам — В. А. Каверину, К. А. Федину и особенно к М. Л. Слонимскому<sup>1</sup>. Е. Г. Коляда, много лет упорно разрабатывавшая — в неестественных общих для всех гуманитариев условиях неизбежной редукции — архивное наследие Горького и его современников, сокрытое от большинства исследователей, предполагала одновременно с публикацией писем Лунца публикацию переписки Горького с Слонимским; безвременная смерть оборвала замыслы преданного культуре источниковеда; наша заметка о Лунце написана в немалой степени по оставленным ею наметкам верно очерченного большого публикаторского замысла.

Лев Лунц умер, едва достигнув 23-летнего возраста. Многие его произведения так и не были изданы на его родине вплоть до последних лет, а те, что он успел напечатать в начале 1920-х годов, не переиздавались. Тем не менее его имени суждена была долгая жизнь. Остервенелая (трудно высказаться иначе) официозная полемика с его статьями при жизни; долгие годы забвения; осторожные воспоминания Федина о спорах с Лунцем — спустя почти двадцать лет после его смерти<sup>2</sup>: “Лунцу было двадцать лет. Я никогда не встречал спорщиков, подобных ему, — его испепелял жар спора, можно было задохнуться рядом с ним”<sup>3</sup>. Ностальгия по давно забытым доброкачественным, без угрозы для жизни собеседников литературным спорам в распавшейся вскоре дружеской среде сквозила здесь. И спустя три года в августе 1946 — цитата у Жданова из статьи Лунца 1922 г. (“С кем же мы, Серапионовы братья?.. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь, и, как сама жизнь, оно без цели и без смысла, существует потому, что не может не существовать” — чистый юношеский голос послышался вдруг в зале, где сидели постаревшие собраты; какие смешанные чувства испытывали они, слушая эти знакомые и забытые слова в исполнении нынешнего вершителя их судеб?), сопровождаемая приговором, варьирующим эскапады критиков 20-х годов: “это и есть проповедь гнилого аполитизма, мещанства и пошлости”<sup>4</sup>. Так имя Лунца стало жупелом — оно стало играть ту самую социопсихологическую роль, какую играло с 1966 года и до наших дней имя Абрама Терца (имело свое значение и их этнофоническое сходство); доклад Жданова вошел в программы филологических факультетов (и оставался в них еще в 1988-1990 гг.); Лунца не читали (так как прочесть было негде), но поминали всегда, как только речь заходила о двадцатых годах, — во всех статьях, монографиях, на лекциях, в выступлениях, во “внутренних рецензиях” на историко-литературные работы, относящиеся к этому времени.

Было ли это лишь одной из химер советского периода российской истории, мрачным капризом хозяев? Рискнем утверждать, что в стойкой идиосинкразии официоза к имени Лунца была своя логика. Несомненно, этот юноша обладал талантом попадать в немногих своих художественных и публицистических работах неизменно в самую сердцевину затемненных разнообразными обольщениями и самообольщениями притязаний новой власти, вскрывать подлинную их суть. Сочетание нескольких качеств определило его особую литературную и социальную роль. Воспоминания современников помогают реконструировать это редкое сочетание. “Он был умный мальчик, более всех умный и более всех мальчик”<sup>5</sup>; “Все его любили, да и нельзя было не любить его, до того он был ясен. И весел”<sup>6</sup>; “Не только художники, но и писатели были мало образованы по сравнению с писателями предыдущего поколе-

ния: те знали языки, читали Данте и Шекспира в подлиннике. Символисты отлично разбирались в философии. Все “серапионы” были свободны от этого (кроме Лунца и, может быть, Полонской)<sup>7</sup>; “Он — думает пока лучше других”<sup>8</sup>; “Лунц остроумен, смел и обладает всеми качествами новатора при наличии несомненного дарования”<sup>9</sup>; “...Он был талантлив, умен, был исключительно — для человека его возраста — образован. В нем чувствовалась редкая независимость и смелость мысли <...> независимость была основным, природным качеством его хорошей, честной души, тем огнем, который гаснет лишь тогда, когда сжигает всего человека”<sup>10</sup>.

В письмах Лунца Горькому можно почувствовать — отраженно, — как умилен и захвачен Горький этой редкой уже для тогдашней и особенно последующей российской общественной жизни независимостью духовной жизни личности, *не зависящей* от обстоятельств, с которыми сам он вскоре все более и более стал считаться. За письмами Лунца виден Горький одного из самых свободных периодов своей жизни. И в этом — еще один аспект значения публикуемых текстов.

Детскость — то есть ясность, удаленность от учета привходящих обстоятельств — недюжинного ума и была, видимо, главной причиной того, что рано умерший юноша на десятилетие остался болезненной занозой в коллективной памяти официоза.

Одним из самых точных попаданий была вызвавшая бурю гневных и, конечно, не убедительных (в логическом смысле) откликов статья Лунца “Об идеологии и публицистике”, с ее кандидовски ясной концовкой: “Скажите, наконец, откровенно, что вам нужно только прикладное искусство. Ведь это справедливо. Я подпишусь”<sup>11</sup>. “Нелогичность” официоза, никогда не признававшегося в этом, а, напротив, уверявшего, что ему необходимо подлинное искусство (а то, что ему оказывается ненужным, — тем самым не есть подлинное), не обманил с такой очевидностью больше никто.

Поразительное умение Лунца задевать официоз за живое, попадать в самые уязвимые точки с клинической точностью демонстрирует письмо А. В. Луначарского главе Малого театра А. И. Южину. Лицемерно предупреждая — “не подумайте, что я хочу каким-нибудь образом парализовать решение, принятое Вами или Малым театром”, нарком заявлял: “По-моему, “Вне закона” — драма плохая”, и подробно пояснял далее, почему “наши коммунистические круги, да и сочувствующие нам круги примут ее за явно контрреволюционную”. Луначарский сразу начинал с оценки не пьесы, а автора — опережая время, демонстрируя те способы давления на литературу, которые отчетливо обнаружились только в 1924-1925 гг.: “Присмотритесь, какие тенденции руководят Лунцем”. Луначарский с возмущением пишет о том, что вождь народных масс Алонзо в пьесе “только при прикосновении к трону превращается в тирана, гнусного преступника, изменника

своей идее и т. д. Ведь все это одна сплошная ахинея. Ведь мы имеем перед глазами русскую революцию, которая происходит вот уже шесть лет. Где же эти честолюбцы? Где же эти развращенные властью люди? <...> А вожди? Я не знаю ни одного из ста вождей революции, который не жил бы сейчас в общем скромной жизнью, абсолютно веря прежним идеалам <...> это жизнь в высшей степени чистая, честная и благородная, полная безусловного служения своей идее. Какого же черта, в самом деле, станем мы ставить драмы”, — воскликнул, уже не сдерживаясь, автор письма, забыв свое только что высказанное нежелание “парализовать решение”, принятое театром, — “которые помоями обливают революцию, на наших глазах вышедшую с чрезвычайной честью из всех испытаний огромного переворота? У нас нет никаких Алонзо, и во время Великой французской революции не было никаких Алонзо, и Алонзо есть чистейшая выдумка мелкого, злобного обывателя. Я очень сожалею, что Лунц оказался таковым”<sup>12</sup>.

Несдержанность в оценках здесь знаменательна; Лунц, как обычно, провоцирует своих оппонентов на то, чтоб они выдали себя как можно более полно. Будто забыв все, что он знает об “эстетических отношениях искусства к действительности” (Н. Г. Чернышевский), Луначарский прямым образом умождал от персонажей пьесы — к историческим обстоятельствам *всей* мировой истории, а от авторской точки зрения в пьесе — к “злобному обывателю” Лунцу. Забыв о своих первоначальных оговорках (“не подумайте, что...”), нарком заявлял недвусмысленно: “мой добрый совет вам: этой пьесы не ставить”, и, разобрав “сторону литературную” (будто бы *отдельно* от политической!) резюмировал, что и с этой стороны пьеса “очень плоха”<sup>13</sup>.

Так вновь “марксистская” критика не хотела последовать совету Лунца — сказать “откровенно”, что ей нужно “только прикладное искусство”, и спешила уверить, что пьеса Лунца плоха не только потому, что “контрреволюционна”, но еще и потому, что “плоха”. Неприятие принципиальное неразнимаемо сплеталось с сугубо личным. Автор пьес о революциях и революционерах Луначарский не мог перенести на сцене чужой талантливой пьесы на ту же тему и, не чинясь, ставил ей заслон, прикрываясь двумя аргументами сразу — и контрреволюционность, и нехудожественность (хотя, казалось бы, вполне хватило бы и одного — любого из двух).

В том же году Зямытин высоко оценит в печати эту пьесу, мотивируя успешность работы Лунца как драматурга в противовес беллетристике: “сюжетное напряжение у него обычно так велико, что тонкая оболочка рассказа не выдерживает, и автор берет киносценарий или пьесу. Его драма “Вне закона”, построенная в некоей алгебраической Испании, революцию и современность захватывает, конечно, гораздо глубже, чем любой рассказ или пьеса из революционного быта”<sup>14</sup>.

Спустя два года Р. Якобсон писал отцу Лунца: “Что касается Пиранделло, то он, когда был в Праге, говорил мне, что “Вне закона” — лучшая из новых русских пьес, чрезвычайно сценичная и динамичная, и что он собирается поставить эту пьесу в своем театре в ближайшем будущем”<sup>15</sup>.

Спустя тридцать лет Е. Шварц, вспоминая Лунца, напишет: “Проза его смущала меня, казалась очень уж литературной. Но потом я прочел “Бертрана де Борна” и “Вне закона” и понял, в чем сила этого мальчика”<sup>16</sup>; три года спустя он еще раз вернется к этому: “Рассказы его были суховаты, программно-сюжетны. Но в пьесах был настоящий жар, и сделаны они были из драгоценного материала. Это был рожденный драматург, милостью божией. У него — как чудилось ему и всем нам — огромное будущее”<sup>17</sup>.

С середины 1923 г. литературно-общественная ситуация заметно менялась, печататься становилось все труднее. Печатание не получалось и в Германии — не без связи с ситуацией в Советской России. “Ни мы, ни какое-либо другое издательство в Германии,— писал Лунцу 22 ноября 1923 г. С. Г. Каплун (издательство “Эпоха”), не может взяться за это дело, т.к. фактически печатание русских книг здесь совсем приостановлено”<sup>18</sup>.

Меняющуюся атмосферу с обычной беспощадной отчетливостью описал в том же году Замятин — “...лавровейшие статьи о них (Серапионах — М. Ч.) сменились чуть что ни статьями уголовного кодекса: /.../ они волки “в овечьей шкуре” и у них — “неприятие революции”. Он назвал это “чистейшим сальеризмом”: “писателей, враждебных революции, в России сейчас нет — их выдумали, чтобы не было скучно”<sup>19</sup>.

Замятин и юный Лунц оказались самыми опасными литераторами для победившей в гражданской войне и быстро укоренявшейся новой власти — именно тем, что хорошо думали (напомним слова Замятина о Лунце — “думает... лучше других”) и что при этом избрали предметом своих размышлений революцию как феномен общественной жизни человечества. Лунц, как и все Серапионы, действительно не был “против революции” — он только хотел осмыслить ее последствия — не только сегодняшние, но и завтрашние и послезавтрашние. Это оказалось наиболее нецензурным. Официоз в лице своих пишущих представителей отодвигал “беспартийных” литераторов от тех тем, которые он оставлял исключительно за собой, для стандартизированной разработки.

В вопросе, который ставил Лунц в первом письме,— “правильно ли поступил я, ударившись в литературу”, — отголоски споров, прокатившихся в русской публицистике в конце 1900-х годов после статьи К. Чуковского, настаивавшего на тезисе о художественной непродуктивности евреев, пишущих по-русски<sup>20</sup>; Вл. Жаботинский, включившись в полемику, писал: “В наше спорное время национальность литературного произведения далеко не определяется языком, на котором оно на-

писано <...> решающим моментом является *настроение* автора — для кого он пишет, к кому обращается, чьи духовные запросы имеет в виду, создавая свои произведения”<sup>21</sup>.

Сетуя на то, что его собратья “не хотят работать на почти верную вначале — неудачу”, Лунц стал одним из немногих, кто считал необходимым “писать большие вещи”, не надеясь в первое время на “совершенство”. Его понимание эволюционной роли “неудачи” в промежуточное время на год с лишним опередило мысль и формулировку Ю. Н. Тынянова: “В период промежутка нам ценны вовсе не “удачи” и не “готовые вещи”. <...> Нам нужен выход. “Вещи” же могут быть “неудачны”, важно, что они приближают возможность “удач” (“Промежуток”<sup>22</sup>).

Литературная работа и ясно выраженная в нескольких статьях осознанная литературная позиция Лунца определила один из двух полюсов динамики литературного процесса 20-х годов. Полемическое название его статьи 1922 года “На Запад!” — надолго ставшее жупелом, фиксировало одну из самых энергичных попыток разорвать с той частью русской литературной традиции, которая делала литературу беззащитной перед воздействием “общества”, слившегося в советское время с “властью”.

На следующий год после смерти Лунца В. Шкловский (в статье “Современники и синхронисты”, напечатанной в 1924 г. в № 3 “Русского современника”) кратко очертил его генезис: “Лунц был мальчиком из средней буржуазной семьи. Она дала ему хорошую подготовку в смысле хотя бы знания иностранных языков. Как каждый мальчик, Лунц увлекался Дюма, Стивенсоном, капитаном Мариетом. Каждый мальчик /.../ под давлением традиции отказывается от этой детской литературы и переходит к Тургеневу и Вересаеву. Лунц выбрал — остаться”<sup>23</sup>. Тургенев и Вересаев — знаки непрерывности “общественнической” традиции в русской литературе.

Лунц стремился, с единственной в своем роде последовательностью, разрушить *глубинный слой* связей русской литературы с идеологическими заданиями — и тем обезопасить ее от прямого и давящего воздействия социума. Спор о *фабульности* сложным, но безошибочным построением выводил к гораздо более общей для России проблеме секуляризации искусства: “Ибо в русской литературе правит общественность, общественная критика. А она, по самому существу своему, должна ненавидеть сложную, стройную фабулу. /.../. Наша критика требует отображения действительности, житейских взаимоотношений. Но этого мало. Отображение это должно стать центром, целым всем. Все искусственное — недопустимо. А сложная фабула всегда искусственна, выдумана. Поэтому — вон ее!”<sup>24</sup>.

С большой интуицией Лунц указал, что развитие “советской”, тенденциозной прозы пойдет именно в русле вялофабульной “психологичной” русской романической традиции

(хотя именно в эти ранние двадцатые годы могло казаться, что официоз стремился решительно прервать ее — прервать крупный разговор о бытии, заведенный великими русскими романистами второй половины XIX века и продолженный Андреем Белым; в том-то и дело, что телеология новой власти целила дальше и глубже: разрушая, она уже умело искала опору, рассчитывая укрепиться надолго).

Несколькими месяцами раньше эту же мысль — не менее темпераментно — высказал О. Мандельштам в статье “Литературная Москва” со знаменательным подзаголовком “Рождение фабулы”: “С тех пор, как язва психологического эксперимента проникла в литературное сознание, прозаик стал оператором, проза — клинической катастрофой, на наш вкус весьма неприятной, и тысячу раз я брошу беллетристику с психологией Андреева, Горького, Шмелева, Сергеева-Ценского, Замятина ради великолепного Брет-Гарта в переводе неизвестного студента девяностых годов...”<sup>25</sup> Теоретически Замятин был близок, однако, Мандельштаму и Лунцу: он сочувственно писал, что Каверин, Лунц и Слонимский “от застрявших в быту традиций русской прозы <...> отошли гораздо дальше, чем четверо их товарищей” (Вс. Иванов, Никитин, Зощенко и Федин)<sup>26</sup>.

Полюсом для Лунца и тех Серапионов, которые пошли за ним, был Пильняк. В ту же осень 1922 года, когда борьба за фабулу запечатлелась в статьях Мандельштама и Лунца, М. Слонимский жаловался Горькому: “Пильняк повел линию литературно неправильную <...>. Говорят мне, что сюжет — это чепуха, что главное — язык, как у Ремизова, и мне нет опоры” (см. примечания Е. Коляды).

Острофабульная проза, говорящая о современности, так и не получила сколько-нибудь длительного развития — она была погашена квазипсихологизмом и квазибытом (все более удалявшимся в литературе от реального советского быта). Фабула ушла сначала в приключенческую, в том числе мистификаторски-переводную прозу, а позже — в фантастику. Победила — но только на время, чтобы быть вытесненной позже — и вплоть до 1980-х — “красным Львом Толстым”, проза стилистическая, с минимальной фабулой (от Зощенко до Бабеля). Острофабульные и остроумные новеллы Лунца (“Патриот”, “Жена”) получили слабое продолжение лишь в советской юмористике последующих лет.

Смерть Лунца, как нередко бывает, обозначила конец не только его биографии, но и общей истории Серапионов, совпавший с началом нового периода литературно-общественной истории (см. особенно письмо Ходасевича к Горькому в примечаниях к письму 8).

В настоящей публикации представлены все известные письма Лунца к Горькому, которые печатаются по оригиналам, хранящимся в Архиве А. М. Горького (ИМЛИ). Черно-

ные автографы отдельных писем находятся в Библиотеке Бейнеке (Иельский университет, США). В публикацию вошло также и единственно известное письмо Горького к Лунцу, ранее напечатанное за рубежом.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> См. Лит. наследство. Т. 70. М., 1963.
- <sup>2</sup> Федин К. Горький среди нас. Двадцатые годы. /М/, /1943/, с.103-110, 126; см. также: Федин К. Горький среди нас. Картины литературной жизни. М., 1967.
- <sup>3</sup> Там же, с.108.
- <sup>4</sup> Доклад т. Жданова о журналах "Звезда" и "Ленинград". Сокращенная и обработанная стенограмма докладов т. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде, /М./, 1946, С. 10.
- <sup>5</sup> Шварц Е. Живу беспокойно... Из дневников. Л., 1990, с.287.
- <sup>6</sup> Дневниковая запись Е. Шварца от 16 мая 1956 г. (РГАЛИ, ф. 2215, оп.1, ед.хр.75, л.25; за сообщение благодарю К. Н. Кириленко).
- <sup>7</sup> Шварц Е. Живу беспокойно..., с.309.
- <sup>8</sup> Замятин Е. "Серапионовы братья" (рецензия на сборник)// Литературные записки, 1922, № 1, с.7.
- <sup>9</sup> Горький М. Призвание писателя и русская литература нашего времени. Подготовка текста и примечания Е.Г. Коляды// Горький и его эпоха. Исследования и материалы. Вып. 2, М., 1989, с.13.
- <sup>10</sup> Горький А. М. Памяти Л. Лунца//Беседа, 1924, № 5; цит. по: Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с.106.
- <sup>11</sup> Новости, 1922, № 3; цит. по: Современная русская критика (1918-1924). Л., 1925, с.244.
- <sup>12</sup> Лит. наследство. Т. 82. С. 375-376.
- <sup>13</sup> Там же, с.377.
- <sup>14</sup> Новая русская проза// "Русское искусство", 1923, № 2-3; цит. по: Замятин Е. Сочинения. М., 1988, с.425.
- <sup>15</sup> Архив Л. Лунца в Библиотеке Бейнеке (Иельский университет, США).
- <sup>16</sup> Шварц Е. Живу беспокойно..., с.282.
- <sup>17</sup> РГАЛИ, ф.2215, оп.1, ед.хр.75, лл. 25-25об.; за сообщение благодарю К. Н. Кириленко.
- <sup>18</sup> Архив Л. Лунца в Библиотеке Бейнеке
- <sup>19</sup> Новая русская проза, указ. изд., с.422.
- <sup>20</sup> Рассвет, 1908, № 3, с.8.
- <sup>21</sup> Рассвет, 1908, № 13, с.17; см. об этом: И. Серман. Споры 1908 года о русско-еврейской литературе и послеоктябрьское десятилетие.— *Cahiers du monde russe et soviétique*, XXVI(2), p. 167-174.
- <sup>22</sup> Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с.195.
- <sup>23</sup> Цит. по: Шкловский В. Гамбургский счет. (1914-1933). М., 1990. С. 370.
- <sup>24</sup> Лунц Л. На Запад! Речь на собрании Серапионовых братьев 2-го декабря 1922 г.— Беседа, 1923, № 5.
- <sup>25</sup> Литературная Москва. Рождение фабулы. Цит. по: Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 198-199.
- <sup>26</sup> Замятин Е. Новая русская проза (1923). Цит. по Замятин Е. Сочинения. М., 1988, С. 425,433.



16/VIII 1922.

&lt;Петроград&gt;

Дорогой Алексей Максимович!

Спасибо Вам за Ваше письмо. Я уже давно собирался написать Вам, но все откладывал, думая, что вот-вот сам попаду в Германию. Но отъезд мой подвигается туго, да и ехать мне теперь расхотелось.

Простите, Алексей Максимович, если мое письмо будет состоять из вопросов. Я сейчас — одно сплошное сомнение: весь полон противоречиями и колебаниями. А сомненья эти литературные и — о ужас! — этические! И мне нужно посоветоваться с твердым человеком, которому я верю и которого я уважаю. Таких людей в Петербурге сейчас нет.

Простите же еще раз, что я решаюсь обратиться к Вам.

Первое сомнение (и самое жестокое): правильно ли поступил я, ударившись в литературу? Не то, чтобы я не верил в свои силы: верю я в себя, может быть, слишком смело. Но я — *еврей*. Убежденный, верный, и радуюсь этому. А я — *русский* писатель. Но ведь я русский еврей, и Россия — моя родина, и Россию я люблю больше всех стран. Как примирить это? — Я для себя примирил все, для меня это ясно и чисто, но другие думают иначе. Другие говорят: “не может еврей быть русским писателем”.

Говорят вот по какому поводу. Я не хочу писать так, как пишут 9/10 русских беллетристов и как пишут, в конце концов, и Пильняк и большинство Серапионов<sup>1</sup>. Я не хочу густого, областного языка, мелочного быта, нудной игры словами, пусть цветистой, пусть красивой. Я люблю большую идею и большой, *увлекающий* сюжет, меня тянет к длинным вещам, к трагедии, к роману, непременно сюжетному. А Ремизова, а Белого — не терплю. Западную литературу люблю больше русской. Нужды нет, что пока у меня ничего не выходит. Я за последние полтора года ничего не напечатал, загубил 25 листов, из коих только 2-3 закончены и готовы<sup>2</sup>. Остальное наброски или неудавшиеся повести. Меня это не страшит. На то мне 21 год. Я могу молчать и хочу молчать (если б только не деньги!) еще 10 лет, пот<ому> что верю в себя. Но кругом говорят, что я не русский... Что я люблю сюжет, пот<ому> что я не русский. И что ничего из меня не выйдет.

Вот мой рассказ “В пустыне”. Я был несказанно рад, узнав, что Вам он понравился<sup>3</sup>. У меня написаны еще два “библейских” рассказа, кот<орые> по-моему гораздо лучше “Пустыни”, во всяком случае, интереснее. Но мне их отовсюду возвращают. Говорят — *стилизация*<sup>4</sup>. Ну, как мне объяснить, что это ни в коем случае не стилизация, что иначе, другим языком, нельзя говорить об этом: великом и кровавом?

Если нет современности в узком смысле, если нет русского быта, — значит, стилизация, значит, я не могу быть русским писателем.

Так говорят все. У нас тут царит Иваново-Разумничанье самого дурного тона<sup>5</sup>. Единственная моя поддержка — Серапионы, но ведь и они сами еще мечутся, еще не отстоялись. Я обращаюсь за ответом к Вам — простите.

Другой мучительный для меня вопрос — это отъезд за границу. Ехать мне *надо*. Во-первых, я оставлен при Университете по зап<адным> литературам<sup>6</sup>, и мне нужно продолжать занятия. Во-вторых, я страшно ослабел и препохо живу, а в Германии у меня вся семья<sup>7</sup>. Но ехать я не *хочу*. Дело в том, что я должен перейти для этого в литовское подданство. А это противно. Полгода хлопотал я, чтоб меня выпустили просто, но из-за моего возраста — ничего не выходит. В подданство я могу перейти в любое время. Еще в прошлом году, когда уезжали родители, я не поехал с ними. Противно! И потом трудно будет вернуться. А покинуть Россию навсегда не могу. Вот и мучаюсь. И опять к Вам, Алексей Максимович, обращаюсь за советом. Можно ли жить за границей? И, главное, смею ли я изменить *своей* стране? Может быть, это детские рассуждения, но мне они не дают покоя.

И еще — уже конкретней. Можно ли проехать в романскую страну — Францию, лучше всего Италию или Испанию (языки эти я знаю прилично)? Ведь в Германии мне оставаться для занятий нет смысла. Как там, в “Романии”, русским?

Дорогой Алексей Максимович! Я долго боялся обращаться к Вам с этими странными бестолковыми вопросами. Я мало виделся с Вами, но я Вас горячо люблю и уважаю. Только поэтому и пишу.

Ваш

Лев Луц

Петроград, Мойка 59, “Дом Искусств”.

2

<22 сентября 1922 г. Петроград>

Дорогой Алексей Максимович!

Я был бесконечно тронут, получив Ваше письмо, такое трогательное и теплое. Оно принесло мне полное успокоение и доставило мне долгую и большую радость. Спасибо!

Жадно прочел я Ваши строки о Европе, особенно, об Испании<sup>1</sup>. С новой силой загорелось во мне желание уехать. Но — увы! — это, кажется, невозможно. Меня не выпускают отсюда из-за моего возраста. На будущей неделе я еду в Москву и пушу в ход все мои связи<sup>2</sup>. Авось, удастся. Тогда

мы скоро увидимся. Во всяком случае, я немедленно по возвращении напишу Вам.

У меня большая радость. Я кончил, наконец, после девятемсячной работы свою новую трагедию<sup>3</sup>. По общему мнению, она лучше, чем "Вне Закона"<sup>4</sup>. Я доволен ею, но все же считаю, что первая была острее<sup>5</sup>. Эта, правда, грамотнее, законченнее, но нет в ней дикого (может быть, бестолкового) напора. И она насквозь романтична. Тема, давно меня занимавшая: борьба человека, героя — с временем, с историческим процессом, и гибель этого человека. Главнейшая трудность, которую я пытался преодолеть: героя постигает кара сильнее смерти; он гибнет, но гибель его не в смерти, — а как раз в том, что он остается жив. Впрочем, так, "своими словами", трудно передать содержание. Если не удастся самому привезти, непременно пошлю Вам пьесу по почте. На напечатанье здесь не надеюсь: все хвалят мои пьесы, и никто не печатает.

Но довольно обо мне. Сегодняшнее свое письмо я хотел посвятить "Серапионовым братьям". Не знаю: может быть, рано говорить это, может быть, говорили это все и всегда, но мне кажется, что наше братство не простой кружок, каких было сотни. Прошедший год доказал мне это. Когда-то Виктор<sup>6</sup> сказал: "когда разводят мост, люди собираются на берегу и ждут. Так собрались "Серап<ионовы> Братья". Это неверно. Мост навешен, — печать работает, мы перешли мост — мы печатаемся, но мы не распались. Больше того: никогда мы не были так спаяны до НЭПа. С каждым днем все неразрывнее чувствую я (и так все) связь свою с каждым "братом". А ведь мы с каждым днем в то же время становимся все более непохожими друг на друга. Не во всех верю я, не всех признаю (как писателей, конечно), но знаю, что писать не могу без них, без любого из них! Точно, действительно, это мои братья по крови.

Усиленно втирается к нам Пильняк. Многие из нас любят его и считают Серапионцем. Мне это больно. Я не выношу его, как человека, и не люблю, как писателя. А он оказывает на наших ребят большое влияние. Федин, особ<енно> Никитин, даже Иванов не избежали этого<sup>7</sup>. Жаль, потому что Пильняк, хоть и большой талант, но дешев и неоригинален. Его "Голый Год"<sup>8</sup> — голый быт, совершенно неоформленный, только завитый à la Белый<sup>9</sup>.

Что касается Ваших опасений насчет "Веретена", то для нас это явилось совершенной новостью. Мы ничего не имели от Дроздовской компании, и иметь с ним дела и впредь не желаем<sup>10</sup>.

Жму Вашу руку

Лев Луц

22/IX. Петроград. Мойка 59  
"Дом Искусств"

Петербург. 9 ноября 1922.

Дорогой Алексей Максимович!

Прочел Ваше письмо с радостью. Конечно же, Вы не поверили минутному сомнению Миши Слонимского!<sup>1</sup> Пильняку нас не разломать: руки коротки. Да и вряд ли кому это сейчас удастся. За последние полтора месяца это подтвердилось. Мы, Серапионы, сходимся с каждым днем все крепче и глубже.

Единственный, кто на отлете все время, — это Всеволод. Он все-таки нам чужой. Разумеется, он ближе нам всех других писателей ли, людей ли, он добрый редкий товарищ, но он *не брат*, он может отпасть, а ведь никто другой из нас отпасть *не может*. Был момент, когда казалось, что вот-вот он сцепится с нами по настоящему, по нутряному. Но здесь ударила эта проклятая публицистика, кот<орая> подняла вокруг Всеволода свистопляску и вскружила ему голову<sup>2</sup>. Результаты самые губительные. Всеволод начал писать слабее, теряет часто свой голос, впадает в скучную, осторожную тенденцию. У нас “на Серапионах” он уж почти год ничего не читал: знает, что мы его ругнем. Мало того: он было вздумал, под влиянием каких-то своих левых друзей, и вообще бросить “половинчатых” и “подозрительных” Серапионов. Около месяца он не бывал у нас на собраниях. Но на прошлой неделе он, наконец, опомнился и теперь снова полон, к общему восторгу, самого пышного Серапионовского патриотизма. Алексей Максимович! Напишите ему непременно и обложите его хорошенько. Ведь сколько в этом парне сил — даже в уме прикинуть невозможно. (Вы читали в “Накануне” его “Рассказ о себе”? Как хорошо!)<sup>3</sup>.

Теперь о другой нашей беде, о нашем “enfant terrible”\* — Никитине. Этот уж другого рода. Это Серапион насквозь, он уйти от нас не может. Но он — добрейший и милейший мальчик — тряпка несусветная, слаб, без всякой воли и падок до успеха. Все лето он был в разъездах и из-под Серапионовского влиянья ушел. Отсюда — то письмо в “Нак<ануне>”<sup>4</sup>, так справедливо Вас рассердившее, и др. фортели в этом роде. Особенно дурное влияние на него, как на писателя, оказал Бор. Пильняк, которому Никитин подражает нынче во всем. Впрочем, за последнее время мы его постепенно начали обучать уму-разуму. Но тут еще как раз у бедного несчастная и трагическая любовь. Совсем сбился с толку малый. Ну, да за него мне не страшно: образумится.

Кстати, о Пильняке. Я, будучи в Москве, поближе познакомился с ним и несколько переменял о нем свое мнение. Он человек не такой плохой. Просто хам и дурной *товарищ*. Но

\* ужасный ребенок (франц.)

нежный семьянин и веселый, услужливый *приятель*! Писательскую манеру по-прежнему считаю вредной.

Милый Алексей Максимович! Вы уж простите меня за то, что я сегодня все о Серапионах говорю. А у меня они, не шутя, сейчас три четверти жизни моей занимают. И мне очень хочется поговорить о них (так хочется говорить — всегда, со всеми, всюду, — о любимой) с человеком, которому они — знаю — дороги.

Меня очень беспокоит бум, который поднят вокруг нас в России и за границей<sup>5</sup>. Стоит ли игра свеч? Вообще, пока (надеюсь) мы еще очень и очень спорные величины. Я говорю это без всякого ложного кокетства. Но уж, во всяком случае, над скуднейшим печатным материалом орать нечего. Конечно, мы к шумихе не прислушиваемся, но все-таки мы народ молодой, и слава щекочет. А ведь вот придет минута и начнут кричать о “раздутых величинах” и “неоправданных надеждах”...

Зильбер Ваше письмо получил и растроган до слез<sup>6</sup>. Его такими отзывами не балуют. Но он, наверное, Вам сам ответил.

Жаль, что Вы не успели познакомиться с Ник. Тихоновым<sup>7</sup>. Это неоценимый интереснейший человек, а стихи его я считаю событием в нашей поэзии. Совершенно необыкновенный напор, пафос, сила!

Несколько слов о себе в заключение. Мои отчаянные хлопоты о выезде за границу увенчались — отказом. То есть, не отказом вернее, а канцелярской волокитой в Москве. Т<аким> о<бразом>, я зимую тут. Это плохо, пот<ому> что я болен (и сейчас пишу в бронхите) и живу в отвратительных условиях<sup>8</sup>. А в Германии у меня вся семья. Ну, хныкать не стоит...

Дорогой Алексей Максимович! Я на днях высылаю Эренбургу обе мои трагедии для отдельной книжки. Если ему не подойдут, он Вам передаст их. Надеюсь, Вы не рассердитесь и поможете пристроить их где-нибудь в Берлине<sup>9</sup>.

Жму Вашу руку

*Лев Луц*

P.S. Простите за помарки и неразборчивость: я пишу в постели.

<Приписка М. С. Слонимского>.

Милый Алексей Максимович, письмо Ваше получил<sup>10</sup>. Спасибо. Теперь с Серапионами все не так страшно. Собираемся у Федина. Держимся крепко. Обстоятельства этому помогают. Писал Вам с Ив<аном> Павл<овичем><sup>11</sup>. С ним же отправил книжки.

Всего хорошего.

Ваш

*М. Слонимский*

Привет от В. Шкловской-Корди<sup>12</sup>.

Петербург. 16/XII 1922г.

Дорогой Алексей Максимович!

Раньше всего, чтобы не забыть, — о рукописях. Я выслал обе свои пьесы на этот раз Вите. Ему же написал, чтобы он дал “Бертрана” Вам. Очень рад буду прочесть Ваше мнение<sup>1</sup>.

Теперь о моих “мнениях и сомнениях”. Странное дело! Я очень не люблю *писать в письмах* о литературных своих замыслах и рассуждениях (*говорить* люблю до тошноты). Вы — единственный человек, которому я пишу об этом. Вы уж меня простите.

Я на днях прочел у Серапионов большую статью — “На Запад!” Пря произошла потрясающая. Едва не побили меня. Это было, кажется, наше самое интересное заседание. Я проводил в своей статье ту мысль, что русская проза сейчас очень *скучна*. Все владеют языком, образом, стилистическими ужимками, — и щеголяют этим. Но это только доспехи. Главное же, что необходимо сейчас, — это *занимательность и идея*, особенно первая. То и другое дается только при большой и хорошо развитой *фабуле*. Я считаю, что разрушение русского романа произошло вовсе не потому, что “сейчас роман невозможен”, а потому, что все слишком хорошо владеют стилистическими мелочами и под ними тонет действие, если оно и имеется вообще (так у Всеволода). “Голый год” Пильняка, по-моему, очень характерное и возмутительное явление. Это не роман, а свод матерьялов. Фабула требует долгой учебы, многих опытов и эскизов. А все, в том числе и большинство Серапионов, не хотят работать на почти верную — вначале — неудачу — и движутся по линии наименьшего сопротивления. Поэтому я зову братьев учиться фабуле у русских романистов, но еще настойчивее призываю на Запад, где традиция романа сильнее и связанней. По-моему, голая лирика, голые словечки, короткие анекдоты надоели. Надо писать большие вещи, хотя бы не такие совершенные. Совершенство придет после тяжелой работы.

Меня здорово “облаяли”, особенно за “западничество”. Но я держусь за него крепко<sup>2</sup>. Полагаю, что русское скифство<sup>3</sup> — идеология провинциалов, которые плюют на столицу и гордятся своим провинциализмом. Гордиться нечем.

Прочел я “Хождение по мукам” Толстого<sup>4</sup>. Очень понравилось. Вот тоже доказательство того, что роман не умер. Интересно знать, хорош ли его роман о марсианах<sup>5</sup>?

Книжка Зощенко Вам высылалась неоднократно<sup>6</sup>. Не везет ей. Зощенко прямо в отчаянии.

Зильбер — единственный, со мной со всем согласный<sup>7</sup>. И он работает над действием. Пока выходит тоже не первый сорт. Но это *пока!* Ему — 20 лет.

Я все болею и слабею. Совсем развалился. На днях я еду в санаторию. К весне упорно надеюсь выбраться за границу.  
Жму Вашу руку.

*Лев Луц*

5

*<24 января 1923 г. Петроград>*

Дорогой Алексей Максимович!

Я целый месяц прожил в санатории в Царском Селе и только вчера вернулся. Сразу прочел оба Ваши письма. Спасибо Вам большое за похвалу, верней, за поддержку. Нечего и говорить, что я согласен на печатанье в Вашем журнале, тем более, что здесь меня не печатают. Если можно, очень прошу раньше напечатать "Вне закона"<sup>1</sup>. Я все-таки считаю, что эта пьеса лучше и интересней, хотя "Бертран" и написан чище.

Федин пишет сейчас большую повесть (называет ее роман — неверно)<sup>2</sup>. Судя по прочитанным отрывкам, это будет превосходная вещь. В Федина я очень верю. Он пишет дольше нас всех, медленней всех, но работает верно и твердо. С каждой новинкой — шаг вперед. Особенно люблю его спокойный язык без вывертов, хотя в общем, конечно, его манера письма мне чужда.

Иванов пишет как Бальзак, много, но — увы! — все хуже<sup>3</sup>. Боюсь за него. Мутят его газеты и разные Львовы-Рогачевские<sup>4</sup>. Кстати за последние два месяца на Серапионов ведется отчаянная травля в Питерских листках<sup>5</sup>. Сперва раздули без оснований, а теперь хоронят. Ну, да это к добру.

Я пишу сейчас большую повесть. Авантюрную, но современную<sup>6</sup>. Боюсь, что ничего не выйдет. Не беда: не эта, так другая. А работать над сложным сюжетом самому интересно. Трудней всего мне дается — человек. Ужасно трудно оживить фигуру, чтоб не получился деревянный манекен, делающий то-то по заданию.

Кланяйтесь Ходасевичу и Виктору<sup>7</sup>. С нетерпением жду Ваших писем.

24/I 1923

*Лев Луц*

6

*<26 февраля 1923 г. Петроград>*

Ваше письмо, дорогой Алексей Максимович, несколько не огорчило и не изумило меня. Дело в том, что мнение Ходасевича я знал вперед<sup>1</sup>. Ходасевича я высоко ценю и чрезвычай-

но уважаю его суждения. Он, может быть, лучший сейчас ценитель стихов.

Но ведь все это сплошное недоразумение! Бертран-де-Борн *не написан стихами*! Об этом я говорил в предисловии и не устаю повторять это всюду. Спору нет, что, с точки зрения стиха, Б.—де-Б. отвратителен (я не унижаюсь). Я стихов писать, вообще, не умею, двух строк скомпоновать не могу. Но ведь *пьеса*, театральная, не пишется ни стихами, ни прозой! Вся беда *писателей* в том, что они *литературно* подходят к сценическому языку, подчиненному совсем другим законам. У меня в пьесе — сценич<еская>речь, местами ритмическая. Когда я писал ее, я все время подставлял себя на место актера. Ведь, если даже пьеса написана самыми гениальными *стихами*, актер всегда ломает стих по-своему, “портит” его. И он прав. Знаменитый спор между “актерским” и “поэтическим” чтением стихов разрешается, по-моему, очень просто. Лирические стихи, стихи как таковые, читать должно “поэтически”. Но на сцене, вообще, стихов не может быть. Там царит сценическая речь.

Я совсем не хочу сказать, что мой “Б.—де-Б.” хорошо написан. Но нельзя подходить к театр<альной> пьесе литературно. Если Ходасевич, как Вы пишете, сказал, что пьеса хороша театрально, но написана плохим стихом,— то это для меня наибольшая похвала.

Между прочим, многие *поэты* говорили мне то же, что Ходасевич. Но никогда я не слышал этих укоров *от актеров* или от простых *слушателей* — *зрителей*. Те находили в пьесе другие, значительно более существенные недостатки.

Я бы очень просил Вас показать это письмо Владиславу Фелициановичу. Мне очень интересно будет узнать его возраженья<sup>2</sup>.

Известие о скором выходе “Беседы” меня очень обрадовало. Между прочим, я слышал, что “Беседа” пойдет в Россию<sup>3</sup>... Я бы очень хотел узнать об этом наверное, потому что мы, Серапионы, составляем сейчас альманах, и я не знаю, могу ли я печатать там “Вне Закона”. Очень хотелось бы в Серапионовском альманахе<sup>4</sup>.

Я сейчас все больше увлекаюсь театром. Работаю в двух театрах<sup>5</sup>, изучаю сцену “не спереди, а сзади”. Это самое важное. Другое мое очередное увлечение: “кинематограф”. Сюда навезли массу заграничных фильм, и я утопаю в блаженстве. Вот где — динамическое искусство!

Серапионов травят газеты почем зря. Но мы, конечно, не отвечаем. Всеволод<sup>6</sup>, который совсем-было откалывался от нас, снова рьяно интересуется общим делом. Вот только Миша Слон<имский> хандрит и нервничает. Ему надо отдохнуть.

Превосходно записал Зошенко. Его последние вещи — лучшее, что было у Серапионов<sup>7</sup>. Тонкий писатель. Чудесный юморист.



Прочел я Ваши "Автобиографические рассказы" в "Красной Нови"<sup>8</sup>. В чрезвычайном восторге. Никогда не забуду уже ни одного самого маленького человечка оттуда... Впрочем тысячу раз извините, дорогой Алексей Максимович, не мне, конечно, "хвалить" Вас...

Снова хлопочу об отъезде за границу. Появляются какие-то новые возможности. Быть может, в мае увидимся.

Жму Вашу руку

Лев Лунц

26/II 1923 г.

7

Берлин. 18/VI

<1923 г.>

Дорогой Алексей Максимович!

Я, наконец, приехал после долгих мучений<sup>1</sup>. Нечего и говорить, что раньше всего я стремился увидеть Вас. Мы уж решили с Влад<иславом> Фел<ициановичем> ехать в Шварцвальд<sup>2</sup>, но тут со мной стряслась беда.

Дело в том, что всю эту зиму я болел. Оказывается, у меня что-то страшное с сердцем (эндекардит).

Надо ложиться немедленно в санаторию в *постель*!

А между тем мне отчаянно хочется повидаться с Вами — столько рассказов и нежных поклонов! (Ходасевичей я кормлю этим добром целый день). Поэтому у меня к Вам большая просьба. Если это Вас не затруднит, напишите мне адрес покойной и *очень* хорошей санатории около Фрейбурга. Только бы был хороший уход и отменный стол. Это, кажется, единственная возможность свидеться с Вами. Простите за беспокойство, но я был бы Вам очень благодарен, если б Вы сообщили мне приблизительную цену в санатории<sup>3</sup>.

Я разучился писать письма. Пока я был в России, писалось хорошо, но здесь, вблизи, хочется *говорить*! Извините за глупое письмо.

Немцы — чудесный народ. Напрасно их здешние русские ругают. А Берлин, действительно, препротивный. Зато Гамбург и маленькие города!..

Живу я в Гамбурге у отца. В Берлин заехал на два дня, ради Виктора и Ходасевичей.

Мой адрес:

Hamburg. Isestrasse 88.

Herrn Leo Lunz

(bei Wolf)

Жму Вашу руку

Лев Лунц

<26 июня 1923 г. Гамбург>

Дорогой Алексей Максимович!

Пишу Вам, лежа в постели. Температура сильно поднялась и какие-то боли. Все, будто бы, из-за сердца. Послезавтра выезжаю в санаторию, но — увы! — не во Фрейбург.

Профессора посылают меня в *специальную* санаторию в Кенигштейн около Франкфурта. Я ужасно хотел заехать сперва к Вам (близко от Фрейбурга), но и это мне запретили. Во всяком случае, я чрезвычайно благодарен Вам и Марье Игнатьевне<sup>1</sup> за ваши хлопоты.

Пролежу я не меньше 4 недель, так что до августа заехать к Вам не смогу. Это самое горькое мое разочарование здесь.

А немцы мне очень нравятся. Чудесный народ, смешной. Я все не могу решить: писать Вам то, что хотел рассказать, или отложить до свиданья. Писать гораздо труднее, да и выйдет хуже, а поговорить надо, о Серапионах главным образом. Ваши советы и воздействие (на некоторых) необходимы. Много радостного, но много и плохого я рассказывал уже Ходасевичу<sup>2</sup>.

Кстати, Никитин сейчас в Берлине. "Гастролирует"<sup>3</sup>.

У меня масса литературных планов. Не знаю, как выйдет в санатории. В первую голову огромный киносценарий. "С философией"<sup>4</sup>.

Привет и благодарность Марии Игнатьевне<sup>5</sup>.

Если захотите написать мне, адресуйте пока в Гамбург. (Isestrasse 88, bei Wolf). Оттуда перешлю.

С уважением

*Лев Луц*

26/VI 1923 г. Hamburg

Königstein im Taunus, Sanatorium Dr.  
Kohnstamm.

5/VIII 1923

Дорогой Алексей Максимович!

Не писал Вам так долго, потому что чувствовал себя очень плохо. Теперь, кажется, выздоравливаю. Недели через две думаю выписаться из санатории. Исправилось и настроение: я снова ободрился и повеселел, а то было совсем приуныл.

Твердо надеюсь с Вами все же повидаться до моего отъезда из Германии. На Испанию и Францию надежды плохи, так что скорей всего в октябре я вернусь в Петербург.

Оттуда мне пишут мало: большинство "братьев" разъехалось на лето. Федин просит узнать у Вас, получили ли Вы его книгу<sup>1</sup>?

С Ходасевичами я в переписке<sup>2</sup>. Последние стихи Влад. Фел. меня уж просто ужасают: настолько они хороши<sup>3</sup>! Что ж будет дальше, если он и впредь станет писать все лучше и лучше?

Простите, Алексей Максимович, но писать о серьезном не могу. Я так разгневался и поглупел за эти шесть недель, что не только писать — читать разлюбил. Лежу на солнце и ем — целый день.

Все ж написал большой сценарий. Не знаю, удастся ли пристроить: он очень труден технически для съемки.

Желаю Вам всего доброго,  
до скорого свидания

*Лев Лунц*

## 10. ГОРЬКИЙ — ЛУНЦУ

*<20 декабря 1923 г. Мариенбад>*

Дорогой мой Лунц!

Показала мне Н. Н. Ваше письмо, и я очень огорчен настроением Вашим<sup>1</sup>. В чем дело? Нет ли в болезни Вашей влияния, задерживающего борьбу с нею, нет ли самогипноза? Именно эту мысль вызвало у меня Ваше унылое письмо. Одним из наиболее действительных средств победить болезнь служит желание выздороветь, — я говорю серьезно. Нельзя отрицать значения воли в борьбе организма против болезни, это скажет Вам любой доктор.

Мне очень грустно знать, что Ваше здоровье не в порядке. Я так рад был, что Вы перебрались за границу, был уверен, что здесь Вы начнете много и хорошо работать, напишете превосходные вещи. И — вот Вы написали это тяжелое письмо, удивительно не похожее на человека, каким я Вас привык видеть.

Впрочем — в письме есть строчка, которая говорит, что Вы что-то написали, — пьесу<sup>2</sup>? Не пришлете ли посмотреть? Буду очень рад.

А теперь — позвольте сердечно пожелать Вам здоровья и бодрости духа. Берберова торопит, надо послать письмо сегодня же.

Всего доброго!

*А. Пешков*

20.XII.23

Hamburg, Больница, 28/XII

&lt;1923 г.&gt;

Дорогой Алексей Максимович!

Спасибо Вам за Ваше письмо, оно меня ободрило. В последние дни мне немного лучше, улучшается и настроение. Вообще же я, действительно, приуныл: уже свыше 6 месяцев в постели. Но раздражает меня не это, а то, что болезнь не движется. Я впервые болею хроническим недугом, и терпение мое истощается. А лечить меня нельзя: покой, только покой!

Если б я был немного старше или моложе! А то гибнет самое лучшее время в жизни. У меня столько планов, и все плесневеют под одеялом. Писать в постели я не умею, да к тому <же> работать серьезно мне не рекомендуется. Правда, я в октябре написал пьесу, но ею не доволен: погубил хорошо задуманную вещь. Я ее все правлю. Недели через две "решу" и пошлю ее Вам<sup>1</sup>.

А, в общем, все не так страшно: я не разучился еще смеяться.

Главная моя отрада — письма из Петербурга. Серапионы хорошо работают, особенно Федин и Зильбер<sup>2</sup>. Никитина отбила от нас Москва, он пишет прескверные фельетоны в "Правде" и ведет себя по-пильняковски<sup>3</sup>. Жалко его: ему же будет хуже.

Еще раз спасибо, Алексей Максимович, за письмо. До скорого (верю!) свиданья.

Лев Лунц

## ПРИМЕЧАНИЯ

## 1

Черновик письма частично опублик.: Letters from Lev Lunts. Introduction and Notes by Wolfgang Schriek //Russian Literature Triquarterly. Ann Arbor, 1978, № 15. С. 344.

<sup>1</sup> "Серапионовы братья" — литературная группа, объединившая в 1921 г. молодых литераторов. В нее входили прозаики: М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин, Л. Лунц, Н. Никитин, М. Слонимский, Конст. Федин; поэты: Вл. Познер, Елизавета Полонская, Ник. Тихонов; критик Илья Груздев.

Первое собрание группы состоялось 1 февраля 1921 г. в Петроградском "Доме искусств".

В "Летописи Дома Литераторов" № 1 (1921 г.) сообщалось: "Братство объединяет не какое-либо определенное литературное течение или школа, а скорее стремление синтезировать существовавшие до сих пор течения, отыскание форм, способных отразить и передать новому читателю все своеобразие современности, — главной темы большинства произведений "Серапионовых братьев" (С. 7).

Горький принимал самое близкое участие в судьбах литераторов — членов группы (см. его переписку с М. Зощенко, В. Кавериним, М. Слонимским, Конст. Фединим в кн.: Лит. наследство. Т. 70. М., 1963; пере-

писку с Вс.Ивановым — в кн.: Иванов Вс. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. М., 1969).

- Первое коллективное выступление “Серапионовых братьев” — “Ответ “Серапионовых братьев” Сергею Городецкому” (“Жизнь искусства”, 1922, № 13, 28 марта); второе — “Серапионовы братья о себе” (автобиографии членов группы и статья Льва Лунца “Почему мы Серапионовы Братья”) // Литературные записки, 1922, № 3, 1 августа.
- <sup>2</sup> Остались ненапечатанными рассказы Л. Лунца: “Бунт” (был включен Горьким в состав так и неосуществленного альманаха “Серапионовых братьев” — “1921”. См.: Лит. наследство. Т. 70. С. 376) и “Врата райские” (отмеченный премией в мае 1921 на конкурсе в Доме Литераторов. См.: Вестник Литературы, 1921, № 4-5. С. 24). В 1922 г. в журнале “Россия” появился сатирический рассказ Лунца в разделе “Гримасы революции” — “Исходящая № 37. Дневник Заведующего Канцелярией” (1922. № 1). Были напечатаны небольшие рассказы “В вагоне” и “Верная жена” (журн. Мухомор, 1922, № 9 и 10).
- <sup>3</sup> Рассказ Лунца “В пустыне” напечатан в кн.: Серапионовы братья. Альманах первый. Пг., Алконост, 1922. В дополненном виде этот альманах вышел в издательстве “Русское творчество” (Берлин. 1922). Вероятно, оценка рассказа содержалась в письме Горького, на которое отвечает Лунц. В письме Слонимскому от 19 августа 1922 г. (имея в виду зарубежное издание альманаха) Горький писал о рассказе Лунца: “На днях достал и прочитал “Серапионовы братья” — альманах. Очень хорош Зоценко, как всегда интересен Зильбер <В. Каверин> — оригинальнейший писатель, сильно написал Лунц, — излишне хвалить Иванова. Сила какая!” (Лит. наследство. Т. 70. С. 378).
- <sup>4</sup> Горький в ст. “Группа “Серапионовы братья” тоже назвал рассказ “В пустыне” стилизованным (Лит. наследство. Т. 70. С. 562).
- <sup>5</sup> Иванов-Разумник (псевдоним Разумника Васильевича Иванова, 1878-1946), историк общественной мысли, критик, публицист, автор ряда статей неонароднической ориентации. (См., например, статью “Поэты и революция” (о Н. Клюеве, С. Есенине, П. Орешине) в кн.: Скифы. Сб. 2. СПб., 1918.)
- <sup>6</sup> Лунц окончил петроградский университет в январе 1922 г., был оставлен для научной работы при кафедре западно-европейских литератур.
- <sup>7</sup> Родители Лунца уехали из России летом 1921 г. Жили в Гамбурге.

## 2

Год устанавливается по содержанию.

- <sup>1</sup> 22 сентября 1922 г. Лунц писал родителям: “Горький прислал мне нежнейшее и длиннейшее письмо: он едет в Испанию и зовет меня, обещает устроить” (Russian Literature Triquarterly, № 15. С. 349). О возможной поездке в Испанию Горький писал и М. Слонимскому 10 сентября 1922 г.: “...должен буду ехать на зиму в теплые края, кажется — в Испанию” (Лит. наследство. Т. 70. С. 382).
- <sup>2</sup> В упоминавшемся письме родителям Лунц сообщал, что делает “последнюю попытку” получить разрешение на выезд за границу: “В Москве у меня большие связи (Каменев и др.). Мне пишут друзья, что, несмотря на мой возраст, мне выдадут иностранный паспорт” (Russian Literature Triquarterly, № 15. С. 350).
- <sup>3</sup> В журнале “Новая русская книга” (Берлин, 1922, № 9) в разделе “Писатели” было помещено сообщение: “Лев Лунц, “серапионец”, закончил трагедию “Бертран-де-Борн””. С подзаголовком “Трагедия в 5 действиях” напечатана в кн.: Город. Сборник первый, Пб., 1923.
- <sup>4</sup> Пьесу “Вне закона” Горький предполагал напечатать в альманахе “1921” (Лит. наследство. Т. 70. С. 376). Затем эта пьеса была рекомендована им

редактору журнала "Красная Новь" А. К. Воронскому, который отверг ее как драму "с явным анархическим настроением и с индивидуалистическим духом" (Встречи и беседы с Максимом Горьким. АГ. МоГ 2-54-1, с.10).

<sup>5</sup> См. письмо 6, прим. 5.

<sup>6</sup> Виктор Борисович Шкловский (1893-1984) близко стоял к "Серапионовым братьям", участвовал в их публичных вечерах в "Доме искусств".

<sup>7</sup> 18 августа 1922 г. Борис Пильняк из Москвы сообщал Горькому: "Третьего дня были здесь Вс.Иванов, Федин, Слонимский, Лунц,— с Урала приехал Ник. Никитин,— ходили табунком, устраивали издательство, говорили о Вас..." (Письма Бориса Пильняка к М. Горькому. Публикация Н. Н. Примочкиной //Русская литература, 1991, № 1. С. 187).

<sup>8</sup> Отрывки из романа Б. Пильняка "Голый год" были напечатаны в журн.: "Дом искусств" (1921, № 2) и "Красная Новь" (1922, № 1). Отдельное издание: Пильняк Б. Голый Год. Пб.— Берлин. Изд-во З. Гржебина, 1922. (Книга вышла в свет в октябре-декабре 1922 г.)

<sup>9</sup> Ср. письмо Горького Б. А. Пильняку от 10 сентября 1922 г.: "О зависимости вашей от Белого я говорил вам и в Москве еще" (Лит. наследство. Т. 70. С. 311).

О. Мандельштам в статье "Литературная Москва. Рождение фабулы" (Россия. 1922. № 3, октябрь) писал: "Русская проза тронется вперед, когда появится первый прозаик, независимый от Андрея Белого <...> Неужели его ученики, серапионовы братья и Пильняк, возвращаются обратно в лоно беллетристики, замыкая таким образом круг вращений, и теперь остается только ждать возобновленья сборников "Знания", где психология и быт возобновят свой старый роман, роман каторжника с тачкой?" (цит. по кн. Мандельштам Осип. Соч. в 2-х томах. М., 1990. Т. 2. С. 280).

<sup>10</sup> Александр Михайлович Дроздов (1895-1963), писатель. В то время он находился в Берлине, в эмиграции. Весной 1922 г. основал содружество писателей "Веретено", издававшее "вестник критической мысли и сатиры" "Веретеныш" (1922, № 1,2,3) и "Литературно-художественный альманах" "Веретено" (1922, № 1).

Членами московского филиала содружества были: Н. Ашукин, Е. Зогуля, Ю. Слезкин, Б. Пильняк, А. Яковлев, Ю. Соболев, А. Соболев, Д. Стонов и В. Лидин. (подробнее см.: Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921-1923. Paris. YMCA — PRESS, 1983. С. 80-94). См. также: Толстой Ив. "Веретено" //Звезда, 1991, № 11. С. 206-207.

М. Слонимский сообщал Горькому во второй половине октября 1922 г.: "В "Веретеныш" не пойдём. Дроздова не уважаем" (Лит. наследство. Т. 70. С. 384. Текст дополнен по автографу. АГ. КГ-п 72-3-4). Об отношении Лунца к эмигрантской литературе см.: Чуковский Николай. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 68-69.

### 3

На первой странице письма помета Горького красным карандашом — Л. Лунц.

<sup>1</sup> М. Слонимский писал Горькому (1922, октябрь, после 20): "Дорогой Алексей Максимович, пишу грустное письмо, ибо не могу: устал и хочу выговориться. Нахожусь в сильном сомнении. Расшатался. Дело в том, что пошатнулось, благодаря Пильняку, серапионовское дело. Пильняк повел линию литературно неправильную, подчинил Никитина и внес разлад.

Я закатил Никитину и Пильняку невероятный скандал. В лицо говорил самые грубые слова. Был поддержан Серапионами (милыми Зошенок, Левои, Тихоновым, Зильбером), но осадок остался <...> Сер<апионовых> Братьев Пильняка, а за ним Никитин, считает торговой фирмой

<...>. Брань Пильняка действует на нервы <...> Говорят мне, что сюжет — это чепуха, что главное — язык, как у Ремизова, и мне нет опоры: Вы и Виктор за границей <...>. Не подумайте, что Никитин совершил что-нибудь нетоварищеское. Нет. Он прекрасный товарищ, но он по писаниям своим больше не Серапион. В последних своих вещах он пишет под Пильняка" (АГ КГ-п 72-3-6).

<sup>2</sup> Начиная с повести Всев. Иванова "Партизаны", напечатанной в журнале "Красная Новь" (1921, № 1) по рекомендации Горького, произведения Иванова "Бронепоезд 14-69", "Голубые пески", "Полая Арапия" и др. оценивались критикой, и прежде всего А. К. Воронским, более, чем благожелательно (см. его статьи: "Всеволод Иванов" (из цикла "Литературные силуэты") //Красная Новь, 1922, № 5; "Литературные отклики". Там же, 1922, № 2; рецензию на альманах "Серапионовы братья". Там же, 1922, № 3). 22 марта 1922 г. Воронский писал Вс. Иванову: "Бронепоезд" расценивается среди коммунистов очень высоко. Скоро появится ряд рецензий. В восторге Сталин и прочая именитая публика" (Лит. наследство. Т. 93., С. 559). Об отношении Сталина и Вс. Иванова см.: Иванов Вяч. Вс. Почему Сталин убил Горького? //Вопросы литературы, 1993, вып.1. С. 107, 128-129.

<sup>3</sup> Иванов Всев. Рассказ о себе //Литературное приложение к № 118 газ. "Накануне", 1922., 27 августа, № 15.

<sup>4</sup> Подразумевается полемический отклик Н. Никитина в "Литературном приложении" к газ. "Накануне" на критику автобиографий членов группы "Серапионовы братья" (см. письмо 5, прим.5).

В "письме, озаглавленном "Человеческий ли документ? (по поводу статьи "Молодняк)", Н. Никитин утверждал, что эти автобиографии не "человеческий документ", а "новый род прозы". "Потому что ведь там — искусство,— писал Никитин.— Неужели никто не понимает? Искусство же ложь, обман, видение". И далее: "Цена этим документам такая же, как по произведению писателя определять его социальное положение. Когда М. Горький, не видя меня, прочел первые мои вещи, он писал кому-то из знакомых: "...в Петербурге появился крестьянин..." (это мне рассказывали). И когда потом увидел меня в пэнсэ и с галстуком, наверное, очень разочаровался". ("Накануне". Литературное приложение. 1922, № 22, 15 октября. С. 6-7).

<sup>5</sup> Среди тех, кто высоко оценивал произведения "Серапионовых братьев",— Е. Замятин (Серапионовы братья //Литературные записки. 1922. № 1, 25 мая), В. Шкловский (Серапионовы братья. Книжный угол. 1921. № 7); М. Шагинян (Серапионовы братья. Post Scriptum, //Литературный дневник. Статьи 1921-1923 гг. М.—Пб., "Круг", 1923); Юр. Т-в < Ю. Тынянов> (Серапионовы братья. Альманах первый //Книга и революция, 1922, № 6). За рубежом внимание к произведениям "Серапионовых братьев" привлек Горький. Он писал Слонимскому в конце августа 1922 г.: "О вас уже кое-что известно в европейской печати — здесь, во Франции, в Испании" (Лит. наследство. Т. 70, С. 380).

<sup>6</sup> Очевидно, имеется в виду письмо от 10 октября 1922 г., в котором Горький, предлагая свою помощь в издании произведений Каверина отдельной книгой, писал: "Целая книга сразу покажет читателю оригинальность <ашего> таланта, своеобразие и свежесть фантазии вашей. Читатель поймет, что пред ним не каприз, не случайная игра воображения, а — нечто исключительное и — ценное <...> Для меня, старого читателя, уже и теперь <аши> рассказы выше подобных у Гоголя" (Лит. наследство. Т. 70. С. 172).

<sup>7</sup> Н. Тихонов познакомился с "Серапионами" в мае 1921 г. и вскоре стал членом их содружества. Горький, очевидно, был уже тогда достаточно хорошо осведомлен о творчестве Тихонова. В письме к М. Слонимскому от 20 августа 1922 г. он просил выслать ему стихи Н. Тихонова и Е. Полонской для переиздания их за границей (Лит. наследство. Т. 70. С. 379).

- 8 Болезнь Лунца затянулась. Продуктовую посылку из числа направленных Горьким в Петроградский Дом ученых в ноябре 1922 г. он не смог получить сам. Она была получена за него 24 ноября 1922 г. "в виду болезни Лунца" (подпись на документе неразборчива). Помимо Лунца, Горький направил посылки Вс.Иванову, Н. Никитину, М. Зощенко, В. Каверину и др. (АГ. КГ-уч 1-7-15).
- 9 "Вне закона" и "Бертран-де-Борн". См. письмо 5.
- 10 Имеется в виду письмо от 10 октября 1922 г. (Лит. наследство. Т. 70. С. 382-383).
- 11 Иван Павлович Ладыжников (1874-1945) в 1921-1923 гг. был одним из руководящих работников берлинского книгоиздательского и торгового общества "Книга". См.: Архив А. М. Горького. Т. VII. М., 1959. С. 131-248.
- 12 Жена В. Шкловского — Василиса Георгиевна Корди-Шкловская — в то время жила, как и Лунц, в Доме искусств.

#### 4

На первой странице письма помета Горького красным карандашом — Лев Лунц.

- 1 Первая попытка переслать свои рукописи Горькому не увенчалась успехом. Лунц писал родителям 25 ноября 1922 г.: "...Рукописи, отосланные Горькому, судя по его письмам, не дошли <...>. Придется посылать заново". Рукописи трагедий "Вне закона" и "Бертран-де-Борн" были высланы на этот раз в адрес В. Б. Шкловского. Они были переданы Горькому: "Он их получил — сообщил Лунц родителям 30 января 1923 г. — и прислал мне такое письмо, что мне стыдно его показывать! Хвалит до небес! Я даже прослезился" (Russian Literature Triquarterly, № 15. С. 351 и 354). Из этого же письма видно, что Горький в то время предполагал напечатать обе пьесы в "альманахе "Эпоха" (т.е. в журнале "Беседа").
- 2 Горький в целом сочувствовал идеям, высказанным Лунцем. В статье "Группа "Серапионовы братья"" (см. письмо 5, прим.5), предназначенной для зарубежного читателя, он писал: "Русское "скифство", "евразийство" и прочие виды скрытого славянофильства или хвастливого национализма не найдут сторонников среди "Серапионовых братьев" <...>. Они хорошо понимают, что Россия может нормально жить только в непрерывном общении с духом и гением Запада. Лев Лунц, автор стилизованного рассказа "Пустыня" и двух пьес "Закон" и "Бертран де Борн", недавно решительно выступил с задорным докладом "На Запад!". В этом докладе он, может быть, не очень доказательно, но с глубоким убеждением говорит, что духовное общение с Западом необходимо России, как воздух" (Лит. наследство. Т. 70. С. 562).

Статья Лунца была напечатана в журнале "Беседа" (1923, № 3, сент.—окт.) с применением от редакции, возможно, написанном М. Горьким: "Мы охотно даем место речи Л. Лунца, хорошо отражающей то, что сейчас волнует литературную молодежь России. Не разделяя мнения о целесообразности "перегибания палки" и полагая, что впадение из одной крайности в противоположную не есть еще способ избавиться от болезни, — мы все же находим, что в словах Лунца есть к чему прислушаться. Заметим, впрочем, что сами Серапионовы Братья, зовущие "На Запад" за фабулой, не мало повинны в отрыве от Запада. Никогда еще русская литература не была так перенасыщена бытом, фольклором и стилистическими усложнениями, как хотя бы у М. Зощенки, Н. Никитина или Всев. Иванова, — а это и придает ей почти только местный интерес и делает недоступной для западного читателя. Редакция" (С. 259).

- 3 "Скифы" — так назвала себя группа литераторов, участников сборников "Скифы" (1, 2, 1917-1918 гг.), по-разному близких в те годы неонароднической, "почвеннической" ориентации. С группой были связаны А. Бе-



лый, О. Д. Форш, Н. А. Клюев, С. А. Есенин, П. В. Орешин, А. П. Чапыгин и др. Лидером группы был Р. В. Иванов-Разумник.

- 4 Толстой Ал. Хождение по мукам. Роман. Изд-во "Москва". Берлин. 1922. (Первая часть одноименной трилогии).
- 5 Имеется в виду научно-фантастический роман "Аэлита", над которым А. Н. Толстой работал летом 1922 г. С подзаголовком "Закат Марса" впервые опубликован в журнале "Красная новь". (1922, № 6; 1923. № 1 и 2).
- 6 Зощенко М. Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова. Пб.— Берлин. "Эпоха". 1922. В письме от 20 августа 1922 г. Горький просил М. Слонимского выслать эту книгу (среди других) для переиздания за рубежом (Лит. наследство. Т. 70. С. 379).
- 7 О близости творческих устремлений Каверина и Лунца, связанной с "преодолением" быта, тяготением к сюжетности, сочувственно писал Е. И. Замятин в статье "Новая русская проза" ("Русское искусство", 1923, № 2-3. С. 60-61.).

5

- 1 Трагедия Лунца "Вне закона" была напечатана в журнале "Беседа" (1923, № 1, май-июнь).
- 2 "Города и годы". Первоначально роман был озаглавлен "Еще не все кончилось". См. сообщение в "Литературной хронике" журнала "Россия" (1922, № 4): "Роман относится к 1919-му году, действие происходит в одном из уездных городов России, но переплетается с событиями в Германии" (С. 31).
- 3 В рецензии на книгу рассказов Вс. Иванова "Седьмой берег" (М. — Пг., изд-во "Круг", 1922) Лунц, отдав должное "превосходному языку" Вс. Иванова, его умению живописать людей — "их внешность, их мысли, поступки их", отмечает: "Вс. Иванов не знает элементарнейшего построения фабулы, не умеет развить даже одного мотива (кроме "Дитё"). И поэтому не удаются ему рассказы с действием, с органической развязкой. Фабула подводит <...> Но особенно ощутительным становится этот недостаток в больших вещах Иванова <...> "Партизаны" и "Бронепоезд" — повести — еще оставались на высоте, но уже романы "Цветные ветра" и, особенно "Голубые пески" — неудовлетворительны <...>. Фабула плоха" (Книга и революция, 1923, № 1. с.55-56).
- 4 В дальнейшем, оценки Лунца становятся еще более резкими и категоричными. В неоконченной статье, написанной летом 1923 г., он заметил: "Лучше всех нас пишет Федин. Самый "восточный", самый консервативный <...>. Хуже всех пишет Всеволод Иванов. Я снова повторяю: я говорю от своего имени, верней от имени своего вкуса. И вот утверждаю: Иванов — плохой писатель" (Последняя статья Льва Лунца. Публикация Гари Керна //Новый журнал, Нью-Йорк, 1965, № 81. С. 99-103).
- 5 Львов-Рогачевский В. (Псевд.; наст. имя Василий Львович Рогачевский, 1873-1930), критик и литературовед.
- 5 Имеется в виду полемика, развернувшаяся вокруг публикации автобиографий членов группы "Серапионовы братья" и статьи Лунца "Почему мы Серапионовы Братья" (Серапионовы братья о себе. //Литературные записки, 1922, № 3. 1 авг.). В "Литературных записках" "Серапионовы братья" подтвердили сказанное в их предшествующем коллективном выступлении: "Всякую тенденциозность "Серапионовы братья" отвергают в принципе... Искусству нужна идеология художественная, а не тенденциозная" (Ответ "Серапионовых братьев" Сергею Городецкому //Жизнь искусства, 1922, № 13, 28 марта).

В автобиографиях "Серапионов", часто ироничных, полушутливых, речь шла не об отрицании идеологии как таковой. "У каждого из нас, — писал Лунц в статье "Почему мы Серапионовы Братья", — есть идеология, есть политические убеждения, каждый хату свою в свой цвет красит. Так в жизни. И так в рассказах, повестях, драмах. Мы же вместе,—

мы — братство — требуем одного: чтобы голос не был фальшив. Чтоб мы верили в реальность произведения, какого бы цвета оно ни было. Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность. Пора сказать, что некоммунистический рассказ может быть бездарным, но может быть и гениальным" (с.31). Именно эта идея независимого от политики искусства вызвала резкие нападки в статьях: Ильи Садофьева "Мученики моды" //Красная газета, 1922, № 181, 12 авг.; В. Полянского <Лебедева-Полянского> "Серапионовы братья" //Московский понедельник, 1922, № 11, 28 августа; П. С. Когана "О манифесте "Серапионовых братьев" //Красная газета, 1922, № 215, 23 сентября; "О международной махновщине и Всеволоде Иванове" //Там же. № 227, 7 октября; "Письма о литературе. Письмо третье" //Известия, 1922, № 225, 6 октября; Л. Троцкого "Вне-октябрьская литература. Литературные попутчики революции. Серапионовы братья. Всеволод Иванов" //Правда, 1922, № 224, 5 октября (см. также: Троцкий Л. Литература и революция. М., 1923. С. 50-55).

С защитой позиции "Серапионовых братьев" выступил И. Груздев, ранее заявивший о себе статьей "Лицо и маска" ("Серапионовы братья". Заграничный альманах. Берлин, 1922). Его статья "Два апельсина", в которой он полемизировал с В. Полянским и Л. Троцким, появилась в "Литературном еженедельнике" (1923, № 3. С. 4-5). Лунц ответил критикам "Серапионовых братьев" статьей "Об идеологии и публицистике" (Новости, 1922, № 3, 23 октября).

По существу ответом на полемические выпады против "Серапионовых братьев" явилась и статья Горького "Группа "Серапионовы братья"" (дата под статьей 15 марта 1923 г.), напечатанная в журнале "Le Disque vert" (Брюссель), 1923, № 4-6. (В сокращенном виде в переводе с французского была напечатана под заглавием "Горький о молодых" в журнале "Жизнь искусства" (1923, № 22).

Как бы споря с Троцким, утверждающим, что "бутады в духе "искусства для искусства" являются "в самом лучшем случае признаком роста и уж — во всяком случае — свидетельством незрелости" (Троцкий Л. Литература и революция. С. 51-52), Горький писал: "Я слежу за духовным ростом "Серапионовых братьев" с великими надеждами <...> "Серапионовы братья" аполитичны, но они активны, влюблены в начало волевого, глубоко понимают культурное значение труда и заинтересованы просто человеком, каков он есть, вне сословий, партий, национальностей и верований" (Лит. наследство. Т. 70. С. 562).

- <sup>6</sup> Возможно, именно об этой работе Лунца писал В. Шкловский в статье "Современники и синхронисты": "<...> Лунц писал веселый роман в письмах о том, как едут почтенные люди через границу и везут с собой деньги в платяной щетке. Щетку крадут. Тогда начинается бешеная скупка всех щеток на границе. Роман кончается письменным заказом одного лавочника: "Еще два вагона платяных щеток прежнего образца" (Русский современник, 1924, № 3. С. 232).

- <sup>7</sup> В. Ф. Ходасевичу и В. Б. Шкловскому.

На первой странице письма помета Горького красным карандашом — Л. Лунц.

- <sup>1</sup> В то время В. Ф. Ходасевич принимал участие в редактировании журнала "Беседа". Пьеса "Бертран-де-Борн" была передана ему Горьким, но в журнале "Беседа" напечатана не была.
- <sup>2</sup> Получив это письмо Лунца, Горький писал М. Слонимскому 13 марта 1923 г.: "А Лунц — теоретизирует, это тоже не очень хорошо, во всяком случае: несколько преждевременно. Я знаю, что в молодости человека весьма беспокоит зуд творчества различных законов и что всегда это приводит законоположников к дидактике, тенденции и другим грехам

против Духа искусства. И, уж если законотворчество одолевает непобедимо, так следует придавать этим законам или — точнее — издавать законы в художественной форме, оставляя за собою право иронического отношения к собственному законотворчеству. По натуре, по существу своему Левушка прежде всего — художник” (Лит. наследство. Т. 70. С. 384-385).

<sup>3</sup> Журнал “Беседа” издавался в Берлине в 1923-1925 гг. Всего вышло 7 номеров. “Русский журнал,— писал Горький И. М. Майскому 1 сентября 1923 г.,— издающийся для России” (АГ. ПГ-рл 25-2-1). Тем не менее доступ журнала в Россию был крайне затруднен. А. К. Воронский свидетельствовал: “Журнал “Беседа” <...> был встречен отрицательно в советских и партийных кругах” (Объяснения к письмам Горького. АГ. МоГ 2-54-1, с.1).

<sup>4</sup> В начале марта 1923 г. Слонимский писал Горькому: “Составляем второй альманах” (АГ. КГ-п 72-3-9) и в следующем письме пояснял: “<...> 1) альманах этот будет для того, чтобы показать, что “Серапионовы братья” есть — показательный альманах, 2) составлен он из вещей, частью напечатанных (отрывок романа Федина, “Вне закона” Лунца) <песа была набрана для журнала “Беседа”.— Е. К. >, 3) когда он выйдет — неизвестно, он еще не собран, не все дали свои вещи <...> и, наконец, 4) печатание в Берлине (даже для России) и в России — обычай, оправданный практически: на сбыт это не влияет” (АГ. КГ-п 72-3-12).

Издание альманаха не состоялось. Не последнюю роль в этом сыграло письмо Горького Слонимскому с критикой произведений “Серапионов”, присланных для журнала “Беседа”. Этим письмом, написанным в начале марта, АГ не располагает, но суть его ясна из ответного письма М. Слонимского: “Третьего дня я вернулся из Москвы <...> Прихожу вчера к Лева. Лева по обыкновению лежит с градусником (он всегда чем-то болен). Лежит и дрожит в страхе. “Тебе письмо от Алексея Максимовича... Страшно ругает... полная катастрофа и паника... и меня, и Федина”. “За что?” “Я не разобрал” (Лит. наследство. Т. 70. с.386). (Очевидно, под влиянием отзыва Ходасевича Горький изменил свое первоначальное отношение к пьесе Лунца “Бертран-де-Борн”. См.: письмо 4, прим.1).

Соглашаясь с основным упреком Горького — в торопливости, небрежности работы, Слонимский замечал в другом письме: “Но конечно: Серапионы пошатнулись и заметались, просто потеряли установку. Поэтому я чрезвычайно обрадован Вашим письмом, которое меня, Федина, Лунца одернуло сильно, одернет, думаю, и остальных. Ужасно, когда единственная возможная установка — на искусство — утеряна, и ее нужно отстаивать с невероятными трудностями” (АГ. КГ-п 72-3-13).

В дальнейшем, как это видно из письма Слонимского Лунцу от 17 августа 1923 г., отпала сама идея создания “показательного” серапионовского альманаха. Напротив, вскоре же Слонимский предлагает Лунцу участвовать в серии “соглашательских альманахов” с приглашением в них, помимо “серапионов”, — Горького, Эренбурга, Замятина, Ходасевича (Новый журнал. Нью-Йорк, 1966, № 82. С. 157-158).

<sup>5</sup> В Петербурге пьеса Лунца “Бертран-де-Борн” была принята к постановке Большим Драматическим театром. Александринский театр работал в то же время над спектаклем “Вне закона” (эскизы декораций готовил Ю. Анненков).

Пьесой “Вне закона” заинтересовался также и Малый театр в Москве. Но, как это видно из письма А. В. Луначарского (в то время Народного комиссара по просвещению) руководителю театра А. И. Южину от 26 июля 1923 г., пьеса Лунца была не рекомендована им к постановке, подверглась сокрушительной критике, главным образом, с идеологических позиций (Лит. наследство. Т. 82. М., 1970. С. 375-377).

Вскоре пьеса Лунца была запрещена к постановке как “политический памфлет на диктатуру пролетариата в России” (там же, с.378). Была снята с репертуара и пьеса “Бертран-де-Борн”.

<sup>6</sup> Всев. Иванов.

<sup>7</sup> Возможно, подразумеваются рассказы М. Зощенко "Коза" (Альманах артели писателей "Круг". Кн. I. М. — Пб., 1923) и "Война" (Веселый альманах. М. — Пб., "Круг", 1923).

<sup>8</sup> Горький М. Автобиографические рассказы. I. Время Короленко. II. В. Г. Короленко. III. О вреде философии // Красная новь, 1923, № 1. В течение 1923 г. в "Красной нови" в серии "Автобиографические рассказы" были напечатаны также: "Мои университеты" (№ 2-4), "Сторож" (№ 5), "О первой любви" (№ 6).

7

На первой странице письма помета Горького красным карандашом: Л. Лунц.

<sup>1</sup> Лунц выехал из Петрограда 1 июня 1923 г. ("Путешествие на больничной койке" // Новый журнал. 1968. Кн. 90. С. 39). Находился в дороге две недели. Издатель журнала "Беседа" С. Г. Каплун сообщал М. И. Будбергу 16 июня 1923 г. из Берлина: "Приехал вчера Лунц; рукописи, которые он вез с собой, у него отобрали на границе" (АГ. КГ-изд За-4-5).

<sup>2</sup> Незадолго до приезда Лунца, в начале июня, Горький переехал из Саарова в Шварцвальд, в местечко Гюнтерсталь, близ Фрейбурга.

<sup>3</sup> В письме от 25 июня 1923 г. к Н. Н. Берберовой Лунц сообщал: "Вместо больного" Дуки <Горького> мне ответила М. И. <Будберг>. Звала в санаторию в Фрейбург. Но профессор послал в Кенигштейн" (Берберова Н. Из Петербургских воспоминаний. Три дружбы // Опыты. Нью-Йорк. 1953, № 1. С. 173).

Горький писал Ходасевичу из Гюнтерсталя 21 июня 1923 г.: "Лунц, вероятно, придет во Фрейбург, ему уже найдена комната. Очень хочется видеть его и послушать рассказы о Питере. Что делать? Писать об этом? А — какой смысл? Боюсь, что этим только отягчишь положение молодежи" (Новый журнал. 1952. Кн. 29. С. 209).

8

<sup>1</sup> М. И. Будберг.

<sup>2</sup> Ходасевич сообщал Горькому 18 июня 1923 г. из Берлина: "Был здесь Лунц. Очень он хороший мальчик, но очень еще мальчик. То, что он говорит о России, — ужасно. Цензурные анекдоты убийственны. "Критика" стала сплошным доносом. Садофьев не позволил Всев. Иванову и другим уйти из Красной газет (где был напечатан донос на Серапионов) — пригрозив Иванову, что в противном случае обнаружит документы и фотографии, доказывающие "белое" прошлое Иванова. При этом вынул и показал ему бумаги и фотографии. Серапионы, конечно, остались и пишут — из опасности подвести Иванова чуть не под расстрел. Зощенко по ушам ушел в мелкую юмористику, ибо иначе туго, а так — он теперь "загребает". Лунца почти не печатают, Каверина — вовсе. В Москве сплошное пильничество и откровенная купля мальчишек, которым иначе есть нечего и которые, кроме того, никогда не слыхали о том, что есть писатель. Винить их не в чем, — но это горько. Всего, что рассказывал Лунц, не упомянешь, но — грязь, грязь и грязь" (АГ. КГ-п 83-8-8).

<sup>3</sup> Летом 1923 г. Никитин совершил поездку в Германию и Англию. См. письмо 11, прим. 3.

<sup>4</sup> "Восстание вещей". Киносценарий // Новый журнал, 1965, кн. 79. С. 44-78.

9

На первой странице письма помета Горького красным карандашом: Лев Лунц.

- <sup>1</sup> Подразумевается книга рассказов Федина "Пустырь" (М. — Пб., "Круг", 1923). Книга была выслана Горькому в апреле 1923 г. (Лит. наследство. Т. 70. С. 470).
- <sup>2</sup> Письма Лунца к Н. Берберовой см.: Берберова Н. Из Петербургских воспоминаний. Три дружбы.
- <sup>3</sup> Ходасевич Вл. Тяжелая лира. Четвертая книга стихов, 1920-1922. М. — Пг., ГИЗ, 1922. Книга была переиздана также Издательством З. И. Гржебина в 1923 г.

10

Автограф письма хранится в архиве Иельского университета (США).  
Опубл.: Керн Гари. Горький и Лунц: два письма //Новый журнал, 1969, кн.97. С. 286.

- <sup>1</sup> Подразумевается письмо Лунца к Н. Н. Берберовой от 13 декабря 1923 г.: "Я совершенно пал духом: не пишу, не читаю почти, — лежу и злюсь. Самые печальные мысли лезут в голову — не верю в выздоровление" (Берберова Н. Из Петербургских воспоминаний. С. 178).
- <sup>2</sup> Подразумевается пьеса "Город Правды". Лунц писал Н. Н. Берберовой в том же письме: "Я в октябре — ноябре, до хандры, написал пьесу небольшую. Как "Беседа"? И можно прислать ее почтенной редакции?" (Там же).

11

На первой странице письма помета Горького красным карандашом: Л. Лунц.

Год устанавливается по содержанию.

Черновик письма опубл.: Керн Гари. Горький и Лунц: два письма //Новый журнал, 1969, кн.97. С. 286-287. В предисловии к публикации ошибочно сообщается, что в АГ хранится пять писем Лунца Горькому.

- <sup>1</sup> Пьеса "Город Правды" была напечатана в журнале "Беседа" (1924, № 5) вместе с некрологом Горького "Памяти Л. Лунца".
- <sup>2</sup> См.: Лев Лунц и "Серапионовы братья". Публикация и комментарии Гари Керна //Новый журнал, 1966, кн.82, 83. Опубликованы письма Лунцу 1923-1924 гг. Федина, Слонимского, Никитина, Тихонова, Каверина и др.
- <sup>3</sup> В черновике письма: "Никитин почти совсем отошел от нас, пишет пре-скверные фельетоны в "Правде" и, вообще, ведет себя по-московски. Мне это очень горько, потому что Никитин был одним из первых Серапионов. Но он — карьерист. Ему же будет хуже". (Керн Гари. Горький и Лунц: два письма. С. 287).

Имеются в виду фельетоны Никитина, вошедшие в книгу "Сейчас на Западе. Берлин — Рур — Лондон". Л. — М. "Петроград". 1924. (Первый раздел книги посвящен Б. Пильняку). Фельетоны публиковались в "Петроградской правде" (1923, № 201, 208, 209, 215, 219, 223 от 7, 15, 16, 23, 28 сентября и 3 октября).

Никитин писал Воронскому из Петрограда 7 октября 1923 г.: "<...> Сейчас спешно заканчиваю книгу "Разговоры на Западе", это моя отчетная работа за лето, туда включена серия моих фельетонов в "Петроградской правде" — "Путешествие в Рур" (шесть статей), — пользовавшихся огромным успехом в партийных кругах и на заводах Питера" (Лит. наследство. Т. 93. С. 595).

## Переписка М. Горького с Г. Г. Ягодой

Предисловие, публикация и примечания  
Л. А. Спиридоновой

В письме Д. А. Лутохину от 23 июня 1923 г. Горький посетовал: “То, что будут говорить и писать после смерти моей, будет так же гнусно и неинтересно, как и то, что говорят... теперь. Лично я продолжаю относиться к людям лучше, чем они ко мне, и это вполне удовлетворяет меня” (АГ, МоГ-8-12-1). Его слова оказались пророческими. За последнее десятилетие вокруг Горького ширится кампания дискредитации. Писателю вменяются в вину оправдание и поддержка сталинских методов построения социализма, подстрекательство к террору, насилию, убийству. Считая Горького соучастником преступлений эпохи “культ личности”, его называют певцом “колоний, лагерей, товарищем шефа ОГПУ-НКВД — зловещего Ягоды и других охранников, обосновавшихся в его доме” (Московская правда, 1990, 3 августа).

При этом речь идет не о подлинном Горьком, фигуре сложной, противоречивой и до сих пор недостаточно известной даже специалистам-горьковедам, а о некоем ортодоксальном “основоположнике социалистического реализма”, возведенном сталинской пропагандой. Недостаток точных документальных сведений о Горьком, особенно о последнем периоде его жизни в СССР, порождает множество субъективных концепций и домыслов, вроде версии об отравлении писателя шоколадными конфетами, присланными из Кремля. Читатель может только недоумевать: если Горький был убежденным сталинистом и во многом способствовал подготовке к репрессиям 30-х годов, зачем Сталину понадобилось убивать его? Если он был “придворным поэтом”, которого так остроумно изобразил Ф. Искандер в “Кроliках и удавах”, почему Горький не написал очерк о Сталине, которого от него упорно добивались?

Публикуемые ниже письма Горького заместителю председателя ОГПУ (с 1934 г. наркому внутренних дел) Г. Г. Ягоде (1891-1938) являются уникальным документом той трагиче-

ской эпохи. На первый взгляд они лишь добавляют новые штрихи к негативному портрету писателя. Горький обращается к Ягоде дружески ("дорогой товарищ и земляк", "дорогой мой"), грубовато льстит ему, говоря об "огромной заслуге" ОГПУ перед народом в деле раскрытия "антисоветских заговоров", резко отзываясь о жертвах процессов 1928-1931 гг., выражает заботу о здоровье Ягоды. Но не будем торопиться с выводами.

Свидетельствовало ли это о близости Горького к Ягоде и представляемому им "ведомству" в 1930-х годах, а, с другой стороны, о наличии тайного заговора против Сталина, в котором, по предположению В. В. Иванова, участвовал писатель? В статье "Почему Сталин убил Горького?", содержащей отдельные весьма интересные мемуарные свидетельства, он допускает, что "тесное общение Горького с чекистами и их всемогущим шефом могло быть элементом далеко идущих политических расчетов", что Ягода в 1932 г. был противником Сталина, а Горький поддерживал наркома, "хотя бы сразу после приезда в апреле" (Вопросы литературы, 1993, Вып.1, С. 115, 120). Так ли это?

Вернувшись на родину, писатель, действительно, рассчитывал на победу сил, противостоящих деспотизму Сталина, и поддерживал тесные контакты с деятелями оппозиции (А. И. Рыковым, Н. И. Бухариным, Л. Б. Каменевым и др.). В 1932 г. Горький и Ягода постоянно обменивались письмами и комплиментами: в ответ на поздравление с юбилеем 40-летия литературной деятельности писателя последовало, хотя и запоздалое, поздравление с 25-летием ОГПУ. Не слишком доверяя бумаге, они передавали новости через М. А. Пешкова, М. С. Погребинского, П. П. Крючкова. Но можно ли сказать, что, беседуя в "угловой комнате" дома на Никитской, они вынашивали планы заговора против Сталина, что эпизодическая "дружба" с Ягодой, Г. Н. Бокием или М. С. Погребинским позволила Горькому "использовать колоссальный аппарат НКВД против Сталина" (Там же. С. 120). Публикуемые ниже письма не дают основания для такого вывода.

Близость Горького и Ягоды была внешней: нарком постоянно побуждал писателя отвечать ему, вызывал на откровенность. Но из писем явствует, что их, в конечном счете, связывали чисто деловые отношения. Писатель шел на контакты: участвовал в создании сценария "Преступники", писал для театра ОГПУ пьесу о "вредителях" ("Сомов и другие"), поддерживал идею книги о Беломорско-Балтийском канале; шел на уступки в процессе сложной политической игры. Он пытался прежде всего сам разобраться в сути процессов конца 1920-начала 30-х гг. и хоть немного смягчить жестокость "чрезвычайных мер". Нарком внутренних дел, в свою очередь, хотел использовать Горького в качестве пропагандиста советской политики за рубежом. У них были реальные точки

соприкосновения: давняя горьковская мечта о создании нового человека воплощалась, как казалось писателю, в идею “переводки социально опасных в социально полезных”, противостоящую теории Ч. Ломброзо о “врожденной преступности”.

В письмах к Ягоде Горький предстает заступником за невинно арестованных. Информация, полученная от Ягоды, позволяла писателю во-время спасти некоторых осужденных, смягчать наказания. Обратим внимание на дату первого письма: с 28 по 30 марта 1928 г. проходили юбилейные чествования Горького по случаю его 60-летия, а он находит время позаботиться об освобождении В. Бианки, о делах сотрудников Пушкинского Дома (ИРЛИ). Через Ягоду Горький пытался смягчить удар по рапповцам и, прежде всего, по Л. Л. Авербаху, сдвинуть с мертвой точки издание “Истории гражданской войны”, помочь Р. Роллану и другим европейским писателям и общественным деятелям приехать в СССР, спасти жизнь итальянского анархиста Ф. Гэцци, выслать за рубеж арестованного писателя В. Сержа. Из воспоминаний В. Сержа, Б. И. Николаевского, Б. М. Суварина, Е. И. Замятина, “Московского дневника” Р. Роллана стало известно о незримой, оставшейся в тени деятельности Горького по спасению многих людей. Позиция писателя в 1930-х годах была неоднозначной, драматически сложной и противоречивой, ибо он служил своего рода “буфером” между сталинской верхушкой и “инакомыслящими” — деятелями оппозиции или демократически настроенной интеллигенцией.

Последние восемь лет — самый трагический период жизни Горького. Приехав на родину в 1928 г., он сразу же попал в тесные объятия внешне любезных, услужливых людей из ведомства “товарища и земляка”, которого знал еще по Нижнему Новгороду, — Ягоды. Начиная с первых встреч с ним и дружеских застолий на даче председателя Моссовета К. В. Уханова в июне 1928 г., Горький установил в общении с этим человеком столь же любезный “приятельский” тон.

Поездка по стране, описанная в цикле горьковских очерков “По Союзу Советов”, проходила под зорким наблюдением чекистов, опасавшихся, что писатель может увидеть и рассказать за границей не только о положительном опыте. Его возили по разным организациям, показывая только то, что “запланировано”, ограждали от случайных встреч. По собственному выражению, Горький оказался в положении “знатного иностранца”, лишенного возможности объективно оценить увиденное. Даже с друзьями детства и юности он чаще всего встречался на многолюдных митингах и торжественных заседаниях. Летом 1929 г. писатель побывал на Соловках, которые выглядели как “потемкинская деревня”: заключенные спали на чистом белье, держали в руках газеты... Понимал ли писатель, что это инсценировка?



Один из соловецких беглецов В. Свечников опубликовал в эмигрантской прессе воспоминания о пребывании Горького на Соловках. Он свидетельствует, что писатель осмотрел мебельную и пошивочную мастерские, школу ликбеза, колонию малолетних преступников, “декоративный аракчеевский поселок”, лазарет. Все происходящее было похоже на “парад перед немым командующим”: “Угрюмый старик Горький торжественно и молча прошел мимо всего по палатам лазарета. Потом прошел по ротам, откуда еще с утра выгнали заключенных, пустые камеры улыбались чистотой” (Руль, 1930, № 2946, 6 августа. Вырезка с пометами Горького хранится в его Архиве — ГЖВ-5-1-15). На спектакле в соловецком театре Горький в первый раз вышел в фойе без чекистской свиты. Заключенные бросились к нему толпой, засыпав жалобами и записками, которые он принимал охотно. В. Свечников пишет: “Нужно отдать справедливость попыткам Горького собирать записки и во втором антракте, для чего в разговоре он отделился от чекистов и стал к стене. Сложенными за спиной руками перехватывались кое-какие бумажки” (Там же).

Куда же делись потом эти жалобы, был ли им дан ход? На этот вопрос могли бы ответить горьковские записки, которые он вел во время поездок, однако, по свидетельству сопровождавшей его Н. А. Пешковой, два чемодана были похищены. Правда, один из них чекисты нашли и вернули Горькому, но вместо бумаг в нем оказалась коробка с пеплом. Ягода объяснил, что это сделали “жулики” (АГ, МоГ-3-25-6). Таким образом писателю намекнули, что никакие негативные факты в печать все равно не попадут.

В письме от 22 января 1930 г. Горький просит извинения за очерк о “Соловках”, упоминая, что писал его “по памяти”, т.к. все материалы пропали. Действительно, тот самый очерк, который донныне ставят в вину писателю, не устроил Ягodu: в нем не было ни прославления доблестных чекистов, ни призывов к уничтожению классового врага. Много страниц посвящено описанию красот природы, истории острова и монастыря, питомнику чернобурых лисиц и др. Заключенные показаны односторонне: это уголовники, “социально опасная молодежь”, либо те, кто, отбыв свой срок, остался работать на острове.

Переписка с Ягодой продолжалась с 1928 по 1936 гг., т.е. именно в тот период, когда проходили громкие политические процессы (Шахтинский, “Промпартии”, “Трудовой крестьянской партии”, меньшевистского “Союзного центра”), когда были без суда расстреляны 48 так называемых “организаторов пищевого голода”. Всех их обвиняли во вредительстве и связях с иностранной разведкой. Живя в Сорренто, Горький получал информацию об этих процессах из советских и эмигрантских газет, а также непосредственно от Ягоды — через своего секретаря П. П. Крючкова. Так, в 1930 г. ему были присланы секретные “Материалы к отчету ЦКК ВКП(б) XVI

съезду", стенографические отчеты о деле "Промпартии", протоколы допросов заключенных. Он читал собственноручные признания "вредителей" и не мог себе представить, что они фальсифицированы или вырваны под пытками.

Трагизм положения Горького в последние годы жизни объясняется многими причинами, в частности, тем, что он поверил в существование "врагов народа" и теорию обострения классовой борьбы. Он сделал ложный вывод, что интеллигенция в ее значительной части вступила на путь открытой борьбы с народом, а зажиточное крестьянство является его классовым врагом. Жестокая логика "пролетарской ненависти" казалась писателю единственно возможной, когда под угрозу ставился сам принцип существования советской власти. Поэтому он не только не принял участия в кампании против "бессудных казней", начавшейся в Европе, но осудил А. Эйнштейна, Р. Роллана и многих других деятелей науки и культуры, требовавших справедливости.

В письме от 2 ноября 1930 г. он убеждает Р. Роллана, что признания заключенных не могли быть вырваны под пытками, а их самооговоры невозможны. Пытаясь разобраться в психологии вредительства, Горький написал пьесу "Сомов и другие", однако, закончив ее в январе 1931 г., остался ею недоволен и никогда не публиковал и не ставил на сцене при жизни. Такая же судьба постигла сценарий "Преступники" из жизни несовершеннолетних в колонии ОГПУ. Вместе с тем постоянные встречи с Ягодой (а он действительно стал "своим человеком" в доме Горького на Малой Никитской и в Горках в 1931-1936 гг.) не были безрезультатными. Вот лишь несколько примеров того, что удалось сделать Горькому: перевести на материк из Соловков многих несовершеннолетних, освободить из заключения академика Е. В. Тарле, облегчить участь писателя А. А. Золотарева, помочь общественному и культурному деятелю А. А. Семенову, его жене и многим другим. По рекомендации Горького М. П. Томский был назначен заведующим Госиздатом, исключенный из партии Л. Б. Каменев — директором издательства "Academia". Трудно перечислить всех, кому Горький помог выехать из страны в командировку или на постоянное жительство (Е. И. Замятин, П. Д. Корин. П. С. Осадчий). Наконец, именно Горький настоял на том, чтобы опальные Н. И. Бухарин и К. Б. Радек вновь возвратились к литературной и политической деятельности. (Известия ЦК КПСС, 1989, № 3. С. 186). Если прибавить к этому все добрые дела, которыми с ведома или по поручению Горького была занята его жена Е. П. Пешкова, работавшая в политическом Красном Кресте, станут понятными масштабы, которые приобрела в 30-е годы скрытая от глаз деятельность писателя. Это подтверждает неизданная переписка Горького 30-х годов.

Р. Роллан сообщил Г. Гессе после смерти Горького, что не сможет более помогать арестованным в России: "Пока Горь-

кий был жив, у меня были большие возможности действовать через его посредство. Теперь — никаких" ("Cahier Romain Rolland"; Paris, v. 21, 1972, p.165).

В начале 30-х годов Горький еще верил, что можно смягчить политику Сталина. Отсюда — порой неуклюжее заигрывание с ним. Поселившись в СССР окончательно, писатель имел возможность постоянно встречаться со Сталиным, отвращая отдельные эксцессы "чрезвычайной" политики. Существует свидетельство, что именно Горький уговорил Сталина написать статьи "Головокружение от успехов" и "Ответ товарищам-колхозникам", критикующие перегибы насильственной коллективизации ("Социалистический вестник". Берлин. 1954. № 1. С. 17). Приспосабливаясь к обстановке жизни в "стране фараонов", он вынужден был со многим мириться, пока тешил себя мыслью, что может благотворно влиять на вождей. Характерно, что дорога большому террору открылась только после смерти писателя.

После 1934 г. рухнули все надежды на демократизацию страны, изменилось и отношение к Горькому. Сталин, поняв, что ему не удалось сделать из писателя "придворного барда", все реже удостоивал его своим вниманием, перестал прислушиваться к многочисленным просьбам. Горький чувствовал себя "пленником в собственной стране", оказавшись под неусыпным вниманием подчиненных Ягоды. В Москве, в Горках, в Тессели он жил фактически под домашним арестом. Трагическая смерть сына весной 1934 г. и убийство С. М. Кирова в декабре того же года привели к охлаждению отношений с "земляком", которого многие считали непосредственным виновником болезни М. А. Пешкова.

Горький так и не приспособился к жизни в условиях домашнего ареста: его раздражал и роскошный особняк Рябушинского, в котором постоянно бывали чужие люди, и пышные застолья. Он бунтовал и ругался. На его письменном столе в доме на Малой Никитской до сих пор стоит маленькая костяная фигурка — нецке: три обезьяны сидят, тесно прижавшись спинами друг к другу. Одна закрыла глаза, другая заткнула уши, третья замкнула рот. В отличие от обезьянок, Горький все видел, слышал и многое начинал понимать. Он оставался Человеком до последнего мгновения жизни и был награжден за это злобной репликой Ягоды, прочитавшего тетрадь его предсмертных записей: "Как волка ни корми, он все в лес смотрит" (Огонек, 1989, № 1. С. 13).

Тексты писем печатаются по автографам и машинописным копиям, хранящимся в Архиве А. М. Горького (Москва). Часть из них была передана туда из президентского архива (бывшего Архива ЦК КПСС), где они хранились в фонде Н. И. Ежова. Письма печатаются впервые, за исключением писем 1, 7-9, 11-12 и 35, опубликованных на болгарском языке в журнале "Орфей" (1992, № 1, С. 17-23).

## 1. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<30 марта 1928 г., Сорренто.>*

Дорогой товарищ и земляк —

посылаю письмо Устимовича; я его не знаю, но слышал, что, он весьма полезный работник по литературным архивам Пушкинского Дома. Может быть, возможно удовлетворить его просьбу?<sup>1</sup>

А затем усердно прошу: нельзя ли “амнистировать” некоего Бианки, сосланного в Уральск?<sup>2</sup> Он — автор отличных книжек для детей по зоологии и орнитологии; книжки его изданы Ленотгизом и, если Вы познакомитесь с ними, увидите, что книжки, действительно, ценные.

Бианки не просил меня хлопотать за него<sup>3</sup>. Я пишу, опираясь на письмо одного т.уральца<sup>4</sup>, который сообщил мне, что Бианки живет очень плохо и работает — по силе местных условий — меньше, чем мог бы. Хлопотать за него понуждает меня и то, что “детская” литература у нас очень слаба<sup>5</sup>.

Крепко жму руку.

*А. Пешков*

30.III.28

## 2. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<Конец января 1929 г., Сорренто>*

Дорогой Генрих Георгиевич —

хорошо знакомые мне Алексей Алексеевич Семенов<sup>1</sup> и жена его Наташа<sup>2</sup> — оба — жители Якутска — лишены избирательных прав<sup>3</sup>.

Разрешите мне сообщить Вам биографии этих людей.

Алексей Семенов — полуякут, жена его — китайка. Мальчиком, служа у известной фирмы “Кунст и Альберт” в Троицко-Савске, С. изучил эсперанто, но, усомнившись, что на этом языке говорят какие-то люди, послал на эсперанто телеграмму в Лондон, предлагая какой-то фирме два вагона рябчиков. К его радости — фирма ответила на телеграмму, и убедившись, что это — международный язык, он принялся изучать его еще более усердно. Фирма “Кунст-Альберт” перевела его приказчиком в Якутии. Там, вместе с нижегородским маляром Упрыжкиным и евреем-извозчиком Браиловским<sup>4</sup> он занялся культурной деятельностью, организовал театр, нашел огнеупорную глину, делал кирпич из нее — обычный кирпич вследствие частой топки быстро перегорал. Нашел литографский камень. Перечислять все его работы и открытия не стану, их много. Был знаком с политиками, кое-чем помогал им, многому научился от них<sup>5</sup>.

В 1911 году побывал в Москве, Петербурге, зная только эсперанто, толково объехал всю Европу, был у меня на Капри, где я познакомился с ним. Меня очень поразили оба они, он и Наташа, своим умом, предприимчивостью, знаниями. С той поры до сего дня я с ними в переписке<sup>6</sup>.

### 3. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*<31 мая 1929 г., Москва>*

Дорогой Алексей Максимович.

Бесконечно рад — преподнести Вам, именно Вам, эти редкие книги — и, конечно, сегодня<sup>1</sup> — вместе с Леопольдом<sup>2</sup>.

Крепко обнимаю

*Ваш Г.*

### 4. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<29 или 30 июня 1929 г., Ленинград>*

Не везет мне в северных краях<sup>1</sup>, дорогой Г. Г. ! Хотелось видеть как можно больше, но за жадность приговорен я к трехдневному заключению в “Европейской” гостинице<sup>2</sup>. Бронхит и колит.

Видел все-таки очень много, и поездкой весьма доволен. Подробно расскажу при свидании о впечатлениях моих, а пока Вам изобразит их милейший Матвей Семенович, гувернер мой, человек неукротимой энергии. Славный он. Чем больше узнаю его, тем более он мне нравится. Как ловко, умело завоевывает он уголовных ребят в трудовую коммуну!<sup>3</sup>

Очень хочется видеть Вас поскорей, чтоб поделиться с Вами тем, о чем думаю.

Крепко жму руку.

*А. Пешков.*

### 5. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<15 июля 1929 г., Москва>*

Генрих Георгиевич, дорогой!

Старик Могилянский — человек весьма популярный и влиятельный среди украинской интеллигенции<sup>1</sup>, был близким другом М. М. Коцюбинского<sup>2</sup>, литератор. Это — все, что я могу прибавить к его ходатайству<sup>3</sup>.

Жму руку.

15.VII.29.

*А. Пешков.*

## 6. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

Москва, 10/XII-29

Дорогой Алексей Максимович!

Я очень извиняюсь, что задержал так долго материал, который давно готов для Вас<sup>1</sup>. Но ждал П. П.<sup>2</sup>, т.к. не знал, то ли Вам нужно. Одновременно меня пограничники просили послать Вам на отзыв сборник стихотворений<sup>3</sup>. Это их творчество, есть очень неплохие стихи. Если найдете возможным, удовлетворите их просьбу к Вам, которую они пишут в письме. Я лично тоже присоединяю свой голос к ним. Вот все мое условие. А так очень хотел бы Вас повидать. Конечно, трудно это. Вы, как будто, мне так кажется, забыли своего "интимного друга". Может, напишете, а?

Тимоша<sup>4</sup> тоже меня огорчает, — совсем-совсем забыла! Мой большой привет ей и Максус<sup>5</sup>.

Как Ваше здоровье, Алексей Максимович? Со слов Петра, работаете много<sup>6</sup>. Не забыли ли Вы то, о чем мы с Вами говорили, и какой материал приготовить<sup>7</sup>.

Ида Леонидовна<sup>8</sup> шлет большой привет Вам и горячо благодарит. Вот и все. Остальное — когда увидимся.

Крепко целую

Ваш Г. Я

## 7. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

<22 января 1930 г., Сорренто.>

Дорогой мой Генрих Георгиевич —

стихи пограничников были получены в Риме 6-го января, а в мои руки попали только 18-го, вечером. Так бывало и раньше<sup>1</sup>. Если б гг. чиновники, получив пакет, известили меня двумя словами телеграммы: "есть письмо", я послал бы в Рим сына и получил бы пакет на 10 дней раньше.

Я — не жалею, а сообщаю сей грустный факт на случай, если Вы или кто-либо другой пришлет мне нечто, так следует просить гордых римлян: получив посылку, немедленно, — о, римляне! — известите адресата о получении. Предисловие — конечно, приступаю к теме.

Я решительно против издания сборника стихов пограничников, ибо стихи эти — неисправимо плохие и малограмотны. Издавать их — значит компрометировать тему, вызывать на себя насмешки, издевательства со стороны обывателя и стихо-спецов, именуемых "поэтами". Кроме того — есть опасность внушить людям, к творчеству не способным, что они — "поэты", и этим отвлечь их от более серьезного дела в сторону бесполезной траты бумаги. А таких, преждевременно выпущенных "в литературу" людей, у нас — не преувели-

чиваю — тысячи, и большинство из них уверено, что уж если их напечатали, то этим они выдвинуты куда-то вперед из среды обыкновенных людей и получили право ни о чем не думать, ничему не учиться. Иными словами: мы фабрикуем “неудачников” и графоманов. Журнал “Литучеба” организован в целях приостановить процесс этой фабрикации, хотя это, разумеется, не главная его цель<sup>2</sup>.

Если я напишу к этому сборнику плохих стихов предисловие, — сотни еще более плохих виршеплетов потребуют от меня: пиши и нам! А те “поэты”, стихи коих будут рецензироваться в “Литучебе”, получают право сказать редколлегии журнала: нас — раздраковниваете, а сами пишете предисловие к стихам, хуже наших<sup>3</sup>.

Но и это не главный мотив, вынуждающий меня высказаться против издания сборника пограничников. Главный — тема. Тема весьма значительная, и она компрометируется, искажается... как искажены уже у нас многие другие очень значительные темы: колхозы, совхозы, электрификация, вредительство, пропаганда безбожия и т.д.

У меня есть намерение составить проект широкой литературно грамотной работы по освещению и эксплуатации этих тем. В течение зимы я его составлю и пушу на обсуждение ЦК.

Прозаический Ваш материал — суховат и дает мне мало. Думаю, будет лучше, если я, с разрешения Вашего, сам побываю на границах и посмотрю, как и что там делается<sup>4</sup>.

За очерки о “Соловках”<sup>5</sup> я, кажется, должен просить извинения у Вас. Но Вы знаете, что все мои заметки — пропали, и я должен был писать по памяти.

Прилагаю вырезку из газеты Гукасова “Возрождение”<sup>6</sup>, хотя Вы, вероятно, читали ее.

А читали Вы статью в римской газете “Stampa” (“Печать”), статью, озаглавленную “Берегись, русский народ, рабочие победили!”. Статьйка интересная. Слышал, что газету закрыли.

Весна здесь исключительно мягкая, работаю очень много, чувствую себя — не плохо. Сплю и вижу: написать пьесу “Вредитель”<sup>7</sup>. Здесь мой земляк, известный Вам художник Федор Богородский, пишет портрет мой и вообще свирепо и удачно работает<sup>8</sup>. Не плохой парень, талантливый.

“Комсом. правда” написала о нем и Ряжском<sup>9</sup>, что они открыли в Риме “танц-класс”, — на кой чорт выдумывают такую чепуху?

Ну — ладно! Крепко жму Вашу руку. Желаю доброго здоровья. Супруге — привет! Мои черти<sup>10</sup> пишут Вам.

Всего лучшего!

*А. Пешков.*

22.1.30

## 8. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<6 февраля 1930 г., Сорренто.>*

Дорогой мой Генрих Георгиевич,—

Ромэн Роллан прислал мне — 26.I.30 — письмо, в котором он, весьма красноречиво поучая Советскую власть справедливости<sup>1</sup>, предложил мне похлопотать о том, чтоб анархиста Франческо Гэцци выпустили из тюрьмы и выслали во Францию.

Я ему ответил — прилагаю выдержку<sup>2</sup>, как видите, в ней ничего обидного для Роллана — не содержится. Но он обиделся и прислал 3.II.30 — прилагаемое коротенькое письмо<sup>3</sup>. Я ответил и на это громогласное и заносчивое письмецо<sup>4</sup>.

Теперь обращаюсь к Вам с вопросом: нельзя ли этого Гэцци выгнать из Союза Советов? Разумеется, сделать это надо<sup>5</sup> — если можно сделать — не ради удовольствия Роллана, а просто для того, чтоб не разводить кислых и грязных слез.

Читали ли Вы то, что пишут в “Руле” и в газете Милюкова о Кутепове?<sup>6</sup> Удивительно забавно пишут, мы тут читаем с величайшим наслаждением!

Крепко жму Вашу лапу, передайте привет мой товарищам.

*А. Пешков.*

6.II.30.

## 9. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<Не ранее 5 июня 1930 г., Сорренто.>*

Дорогой Генрих Георгиевич,—

во-первых, здравствуйте, во-вторых, помогите мне в деле издания популярной “Истории гражданской войны”<sup>1</sup>. П. Крючков познакомит Вас с планом издания<sup>2</sup>.

В-третьих: “Известия” печатают какие-то документы по делу Бейлиса<sup>3</sup>, этим дробится и обесценивается материал глубокого политико-агитационного значения.

В-четвертых: Пастернак просит меня похлопотать о выезде его — с женою и ребенком — за границу. Ответил ему, что хлопотать — не стану, не могу<sup>4</sup>. Прилагаю фельетончик негодя Каменского. Весьма удивлен, что эту вошь выпустили за рубеж<sup>5</sup>.

Пастернак, разумеется, не Каменский, он вполне порядочный человек, но он — безволен. А здесь белоэмигранты весьма заряжены Беседовскими, Дмитриевскими, Соломонами и прочими Азефами<sup>6</sup>. Подняли большой, радостный шум и готовы “укладывать чемоданы”.



Отвратительно чувствую себя, ибо хочется в Москву, а я — переутомился, особенно, сердце. Очень много работаю, впрочем, этим Вас не удивить.

Крепко жму руку.

*А. Пешков.*

## 10. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<18 августа 1930 г., Сорренто.>*

Дорогой Генрих Георгиевич,—

простите, что беспокою!

В прилагаемом письме речь идет об Алексее Алексееве Золотареве, сыне одного из попов города Рыбинска<sup>1</sup>, брате известного антрополога Золотарева Давида<sup>2</sup>.

Алексея Золотарева я знаю — он жил года три на Капри<sup>3</sup>. Это весьма начитанный человек и хороший культурный работник; он организовал в Рыбинске отличную городскую библиотеку из книг, отобранных у помещика и мужиков, которые раскуривали ценнейшие издания. Это — не одна его культурная работа. Человек он туберкулезный, но неутомимый. Политикой он никогда не интересовался, по натуре романтик, мечтатель.

Если он не очень серьезно виноват, нельзя ли его перевести в Архангельск, где он мог бы быть полезен? Или хоть в Кемь? Мне думается, вероятно, влопался в какую-нибудь историю благодаря своей детскости и доверчивости к людям<sup>4</sup>.

Читаю сочинения Беседовских, Дмитриевских, Агабековых<sup>5</sup> и пр. Настроение такое, что хочется морды бить. Ох, как бы хорошо побывать в Москве. Тороплюсь кончить все дела к весне<sup>6</sup>.

А. Б. Халатов<sup>7</sup> послал мне снова кое-какие материалы через Рим, но я до сего дня не получил их.

Затеял пьесу<sup>8</sup>, приеду — буду читать Вам.

Будьте здоровы.

18.VIII.30.

*А. Пешков*

## 11. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<2 ноября 1930 г., Сорренто.>*

Дорогой Генрих Георгиевич!

Приехал Крючков, привез отличные наши фотографии<sup>1</sup> и бодрое, крепкое настроение. Последнее весьма приятно разнообразит кисленькое и мужико-боязливое настроение разнообразных моих корреспондентов и визитеров из Союза Советов.

Рад узнать, что Вы в добром здоровье и что В. Р. Менжинский<sup>2</sup> тоже поздоровел. Пожалуйста, передайте ему мой горя-

чий привет, такой же и всем другим товарищам из ГПУ. Не знаю, уместно ли поздравить Вас, тт., с новой и огромной заслугой перед партией и рабочим классом<sup>3</sup>, я говорю, конечно, об исторической заслуге вскрытия вами еще одного гноиника в дряблом теле “умников”<sup>4</sup>. Вместе с ненавистью к ним возбуждается и гордость Вашей работой и радость тем, что у рабочего класса есть такой зоркий, верный страж его жизни, его интересов.

Не удивлен тем, что Суханов<sup>5</sup>, мальчишка с болезненным самолюбием и психикой авантюриста, оказался на скамье уголовных преступников, но никак не мог представить, что скептицизм Базарова<sup>6</sup> доведет его до той же скамьи. Базарова я очень любил, хотя Владимир Ильич предупреждал меня: из тройки — Базаров — Богданов — Скворцов<sup>7</sup> — первый дальше от нас, чем второй, а третий с ними по недоразумению.

Очень хотелось бы мне приехать на суд<sup>8</sup>, посмотреть на рожи бывших людей, послушать их речи, но боюсь, не хватит сил, да и времени нет, — много работы.

Пьесу о “вредителе”<sup>9</sup> бросил писать, не хватает материала, вредитель выходит у меня ничтожнее того, каков он в действительности. Весною, в Москве<sup>10</sup>, буду просить у Вас материалов!

Теперь — вот что: Ромэн Роллан возобновил переписку со мной, прислав мне письмо с ходатайством за какого-то Лившица<sup>11</sup>. Ходатайство я передал Ек<атерине> Пав<ловне>, думаю, что следовало бы удовлетворить его. Затем я узнал, что Р. Роллан, профессор Аммон, Броше<sup>12</sup> и еще двое-трое из людей, “симпатизирующих” Союзу, собираются весною в Москву. Но “симпатия” Роллана уже отравлена обывательщиной, как Вы увидите из моего письма к нему<sup>13</sup>, копию которого считаю нужным послать Вам. Вместе с этим письмом я послал Роллану материалы из книги Урицкого<sup>14</sup> и наших газет, а также недавно опубликованную “Возрождением” сводку о выступлениях бандитов на Дальнем Востоке<sup>15</sup>; в этой сводке газета Гукасова хвастается тем, что один из организаторов антисоветских выступлений — сельский учитель, бывший офицер, а его помощник — жандарм.

Мне кажется, что Роллан кое-что мог бы сделать в смысле влияния на настроение “общества”, особенно теперь, когда “Пуанкаре-война”<sup>16</sup> откровенно выступил с пропагандой интервенции.

Написал ему и о скотине Шалыпине<sup>17</sup>. Затем: если писатели Шолохов и Артем Веселый возбудят ходатайство о выезде за границу — нельзя ли удовлетворить его? Я не знаю, не встречал их, но очень хотелось бы познакомиться с ними, да и дело есть: они привлечены к работе по “Истории гражданской войны”. О них я пишу и И. В. Сталину<sup>18</sup>.

Ну, дорогой земляк, крепко обнимаю Вас. Берегите себя.

*А. Пешков.*

2.XI.30.

## 12. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

<11 декабря 1930 г., Сорренто.>

Дорогой Генрих Георгиевич!

Петр Петрович говорил Вам о том, что затеяно издание "Истории гражданской войны"<sup>1</sup>. Один из ее томов должен быть посвящен заговорам против Советской власти, начиная с 18-го г., кончая текущим<sup>2</sup>. Это совершенно необходимо, и потому я убедительно прошу Вас или В. Р. Менжинского войти в редакционное ядро издания; его образуют М. Н. Покровский, К. Е. Ворошилов, А. С. Бубнов, т. Гамарник<sup>3</sup>. Участие Ваше в этом деле не может не быть понятно Вам, и если Ваше личное или В. Р. участие почему-нибудь не удобно — все-таки я вас обоих убедительно прошу ввести кого-либо в качестве замов Ваших — тт. Артузова, Прокофьева<sup>4</sup>. Вместе с этим очень прошу Вас подобрать материал по заговорам; обрабатывать литературно материал этот будет лицо, которое мы привлечем к этой работе по соглашению с Вами. Разумеется, если нужно, то можно устроить так, что работать над материалом будут, не вынося его за пределы стен учреждения. Пожалуйста, распорядитесь, чтоб материал был подобран возможно скорее.

Читал показания сукиных детей об организации террора и был крайне поражен<sup>5</sup>. Ведь если б они не были столь подлыми трусами, — они могли бы подстрелить С<тали>на. Да и Вы, как я слышал, гуляете по улицам весьма беззаботно. Гуляете и катаетесь. Странное отношение к жизни, которая, прежде всего, — дело, да и еще какое дело у нас!

Читаю отчет суда<sup>6</sup>. Очень трудно определить сложное чувство, которое вызывает процесс: тут и отвращение к этим людям, и бешенство, и радость, что они в конце концов так ничтожны. Очень хотелось ехать в Москву на суд, посмотреть на раздавленных негодяев. Осадчий. Можно ли было ожидать от него такого предательства после его роли на Шахтинском процессе? Кажется, зимой 28-го года, или 29-го? — он был здесь у меня, сидел часа два и несвойственно ему вяло говорил о скуке в Европе, немножко критиковал "Наши достижения"<sup>7</sup>. И казался таким "советским", что даже несколько неприятно было смотреть на него. Видел я этого человека и раньше, в Москве, в 27 г., в Машковом переулке<sup>8</sup>. Какая сволочь!

Ну, ладно! Так Вы, пожалуйста, не забудьте об "Истории гражданской войны", о подборе материалов по заговорам.

Будьте здоровы! Крепкое рукопожатие.

А. Пешков.

11.XII.30.

### 13. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*<Февраль 1931 г., Москва>*

Дорогой, родной Алексей Максимович!

Ужасно рад, что Вы увидите Мотю<sup>1</sup> — он Вам много расскажет. Писать же мне так же трудно, как Вам читать — т.е. Вам также нет времени читать, как мне писать. Мотя в курсе дела.

Вот и все.

Крепко, крепко обнимаю.

*Ваш Г. Г.*

P.S. А Вы меня совсем забыли? Да? Хоть бы когда-нибудь написали для бодрости моей. А то никто никогда ничего не напишет. Хорошо ли это?

### 14. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*<Март 1931 г., Москва>*

Дорогой Алексей Максимович.

Сидит у меня П. П.<sup>1</sup> Говорим. Вот как хотелось бы повидать Вас и мало-мало поговорить. П. П-чу рассказал мои идеи<sup>2</sup>, зная его, уверен, что точно все передаст. Очень жду Вашего приезда<sup>3</sup>. Вот уж поговорим! Жду с большим нетерпением Вашего ответа — как-то Вы отнесетесь к моему “проекту”. Привет большой — Тимоше, Максусу<sup>4</sup>.

Крепко жму руку.

*Ваш Г.*

### 15. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*Москва, 3/XI-31*

Посылаю Вам, дорогой Алексей Максимович, снимки, не зная, для какой цели<sup>1</sup>, не могу быть уверенным, что посылаю то, что Вы хотите, если не то — сообщите, pošлю другие.

Очень скучаю по Вас. Правда, ведь, когда Вы были<sup>2</sup> — я “изредка” заходил к Вам, а сейчас только работаю, и нервы совсем не так медленно, как можно было бы думать, превращаются в мочалу. Я, правда, не унываю — и как всегда, полон надежд и энтузиазма. А без Вас грустно.

Конечно, я был бы очень рад, если б кто-либо из Сорренто написал мне, но надежд, очевидно, мало. Я сужу хотя бы по тому, что обещанной всеми телеграммы о вашем приезде я так и не получил.

Вы, конечно, понимаете, Алексей Максимович, как мне хочется Вам много, много написать, — и Вы понимаете, как это трудно для меня.

Жду Петра<sup>3</sup>, думаю, что 20/XI приедет.

Пока все. Привет Вам большой. Привет всем.

*Ваш Г.*

## 16. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<8 или 9 ноября 1931 г., Сорренто>  
Генриху. Авербах.*

Очень прошу пришлите почтой штук десять фотографий членов Болшевской колонии<sup>1</sup> помоложе, а также фото фабрики и общежития<sup>2</sup>.

Требуется спешно.

## 17. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*Москва, 10/XI-31*

Дорогой Алексей Максимович!

Хотел снимки послать почтой, но из опыта знаю, что пропадут — решил дольше пройдут, но дойдут в целости, послать через Рим<sup>1</sup>. Я очень прошу, сообщить мне, когда получите.

Вот и 14 годовщина Октября прошла. Был редкий подъем масс. Сотни тысяч народу заполняли Красную площадь.

Было здорово! Уверен, что в мае увидите сами<sup>2</sup>. Работаю много. Ходить мне больше некуда. Как Вы — Алексей Максимович? Может, напишете когда, буду ужасно рад.

Привет всем. Этот маленький пакет, очень прошу, передайте Тимоше<sup>3</sup>. Это — антирелигиозные карты. Я ей обещал, но тогда их не было.

Привет.

*Ваш Г.*

## 18. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<12 ноября 1931 г., Сорренто>*

Дорогой друг и земляк, —

Получил Вашу — с Киршоном и Авербахом — телеграмму<sup>1</sup>, очень тронут! Спасибо за память о древнем писателе, друге детства Нестора Кукольника<sup>2</sup>!

Прибыл я сюда в хорошую погоду<sup>3</sup>, в солнечные дни, лето было засушливое, а теперь выпадают теплые дожди, и все вокруг свежо, зелено и как-будто “весна на дворе”. Сiju,

пишу, а — дверь на балконе открыта, в садах итальянские пейзажи, собирая сливы, песни поют, в воздухе летают на собственных крыльях Муссолини<sup>4</sup> с папой<sup>5</sup> и наследником итальянского престола, пьяные, веселые — красота! Мухи тоже летают, садятся на нос мне, по стеклам очков ползают — очаровательно! А у Вас там некультурная природа заносит Москву и все прочее снегом, печки топите вы — по словам эмигрантской прессы — один раз в неделю, леса — вырубili, вследствие этого Северный полюс уже передвинулся в Олонецкую губернию — не стыдно вам? 14 лет работаете, а природа все еще не организована по-итальянски. И рабочего народа не хватает у вас, а здесь — сколько хочешь рабочих, многие даже собираются от голода помирать<sup>6</sup>.

И бумагу всю истратили на издание сочинений Горького<sup>7</sup>, так что — кризис, барышням не на чем любовные письма писать, и пишут на носовых платках. И вообще ужас! А почему? Федора Дана не читаете, не слушаете<sup>8</sup>. Докладец-то его в Париже, наверное, мимо ушей пропустили. В этом укоризненном тоне я мог бы написать листа три печатных, но некогда: работы — гора, и ежедневно телеграммы из Москвы — даешь статью!<sup>9</sup>

Дорогой мой, — прилагаемый кусок надобно вставить в то место фильма, где поп учит грамоте<sup>10</sup>. Я забыл об этом наказании довольно мучительном, — стоять с поднятыми руками заставляли по три минуты и даже по пяти, пять никто из ребятишек не выдерживал. Обращаю Ваше внимание на интересные заметки Никулина в журнале “30 дней”<sup>11</sup>. Было бы неплохо, если б Вы распорядились снабжать редактора журнала Сейфуллину вырезками из иностранной прессы, которой у Вас, вероятно, много. Сейфуллина — молодец<sup>12</sup>, очень хорошо выправляет этот журнал, до нее отличавшийся пошловатостью.

Весьма огорчен тем, что до сего дня — 12-ое ноября! — не опубликована инструкция по “Истории заводов”, это вызывает хаос в работе<sup>13</sup>. Авербах<sup>14</sup> действует недостаточно энергично, а ведь ему удобнее, чем другим, двинуть дело. Люди прежде всего объединяются на живом деле, а темперамент Леопольда слишком часто вовлекает его в словесные битвы. Спор с “Комсомольской правдой” и выступление “Правды” уже обратили на себя внимание эмигрантской прессы<sup>15</sup>. Разумеется, эмигранты нам “не указ”, однако, логично бы и не давать им поводов для злорадного ликования. Есть разногласия, которые следовало бы анализировать на конференциях, а в прессе печатать лишь выводы из этих разногласий.

Посылаю Вам письмо некоего Шевченко<sup>16</sup>, человека, видимо, очень сумбурного. Но о его работе над скрипками, над изменением тона старых, дешевых, и выработке новых, отличной звучности, якобы не уступающих скрипкам Амати<sup>17</sup> и других старинных мастеров, — я слышал очень много похвал.

Может быть, Вы бы поставили это производство у себя, в одной из колоний?

Неудобно, что в сценариуме нет ни одной женщины. Я ввел жену Оношенко<sup>18</sup>, бывшую уголовную, впоследствии она будет хозяйкой "Малины", воспитательницей Лисицы и Арапа<sup>19</sup>.

"Путевка в жизнь"<sup>20</sup> очень нравится англичанам, ее показывало в Лондоне "О-во друзей России", и она имела огромный успех. Сценарий я напишу в декабре до конца, т.е. до 22 г.

А как Вы думаете, — возможно, чтоб в фильме участвовал Мотя в качестве "фашиста", или невозможно? Я совершенно уверен, что он свою роль сыграл бы отлично.

Как Вы живете, как чувствуете себя? Мы здесь часто вспоминаем Вас. В этот приезд Москва вызвала у меня особенно яркие и хорошие впечатления<sup>21</sup>; в хорошем есть и грустное, но некоторая доля горечи делает острее вкус к жизни.

## 19. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<18 ноября 1931 г. Сорренто>*

Дорогой мой Генрих Григорьевич —

снимки получил 17-го, очень благодарю<sup>1</sup>! Десяточек отобрал и посылаю в Лондон, где издаются рассказы беспризорников с моим предисловием<sup>2</sup>.

Посылаю — курьеза ради — полученное мною письмецо "Крестьянской России"<sup>3</sup>. Действуют! Но мне кажется, что общий тон эмигрантской прессы значительно понизился.

Ваши слова: "нервы измочаливаются медленнее, чем можно было думать", — огорчили и даже несколько возмутили меня. Нехорошим настроением вызваны они, дорогой мой Генрих, с этим настроением нужно бороться, его необходимо преодолеть, оно "не к лицу" такого мужественного человека и стойкого революционера, каким я знаю Вас. Не могу себе представить никаких иных причин — кроме переутомления — которые могли бы выбить Вас из седла. Вы обязаны отдохнуть, привести себя в порядок. Чорт возьми, — как хорошо было бы, если б Вы приехали сюда! Мы бы Вас починили!

Левин — очень хороший, умный врач, я многим обязан ему<sup>4</sup>. Кстати: обтирались бы Вы на ночь одеколоном с водой, и нужно делать легкий, — "поверхностный" — массаж, — это очень хорошо действует на кровообращение, на нервы. Послушайте меня! Я — парнишка смывленный в этих делах.

С завистью читал описание праздника<sup>5</sup>. Когда ж, наконец, я увижу все это? Нехорошая штука старость, друг мой, и — не спешите к ней. Сушая чепуха, что она "умудряет" и "успокаивает" человека — это выдумали лежебоки и дармое-

ды. Не умудряет, ибо старый опыт — в наши дни — не плодородная почва. И не успокаивает, ибо — юношески жадно хочется жить, работать, идти в ногу с массой, которая организуется, как огромный чудотворец-человек.

Ну, довольно “философии”!

Да, Вы изредка посещали Никитскую<sup>6</sup>, и всегда это было приятно для меня. Я к Вам очень “привык”, Вы стали для меня “своим”, и я научился ценить Вас. Я очень люблю людей Вашего типа. Их — немного, кстати сказать. Пожалуйста, передайте сердечный привет В. Р. Менжинскому и другим тт., не забудьте о С. Фирине<sup>7</sup>, которого я, по наущению злокозненного Авербаха, хотел отобрать у Вас. Я еще весною попробую сделать это, потому что Леопольд и др. явно не в силах уже управлять такой огромной организацией, как РАПП. В торговлю Вы отпускаете людей, а для литературы — жалко! Эх, Вы, антилитератор!

Лие Леонидовне<sup>8</sup> — поцелуйте лапку. Интереснейшей умнице — сестре Вашей — кланяюсь. Обнимаю Вас.

*А. Пешков.*

18.XI.31.

## 20. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*Москва, 22/XI, 31.*

Большое спасибо за память.

Ваше письмо — такое теплое, право же, это немало<sup>1</sup>. Я Вам как-то писал, что писать Вам мне очень трудно по многим причинам; одна из них, что не умею — разучился, вторая — в силу целого ряда соображений иногда пишешь не то, что хочешь. Вы гораздо в более выгодном положении, чем я.

Вот еду отдохнуть на целый месяц; конечно, хорошо, что уеду, но неважно в другом отношении. Устал я очень. Особенно последнее время. Так складываются дела.

Есть очень много любопытного — но не для письма, приедете — расскажу.

Был у меня Мотя, поспорили мы с ним насчет сценария<sup>2</sup>, боюсь, что ни черта у него не выйдет, но решили так, что он напишет, соберем весь материал и пошлем Вам. План наметили широкий и, по-моему, здорово выйдет.

Вот как здорово я был рад увидеть снова П. П.<sup>3</sup>. Сидели и “взасос” слушали его повествование. Как здорово я к Вам привязался, вот не знал за собой оных качеств, а если они и были, то забыл о них.

Вот уезжаю, еду туда, куда мне не хочется, и как я завидую чертовски Авербаху, что он едет к Вам, а ведь



человек я не завистливый. Очень хотелось бы повидать Вас всех, вот уж, наверное, отдохнул бы. Еду в Кисловодск, пробуду там недели две, приеду обратно, вот и все. Отпуск у меня месячный.

Вы, говорят, очень хорошо себя чувствуете; я думаю, что это не только от воздуха Sorrento, а и оттого, что нет той сутолоки, тех впечатлений, что у нас. А как мы быстро-быстро живем, и как ярко-ярко горим.

Драка с Авербахом кончилась, набили и тем, и другим<sup>4</sup>, вот приедет — расскажет. Выезжает он 1/XII, будет у Вас числа 5/XII.

Вот видите, дорогой Алексей Максимович, письмишко и получилось пустым. Не нравится оно мне. Напишу из отпуска, будучи не таким усталым, как сейчас. Я как-то здорово сдал в смысле нервной системы и очень постарел. Ведь Вы еще напишете мне, правда?

Крепко обнимаю Вас

Ваш Г.

## 21. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<Конец января 1932 г., Сорренто>*

Дорогой мой друг.

Вот черновик сценария на тему о ликвидации беспризорничества<sup>1</sup>. Я знаю, что в нем, наверное, есть немало излишнего и что многое существенное не отмечено мною. Но я говорил: черновик. Его нужно весьма тщательно разработать совместно с Вами, Мотей<sup>2</sup> и кинорежиссерами. Этим и должны мы заняться в мае<sup>3</sup>.

Вы видите, что последней части материала, данного Погребинским<sup>4</sup>, я не касался, написал только введение к нему в форме чьей-то напутственной речи агентам. Речь — на мой взгляд — необходима, но и она тоже, разумеется, черновик.

Весь материал по сбору беспризорных с улиц и затем по организации колонии мы должны раздраконить тоже совместно с Мотей<sup>5</sup> и режиссерами, один я не могу сладить с ним. Он — слишком густ, и его нужно широко, ярко развернуть. Это дело нескольких часов.

Как Вы живете? Иногда не мешало бы написать мне парочку строчек о бытии Вашем.

Я — работаю и накапливаю здоровье. Скоро буду силен и крепок, как Геркулес. Работаю — много, но и мешает многое. Ионов, человек, на мой взгляд, капризный, болезненно самолюбивый и почти невменяемый, травит Виноградова<sup>6</sup>, единственного человека, который способен хорошо сделать "Историю развития индивидуализма в 19 столетии"<sup>7</sup>. "История граждан-

ской войны” двигается слабо<sup>8</sup>. То же самое и “История заводов”<sup>9</sup>. Все это весьма тревожит.

Желаю Вам здоровья и бодрости духа.

## 22. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*<3 февраля 1932 г., Москва>*

Дорогой Алексей Максимович!

Я Вам очень давно не писал, но не могу себя пересилить — написать, зная, что все это пройдет через почту и уж очень много любопытных в Италии, а писать о том, что я очень чувствую Ваше отсутствие — ну, ведь это можно написать раз, постоянно же — скучно и Вам, и мне.

Сейчас у нас идет конференция<sup>1</sup> — очень оживленная и деловая. Вы это видите по газетам — подъем колоссальный, особенно, с новой пятилеткой — ведь вот как “загвоздили”, а, главное, ведь теперь не только мы, но весь мир знает, что выполним ее. Если, конечно, внешние причины не помешают, а это может случиться. Наглость японцев<sup>2</sup> может их далеко завести, тем более, для меня не подлежит никакому сомнению, что они в заговоре и с поляками, и с французами; если помните, я эти мысли и перспективы войны высказывал Вам перед отъездом<sup>3</sup>. Воевать мы не хотим, но если только нападут, вот наплачутся, и вот как проучим, чтоб впредь не совались. Это — не мое хвастовство — а это знание наших сил и сил противника. Ведь это 32-й год! Опоздали они, а мы поработали и спать было некогда. Настроение у нас у всех бодрое. Вот как много я Вам расскажу, когда приедете, я к Вам “иногда” буду стараться заглянуть.

Конечно, я устаю, а сейчас еще совсем перестал спать, просто, очевидно, нервное переутомление, но неважно. А знаете, Игнатьев<sup>4</sup> сварил трубы, и как здорово, я все это формирую. С нас американцы просили 2 м. руб, а потом отказались продать, а он, дери его горой, уже варит, сейчас подсчитаем рентабельность, и, если выгодно будет, двинем воясю.

Сам-то Ал<ександр>Мих<айлович> — шляпа большая, он так и умрет детски наивным стариком. Насчет резцов<sup>5</sup> дело хуже. В моих бюро дело идет чертовски здорово. Канал Беломорский тоже идет, ведь у меня осталось 350 дней стройки, а иду я сплошными скалами и болотом, нужно построить во что бы то ни стало. И построю. К Вашему приезду думаю основную трассу проложить<sup>6</sup>.

Как Авербах? Правда, ведь Вы изменили свое мнение о нем, я ужасно рад, что Вы при более близком знакомстве с ним изменили свое отношение. Я в этом не ошибся. У него, конечно, много отрицательных сторон. Мы о них с Вами говорили, но парень он способный. Пребывание у Вас ему много дало, много ему надо работать над собой, и работать

систематически, а не так, как до сих пор. Ведь эти “малыши”, поднятые революцией на гребень ее, только сейчас начинают понимать, что багаж у них не совсем полный и что нужно очень много еще работать над собой. У Авербаха слишком много было самоуверенности, самовлюбленности, нетерпения и некоторой доли бахвальства, и вот этот юноша у меня на глазах менялся, ведь мы с Вами почти не расходились в оценке его еще давно, в 29 году. Я был уверен и знал, что партия наша его здорово помнет и выровняет — так оно и вышло. Способный он человек. Да они все (рапповцы) — очень талантливые и способные, работают мало над собой.

Как, Ал<ексей> Макс<имович>, сценарий? Мотю<sup>7</sup> надрал здорово за его творчество. Конечно, ему трудно, а как у Вас, мне бы очень хотелось, чтоб этот сценарий увидел экран<sup>8</sup>. Можно ли надеяться? Вот с каким нетерпением я жду Ваш приезд. А сейчас меня так мучают телефонные звонки, что я все время теряю нить письма; написать, сообщить хочется много, а сосредоточиться не дают. А с другой стороны, такой оказии, как П. П., скоро не будет. О своих личных делах писать не стоит, вот Ида<sup>9</sup> больна, это немного нервирует.

Но, думаю, скоро пройдет.

Крепко целую.

*Ваш Генрих.*

### 23. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*<24 апреля 1932 г., Москва>*

Приветствуем<sup>1</sup>. Целуем.

*Генрих Григорьевич*

*Авербах.*

### 24. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*16/VI-32. <Москва>*

Дорогой Алексей Максимович!

Вот мои маленькие, скорее, технические поправки<sup>1</sup>. Их так немного, читал и снова все переживал. Так ярко все окрашено. Когда я читал — перед мной так же проходили картины прошлого, как перед Ленкой<sup>2</sup>. Вспомнил все свои волнения, сомнения, бессонные ночи. Вот как разволновался.

Вы ведь поймете меня, почему. И вот, оказывается, вышло ведь! Живут воры — становятся и стали прекрасными пролетариями.

Привет. Очень хотелось бы Вас видеть именно сейчас. Но боюсь, что разволную Вас.

Крепко обнимаю.

*Ваш Г.*

*<25 сентября 1932 г., Москва>*

Вы не только наш самый дорогой писатель, один из первых создателей и блестящих представителей пролетарской культуры, замечательный мыслитель — Вы наш очень любимый человек.

Каждый из нас по-разному становился пролетарским революционером, членом большевистской партии, каждый из нас по-разному формировался в борьбе рабочего класса, но в каждом из нас преданность делу освобождения трудящегося человечества от любых и всяческих форм эксплуатации крепла под влиянием Вашего творчества, всех тех волнующих мыслей и радостных чувств, которые будит имя Горького в умах и сердцах миллионов большевиков.

Строительство социализма сейчас на новом высоком и победном подъеме. Как всегда — вновь проверяются люди, вновь каждый в самом себе производит отбор одних качеств и усиливает борьбу против других для того, чтобы быть достойным сыном нашей партии. Это не всегда легко: требования новой обстановки бывают трудным экзаменом — и особенно сейчас, когда мы поставили задачу выкорчевывания корней капитализма в человеческом сознании. И у каждого из нас были и бывают трудные минуты, требующие напряжения воли и сил, внутренней бодрости, — в эти минуты по-настоящему чувствует каждый из нас значение встреч с Вами, значение разговоров с Вами, значение личной связи с Вами.

Мы не привыкли об этом говорить — и об этом трудно писать. Мы знаем, что каждый из нас всегда отдаст свою жизнь за дело партии, но ведь этого мало, — а как лучше, полнее и суровее жить для изменения мира, для ликвидации гнета и пережитков веков мещанского царства и волчьего индивидуализма.

Мы моложе Вас — но мы учимся у Вас оптимистической вере в нового человека, страстному и деятельному отношению к действительности и подлинной чуткости.

Дорогой и милый Алексей Максимович, любовь к Вам и общение с Вами рождает счастье борьбы за новое, ярость против старого и желание быть лучшим работником того дела и той армии, в рядах которой идете Вы, лучший писатель нового человечества, — Вы, как будто пришедший из коммунистического завтра, — Вы, старший и родной товарищ.

25/IX-32.

*Г. Ягода, Леопольд Авербах, В. Киршон,  
Семен Фирин, А. Афиногенов,  
М. Чумандрин, И. Авербах.*

## 26. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*Москва, 15/XI-32.*

Вот пользуюсь оказией<sup>1</sup>, дорогой Алексей Максимович, и хочу написать пару слов. Мне писать, даже с Максом, это не то, что говорить с Вами наедине. Вот как бы мне хотелось именно поговорить с Вами. Уехали-то Вы всего две недели назад<sup>2</sup>, а вот сколько накопилось всего нового. Не знаю, кто как, а я при своем совершенном одиночестве очень сильно чувствую Ваше отсутствие.

Вы уехали 28, а я, приехав из Можайска, нашел выписку выехать немедленно на Кубань — и вот десять дней и ночей летал по степям и станицам кубанским. Казаки — народ крепкий, хитер уж больно — простачком прикидывается<sup>3</sup>. Вот мы и поговорили с ним. Слов нет — умен. Хотел перехитрить, но не вышло. Я очень доволен своей поездкой, чертовски много видел, многое узнал — если б не моя такая усталость, все было бы прекрасно. Как видите, в отпуск пока не иду — все некогда, работы до черта. Думаю, что выдержу — до Вашего приезда, а там обязательно поедем вместе по Волге<sup>4</sup> — вот я и буду ждать. Вы, конечно, как всегда, меня будете ругать — но, правда же, сейчас не стоит — я не в “таких телах”.

Леопольд, по-моему, неплохо себя чувствует, но все переживает — уходы от него, как Чумандрин, Либединский<sup>5</sup>. Саша<sup>6</sup>, конечно, работает, разбивши группу Леопольда, очень активно сколачивает свою, вводя элементы явной клеветы на Леопольда. Я думаю, что Леопольд сам Вам напишет более подробно, чем я.

Неожиданно для всех умерла Надежда Сергеевна<sup>7</sup>. Было очень тяжело пережить.

Вот, дорогой, родной Алексей Максимович, мои новости в письме. Потерплю, когда приедете. Я лично очень, очень скучаю без вас всех.

Я был бы очень рад — если б написали мне пару строк. Ида сегодня уехала в Кисловодск. Она, бедная, так и лежала до сегодняшнего дня — болеет она здорово.

Лапочке “Рыжей”<sup>8</sup> большой привет.

Крепко целую

*Ваш Г.*

## 27. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<Около 20 ноября 1932 г., Сорренто>*

Я бы тоже с наслаждением побеседовал с Вами, мой дорогой землячок, посидел бы часа два в угловой комнате на Никитской<sup>1</sup>. Compliments говорить я не намерен, а скажу нечто от души: хотя Вы — иногда — вздыхаете: “Ох, ус-

тал!" — и хотя для усталости Вы имеете вполне солидные основания, но у меня всегда после беседы с Вами остается такое впечатление: конечно, он устал, это — так, а все-таки есть в этом заявлении об усталости нечто "предварительное", от логики: должен же я, наконец, устать, пора! Иными словами, к действительной и законнейшей усталости Вы добавляете немножко от самовнушения, от сознания, что — пора устать! На самом же деле Вы — человек наименее уставший, чем многие другие, и неистощимость энергии Вашей — изумительна, работу ведете Вы громадную. Читаю "обвинительные" писания высланной англичанки и — смеюсь, экая дуреха!<sup>2</sup>

Я чувствую себя физически неплохо, выкуриваю 5-6 папирос в день вместо 30-ти, очень советую и Вам поступать так же, ибо это весьма хорошо отражается на сердце. А вот настроением не могу похвастать, настроение — тревожное, во снах вижу какие-то квадратные сучковатые хари, они хрюкают: "Рютин, Рютин"<sup>3</sup>. Вообще — чертовщина и кислый мрак.

Внимательно читал все, что печаталось о пленуме Оргбюро<sup>4</sup> и не нахожу, что это весело. "Из всех племен Центральной Африки наиболее туго поддается влияниям эпохи племя литераторов", — сказано в какой-то книге, должно быть, в Библии.

Самое тяжелое и совершенно неожиданное для меня, это — внутренний распад группы Леопольда<sup>5</sup>. Я считал, что эти люди связаны крепко не только единством мнений, но и силою личных симпатий. Ошибся. Очень ошибся. Мало я знал их, некогда было присмотреться. Мне кажется, что Леопольд не должен делать ничего, никаких попыток к "реставрации" отношений, судя по всему — попытки эти будут безуспешны и зря отнимут время. Он должен отдать себя всего исключительно и только литературе как критик и как организатор.

Киршон и Афиногенов пишут резко отрицательно о выходе Либединского и глупости Чумандрина<sup>6</sup>. Ну — достаточно! Писать обо всем этом — не очень приятно. Приехал Максим<sup>7</sup>, привез новости — тоже весьма "неожиданные", скромно говоря.

Ида — в Кисловодске, почему? Снова печень? Земляк, — берегите себя! Не ездите на машине по 200 км в час, надо жалеть машину, она казенная.

Обнимаю крепко

*А. Пешков*

Да — вот что еще: Андрей Сулима пишет<sup>8</sup>: "Попадет мне от стариков, которые не могут примириться с тем, что у меня "хватило глупости" уехать из "райской Италии" в Союз. Молодежь отлично втягивает меня в поток жизни, разумеется — я ударник!"

Мне кажется, что парень этот зря тратит время и силы, работая у станка и посещая вечерние курсы по судостроению. На курсах этих ему тоже нечего делать, они существуют

второй год, есть только *второй* курс, а Сулима прослушал в Неаполе уже три или четыре. Он не хочет бросать работу на заводе, но ему нужно дать разрешение сдать экстерном за четвертый курс и поступить сразу на пятый. В Италии ему оставался год до окончания, а здесь у нас приходится сидеть студентом 4 года! Нелепо. Парень он умный, талантливый. И надо бы помочь ему перевести из Италии братишку 8 лет и сестренку 6-и.

П. П.<sup>9</sup> поговорит с Вами об этом. Он тут у нас похворал, П. П. Боялся — не тиф ли?

Всего доброго!

А. П.

## 28. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<25 ноября 1932 г., Сорренто>*

Дорогой Генрих Григорьевич,

я опоздал поздравить товарищей Государственного Политического управления<sup>1</sup>. Но Вы знаете, как я отношусь к работе товарищей, как высоко ценю их героизм, изумляющий своим бесстрашием и в то же время изумляющий скромностью своей. Ближе время, когда больной и лживый язык врагов онемееет, и все, оклеветанное ими, — будет забыто, как забываются в ясный день ночные тени. Тогда простым и честным языком история и художники слова расскажут о беззаветном служении целям нашего героического пролетариата той группы героев его, которая скрывается под тремя буквами ГПУ. И будет рассказано о небывалом, сказочно успешном опыте перевоспитания социально опасных в условиях свободного общественно полезного труда, — опыте, который имеет неоспоримое мировое значение и возможен только в стране чудовишно талантливого народа, неутомимо работающего на благо трудящихся всей земли.

Крепко жму руки всех лично знакомых мне товарищей и — мой горячий привет всем работникам ГПУ и Погранохраны.

25.XI.32.

М. Горький

## 29. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*Москва, 25/XII-32 г.*

Дорогой Алексей Максимович!

Сразу хочется написать Вам все, — а когда начинаешь писать, то совсем ничего не выходит. Это всегда так с такими "писателями", как я. Вот уж чего не умею, так это писать и

“ораторствовать”. Давайте обождем до Вашего приезда<sup>1</sup>. Но зато — уж когда приедете — 10 дней подряд буду рассказывать и то, наверно, всего не расскажу, вот как накопилось всего много. По-моему, еще месяца 4, и мы увидимся, если я буду еще на ногах. Желание Вас видеть громадное, а порой прямо необходимое. Вы же знаете, как я одинок.

Работаю очень много, даже очень — и не безрезультатно. Много, очень много еще осталось всякой дряни в стране, думаю, что вычистим до корней и очень быстро.

Если хотите меня хоть немного отвлечь от всех забот, напишите пару строк, рад буду бесконечно. Крепко Вас обнимаю и целую. Так же горячо целую Лапочку<sup>2</sup> — не забудьте это сделать, а то вы все “колотите” ее, целовать некому.

*Ваш Г.*

### 30. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<Около 10 января 1933 г., Сорренто>*

В прошлом году мне, дорогой друг, рассказывали о “карандашах”, с которыми являются к нам из-за рубежа сукины дети террористической масти. Я этому поверил, ибо верую в безграничные подлости человечьи так же, как и в безграничные талантливости, поверил — и не ошибся. Прилагаю вырезку из “Возрождения”, органа исключительно подлого, глубоко изучившего подлость и деятельно пропагандирующего ее. На мой взгляд, “Возрождение” — “проговорилось”, заявив, что, “карандаши” существуют, и дает понять, что оно знает, для чего они сделаны<sup>1</sup>.

Вы представить не можете, какое холодное бешенство вызывают у меня вот эдакие статейки, как прилагаемая. А за последнее время их становится все больше<sup>2</sup>, и причина роста этих пакостей, конечно, отчаяние, но — все-таки — пакость есть пакость.

О том, как здесь живут, расскажет податель сего<sup>3</sup>. Пробовал удержать его здесь — не удалось, упрям. А ему следовало бы привести себя в порядок.

Мощную речуху преподнес И. В. пленуму и миру. Замечательная речь!<sup>4</sup>

Жму руку.

До свидания!

*А. Пешков.*

### 31. ЯГОДА — ГОРЬКОМУ

*Москва, 18/III-33.*

Дня два тому назад зашла Е. П.<sup>1</sup>, и только тогда сообразил, что зима уже прошла, что Вас уже нет, родной Алексей



Максимович, целых пять месяцев, и что через 7 дней Вас можно приветствовать с 65-ю годочками<sup>2</sup>.

Бурная зима прошла, дорогой Алексей Максимович,— в этой борьбе я чувствую себя сейчас, как солдат на передовых линиях. Я, как цепной пес, лежу у ворот республики и перегрызаю горло всем, кто поднимет руку на спокойствие Союза.

Враги как-то сразу вылезли из всех щелей, и фронт борьбы расширился — как никогда. Знаете ли, Алексей Максимович, какая все-таки гордость обуревает, когда знаешь и веришь в силу партии, и какая громадная сила партии, когда она устремляется лавой на какую-либо крепость; прибавьте к этому такое руководство миллионной партией, таким совершенно исключительным вождем, как Сталин.

Правда, есть для чего жить, а, главное, есть, за что бороться. Я очень устал, но нервы так напряжены, что не замечаешь усталости.

Сейчас, по-моему, кулака доби́ли<sup>3</sup>, а мужичок понял, понял крепко, что если сеять не будет, если работать не будет, умрет, а на контру надежды никакой не осталось. Перелом в деревне большой, и я думаю, что повторения того, что было, больше не будет. Вы подумайте, Алексей Максимович, ведь борьба идет от правых троцкистов до махровых контрреволюционеров. Ведь троцкисты докатились до прямого вредительства, до прямой диверсии.

Троцкист Иоффе<sup>4</sup> (инженер) взрывает и уничтожает единственный у нас открытый электроинститут. Троцкисты в депо Верхнеудинска бьют и уничтожают паровозы и останавливают движение. Правые — Слепков, Астров, Марецкий, Цейтлин (секр. Бухарина)<sup>5</sup> устраивают правую конференцию — обсуждают план борьбы с нами — одновременно заговор в сельском хозяйстве и т.д. и т.д. Вот фронт борьбы,— а я сейчас почти один. Вяч<слав> Руд<ольфович> болен<sup>6</sup>, Прокофьев болен.

Пока держусь. Я так мало сплю, что иногда засыпаю за столом. Ну это не так уж важно. Жаль, что я уж очень постарел за этот год.

Вот приедете, расскажу Вам так много, что не один вечер просидим. Уверен, что к Вашему приезду атмосферу расчистим, как следует. Приезжайте скорее — правда же! Я очень хотел бы Вас повидать. Вы ведь совсем, очевидно, решили, что меня уже нет, ну хоть бы маленькую “писульку” написали.

Не знаю, Ал<ексей> Мак<симович>, но мне почему-то кажется, что Вы на что-то сердитесь на меня. Если да, то напишите прямо. Я отчитаюсь во всем, если что есть, но я-то думаю, что не в чем.

Крепко обнимаю Вас и целую.

*Ваш Г.*

Привет Тимоше, Макс и Рыжей Лапе<sup>7</sup>.

## 32. Г. ЯГОДА, П. КРЮЧКОВ, Л. АВЕРБАХ — ГОРЬКОМУ

*<27 мая 1933 г., Москва>*

Горячо приветствуем, крепко целуем. Считаем, однако, день рождения соответственно обстановке перенесенным к Вашему приезду.

*Генрих, Крючков, Авербах.*

## 33. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<8 ноября 1934 г., Тессели>*

Дорогой Генрих Григорьевич!

В работе над “Историей гражданской войны” мы пришли к такому критическому моменту, где без Вашей помощи двигаться дальше нельзя. Нам нужен целый ряд материалов из истории гражданской войны, который отложился у Вас<sup>1</sup>. Без этих материалов мы не можем правильно ориентировать своих авторов, а без этого написание сколько-нибудь полной истории гражданской войны — невозможно. Очень прошу Вас принять тов. Минца<sup>2</sup> и поговорить с ним о возможности использования нужных нам материалов. Само собой разумеется, что форму осмотра материалов, возможность использования того или иного документа и т.п. — наметите Вы сами.

Я тем охотнее обращаюсь к Вам с этой просьбой, что по указанию тов. Сталина<sup>3</sup> “История гражданской войны” должна быть и историей ЧК в борьбе с контрреволюцией.

Крепко жму руку в полной надежде, что у Вас все обстоит хорошо.

*М. Горький*

## 34. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<29 июля 1935 г., Горки>*

Дорогой Генрих Григорьевич —

вот копия одного из писем, которые получает Роллан, возвратясь из Москвы<sup>1</sup>:

“Международный комитет против антипролетарских преследований в России”

Дом художников. Гранд-Плас, Брюссель

Гражданин Ромен Роллан.

Мы узнаем о Вашем пребывании в Москве. Мы пользуемся этим, чтобы напомнить Вам, что волна антипролетарских преследований, начавшаяся после убийства Кирова<sup>2</sup>, больше, чем когда-либо, продолжает делать жертвы.

Не только писатель Виктор Серж<sup>3</sup>, человек, которого Вы всегда защищали, остается приговоренным к месту своей высылки, и сына его заставляют отказаться от отца под угрозой быть выставленным из школы, но только что были вынесены многочисленные приговоры против антифашистских беженцев, которые наивно поверили в гостеприимство русского государства: Гаччи Отелло, Гуернашелли (или Гуернаскелли), Галлигарис.

Мы надеемся, что, пребывая верным профессиональным чувствам человечности и братства, которые Вас воодушевляют, Вы и не преминете посетить Виктора Сержа, и что следуя духу Октябрьской революции, Вы найдете в себе мужество энергично выступить перед правительством Вашего друга И. Сталина, чтобы приостановить все эти преследования.

Между тем приветствуем Вас, гражданин Р. Р.

Международный Комитет против антипролетарских преследований в России.

Подпись: Модэ."

Может быть Вы, действительно, найдете возможным выгнать Кибальчица из Союза и возвратить ему рукопись его? Я, разумеется, ничего не советую, но мне кажется, что — так или иначе — следовало бы уничтожить и этот жалкий повод для инсинуаций против Союза со стороны бездельников и негодяев, которым, к сожалению, кто-то верит.

Сердечно приветствую. Очень прошу — ответьте!

М. Горький

29.VII.35.

### 35. ГОРЬКИЙ — ЯГОДЕ

*<Начало марта (до 7) 1936 г., Тессели.>*

Дорогой Генрих Григорьевич —

весьма прошу Вас обратить внимание на письмо Софьи Останкович по делу Попова<sup>1</sup>.

Лично мне кажется, что выстрел был случайный, а не преднамеренный.

Если формальные препятствия законников совершенно неодолимы, может быть Попова можно перевести на более легкую работу? А впоследствии, при удобном случае, — реабилитировать?

Будьте здоровы! Иде Леонидовне — привет.

М. Горький.

Снова приходится говорить о Викторе Серж!

В свое время Вы сказали мне, что Серж — свободен, но не едет за границу потому, что Франция не дает ему визу. Я сообщил об этом Роллану.

На днях получено письмо его жены<sup>2</sup>: виза Сержу дана Бельгией, но из Союза его не выпускают, и “левые” — анархисты, троцкисты, и т.д. — снова подняли шум, особенно неуместный и вредный в эти дни<sup>3</sup>.

Вопрос о Серже, наверное, поднимет и Мальро, который скоро явится к нам<sup>4</sup> и с которым мне придется разговоры разговаривать на тему о необходимости возбуждения симпатии французских интеллигентов к Союзу.

Очень прошу Вас, “сообразите эти обстоятельства”.

*М. Горький.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

### 1

<sup>1</sup> Письмо не разыскано. Пушкинский Дом — Институт русской литературы РАН в С. —Петербурге.

<sup>2</sup> Писатель В. В. Бианки (1894-1959), автор книг “Лесная газета на каждый год”, “Лесные были и небылицы” и др. 29 апреля 1927 г. М. М. Пришвин писал Горькому: “Вот еще узнал от Маршака в Ленинграде, что за какое-то старое офицерство томится в ссылке в Уральске даровитый натуралист и детский писатель Бьянки. Я написал ему, он в ответ прислал мне множество своих книжек для детей о зверях, отличные книжки! Этот Бьянки клянется мне в письме, что он далек от политики, как не знаю кто, а между тем ему не разрешают выйти с дробовиком за черту города — это натуралисту-то в Уральске, такому-то работнику!” (АГ, КГп-61-6-17).

<sup>3</sup> В судьбе Бианки активное участие приняли С. Я. Маршак и М. М. Пришвин. По их просьбе Горький начал хлопоты, которые увенчались освобождением писателя.

<sup>4</sup> Письмо не разыскано. Личность не установлена.

<sup>5</sup> См. об этом в статьях Горького “Человек, уши которого заткнуты ватой” (1930) и “О безответственных людях и о детской литературе” (1930).

### 2

Датируется по письму Горького А. А. Семенову от 20 января 1929 г. с упоминанием о получении письма Семенова из Якутска, в котором сообщалось о лишении Семеновых гражданских прав (Якутские друзья А. М. Горького. Якутск, 1988. С. 83, 321).

<sup>1</sup> Семенов А. А. (1882-1938), общественный деятель, исследователь Якутии, предприниматель и финансист, в 1922-1923 гг. — народный комиссар финансов и член президиума Совнаркома Якутской АССР, был репрессирован, посмертно реабилитирован.

<sup>2</sup> Семенова Н. П. (урожд. Угловская, 1888-1938) — жена А. А. Семенова, служила сестрой-санитаркой, бойцом-пулеметчиком в 16 особом отряде V Сибармии, была неизменной помощницей А. А. Семенова во всех его начинаниях, в 20-30-х годах работала в Госиздате, в редакции журнала “Советская Азия”, в Комсевеопути и др. учреждениях; вместе с мужем была репрессирована, посмертно реабилитирована. См. о Семеновых очерк Горького “О единице” (М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 20. М., 1974. С. 488-495).

<sup>3</sup> 12 декабря 1928 г. А. А. Семенов сообщил Горькому: “С моей жизнью произошел опять интересный казус. Рудники перешли скоропалительно на казну до окончания срока аренды, а я, как бывший “предприниматель”,

теперь лишен голоса... Теперь меня обидело лишение прав Наташи, которая со школьной скамьи, с 1906 года, имеет самостоятельный заработок" (Якутские друзья А. М. Горького. С. 132). После вмешательства Горького права Семеновым были возвращены.

<sup>4</sup> В статье "О единице" Горький писал об Упрыжкине и Браиловском: "Оба — уголовные. Нижегородец, кажется, был сослан за кошунство и богохульство, Браиловский — не помню за что. Втроем они начинают развивать культурную работу в Якутске... Упрыжкин — декоратор, плотник и вообще человек "на все руки", Браиловский — суфлер..." (М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 489).

<sup>5</sup> Имеются в виду А. И. Рыков, Ф. Э. Дзержинский, А. С. Енукидзе и др. (см.: Якутские друзья А. М. Горького. С. 44-59).

<sup>6</sup> А. А. Семенов и Н. П. Семенова познакомились с Горьким на Капри 5(18) марта 1912 г., переписывались с ним с 1912 по 1936 гг. (см.: Там же. С. 78-171).

### 3

Датируется предположительно: по времени посещения Горьким юбилейного вечера, посвященного 10-летию советской книги, где он виделся с Л. Л. Авербахом (См.: На вечере советской книги. //Правда, 1929, № 123, 1 июня).

<sup>1</sup> О каких книгах идет речь, не установлено.

<sup>2</sup> Л. Л. Авербах.

### 4

Датируется по времени пребывания Горького в гостинице "Европейской" (Ленинград) и по содержанию.

<sup>1</sup> Речь идет о поездке Горького на Соловки и в Мурманск, которая продолжалась с 20 по 26 июня 1929 года. Писатель рассказал о ней в IV и V очерках цикла "По Союзу Советов" и в очерке "На краю земли" (Горький М. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 191-251).

<sup>2</sup> См. ст. "Приехал Максим Горький" (Ленинградская правда, 1929, № 145, 28 июня).

<sup>3</sup> Погребинский Матвей Самойлович (1895-1937), начальник ОГПУ нижегородской области, организатор трудовых коммун ОГПУ, автор книги "Трудовая коммуна ОГПУ" (1928), покончил жизнь самоубийством, оставив письмо И. В. Сталину, в котором говорилось: "Одной рукой я превращал уголовников в честнейших людей, а другой был вынужден, подчиняясь партийной дисциплине, навешивать ярлык уголовников на благороднейших революционных деятелей нашей страны" (Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. СПб., 1991. С. 196). Погребинский, сопровождая Горького в поездке на Соловки, отбирал среди уголовных преступников молодежь, которая была переведена на материк в Болшевскую коммуну ОГПУ (см. об этом в очерке Горького "Соловки". // М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 211-213).

### 5

<sup>1</sup> Могилянский М. М. (1873-1944), украинский писатель и переводчик, подвергался преследованиям как "сепаратист" и "буржуазный националист".

<sup>2</sup> Коцюбинский М. М. (1864-1913), украинский писатель-демократ. См. о нем очерк Горького "М. М. Коцюбинский" (М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 11).

<sup>3</sup> Ходатайство не разыскано. О содержании его можно судить по письмам М. М. Могилянского Горькому, в которых он просил защитить его от травли в печати и на работе в Академии наук (АГ, КГ-уч-8-10-3-7).

- <sup>1</sup> Речь идет о материалах, необходимых Горькому для написания очерка "Соловки", часть которого была опубликована в "Известиях" (1929, № 147. 1 июля). Затем работа затормозилась до конца декабря 1929 г. (см. письмо П. П. Крючкова Горькому от 25 декабря 1929 г. // АГ. КГП-21а-1-226).
- <sup>2</sup> Крючков П. П. (1889-1938) — издательский работник, уполномоченный советского торгпредства в Берлине, сотрудник обществ "Книга", "Международная книга", Госиздата, секретарь Горького. После смерти Горького был обвинен в его убийстве, осужден на процессе 1938 г. и расстрелян.
- <sup>3</sup> См. письмо 7 и прим. Сборник в свет не вышел.
- <sup>4</sup> Тимоша — домашнее прозвище невестки Горького Н. А. Пешковой.
- <sup>5</sup> М. А. Пешков — сын Горького.
- <sup>6</sup> П. П. Крючков в декабре 1929 г. вернулся из Сорренто. А. М. Горький работал в это время над эпопеей "Жизнь Клима Самгина", заканчивая вторую редакцию третьей части, писал очерки из цикла "По Союзу Советов", статьи "Хорошая книга", "Ответ", "О сказках" и др.
- <sup>7</sup> Возможно, речь идет о замысле пьесы о "вредителях" — "Сомов и другие", работа над которой началась в 1930 г.
- <sup>8</sup> Ида Леонидовна — жена Ягоды, сестра Л. Л. Авербаха.

- <sup>1</sup> Корреспонденция Горького, направляемая в Сорренто, попадала вначале в советское полпредство в Риме, что неоднократно вызывало осложнения в переписке. Полпредом СССР в Италии был в это время Д. И. Курский (1874-1932).
- <sup>2</sup> Журнал "Литературная учеба", издававшийся в 1930-1941 гг. по инициативе М. Горького, был предназначен "в помощь творческой работе начинающего рабочего и крестьянского писателя, рабкора, селькора, начинающего критика и рабочего рецензента" (Правда, 1930, № 15. 15 января).
- <sup>3</sup> В письме к А. Д. Камегулову 9 января 1930 г. Горький дал анализ помещенных в "Литературной учебе" статей начинающих поэтов Н. Тихонова ("На опасных путях") и А. Горелова ("У порога литературы") (Архив А. М. Горького. Т. 10. Кн. 2. С. 263-264).
- <sup>4</sup> Горький приехал в СССР 14 мая 1931 г. и прожил до 18 октября. Поездка к пограничникам не состоялась.
- <sup>5</sup> Речь идет об очерках из цикла "По Союзу Советов", опубликованных в журнале "Наши достижения" (1929, № 5 и 6, сентябрь — октябрь и ноябрь — декабрь).
- <sup>6</sup> "Возрождение" — эмигрантская газета, издававшаяся в Париже А. О. Гукасовым с 1925 до 1940 г.
- <sup>7</sup> "Сомов и другие". Пьеса была закончена в 1931 г., однако не издавалась и не ставилась на сцене при жизни Горького.
- <sup>8</sup> Художник Ф. С. Богородский (1895-1959) гостил у Горького в Сорренто с декабря 1929 г. по май 1930 г. Он вспоминал: "Учитывая непомерную занятость Алексея Максимовича, я скромно попросил его позировать по вечерам после ужина... Алексей Максимович сидел 10 вечеров, примерно по полтора часа, и рассказывал, рассказывал без конца" (Ф. Богородский. Автобиография. М., 1938. С. 26).
- <sup>9</sup> Г. Г. Рязский (1895-1952), художник, иллюстратор альманаха "Год XVI".
- <sup>10</sup> Речь идет о М. А. и Н. А. Пешковых.

- <sup>1</sup> В письме от 26 января 1930 г. Роллан сообщил Горькому об аресте итальянского анархиста Франческо Гэцци (род. 1894) и уверял, что

вмешательство Горького послужит не только интересам СССР, но и человечества. Он писал: "Представьте себе, что Гэцци умрет в тюрьме — эта смерть будет иметь самые тяжелые последствия. Она окончательно отдалит от СССР горстку революционно настроенных французских интеллигентов, которые еще остались ему верны" ("Cahier Romain Rolland", v.28, Paris, 1991. P. 205).

- <sup>2</sup> Горький ответил 30 января 1930 г.: "О Франческе Гэцци напишу в Москву, но должен сообщить Вам, что не очень надеюсь на успех, если Гэцци — анархист-индивидуалист и занимался пропагандой теории этой фракции анархистов" (Там же).
- <sup>3</sup> 3 февраля 1930 г. Роллан высказал недоумение, что многочисленные просьбы по поводу Ф. Гэцци остаются без ответа, и воскликнул: "Я — независимый, которого никогда не беспокоило, нравится он или не нравится, но который видит и который говорит беспристрастно то, что он видит и предвидит. Я не переставал защищать СССР во Франции. Так пусть же меня не ограничивают молчанием, меня и моих друзей!" (Там же. P. 207). Письмо было переведено Горькому М. А. Пешковым не очень точно.
- <sup>4</sup> 4 или 5 февраля 1930 г. Горький ответил: "...я тоже умею говорить беспристрастно, но только по адресу врагов Советской власти..." (АГ. ПГин-60-6-172).
- <sup>5</sup> Фр. Гэцци был арестован в СССР в 1929 г. вместе с другими анархистами (см.: Знамя борьбы. Берлин, 1930, № 27-28, январь. С. 26). После писем Роллана Горький написал о нем Ягоде и Сталину, отправив свои просьбы через П. П. Крючкова. 5 марта 1930 г. Крючков известил писателя, что письма получены, однако "Г. Г. просил передать Вам, что выпустить Гэцци абсолютно невозможно". (АГ, КГп-41а-1-91). В начале 1930 г. Гэцци был выслан в Суздаль сроком на три года. О деле Гэцци см. в кн. "J.Perus. Romain Rolland et Maxime Gorki, Paris, 1968, p.235-241.
- <sup>6</sup> Председатель "Русского общевоинского Союза" генерал А. П. Кутепов (1882-1930) пропал 26 января 1930 г. в Париже. В его исчезновении парижская газета "Последние новости" (ред. П. Н. Милюков) и берлинская газета "Руль" не без основания обвинили советских чекистов. В течение нескольких месяцев в этих газетах публиковались серии статей об агентах ГПУ в Европе, о летучем отряде чекистов, "советской бацилле", разлагающей "Русский общевоинский Союз" и пр. (Руль, 1930, № 2794, 4 февраля; Последние новости, 1930, № 3265-3267, 1-3 марта и др.).

9

Датируется по времени публикации фельетона А. П. Каменского "Демьян Бедный и бедный Некрасов" (Руль, 1930, № 2893, 4 июня).

- <sup>1</sup> 10 июля 1930 г. на заседании правления Госиздата обсуждалось предложение Горького об издании многотомной "Истории гражданской войны в СССР" для массового читателя. Издание готовилось с лета 1930 г., однако, при жизни Горького вышел только первый том (М., 1935).
- <sup>2</sup> По плану, разработанному Горьким, в редакцию должны были войти видные политические и общественные деятели, историки и писатели. Постановление ЦК ВКП(б) об издании книг было принято 30 июля 1931 г. (см.: Архив А. М. Горького. Т. XIV. С. 157-158).
- <sup>3</sup> Имеется в виду судебный процесс по делу Менделя Бейлиса (1873-1934), ложно обвиненного в убийстве "с ритуальной целью" христианского мальчика Андрея Ющинского, который проходил в Киеве с 25 сентября (8 октября) по 28 октября (10 ноября) 1913 г. Процесс был использован черносотенными кругами для пропаганды антисемитизма. В 30-х годах в связи с усилением антисемитских настроений материалы о деле Бейлиса вновь появились в советской прессе. См.: Тагер А. С. Царская Россия и

дело Бейлиса (к истории антисемитизма). Исследования по неопубликованным архивным делам. Предисл. А. Луначарского. М., 1933.

- <sup>4</sup> Б. Л. Пастернак дважды писал Горькому, высказывая обиду, что ему отказывают в выезде. В июне 1930 г. Горький ответил: "Просьбу Вашу я не исполню и очень советую Вам не ходатайствовать о выезде за границу, — подождите! Дело в том, что недавно выехал сюда Анатолий Каменский и сейчас он пишет гнуснейшие статейки в "Руль", читает пошлейшие доклады ... Всегда было так, что за поступки негодаев расплачивались приличные люди, вот и для Вас наступила эта очередь". (Известия ОЛЯ; 1986, № 3, С. 178.).
- <sup>5</sup> Каменский А. П. (1876-1941), писатель, после 1917 г. эмигрант, в 1924 г. вернулся в СССР, летом 1930 г. вновь выехал за границу, в 1937 г. после возвращения в СССР был арестован, умер в заключении. Речь идет о фельетоне "Демьян Бедный и бедный Некрасов (Страничка советского литературоведения)" (Руль, 1930, № 2893, 4 июня).
- <sup>6</sup> Беседовский Г. З., бывший советник советского посольства в Париже, имя которого долгое время было сенсационным после его бегства из СССР в сентябре 1929 г. Дмитриевский С. Д. — эмигрант, автор "Открытого письма к Максиму Горькому" (Стокгольм, 1930), в котором он упрекал писателя в оправдании "бессудных казней". Имеются в виду статьи С. Дмитриевского "Моя исповедь" (Руль, 1930, №№ 2891 и 2897, 1 и 8 июня). Соломон Г. А. — бывший секретарь советского посольства в Берлине, автор книг "Среди красных вождей" (Париж, 1930) и "Ленин и его семья" (Париж, 1931). Азеф Е. Ф. (1869-1918), провокатор, член ЦК партии эсеров, был разоблачен В. Л. Бурцевым в 1908 г.

10

- <sup>1</sup> К письму Горького приложены выписки из писем А. А. Золотарева и "Справка", подписанная помощником начальника 5 отдела ОГПУ Ю. Садовским, в которой со ссылкой на Постановление Особого Сопровождающего от 23 марта 1930 г. сообщается, что А. А. Золотарев выслан в Северный край сроком на 3 года. Писателю А. А. Золотареву (1879-1950), автору повестей "На чужой стороне", "В старой Лавре", "Во едину от суббот" и др., вменялось в вину создание "антисоветски настроенной" группы интеллигенции, работавшей в Рыбинском краеведческом обществе.
- <sup>2</sup> Д. А. Золотарев, научный сотрудник Академии наук СССР, обвинялся в связи с монархической организацией "Всенародный союз борьбы за возрождение Свободной России", якобы возглавляемой академиком С. Ф. Платоновым.
- <sup>3</sup> А. А. Золотарев жил на Капри в 1911-1913 гг., часто бывал у Горького, который внимательно следил за его творчеством (см. воспоминания А. А. Золотарева "Горький — каприец", хранящиеся в Архиве А. М. Горького).
- <sup>4</sup> Из писем Золотарева из деревни Усть-Ваенга в 200 км от Архангельска видно, что административная ссылка, которую он отбывал на Северной Двине, угрожала его жизни: обострился туберкулезный процесс, отсутствие продуктов и денег привело к крайнему истощению. Благодаря вмешательству Горького А. А. Золотареву стали передавать посылки, вскоре его перевели в Архангельск (АГ, КГп-29-2-60).
- <sup>5</sup> О Беседовском и Дмитриевском см. прим. 6 к письму 9. Агабеков Г. С., бывший начальник восточного сектора иностранного отдела ОГПУ, резидент ОГПУ, покинувший СССР и ставший невозвращенцем, автор книги "Чека за работой" (Берлин, "Стрела", 1931) (см.: Возрождение, 1930, № 1973, 27 октября).
- <sup>6</sup> Горький приехал в СССР 3 мая 1931 г., весь 1930 г. он провел в Сорренто.
- <sup>7</sup> Халатов А. Б. (1894-1938), партийный и государственный деятель, председатель ЦЕКУБУ, издательский работник, директор Госиздата. Речь идет о материалах процесса "Промпартии" (см. прим. 3 к письму 11).



- <sup>1</sup> Фотографии были сделаны во время поездки Горького по СССР в 1929 г., в том числе, на Соловках.
- <sup>2</sup> В. Р. Менжинский (1874-1934) — с 1926 г. председатель ОГПУ.
- <sup>3</sup> Речь идет о готовящемся процессе "Промпартии", который проходил в Москве с 25 ноября по 7 декабря 1930 г. Под давлением следствия обвиняемые Л. К. Рамзин, И. А. Калинин, В. А. Ларичев, А. А. Федотов и др. вынуждены были признаться во "вредительстве" и связях с зарубежными буржуазными кругами (см. Крыленко Н. В. Обвинительные речи по наиболее крупным процессам. М., 1937). Процесс был сфабрикован в ОГПУ. С материалами процесса Горького познакомил приехавший из Москвы Крючков.
- <sup>4</sup> Статья Горького "Об умниках" (1930) направлена против "всемирного мечанина", который препятствует строительству новой жизни в СССР. Называя "умниками" тех, кто занят "иезуитски тщательным подсчетом всяческих недостатков, ошибок и прорывов", писатель высмеивал и русских эмигрантов, которые смотрят "в подворотню и щели ворот новой истории" (М. Горький. Полн. собр. соч. т.25. С. 210).
- <sup>5</sup> Суханов (наст. фам. Н. Н. Гиммер, 1882-1940), меньшевик, экономист и публицист, автор многотомного труда "Записки о революции" (Берлин, 1922-1923). Был обвиняемым на процессе меньшевистского "Союзного бюро".
- <sup>6</sup> Базаров (наст. фам. Руднев В. А., 1874-1939), социал-демократ, экономист и философ, переводчик работ К. Маркса и Ф. Энгельса. После революции 1905-1907 гг. входил во фракционную группу "Вперед", возглавляемую А. А. Богдановым, которая активно выступала против Ленина.
- <sup>7</sup> Скворцов (И. И. Скворцов-Степанов, 1870-1928), публицист и экономист, переводчик "Капитала" К. Маркса, автор "Курса политической экономии" (совместно с А. А. Богдановым), большевик, с 1925 г. — редактор "Известий", с 1927 г. — зам. главного редактора "Правды".
- <sup>8</sup> Суд над меньшевиками состоялся в Москве с 1 по 9 марта 1931 г. Обвиняемых — 14 активных членов "Союзного бюро" ЦК РСДРП(м) — фактически судили за принадлежность к партии меньшевиков.
- <sup>9</sup> "Сомов и другие".
- <sup>10</sup> Горький приехал в Москву 14 мая 1931 г.
- <sup>11</sup> См. письмо Р. Роллана от 22 октября 1930 г. с просьбой о содействии в освобождении родственника скульптора Ж. Липшица (1891-1923) Андрея Шимкевича (Cahier Romain Rolland; v.28, Paris, p.209).
- <sup>12</sup> Р. Роллан с женой М. П. Кудашевой приехали в Москву только в июне 1935 г. Амон Огюстен Фредерик (1862-1945), французский литератор и переводчик, автор статьи "Из чего будет сделано завтра" (Шаррю Руж, 1932, 31 янв.), которая была послана Ролланом Горькому. Броше — французский профессор-медик.
- <sup>13</sup> В письме от 2 ноября 1930 г. Горький пытался убедить Роллана, что обвиняемые по процессам "Промпартии" и меньшевистского "Союзного бюро" действительно являются "вредителями", а их признания не вырваны под пытками (Cahier Romain Rolland, v.28, p.210).
- <sup>14</sup> Урицкий С. Б. (1894-1941), журналист, с 1925 г. главный редактор "Крестьянской газеты", ответственный секретарь журналов "Наши достижения" и "Колхозник", автор книги "В развернутое социалистическое наступление" (М., 1930).
- <sup>15</sup> Летом 1930 г. в эмигрантской прессе публиковались материалы о восстаниях в южном Приморье и боях с участием войск Красной армии. Имеется в виду статья "Ход восстания в Приморье", где подробно говорится о всех вспышках народного недовольства, вызванного насильственной коллективизацией. Автор статьи сообщил, что в Сучане восстанием руководили местный учитель, бывший офицер 34 Сибирского стрелкового

полка Литвинов и бывший жандармский унтер-офицер М. Рак (Возрождение, 1930, № 1975, 29 октября).

- 16 "Пуанкаре-война" — прозвище президента Франции Р. Пуанкаре (1860-1934), возникшее в годы гражданской войны; был одним из инициаторов военной интервенции в Советскую Россию.
- 17 Речь идет об иске в 2 млн. франков, который Ф. И. Шалапин предъявил советскому правительству за публикацию в СССР его воспоминаний. В письме Роллану от 2 ноября 1930 г. Рассказав историю создания "Записок" Шалапина, Горький признался, что они в значительной степени являются его творчеством, а Шалапин, опубликовав их в журнале "Летопись", уже получил немалый гонорар (См. "Страницы моей жизни" <Автобиография Шалапина> — М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 265).
- 18 См.: Лит. Наследство. Т. 70. С. 527-528.

## 12

- 1 Для осуществления горьковского замысла многотомной "Истории гражданской войны в СССР" было создано три редакции: главная, историческая и художественная. О задачах серии см. Постановление ЦК ВКП(б) 30 июля 1931 г. "Об издании "Истории гражданской войны" и статью Горького "Участникам гражданской войны" (Правда, 1931, № 209, 31 июня), а также Архив А. М. Горького, Т. XIV. С. 156-159. Петр Петрович — Крючков.
- 2 Задуманный том не был осуществлен.
- 3 Покровский М. Н. (1868-1932), академик, историк, с 1918 г. — заместитель наркома просвещения РСФСР. См. его переписку с Горьким по поводу "Истории гражданской войны" (Архив А. М. Горького. Т. XIV. С. 154-163). Бубнов А. С. (1883-1940), партийный и государственный деятель, с 1929 по 1937 гг. — нарком просвещения РСФСР. (См.: Архив А. М. Горького. Т. XIV. С. 173-178). Гамарник Я. Б. (1894-1937), партийный и военный работник, заместитель наркома обороны СССР, начальник Главного политуправления Красной Армии.
- 4 Артузов (Фраучи) А. Х. (1891-1943) — с 1919 г. член коллегии ВЧК, в 20-х годах — начальник отдела контрразведки; Прокофьев — заместитель Ягоды.
- 5 Имеются в виду публиковавшиеся в газетах стенограммы процесса "Промпартии", "Материалы к отчету ЦКК ВКП(б) XVI съезду" (М., 1930) и протоколы допросов обвиняемых по процессу "Промпартии", которые были присланы Горькому из Москвы по указанию Ягоды.
- 6 Стенографический отчет о процессе "Промпартии", изданный в Москве в 1930 г. отдельным изданием.
- 7 Осадчий П. С. (1866-1943), профессор, электротехник, сотрудник журнала "Наши достижения", был общественным обвинителем на Шахтинском процессе 1928 г., обвиняемым — на процессе "Промпартии".
- 8 В Машковом переулке в Москве жила Е. П. Пешкова, у которой Горький не мог быть в 1927 г., так как этот год провел в Италии.

## 13

Датируется по упоминанию об отъезде М. С. Погребинского в Сорренто. Его жена, А. Б. Погребинская, вспоминала, что Погребинский пробыл в Сорренто 4 недели в 1931 г. По ее словам, он "ехал по поручению и под другой фамилией" (АГ. МоГ-11-35-1). Возможно, о Погребинском идет речь в письме Горького Крючкову 1 марта 1931 г.: "...приехала Милиция и сообщила, что для Горького ремонтируется какой-то дворец или храм Христа на берегу Москвы-реки..." (Архив А. М. Горького. Т. XIV. С. 496).

<sup>1</sup> М. С. Погребинского.

Датируется по времени отъезда П. П. Крючкова в Сорренто: визы для него и его жены Е. З. Крюковой были готовы в начале марта, о чем Горький сообщил Крюковой 1 марта 1931 г. (Архив А. М. Горького. Т. XIV. С. 496).

<sup>1</sup> П. П. Крючков.

<sup>2</sup> По-видимому, речь идет о замысле сценария "Преступники", над которым Горький начал работать во второй половине 1931 г. (первый вариант закончен в феврале 1932 г.).

<sup>3</sup> Горький приехал в СССР 13 мая 1931 г.

<sup>4</sup> Н. А. Пешковой и М. А. Пешкову.

<sup>1</sup> Речь идет о снимках беспризорников для книги "Вчера и сегодня" (см. письма 16 и 19).

<sup>2</sup> Горький пробыл в СССР с 13 мая по 18 октября 1931 г.

<sup>3</sup> П. П. Крючков.

Датируется по телеграфному бланку.

<sup>1</sup> Первая трудовая коммуна ОГПУ для перевоспитания малолетних преступников была организована по инициативе Ф. Э. Дзержинского в 1924 г. недалеко от станции Болшево. Посетив ее 8 июня 1928 г., Горький рассказал об этой колонии в статье "Растет хорошее дело". Он писал: "Совершенно изумительное впечатление вызвали у меня бывшие герои уголовной хроники и тюремные жители, когда я увидел их за станками мастерских трудкоммун" (Известия, 1928, № 157, 8 июля). В Болшевской трудкоммуне Горький бывал неоднократно, переписывался с ребятами и воспитателями. По его инициативе бывшие беспризорники начали выпускать альманах "Вчера и сегодня. Альманах бывших правонарушителей и беспризорных" (№ 1. М. — Л., ГИЗ, 1931). Снимки членов Болшевской коммуны потребовались Горькому для английского издания "Вчера и сегодня" (см. письмо 19).

<sup>2</sup> О труде и быте воспитанников Болшевской трудовой коммуны см. статью Горького "О трудколониях ОГПУ" (Правда, 1931, № 192, 14 июля) и кн. М. С. Погребинского "Трудовая коммуна ОГПУ" (М., 1928). 26 июня 1931 г. Горький присутствовал на празднике в Болшеве по случаю открытия новой обувной фабрики и выступил с приветствием (Пролетарий. Мытищи, 1931, № 43, 1 июля). См. также сб. "Болшевы" (М., 1936 с предисл. М. Горького).

<sup>1</sup> См. прим. 1 к письмам 15 и 16.

<sup>2</sup> 1 мая 1932 г. Горький впервые присутствовал на параде на Красной площади. Он писал В. С. Довгалеvскому 6 мая: "Впервые видел парад, впечатление — ошеломляющее... Удивительная механика, все эти танки, танкетки, тачанки, но того удивительнее полтора миллиона веселых людей" (ЛЖТГ, Т. 4. С. 199).

<sup>3</sup> Н. А. Пешковой.

Датируется по содержанию.

<sup>1</sup> Телеграмма с поздравлением по случаю XIV годовщины Октябрьской революции: "Горячо поздравляем Октябрем. Крепко целуем. Генрих, Лепольд." (АГ, КГп-1-31-18).

- 2 Кукольник Н. В. (1809-1868), русский писатель, автор исторической драмы "Рука всевышнего отечество спасла" (1834).
- 3 Горький уехал из СССР в Сорренто 18 октября 1931 г.
- 4 Муссолини Бенито (1883-1945), фашистский диктатор Италии в 1922-1943 гг.
- 5 Пий XI (1857-1939), папа римский, вдохновитель "крестового похода" против СССР.
- 6 Ироническая интерпретация сообщений эмигрантской прессы под заглавиями "Провал советского демпинга", "Советский демпинг в Англии", "По селам юга России", "В Советской России" и др., в которых говорилось о крахе внешней и внутренней политики СССР (Возрождение, 1930, № 3875, 3876, 1 и 2 ноября).
- 7 С 1928 по 1930 гг. в Госиздате выходило собрание сочинений Горького в 23 тт. под редакцией И. А. Груздева, в 1930-1931 гг. вышло второе, дополненное издание в 26 тт. В 1931 г. были также подписаны к печати книги Горького "Публицистические статьи" и "Статьи о литературе и литературной технике".
- 8 2 ноября 1931 г. лидер РСДРП (меньшевиков) и редактор "Социалистического вестника" Ф. И. Дан прочитал в большом зале Сорбонны доклад "Кризис генеральной линии" в котором доказывал, что перед советским правительством стоят непреодолимые трудности. Однако крушение генеральной линии в экономике не означает, по его мнению, краха сталинского режима. По отзывам эмигрантской печати, публика осталась недовольна докладом (Последние новости, 1931, № 3878, 4 ноября).
- 9 По-видимому, речь идет о просьбах откликнуться в печати на события в Маньчжурии. 28 октября 1931 г. в "Известиях" был опубликован протест Р. Роллана против японской агрессии на Дальнем Востоке. Редакция газеты просила у Горького статью по тому же поводу.
- 10 Речь идет о сценарии фильма "Преступники" (см.: М. Горький. Полн. собр.соч. Т. 19. С. 423-424, глава "Преступники учатся").
- 11 Литературно-художественный журнал "Тридцать дней" (1925-1941), выходивший под редакцией В. Соловьева, В. Регинина, Л. Сейфуллиной и С. Фридмана, с 1931 г. по инициативе Горького был реорганизован (см.: Тридцать дней, 1931, № 8. С. 60-61). Имеется в виду очерк Л. Никулина «Право "мертвой руки"» о конфликте между фашистским правительством Италии и папой Пием XI (Там же. С. 10-17).
- 12 Материалы зарубежной печати, помещаемые в журнале, Л. Н. Сейфуллина получала от Горького (см. АГ. ПГрл-38-19-1).
- 13 Серия книг "История фабрик и заводов" издавалась по инициативе Горького с 1932 г. В состав редакционной коллегии входили, помимо Горького, П. П. Постышев, А. А. Андреев, Н. М. Шверник, А. И. Стецкий и др., из писателей — Вс. В. Иванов, Ю. Н. Либединский, Л. Н. Сейфуллина, М. Ф. Чумандрин и др., из историков — А. М. Панкратова. Главной редакцией была поставлена задача написать историю 102 заводов и фабрик СССР (см. "Горький и создание истории фабрик и заводов". М., 1959). Инструкция была принята на заседании редколлегии 28 ноября 1931 г. Торопя коллектив редакции, Горький писал Крючкову 18 ноября 1931 г.: "Почему не напечатана "Инструкция" по "Истории заводов"? Что это — саботаж?" (АГ. ПГрл-21а-1-385).
- 14 Авербах Л. Л. (1903-1939) — критик и публицист, редактор журналов "Молодая гвардия", "На литературном посту", "Пролетарская литература". Генеральный секретарь РАППа, автор книг "Наши литературные разногласия" и "Борьба за метод" (1931), родственник Ягоды. Авербах, был секретарем редакции "История фабрик и заводов". Он сообщил Горькому 20 ноября 1932 г.: "Работа главной редакции замораживается невозможностью созыва заседаний тех коллегий, в которые входят т.т., действительно занятые более серьезными делами" (АГ. КП-1-31-20).
- 15 Имеются в виду статьи, печатавшиеся в 1931-1932 гг. под рубрикой "В Союзе советских писателей", с анализом борьбы литературных групп

пировок в СССР (Последние новости, 1932, № 4246. 3 ноября). Речь идет о дискуссии между отдельными писателями из руководства РАППа с "Правдой" и "Комсомольской правдой". В редакционных статьях "Комсомольской правды", выступлениях А. В. Косарева, Л. З. Мехлиса, группы философов в "Правде" высказывались серьезные претензии к Л. Л. Авербаху и его единомышленникам, которые "не понимают задач и необходимости перестройки" (См. "Пролетарское движение на уровень новых задач". — Комсомольская правда, 1931, № 319, 25 ноября). О сущности литературных споров 1920-30-х гг. см.: Шешуков С. Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х гг. (М., 1970); Ермолаев Г. Советские литературные теории 1917-1934 гг. Генезис социалистического реализма. Калифорнийский у-т, 1963.

- 16 Одновременно Горький писал Крючкову: "Справьтесь у Г. Г. о решении по поводу письма Шевченко, скрипача" (АГ. ПГрл-21а-1-380). В. Я. Шевченко — инженер, поэт, музыкант. См. о нем: М. Горький. Полн. собр. соч., Варианты. Т. V, М., 1978, С. 693-694.
- 17 Амати — семья итальянских мастеров смычковых инструментов (XVI-XVII вв.).
- 18 Речь идет о второй редакции сценария "Преступники", один из героев которого — помощник смотрителя Оношенко, — бывший полицейский.
- 19 Лисица — 17-летний беспризорник, шпион, любимец Оношенко; Арап — 12-летний подросток. (См.: Горький, Полн. собр. соч. Т. 19. С. 419). Действие в этой части сценария происходит до революции в колонии для малолетних преступников.
- 20 "Путевка в жизнь" — первый советский звуковой кинофильм (1931 г.).
- 21 За время пребывания в СССР в 1931 г. Горький занимался организацией выпуска многотомных изданий "История гражданской войны", "История фабрик и заводов", "Библиотека поэта", участвовал в реорганизации РАППа, присутствовал на Красной площади на параде физкультурников и др.

## 19

- 1 См. письма 15, 17 и прим. к ним.
- 2 "Вчера и сегодня. Альманах бывших правонарушителей и беспризорных" № 1. М. — Л., 1931 (с предисловием М. Горького), № 2. М. — Л., 1931 (с предисловием М. Горького). Сведений об английском издании альманаха не имеется.
- 3 Письмо не разыскано. Речь идет о действовавшей в эмиграции партии "Крестьянская Россия" (См. "Крестьянская Россия. Введение. Идеология. Программа. Тактика. Устав". Прага 1928. Подобный документ был издан также в Париже в 1929 г.).
- 4 Л. Г. Левин (1870-1938) — лечащий врач Горького в 1920-1930-х годах, которого на процессе 1938 г. обвинили в убийстве Горького и расстреляли.
- 5 См. письмо 17, где говорится о праздновании 14-й годовщины Октябрьской революции на Красной площади.
- 6 На Никитской ул., 6, в бывшем особняке С. П. Рябушинского работы архитектора Ф. Шехтеля Горький поселился, приехав в Москву в 1931 г., и прожил до 1936 г.
- 7 С. Г. Фирин — сотрудник ОГПУ, заместитель начальника ГУЛАГа. Недовольный состоянием дел, Горький пытался привлечь его к работе над серией "История фабрик и заводов".
- 8 Речь идет об Иде Леонидовне, жене Ягоды, сестре Авербаха.

## 20

- 1 Имеется в виду письмо 19.
- 2 М. А. Погребинский принимал активное участие в создании сценария "Преступники". Горький закончил первый его вариант в конце января

1932 г. 23 января он сообщил Крючкову: "На днях пришлю статью "Ответ американцам". И сценарий" (АГ. ПГрл-21а-1-406).

<sup>3</sup> Крючков в ноябре 1931 г. побывал в Сорренто.

<sup>4</sup> Речь идет о полемике Л. Л. Авербаха и других рапповцев с "Правдой" и "Комсомольской правдой" (см. прим. 15 к письму 18). РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) существовала с 1925 по 1932 г., проводя в жизнь принципы партийности и классовости литературы. В ее состав входили такие писатели, как Ю. Н. Либединский, М. Ф. Чумандрин, А. А. Фадеев, В. М. Киршон, А. Н. Афиногенов и др. РАПП, претендовавший на роль единственного руководителя литературного процесса, в 1931 г. подвергался все более серьезной критике не только со стороны писателей и литературной общественности, но и партийного руководства. Вскоре появилось Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г., в котором говорилось, что "рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества" (О партийной и советской печати. М., 1954. С. 431).

## 21

Датируется по ответному письму Г. Г. Ягоды от 3 февраля 1932 (см. п. 22)

<sup>1</sup> Имеется в виду первый вариант сценария "Преступники". Рукопись состояла из 10 глав (АГ. ХПГ-43-1-1).

<sup>2</sup> Дополнения и изменения в рукопись сценария, внесенные по предложению Погребинского, отразились в авторизованной машинописи сценария. Вторая редакция была дополнена семью новыми главами (АГ. ХПГ-43-1-6).

<sup>3</sup> 14 мая 1932 г. сценарий "Преступники" (во второй редакции) обсуждался воспитанниками Болшевской и Люберецкой коммун. Стенограмма обсуждения хранится в Архиве А. М. Горького (ХПГ-43-1-10). После этого Горький внес в сценарий новые изменения и дополнения.

<sup>4</sup> По-видимому, имеется в виду часть главы "Учителя", где приведено обращение комиссии ВЦИК "Все на помощь детям" за подписью Ф. Дзержинского (М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 19. С. 457-459).

<sup>5</sup> Речь идет о главе "Беспризорные" (Там же. С. 450-456).

<sup>6</sup> Ионов И. И. (Бернштейн) (1887-1942), издательский работник, заведовал Ленинградским отделением ГИЗа, в 1931 г. возглавлял издательство "Academia"; Виноградов А. К. (1888-1946), писатель, литературовед и переводчик. Горький привлек Виноградова к редактированию серии романов "История молодого человека XIX столетия" в издательстве "Academia". Ионов уволил Виноградова и аннулировал издание этой серии (см. об этом переписку Горького с Ионовым в "Архиве А. М. Горького". Т. X. Кн. 1).

<sup>7</sup> Замысел не осуществился.

<sup>8</sup> Постановление об издании "Истории гражданской войны" было принято 30 июля 1931 г., однако работа разворачивалась очень медленно. Хотя срок представления первого тома был намечен на 1 июля 1932 г., за это время редакция не собралась ни разу (АГ. КГизд-19-60-1). Сроки завершения томов постоянно отодвигались.

<sup>9</sup> Постановление ЦК ВКП(б) от 10 октября 1931 г. положило начало работе по "Истории фабрик и заводов". Но уже в начале 1932 г. Горький вынужден был заметить, что в деле нет ясности, "возникают разногласия и даже допускаются серьезные ошибки" (Известия, 1932, № 91, 1 апреля).

Датируется по фразе: "Сейчас у нас идет конференция". (см. ниже). Ягода датировал письмо ошибочно 3 января 1932 г.

- <sup>1</sup> Речь идет о XVII конференции ВКП(б), которая проходила в Москве с 30 января по 4 февраля 1932 г. На конференции были подведены итоги развития промышленности за 1931 г. и приняты "Директивы к составлению второго пятилетнего плана народного хозяйства СССР (1933-1937)".
- <sup>2</sup> Имеется в виду захват Японией Манчжурии, завершившийся 3 января 1932 г. 18 февраля была провозглашена "независимость" Манчжурии от Китая. Создав марионеточное правительство, Япония фактически превратила страну в свою колонию. Горький откликнулся на эти события, отвечая вдове Сун-Ят-Сена. Он писал: "Неслыханные насилия чинятся японскими империалистами при явном участии европейских империалистов..." (Известия, 1932, 2 марта).
- <sup>3</sup> Горький уехал из СССР 18 октября 1931 г.
- <sup>4</sup> Игнатьев А. М. (1879-1936), член РСДРП(б) с 1903 г., изобретатель, в 1920-1925 гг. был торгпредом СССР в Финляндии, в 1925-1929 гг. работал в советском представительстве в Германии. О его изобретениях Горький рассказал в очерке "В. И. Ленин" (М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 20).
- <sup>5</sup> Речь идет об изобретении резца, который самозатачивался бы во время работы.
- <sup>6</sup> Беломорско-Балтийский канал, соединивший Белое море с Онежским озером, строился силами заключенных под руководством чекистов и лично Ягоды. См. об этом сб. "Беломорско-Балтийский канал им. Сталина. История строительства" (М., 1934). Канал был открыт в августе 1933 г.
- <sup>7</sup> М. С. Погребинский.
- <sup>8</sup> К сентябрю 1932 г. была закончена третья редакция сценария. В "Известиях" появилось сообщение: "В этом сценарии на материале трудкоммун ОGPU Горький по-новому освещает проблемы ликвидации беспризорности. Фильм будет ставить А. Ромм" (Известия, 1932, № 254, 13 сентября). Однако фильм не был поставлен (см.: М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 19. С. 417-486).
- <sup>9</sup> Ида Леонидовна — жена Ягоды.

## 23

Датируется по телеграфному бланку.

- <sup>1</sup> Телеграмма была послана из Москвы в Негорелое, на пограничную станцию, в вагон "Особой нормы" № 2227, в котором Горький пересек границу СССР 24 апреля 1932 г. На станции его встречала делегация советских писателей во главе с А. С. Серафимовичем. В ее составе были Ф. В. Гладков, Вс. Иванов, П. А. Павленко и др. (ЛЖТГ Т. 4. С. 197).

## 24

- <sup>1</sup> Речь идет о поправках в сценарии "Преступники" (см. прим. 2 к письму 21).
- <sup>2</sup> Ленка — один из беспризорников, герой последних глав сценария "Преступники" — "Устраиваются" и "Снова в Николо-Угреше" (см. М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 19. С. 482-486). Его прототипом был реальный мальчик 10 лет, который с 5 лет бродяжничал, а потом сам пришел в колонию (Архив А. М. Горького. Т. XIII. С. 252).

## 25

Приветственное письмо, посланное в дни празднования 40-летия литературной деятельности Горького.

- <sup>1</sup> Письмо было послано с М. А. Пешковым.
- <sup>2</sup> Горький уехал из СССР 29 октября 1932 г.
- <sup>3</sup> Насильственная коллективизация встречала особенно сильное сопротивление на Дону и Кубани, где отряды чекистов применяли к казакам "чрезвычайные" карательные меры.
- <sup>4</sup> Поездка состоялась только летом 1934 г. — с 12 по 21 июля на теплоходе "Клара Цеткин".
- <sup>5</sup> Речь идет о распаде группы рапповцев.
- <sup>6</sup> А. А. Фадеев.
- <sup>7</sup> Н. С. Аллилуева (род. в 1901), жена Сталина, трагически погибла 10 ноября 1932 г.
- <sup>8</sup> Речь, видимо, идет об О. Д. Чертовой, медицинской сестре, неотлучно находившейся при Горьком в последние годы его жизни.

Датируется по упоминанию "Открытого письма Ягоде", опубликованного 16 ноября 1932 г. (см. ниже).

- <sup>1</sup> С 1931 по 1936 гг. Горький жил в Москве на Малой Никитской ул., д.б. В угловой комнате близ входа находился кабинет секретаря Крючкова.
- <sup>2</sup> Имеется в виду открытое письмо Ягоде "Я обвиняю" от мисс Клайман, которая была выслана из СССР 20 сентября 1932 г. за публикацию сообщения о Кемском концлагере и преследованиях кулаков (Последние новости, 1932, № 4256, 16 ноября).
- <sup>3</sup> 3 января 1933 г. "Правда" (№ 3) сообщила об осуждении группировки "Рютина-Слепкова", которая "боролась против генеральной линии партии за капитуляцию перед кулаком, против индустриализации страны". О деятельности "Союза марксистов-ленинцев" и деле М. Н. Рютина, одним из первых выступившего против диктатуры Сталина, см.: Известия ЦК КПСС, 1990, № 8-12.
- <sup>4</sup> Первый расширенный пленум Всесоюзного Оргкомитета ССП, проходивший с 29 октября по 3 ноября 1932 г. в Москве, положил начало организационной унификации всех творческих групп писателей и выработке концепции единого метода — "социалистического реализма". (См.: Голубков М. Утраченные альтернативы. М., 1992. С. 34-36.)
- <sup>5</sup> См. п.26.
- <sup>6</sup> В письмах к Горькому от 16 ноября 1932 г. А. Афиногенов и В. Киршон подробно рассказали о Пленуме Оргкомитета и поведении Ю. Либединского и М. Чумандрина. А. Афиногенов так пересказал выступление М. Чумандрина: "... теперь бы добить Авербаха с Киршоном и Афиногеновым (ко мне они еще либеральны!) — и все пойдет по-хорошему" (АГ, КГп-6-10-3). В. Киршон писал: "Юрий Либединский прямо (и подло с моей точки зрения) выступил против Леопольда" (АГ, КГп-35-18-8).
- <sup>7</sup> М. А. Пешков.
- <sup>8</sup> Андрей Сулима — русский эмигрант, юноша, которого Горький в апреле 1932 г. увез с собой в СССР и устроил на завод в Ленинграде. В Италии у него остались умирающая мать, отчим, маленькие брат с сестрой. В письмах Горькому от 6 августа 1932 г. и 18 августа 1932 г. он сообщил: "... уже вступил в ударную бригаду и стараюсь лицом в грязь не ударить" (АГ, КГрэн-10-29).
- <sup>9</sup> П. П. Крючков.

- <sup>1</sup> Речь идет о 15-летнем юбилее ОГПУ. Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем во главе



с Ф. Э. Дзержинским была образована в декабре 1917 г., в 1922 г. реорганизована в Государственное политическое управление (ГПУ).

## 29

<sup>1</sup> Горький приехал в СССР 17 мая 1933 г.

<sup>2</sup> О. Д. Черткову.

## 30

Датируется по вырезкам из газет "Возрождение" (Париж, 1933, 6 и 8 января 1933 г.)

<sup>1</sup> В статье "Гибель "Атлантика" за подписью "Н. А." эмигрантская газета "Возрождение" сообщила о деятельности чекистов В. Н. Сперанского и Сипельгас-Ольшанского, направленной на разрушение авиации и флота во Франции. По словам газеты, чекист Сперанский, рассказывая об успехах большевистской подпольной работы, похвастался под пьяную руку "удачным применением самовозгорающихся карандашей для поджога голландского павильона" (Возрождение, Париж, 1933, 6 января).

<sup>2</sup> Та же тема была продолжена в недописанной статье "Коминтерн и "Атлантик" (Возрождение, 1933, 8 января), в которой сообщалось, что в результате большевистских диверсий с 1928 г. во Франции каждый год погибали корабли, в том числе "Атлантик".

<sup>3</sup> П. П. Крючков.

<sup>4</sup> Речь идет о докладе И. В. Сталина "Итоги первой пятилетки и народно-хозяйственный план 1933 года — первого года второй пятилетки", произнесенной на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), состоявшемся 7-12 января 1933 г. (Правда, 1933, № 8, 8 января).

## 31

<sup>1</sup> Е. П. Пешкова, жена А. М. Горького, была членом Политического Красного Креста и неоднократно обращалась к Ягоде с просьбами о спасении заключенных.

<sup>2</sup> Горький родился 16(28) марта 1868 г.

<sup>3</sup> За годы первой пятилетки с помощью карательных мер была проведена в жизнь политика "ликвидации кулачества как класса": миллионы семей кулаков, середняков, просто зажиточных крестьян выселялись из родных деревень в Сибирь и другие отдаленные районы страны.

<sup>4</sup> О ком идет речь, не установлено.

<sup>5</sup> О группе Слепкова см. прим. 3 к письму 27.

<sup>6</sup> В. Р. Менжинский.

<sup>7</sup> Н. А. и М. А. Пешковым и О. Д. Чертковой.

## 32

Датируется по телеграфному бланку.

Поздравление с 65-летием Горького.

## 33

Письмо на бланке редакции "Истории гражданской войны". Датировано в редакции.

<sup>1</sup> Речь идет о материалах по истории антисоветских заговоров, которым должен был быть посвящен отдельный том "Истории гражданской войны" (см. письмо 12).

<sup>2</sup> Минц И. И. (1896-1991), историк, академик АН СССР, секретарь главной редакции "Истории гражданской войны". Письмо Горького сопровождалось бумагой за подписью Минца: "Прошу доложить народному комисса-

- ру письмо тов. Горького. О последующих распоряжениях прошу сообщить..." На этом документе резолюция Ягоды: "Переговорить с т. Минц, когда он зайдет после 19/XI". Том с материалами ЧК в свет не вышел.
- <sup>3</sup> Эта фраза до слов "по указанию тов. Сталина" подчеркнута Ягодой зеленым карандашом.

### 34

- <sup>1</sup> Ромэн Роллан с женой М. П. Кудашевой-Роллан приехал в Москву 27 июня и пробыл до 21 июля 1935 года. Вернувшись, он писал Горькому из Вильнёва. "Месяц, проведенный мною в СССР, был полон для меня великих уроков, богатых и плодотворных впечатлений и сердечных воспоминаний; главными из них являются три недели общения с моим дорогим другом Максимом Горьким" (День мира, М., 1937. С. 479). Во время бесед с Горьким постоянно возникала тема репрессий в СССР (см. "Московский дневник" Р. Роллана // Вопросы литературы: 1989. № 5-7).
- <sup>2</sup> Киров С. М. (Костриков) (1886-1934) — партийный и общественный деятель, секретарь Ленинградского обкома партии, член Политбюро, был убит 1 декабря 1934 г. в Смольном. Убийцу С. М. Кирова Николаева обвинили в принадлежности к троцкистско-зиновьевской оппозиции (См. Правда, 1934, № 331, 2 декабря).
- <sup>3</sup> Виктор Серж — С. Кибальчич (1889-1947), французский писатель и публицист, входил в возглавляемую Анри Барбюсом группу "Кларте", в конце 20-начале 30-х годов жил в СССР, в 1931 г. был арестован по обвинению в пропаганде троцкизма (См.: "Cahier Romain Rolland", v.28. P. 504). В 1933 г. был сослан в Оренбург (см. письмо Горького Роллану от 6 мая 1933 г. АГ. ПГин — 60-6-136, а также протест французских писателей против преследований "за партийную ересь", опубликованный в газете "Comédie", 30 августа 1933 г.).

### 35

Датируется по времени приезда А. Мальро к Горькому в Тессели (см. ниже).

- <sup>1</sup> Об аресте С. Ч. Попова Горькому сообщил работавший с ним вместе на заводе А. Сулима-Самойло в письме от 10 апреля 1933 г. (АГ. КГрзн-10-29-5).
- <sup>2</sup> М. П. Кудашева.
- <sup>3</sup> Роллан писал Горькому 30 апреля 1933 г.: "Было бы в интересах СССР не затягивать процесс и — либо отпустить его, признав невиновным, или же ознакомить общественное мнение с обвинениями, выставленными против него" ("Cahier Romain Rolland", v.28. P. 305). Кампания в защиту В. Сержа прокатилась по многим европейским странам. 14 апреля 1935 г. на конгрессе в защиту культуры в Париже была принята резолюция в защиту писателя, подписанная Л. Арагоном, А. Барбюсом, А. Жидом, Ж. Р. Блоком, Р. Ролланом и др.
- <sup>4</sup> Французский писатель А. Мальро (1901-1976) приехал к Горькому в Крым (Тессели) около 7 марта 1936 г. вместе с М. Кольцовым и И. Бабелем (Лит. газета, 1936, № 16, 15 марта).

## II

Г. Д. Гачев

### ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ПРАВДЫ В ПЬЕСЕ “НА ДНЕ”\*

“Правда глаза колет”, — значит, боль человеку приносит. А если так, то что дороже: человек, его счастье или правда? Но возможно ли несправедное счастье? И останется ли человеком тот, кто правду попирает?

Этой серией вопросов истина критикует наше обыденное понятие о человеке, требуя его согласования с собой: чтобы он был *истинным* человеком, настоящим. Но навстречу вздымается от человека своя претензия к правде. Человек — вот он здесь, налицо — его потрогать можно, а правда где обитает? В словах, т.е. в невидимом, в идеях, в уме. Так неужели слову — тому, что есть звук пустой, служить должно живое существо, а не слово — человеку? И зачем истина, если она расходится с интересом людей? Праведна ли бесчеловечная правда? И вообще, является ли она тогда правдой?

Вот тот круг вопросов, который обрушивается на каждого человека, лишь только он задумается над смыслом жизни, существования: возможно ли само это соединение? А если да, то как соединить людям, мне, свое существование со смыслом, а высокий смысл — с жизнью?

Есть полосы в жизни человека, когда он буквально заболевает этими проблемами, так что, не разрешив их, кажется, уж жить не сможет. Есть такие периоды и в истории общества, когда напряженно ищут истину, перестрахируют готовые решения и не успокаиваются, пока не найдут свой путь, историческую задачу именно своего времени, дело, которое должно быть выполнено именно нами, а никем другим.

Конечно, “высокая болезнь” поисков истины сопровождает человечество на всем его пути, но, как и в течении болезни,

\* Это исследование, опубликованное в 1992 г. (в несколько измененном варианте) издательством “Высшая школа” под заглавием «Логика вещей и человек. Прение о правде и лжи в пьесе М. Горького “На дне”», в свое время было передано автором для первой публикации в данном сборнике. Но по независящим от редакции обстоятельствам сборник задержался в печати. (Прим. ред.).

бывают времена кризиса. Температура достигает предельной высоты, весь организм поставлен на грань смерти и тогда — или пан или пропал! Если же пан — о, тогда воистину счастье и прозрение наступает: Эврика! Добыта истина!

Такое происходило с русским обществом на перекрестке XIX и XX веков и с писателем Горьким, когда он писал пьесу “На дне” (1902). “На дне” — это прение о правде. Здесь все: разные люди — разные мировоззрения — идут на штурм правды. Это — чаще всего, сотни раз упоминающееся в пьесе слово — чаще даже, чем слово “человек”. Пьеса — притча о правде, ее катехизис: она строится как цепь вопросов и ответов. Одни в иступлении проклинаят правду, другие с не меньшей остервенелостью и даже самоубийственным злорадством тычут себе и людям в лицо правду. Но кто знает, что она такое?

В одном из своих поздних сочинений “Заметки читателя” (1927) Горький резко отталкивается от позиции “моралистов”, взгляд которых “разрешает относиться к человеку, как, примерно, к сырью или — в лучшем случае — “полуфабрикату”. Попирая человека “под ноzi своя”, моралисты монументально возвышаются над ним, и это их вполне удовлетворяет <...> Мне кажется, что было бы очень полезно смотреть на жизнь “пессимистически”, а к человеку относиться со всем возможным оптимизмом.

Противоречие? Нет, почему же? Жизнь все еще, покамест, неудачная работа прекрасных мастеров”. Критикуя далее молодых советских писателей, Горький писал: “И все-таки человек остался в их глазах “человеком для того, чтобы”, а не человеком “потому, что” он есть источник самой изумительной энергии, преодолевающей все сопротивления”.

Эта проблема мучила Горького на протяжении всей его жизни. Вступив в литературу со страстным убеждением, что человек велик и прекрасен, что его творчество и его счастье — высшие ценности на земле, Горький сразу столкнулся с той трудностью, что он мог об этом сколько угодно заявлять, кричать, петь, — но *доказать* этого не мог. Всем очевидные факты жизни говорили, что роль человека в жизни становится все более мелка и незначительна, что за его счет крупнеют города и вещи. “Созданное людьми поработило и обезличило их”, — писал сам Горький в “Челкаше”.

В весьма меланхолической сказке “О Чиже, который лгал, и о Дятле, любителе истины” (1893) Чиж зовет к идеалу, вдохновляя птиц призраком прекрасной земли, что находится там, за рошей. Однако сам писатель вынужден с горечью признать, что все “упрямые вещи”: факты, логика вещей — опровергают идеи Чижа и вытесняют их в сферу “нас возвышающего обмана”, зато позиция Дятла логически безупречна, оккупировает область правды, истины.

“Я солгал, — вынужден признать Чиж, — да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там, за рошей, но ведь верить

и надеяться так хорошо!.. Я же только и хотел пробудить веру и надежду,— и вот почему я солгал... Он, Дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья?”

Позиция же Дятла, напротив, очень прочна и основательна: “Я питаюсь червяками и люблю истину, которой неуклонно служу и которая понуждает меня сказать вам, что вас нагло обманывают. Все эти песни и фразы, слышанные вами здесь, милостивые государи, не более как бесстыдная ложь, что я буду иметь честь доказать вам с фактами в руках <...> А спросите господина Чижа, где те факты, которыми он мог бы подтвердить то, что сказал?”

Тем не менее, человек не может смириться с этой “правдой” и поет славу “безумству храбрых”. Но почему же безумству? Отчего ум должен оставаться на стороне Ужа, а Соколу выпадает удел слыть глупым и чудачком? Не таится ли какой-то “подвох” в самом сложившемся у людей понимании ума и истины?

Не только в начале своего писательского пути, но и в конце Горький поднимает эту же проблему. В “Заметках читателя” он рассказывает, как его поразила одна мысль из восточной “Книги мудрости и лжи”: “Прочитал я ее с наслаждением, и вот самое мудрое, что нашел в ней:

“Визирь рассказал царю о рае и много врал, преувеличивая *действительную* красоту его. Представляю все, что могут сказать люди здравого смысла о визире и как они ловко обратят выписанную цитату против меня, против этой статьи! А все-таки восхищает меня мудрая дерзость визиря, преувеличивающего “действительную” красоту несуществующего!”

Конечно, все это намерение прекрасно и благородно, но само признание, что все-таки приходится “преувеличивать”, что сама жизнь и люди не имеют в себе на самом деле такой красоты, которую писатель изливает на них,— это наше мнение звучит весьма оскорбительно для жизни и обидно для людей, ибо косвенно выражает как раз недоверие живой жизни и богатству человека,— и большую веру в идеальные построения субъективного сознания. И главное: это противоречит всему тому, что Горький утверждает своими картинами жизни и описаниями людей: в них-то он непрерывно жалуется на слово, что оно не дает ему возможности передать действительное пестрое богатство людей. Сам критерий красоты человека и жизни, по Горькому,— не в том, что человек — хороший, а в том, что он — пестро богатый, полный таких неожиданных свойств, перед которыми только ахнуть и развести руками может логика здравого смысла и ее плоское представление о том, какая жизнь — хороша и какой человек — прекрасен.

Вот что сам Горький писал К. Федину в 1932 г. в связи с “Егором Булычевым”, когда ему слали упреки в идеализации и надуманном усложнении характера русского купца: “Иногда

я воображаю, что мне удалось сказать кое-что значительное о людях этого ряда, но, сопоставляя сказанное с тем, что мне известно, — впадаю в уныние, ибо: знаю — много, а умею — мало. Да и трудно рассказать в приемлемых формах, например, о купце Ал<ексан>дре Петр<овиче> Большакове..." Следует великолепный набросок характера купца, строителя и старосты храма, который, умирая, ведет следующую душевную беседу с попом: "Верно, что я развратник и сволочь?" Поп утвердил: Таков общий глас народа. — "А — простит меня Господь?" "Покайтесь искренно — простит, ибо он многомилостив". — "Простит? Так ты ему... скажи, что ежели бы я, Лександр Большаков, тоже каким-нибудь турецким или мордовским богом был, я б ему... морду разбил и бороду вырвал за милости его, так его мать и эдак! Милостив, так его и эдак — ни в чем запрета не полагает, какой он — бог?"

Выгнав попа матерщиной, он приказал жене и дочери — полуидиотке — снять и вынести из горницы все образа и на другой день, во время поздней обедни, умер, почти до последнего дыхания творя сугубую матерщину". И вот, в связи с характером этого купца, заключает он очень многозначительными для нас словами: "Видите, какая штука? Васька Буслав — не выдумка, а одно из величайших и, м<ожет> б<ыть>, самое значительное художественное обобщение в нашем фольклоре".

И вот оно, противоречие: с одной стороны, Горький признается в своем намерении приукрасить жизнь и людей, а, с другой стороны, признается, что сама жизнь и характеры русских людей так сказочно богаты, сложны и прекрасны, что посрамляют всякие выдумки и идеалы: в их распоряжении нет той палитры красок, чтобы даже воспроизвести, запечатлеть буйную и радостную красоту жизни — где уж ее приукрашать!

Горький всем существом ощущает, видит вокруг себя, знает (а не только верит) праздничную красоту реальной жизни, захватывающее, дивное богатство людских характеров, душ, судеб, которые настолько полно реализуют в себе сущность и призвание Человека, что сам наш идеал, представление об идеальном Человеке именно на основе и из свойств этого бесконечно прекрасного реального человека складывается, да и то оставаясь еще бледным снимком с него. Но как только писатель пытается поднять это в сознание, оформить в слове и передать людям, — в ходе этой процедуры совершается какое-то таинственное сальто-мортале, в его мыслях и словах все это предстает не как реальное, а как желаемое: не то, что он знает, а то, во что он лишь верит (точнее: хочет верить, но знает, что это — не так), т.е. то прекрасное, что он лишь хочет, чтобы оно появилось в скучной жизни среди плохоньких и сереньких людей.

Словом, имя всему этому — *прекрасная ложь*, и сам он, прижатый к стенке и уличаемый своим же рассудком, вынуж-

ден, запинаясь, оправдываться, как перед следователем, заявляя, что преступление правил логики совершилось им без злого умысла, напротив: с самыми похвальными намерениями, чтобы, услышав о себе хорошее, люди поверили бы в это и в реальности стали лучше, т.е. с утопической программой нравственного совершенствования людей. Но такого рода любовь к людям и такой путь их спасения повинны, в том же грехе презрения к ним и унижающей их жалости, в каком повинен горьковский Данко. И опять же вся загвоздка в том, что реальный Горький и его художественное сознание в этом грехе несколько не повинны, но его отвлеченные рассуждения, афоризмы часто дают основания так думать о его позиции.

Вина здесь не в Горьком, а в объективно к его времени сложившемся отчужденном характере логики отвлеченного мышления. Потребности и связи все более отделяющейся от человека жизни стали основой так назвавшей себя *объективной логики вещей* (как точно это выражение!), освободившейся от человеческого содержания. Вот почему и обратно: правда о Человеке не могла выражаться языком “логики вещей” и “фактов”, — и, вступая на эту платформу, тут же была битой и выглядела жалкой, как Чиж в единоборстве с Дятлом.

Логика вещей исходит из такого положения дел в мире, которое называют *отчуждением*. Само по себе оно ни хорошо, ни плохо. Когда создается какая-нибудь вещь (дом, стихотворение), сначала внутри человека, в его сознании возникает замысел, а потом в ходе труда его идея выходит во вне, остается в материале. “Отчуждение” по происхождению — термин немецкой мысли: *Entäusserung* — означает буквально: “овнешнение”. Готовая вещь, созданная человеком, есть частица его “я”, но находящаяся не внутри его, а отдельно, уже чужая ему, обретающая самостоятельную жизнь предмета. Предметы, вещи, мысли, законы — все они из сущности человека родились. Но если она — беспокойная, неизвестно, что еще выдумает и сотворит, а потому — трудно уловимая, то созданные человеком вещи, кажется, прочны, неизменны, подпускают к себе легко и соблазняют на легкий путь познания человека. Хочешь узнать, что такое этот человек? Посмотри, возле каких вещей находится его место. Они дают ему о-предел-ение. Лука, например, как не привязанный ни к какому месту и цели, есть с этой точки зрения *никто*, пустой человек, а вот полицейский Медведев уже заполнен общественным содержанием, есть — *кто-то*. В последнем действии Бубнов доказывает ему, что он, потерявший место и предметы, уже тоже никто: “Бубнов. Ты, брат, теперь тью-тью! Ты уже не бутوشيнок... конечно! И не бутошник, и не дядя... *Алешка*. А просто теткин муж! Бубнов. Одна твоя племянница в тюрьме, другая — помирает... *Медведев* (гордо). Врешь! Она не помирает, она у меня без вести пропала!” (Человек еще цепляется за формулу “логики вещей”: “без вести пропа-

ла” — может, она что-нибудь еще да значит и делает его все-таки “дядей”. Это — как самоуверенность личности, вроде фразы: “Мой организм отравлен алкоголем”, которая делает для Актера еще достоверным его существование на белом свете). “Бубнов. Все равно, брат! Человек без племянниц — не дядя!”\*

Итак, любое определение — от другого исходит и зависимость от него выражает: “дядя” зависит от существования “племянниц”, “бутошник” — от будки. Вот этот человек — из деревни, женат, курит “Беломор”, смотрит телевизор, на конвейере закручивает гайки левого переднего колеса автомобиля, — значит, и сущность его — деревенско-“беломоро”-левогаечная... Улавливается ли этими определениями “я” человека? Конечно, когда скульптор создает статую с начала до конца сам, то по образу, выступившему благодаря его личности из глыбы мрамора, можно судить о душе создателя. Подобный же, индивидуальный характер носил и труд мастера, ремесленника: создавал он за жизнь вещей немного и вкладывал в них пласты своей души. Тогда по вещи можно было судить о человеке. Но в современном производстве, которое превращает человека в робота, нет необходимой связи между вещью, создаваемой и потребляемой человеком (той же гайкой или телевизором), и его характером. Истина вещи и истина человека расходятся. Между тем, на старом положении дел возник и выработался в стройную систему аппарат логики, который дает человеку определение по вещи, предмету, и результат такого определения называет “правдой” — правдой факта, действительности. Тот же остаток человеческой сущности, что сюда не укладывается, объявляется как раз несущественным, случайным, ложью, призраком, химерой. Железная логика, которая до сих пор казалась лишь дружественной человеку, ибо открыла тайны жизни и защищала человека от природы, теперь пошла войной на самого создателя своего — так же, как и железо военной техники, — и от защитника своего стало надо защищаться. Все, даже прекрасные вещи, создаваемые трудом человека, противостали как чуждая ему сила, сламыгающая его душу и волю к счастью. Вот почему на первых порах, когда на рубеже XIX-XX вв. и в творчестве Горького лишь начал формироваться язык для возведения новой логики гуманизма — не логики вещей, а логики Человека (где за систему отсчета принимались бы не вещи и их соотношения, и внутри них — место человека, но за исходное основание принимался Человек и все тяготело к нему), художник еще не дерзает вступить на почву “фактов”, ибо последние, кажется, состоят в полной власти у существующего; и откровенно творит вымышленный мир прекрасной легенды, где люди живут и действуют из себя, определяясь своей

\* В цитатах из пьесы “На дне” курсив всюду мой. (Г. Г.)



волей и мечтой, а не волею обстоятельств (“Макар Чудра”, “Старуха Изергиль” и т.д.).

Но постепенно, накопив силы, это новое мироощущение и его логика вступают в богатырское единоборство с “логикой вещей” в “На дне” — этом, быть может, самом могучем создании горьковского гения.

Тот революционный шаг в логике мышления, на который здесь отважился Горький, состоял в том, что он прямо связал, перекинул мост между понятиями “человек” и “правда” (истина). В монологах Сатина, завершающих прения о правде и человеке, эта мысль формулируется четко: “Человек — вот правда”, “Существует только человек, все же остальное (в том числе и правда.— Г. Г.) — дело его рук и его мозга”. Таким образом, человеческое существование становится критерием истины.

Но ведь до сих пор все развитие общества, разума, сознания, непрерывно шло по пути создания предметной действительности, а уж из нее извлекалась объективная истина, не зависящая от воли, желаний, мечтаний, т.е. от субъективного, всегда зыбкого и шаткого внутреннего мира человека. Эта господствующая в мире “система отсчета” отношений правды и человека есть исходная в “На дне”. И все идеологическое развитие пьесы идет по пути ее размывания. Лука, как Сократ в диалогах Платона, сталкивает понятия о правде, ценностях и человеке, размывая представление о единой правде, существующей вне человека, и вообще ставит под сомнение ценность правды, выдвигая на первый план абсолютную ценность каждого отдельного человека, его существования, которое несет в себе свою, особую, неповторимую правду. Эту индивидуальную правду Лука всячески выявляет в окружающих.

Но рассмотрим все — по порядку. “Человек — вот правда”. Мы так привыкли к этим словам, данным в лапидарной афористической форме, что часто не отдаем себе отчета в том, что это не просто красиво оформленное слово о человеке, возвышающее его, но фундаментальное основание целой философии. (В этом непонимании повинна сама звонкая и звучная, как кимвал бряцающий, форма афоризма: она настолько предметна и тверда, что словно сама по себе обладает смыслом. Это-то и мешает проникнуть в содержание чистой мысли, высказанной в этих словах.)

Так что же утверждается этим положением? А не больше не меньше, как то, что правда (логика, “точные”, “доказанные фактами” истины) не обладает самостоятельным существованием, что она на что-то опирается, т.е. в жизни есть нечто более глубокое и существенное, чем правда,— и до этого основания нужно доискаться, чтобы обрести критерий для различения правды и лжи (логики мышления, добывающей истину).

В “На дне” Горький и пытается уяснить и себе и людям, как рождается правда. В продолжающемся в горьковском творчестве споре Чижа и Дятла такая постановка вопроса явилась неожиданным и ошеломительным ударом по логике Дятла — ударом, который уж, конечно, не Чижом мог быть нанесен. Вопрос заострен до предела: раз интерес Человека не находит себе выражения на языке логики фактов, то, следовательно, на этом языке говорит чей-то другой интерес. Если Дятел упрекал Чижа за то, что его речи о счастье и красоте — не истинны, ибо не бескорыстны, и Чиж вынужден был на основании этого признать себя побежденным, то теперь задается вопрос: а так ли уж бескорыстна сама обвинительница — логика фактов? Не говорит ли ее устами какое-то другое, враждебное человеку начало?

Сама постановка вопроса о том, что у мышления, истин и “фактов” есть фундамент, сразу сбивала спесь с царства самоудовлетворенной логики, ибо решительно заявляла: не истина существует, с которой должно человечество и люди сверяться и искать, а человечество в своей жизни само творит и свергает истины, подобно тому, как оно творит и свергает все “факты”, всех богов и все ценности. Следовательно, человечество, его история и его бытие на данном этапе есть абсолютное первоначало, которое опосредует каждую “правду” и “факт”, и критерий всех ценностей, истин и целей в нем.

Вот почему полную правду можно получить не в прении самих мыслей, а в столкновении мыслей (правд), просвеченных, тут же сопоставляемых с реальным существованием вообще и высказывающих их людей, в особенности: “Не в слове — дело, а — почему слово говорится”, — говорит Лука Бубнову и Барону, смеющимся над рассказом Насти о любви к ней Рауля. С этой точки зрения большей реальностью обладает не “факт” — была эта любовь у Насти “на самом деле” или она вычитана ею в книжке “Роковая любовь”, — а внутренняя потребность Насти в такой любви, которая может сбыться, а может и не сбыться (это — сфера случайного, “обстоятельств”), не стать “фактом”. Сама внутренняя потребность есть более твердое и характерное для Насти, — и именно эта потребность, а не свершение, “дело”, должны быть основанием для суждения о ней, о том, что она такое. Но поскольку эта потребность не отделилась от Насти и не вылилась в какой-то факт ее жизни, видимый для всех окружающих, то свидетелей этой ее сущности нет, *доказать* ее нельзя. А так как правдой (истиной) привыкли считать лишь доказуемое, т.е. то, что имеет предметное существование отдельно от человека, — то и получается абсолютное расхождение правды о Насте и Насти, так что “правда” (Настя есть проститутка, фантазерка и т.д.) абсолютно не улавливает ее истинной сути. Выходит, суждение о человеке нельзя *проверить* и не надо проверять (проконтролировать): так ли это на самом деле, ибо эта позиция исходит из подозрения к челове-

ку и ищет факта вне человека, не видя в человеке главного и величайшего факта, — а надо *верить* человеку, тому, что он говорит. Следовательно, реальным существованием обладает лишь человек, как бесконечный потенциал фактов, поступков, дел, мыслей; а все, что от него отделяется, есть частичное, и часто ложное, его осуществление. Факт, мысль может быть понят лишь в сращении с человеком, его “автором”. Это сращение и есть правда. Потому “верить” и “знать” у Горького в “На дне” подчеркнуто отождествляются. Лука: “Я — знаю... Я верю”.

“Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга” (Сатин). — Вот второе основоположение исповедуемой Горьким в “На дне” философии. Следовательно, если правда, объективная истина на что-то опирается более глубокое, чем она сама, то, по Горькому, этой опорой является Человек, лишь ему присущ основной атрибут — существования. Лишь человек обладает реальным бытием.

Но ведь это положение абсолютно противоречит действительности. К XX в. все развитие человечества и состояло в том, что оно непрерывно возводило вокруг себя “дела рук своих и мозга”, так что в конце концов они словно зажали самостоятельной жизнью, а человек стал функцией (“Бубнов. Люди все живут... как щепки по реке плывут... строят дом, а щепки — прочь...”). Следовательно, объективной истиной является обратное утверждение: существуют лишь “дела”, а для них существует человек, точнее — его мозг и руки (они лишь нужны, полезны), ибо остальное в человеке не обладает общественно достоверным существованием. Но раз в человеке ценятся лишь мозг и руки, то прав Васья Пепел: “Ежели людей по работе ценить...”, тогда лошадь лучше человека, а и того лучше — машина, кибернетическая в том числе.

Человек оказывается лишним, выкинут на дно, в осадок бытия (или, может быть, “дно” следует понимать как глубинную его основу, где лишь и выявляется сущность?). “Бубнов (спокойно): Ты везде лишняя, — говорит он Насте... — Да и все люди на земле — лишние”.

Итак, “логика вещей” рассматривает человека в ракурсе вещей, их принимая за фундаментальное основание, а не вещи — в ракурсе Человека.

Но чем же это плохо? Разве это не прекрасно, что в ходе развития общества и разума создавалась такая предметная действительность, которая имеет свою жизненность и закономерность, независимую от жизни и смерти человека? Его век недолог, а это — прочно, длительно. Разве не прекрасно, что на ее основе человеческая мысль может извлекать из бытия истины, независимые от воли человека? Разве не прекрасно, что и о том, что есть человек, можно узнать не по его сбивчивым о себе представлениям, но по его месту и делам в мире вещей и законов? На этой основе и могла бы складываться *правда о человеке*. (Вдумайтесь в это выражение и

сопоставьте его с выражением: “Человек — есть правда”. Значит, истина имеет более незыблемое существование, чем человек: он смертен, “относителен”, а она, опирающаяся на отношения вещей, более прочна, “абсолютна”).

И вот как глаголет эта объективная, “железная” логика вещей” и какие правды извлекаются ее способом в пьесе “На дне”: *Костылев (Лука)*: Неудобство, видно, имеешь на одном-то месте жить? *Лука*: Под лежач камень — сказано — и вода не течет... *Костылев*: То — камень. А человек должен на одном месте жить...”

Вот с научной точностью определена разница в нынешнем положении вещей и человека: “камень”, т.е. предметный мир, выстроенный людьми между прочим из камней, обладает самодвижением, чуть ли не свободой воли: для него-то действительной оказывается пословица: “под лежач камень и вода не течет”, — созданная первоначально для человека, чтобы выразить его свойство двигаться, хотеть, проявлять волю и т.д. Теперь же, напротив, камень принял некогдашнее свойство человека, а человек — свойства камня: должен выполнять его волю, а для этого должен быть в удобном для камня положении: всегда на нужном месте, чтобы, когда господин пожелает его взять, он нашел бы его, как инструмент, на прежней полочке.

“Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили... Куда кто хочет, туда и лезет... Человек должен определить себя к месту... Не путаться зря по земле”. Если раньше вещи лежали на земле “зря”, пока человек не придал им место и форму, то теперь человек, оказывается, существует “зря” и вынужден, как виноватый, непрерывно оправдываться перед вещным миром, что и от его (человека) существования есть польза. *Лука*: А если которому — везде место? *Костылев*: Стало быть, он — бродяга — бесполезный человек”.

Итак, “человек должен определить себя к месту”. Тем самым место служит определением для человека, место красит человека. И на вопрос: что такое этот человек? — “логика вещей” дает точное, основанное на “фактах” (месте) знание: то-то и то-то. Мы-то, например, бьемся и гадаем, что такое Сатин, воспевший гимн Человеку, каков его характер, духовный мир и т.д. А вот верящий в порядок и закон (“Надо жить честно!”) Татарин, оказывается, точно знает, что такое Сатин: *Татарин (Сатину)*: Мешай карта! Хорошо мешай! Знаем мы какой-такой ты”, — имея в виду точное определение: “Человек Сатин есть шулер”.

А что значит это знание, из чего оно складывается? Вот система определений, которыми Василиса хочет сделать для себя познанным, известным нового человека Луку.

Первый ход — название, определение: что (кто).

*Василиса*: Ты кто такой. *Лука*: Проходящий... странствующий.

*Василиса:* Ночуешь или жить? (это второй ход — цель /связь с будущим/). *Лука:* Погляжу там”.

Третий ход — обоснование другим, т.е. доказательство (явление — под подозрением: нужно выявить связь с окружающим). *Василиса:* Пачпорт. *Лука:* Можно. *Василиса:* Давай! *Лука:* Я тебе принесу... на квартиру тебе приволоку его”.

Четвертый ход — вывод. *Василиса:* Прохожий... Тоже! Говорил бы, проходимец... все ближе к правде-то... *Лука* (вздыхнув): Ах, и не ласкова ты, мать...”

В разговоре Василисы с Лукой познание нового человека есть цель: его хотят сделать известным, т.е. ревниво ликвидировать его новизну и превратить в старое. Соответственно, отношения сразу неравноправны и принужденны: один — субъект, другой — объект; один активен, другой пассивен; один — следователь, другой — подсудимый; один подозревает, другой оправдывается и т.д., то есть, ни тот, ни другой не в своем естественном состоянии, настроении и облике находятся, а — в искаженном.

Василиса задает вопросы и вроде интересуется, кто этот человек сам по себе. Но ведь уже сама форма вопроса предполагает определенный ответ, т.е. не дает новому проявить себя в своей, может быть, мне не известной форме, а опосредует его моим представлением и целью. Ибо моя цель (и ее отражение — вопрос) формируется до истинного знания об этом человеке, исходит из предвзятого интереса, который и полагает себя в основу знания нового, т.е. именно не позволяет новому проявиться, а подставляет вместо него старое.

И, в самом деле, почему Василису не удовлетворяет ответ Луки на каждый ее вопрос: он ей кажется уклончивым, попросту — ложью, ей кажется, что старик “врет”? Потому что он каждым ответом не на вопрос отвечает, т.е. дает не известную ей уже форму знания о человеке (исходя из которой сам-то вопрос и формулировался), а сбивает в сторону:

“Кто?” — вместо точного ответа: “слесарь”, “вор”, “учитель” и т.д.— два взаимно уточняющих слова, в которых смысл расплывается: “Проходящий... странствующий”, — ибо и самому Луке трудно сказать, кто он такой. В этом смысле человек никогда себя не знает.

Далее, вместо точного, заранее, знания цели: “Ночуешь или жить?” — незнание: “Погляжу там”. Человек полагает что-то неизвестным. А это тревожит, дразнит логику, ибо знание, правда ревниво не допускает, чтобы что-то ускользало из-под нее, — хочет сразу всю правду. Если же допустить, что ее дать сразу нельзя, тогда, следовательно, придется дать свободу явлению, а человеку — волю хотеть и жить из себя, а не из заранее положенного обстоятельства и места.

Отчаявшись получить знание из прямого опыта, общения с человеком, т.е. в общем, не веря и человеку, и самой себе, Василиса обращается за помощью к предшествующей работе логики вещей над человеком — удостоверению, объяснению и

знанию человека, исходя из места рождения, жительства, работы. Удостоверение — какой термин! Сам человек — не достоверен: его нужно еще доказать бумагой. Документ есть объективная, отдельно от человека живущая истина о нем, нужная потому, что человеку (тому, что он может о себе сказать) и своему представлению о нем заранее не верят. Система вопросов документа есть все необходимое и достаточное для общества знание о человеке, где все в нем выразимо в одинаковой для всех системе координат. И когда Лука увиливает и в ответе на вопрос о “пачпорте”, Василиса, наконец, уже может вынести точное определение, знание, правду о старике, которую он было пытался замаскировать ответами не на вопрос: “Прохожий... тоже! Говорил бы, проходимец, все ближе к правде-то...”

Итак, столкнувшись с новым, неизвестным, логика вещей хочет установить его не как оно есть по своей мерке и правде (таковых она не допускает) — но по отношению к себе (своим вещам). Все расспросы Василисы имеют целью выяснить: заплатит ли старик и сколько, и не будет ли из-за него скандала — той самой “канители”, которую может вызвать неожиданное изменение человека, например, — смерть. Так, полицейский Медведев по-своему понимает ту мысль Луки, что о человеке надо заботиться, радеть, следить, как бы с ним чего не случилось:

“Лука: Ты смеешься... — говорит он Квашне об умирающей Анне, — а разве можно человека эдак бросать? Он — каков ни есть — а всегда своей цены стоит... Медведев: Надзор нужен! Вдруг — умрет? Канитель будет из этого... Следить надо!”

Такая правда ничего больше знать о человеке и не хочет, она и не допускает, что он может заключать в себе какое-то новое, не предполагавшееся ею содержание и знание. Логика вещей не предполагает в человеке Х, неизвестного, а полагает его знание исчерпанным, коль скоро его существование перелито в форму вещей (мест) и через них просвечено. Эта логика постоянно заинтересована в правде, т.е. в точном прилегании человека к месту (соответствии ответа-вопросу), и всякий сдвиг (смех, например) — для нее тревожен. “Врать нельзя, брат”, — строго говорит полицейский Медведев Бубнову. Тут же он указывает и на другого врага порядка и логики вещей: “Какой народ стал... надо всем смеется...”

Итак, закономерность знания о человеке, добываемого логикой вещей, можно сформулировать пословицей: “Что дал — то и взял”, т.е. просветил человека своей корыстной целью, положил ему в вопросах систему своих представлений, — ее же и получил назад, а не содержание самого человека.

А теперь пусть читатель вспомнит или перечитает сцену появления Луки в ночлежке. Здесь тоже протекает взаимное знакомство, т.е. добывается знание людей друг о друге. Но здесь оно как-то дается даром, без усилий, незаметно — в

людях сразу открывается то, что никакими хитроумнейшими вопросами из них бы не добыла логика вещей. Отчего же так? Да оттого, что знание не выступает целью: жители ночлежки и новый постоялец не становятся в отношения субъекта и объекта познания, т.е. не через целенаправленные мысли и слова начинают общаться друг с другом, а продолжают просто жить (т.е. всесторонне, непринужденно самопроявляться) своим чередом. Пепел то заговаривает с Наташей, то жалуется Бубнову на скуку; Клещ мастерит; Лука устраивается на постой, поет себе и т.д. В акте познания "Лука — жители ночлежки" нет друг к другу корыстного интереса и цели — отношения людей выведены, выключены из отношения вещей и логики вещей; они не мешают друг другу (в общем-то им даже наплевать друг на друга). Но именно поэтому здесь человек среди людей — как наедине сам с собой, раскрывается в своей собственной мерке. Так Лука бросает приветствие в форме поговорки ("Доброго здоровья, народ честной!") — и сразу получает не подозрительно вопрошающее: "а ты кто такой, чтобы вмешиваться?" (как на его реплики реагируют Медведев, Василиса и Костылев), — а такое же, в тоне балагурства выдержанное, сообщение ("Был честной, да позапрошлой весной").

Вообще, уже это примечательно, что они не задают друг другу вопросов, а сразу, с ходу говорят, продолжают свою же беседу, только уже с новым собеседником. При этом те определения (знание, правда) человека по месту, которых как цели знания домогалась Василиса, здесь даются сразу, безо всяких усилий мысли (вопросов), а на основе простой чувственной достоверности — видимости, очевидности. Ночлежники видят, что перед ними: 1) старик, 2) странник (котомка, чайник у пояса), 3) новый постоялец. Лука же видит, что перед ним — "жулики".

Но эти определения — лишь исходный и пустой момент познания. Они тут же размыкаются в более широкие, конкретные и содержательные: Лука говорит, что и жулики — люди. И говорит он не так, как Василисе: пусто и уклончиво, а в присущей его индивидуальности форме: пословиц, прибауток, т.е. он сразу самораскрывается, так что Васька Пепел уже приходит к содержательному знанию и о самом Луке: "Какого занятного старичишку-то привели вы, Наташа..."

Если правда Василисы о Луке могла состояться лишь поскольку удалось загнать его в известную ей формулу: "проходимец", то здесь правда, знание о Луке и о ночлежниках — саморасширяющийся процесс их взаимной жизни, как непроизвольное следствие тех отношений человека к человекам, которые устанавливаются и текут в ночлежке. Правда, выходит, — следствие человека. (Вспомним: "Человек — вот правда!"). При этом из каждой ситуации, каждого поворота этих контактов возникает знание не только об этом человеке, но и о человеке вообще. Лука поет, Васька кричит ему: "Не пой!",

и устами Луки тут же выражается новая истина о человеке вообще: “Человек-то думает про себя — хорошо я делаю. Хватит, а люди не довольны...”

В освоении же Луки Василисой было обратное течение мышления: предполагалось точное знание жизни и человека вообще, и, исходя из этого знания, привычными кнутами-рубриками вопросов — единичный человек загонялся на “свое место”. Человек выступал как следствие правды, как произведение самодействующей, вне его живущей, правды — следовательно, объявившей его потенциальной, заведомой ложью, так что он все время под подозрением находится (на нем словно лежит библейский первородный грех).

Живя вне человека, правда эта снисходительно приобщает его к себе только системой вопросов, на которые он должен не лгать (ибо лгать, следовательно, ему присуще, — таково просто его положение во враждебном мире вещей и их логики). “Бубнов: И чего это, ... человек врать так любит. Всегда — как перед следователем стоит, право”. Вот-вот. Мир отчуждения со своей “объективной правдой”, логикой вещей есть непрерывный суд, “процесс” над человеком.

Потому, с другой стороны, и покинутый правдой человек, не веря себе, мечется, ищет ее, смысл жизни в мире вокруг себя и вопиет, вопрошает: Где правда? “Клещ (вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит): Какая правда? Где правда? (треплет руками лохмотья на себе) — Вот — правда! Работы нет... силы нет. Вот — правда! Пристанища... пристанища нету!” Клещ здесь совершенно точно перечислил те признаки, на которых строится правда о нем: он словно дает себе свидетельство о благосостоянии (“лохмотья”), свидетельство о месте работы (“работы нет”), справку о месте жительства (“пристанища нету”) — и по всем статьям выходит, что он обладает нулевым существованием. “Издыхать надо... вот она, правда! Дьявол! На... на что мне она — правда?” Вопрос совершенно законный, ибо сама правда ему сказала: на что ты мне? Катись ко всем чертям! (“Дьявол!” — зовет Клещ). “Дай вздохнуть... вздохнуть дай! Чем я виноват? за что мне — правду? (т.е. правду — как приговор, кару за вину.— Г. Г.). Жить — дьявол — жить нельзя... вот она, правда!”

Итак, обесчеловеченные связи людей в обществе привели к тому, что Человек и “правда” встали в остро враждебные отношения друг к другу. Логика вещей видит в этом слабость и трусость человека смотреть “правде”, “фактам” прямо в глаза. (Вспомним размышления Ужа после смерти Сокола.) Но человек в этом прозревает лживость, мнимость самой этой “правды”, пустоту и бессодержательность “истин”, добываемых якобы точной, объективной, от человека не зависящей логикой вещей. То есть логика продолжает что-то мыслить, бормотать, но все более “не о том”, в призрачном и самогипнотизирующем мире своих построений (как бредовые выкладки и логичные построения и расчеты щедринского Иудушки в



фантастических мыслительных оргиях выморочного бытия, в которых он строит силлогизмы: если у всех перемрут коровы, а у меня нет, то я продам втридорога и т.д.)

Но во всех наших рассуждениях до сих пор оставался в тени один вопрос. Допустим, что логика вещей, которой пользуются в отношениях друг с другом люди в мире отчужденного бытия, — действительно такова, как это рассмотрено на структуре мысли Василисы, Костылева, Медведева и т.д. Но на каком-таком основании мы позволяем себе смешивать, отождествлять с ней логику отвлеченного теоретического мышления? Ведь с ее-то помощью мы добываем чистые объективные истины, опирающиеся не просто на факты-отношения вещей, но на факты проверенные, доказанные, когда они становятся “упрямой вещью” (т.е. опять, тоже — вещь: это сознание никак не перепрыгнет через фетишизм вещей, и вещь есть в ее представлении самое прочное и твердое, что существует, — эталон крепости бытия).

Каково содержание этих объективных истин и каким ходом сознания их добывают, рассматривается в притче Луки о “праведной земле”.

“Лука: Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил... Бубнов: Во что-о? Лука: В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле, — особые люди населяют... хорошие люди! Друг другу они уважают, друг дружке — за всяко-просто — помогают... и все собирался итти... правильную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо... и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись, да помирай (как, примерно, Клецу, от “правды”. — Г. Г.) духа он не терял, а все, бывало, усмехался только, да высказывал: ничего! Потерплю! Еще несколько пожду, а потом — брошу всю эту жизнь (т.е. не то, что землю свою, место, родину, — а именно образ жизни, который есть не географическое, а общественно-человеческое явление. — Г. Г.) — и — уйду в праведную землю”. Значит, в другой, “праведный”, радостный образ жизни людей в обществе, дружную общественную организацию людей. Как в поэме А. Твардовского герой отправляется на поиски счастливой жизни, которую он представлял себе как Страну Муравию — землю обетованную (т.е. общественное движение во времени, двигающее человека к счастливой жизни предстает как индивидуальное движение в пространстве), которую он, крестьянин, по выработанному логикой вещей, среди которых он живет, автоматическому ходу сознания, обозначал опять же в форме пространства: по месту, относил просто к другой территории — земле, подобно тому, как и мы до сих пор названия наций, стран, целых сложнейших общественно-природных организмов обозначаем по земле: *Deutschland*, *Angleterre* и т.д. “Одна у него радость была — земля эта...” (т.е. она была его

идеалом — формой его сущности, его истинного, а не внешне-паспортного бытия. Земля эта была его правдой, им самим. Они вели единое, сращенное существование).

“Пепел: Ну? Пошел? Бубнов: Куда? Хо-хо! Лука: И вот в это место — в Сибири дело-то было — прислали ссыльного, ученого... с книгами, с планами-то он, ученый-то, и со всякими штуками... (Видно — даже интеллигент — революционер, борец за народное дело, ходивший, вероятно, в народ, чтобы учить его уму-разуму и просвещать.— Г. Г.). Человек и говорит ученому (хорошо, между прочим, даже в этом обозначении выражена разница между ними, их бытием и их логикой; следовательно, об одном ничего нельзя больше сказать, как просто — “человек”. А другой — уже “ученый”, т.е. неизвестно: больше или меньше, выше ли, чем “человек”, но, во всяком случае, уже нечто другое, имеющее свой, не человеческий круг интересов и “вопросов”, — живущее в другом измерении, чем человек.— Г. Г.): “Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?”

Верит человек в логику и разум, и он наивно полагает, что ее (логики) истины — человеческие, для человеческого бытия созданные, а не для самодвижения вещей и для самодовольствования стройностью своих собственных построений. Он, “человек”, конечно, не настолько еще “учен”, чтоб отдать себе отчет в том, что он спрашивает одно (дорогу в другую землю), а имеет в виду другое (“путь” к другой жизни). Но ученый-то уже настолько учен, чтобы не понимать человека и человеческое содержание в “научно-логическом” вопросе, как ни примитивно он здесь сформулирован. И сознание его, ученого, действует по той же самой автоматической логике, которую мы проанализировали в опросе Василисой Луки. Там формулировка вопроса уже предполагала определенный ответ в своем же измерении, и логика вещей терялась, когда Лука переносил ответ в иное — человеческое измерение. То же самое, но в обратном направлении, происходит сейчас. Здесь человек задает вопрос в системе отсчета “Человек”, а ученый понимает его уже в “системе отсчета”: “Наука”, “Объективная логика”. По логике этой системы формулировка вопроса есть подстановка под ответ, уже дает его: и раз человек спрашивает о земле (логика ведь исходит не от содержания, скрытого за словами, — как исходит Лука: “не слово важно, а почему слово говорится”, — но из точного смысла, значения слов), то ученый и вопрошает науку, ведающую землей как территорией, — географию.

“Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил... глядел-гляддел — нет нигде праведной земли”. Он ищет ответа, уже содержащегося в вопросе: человек спросил о праведной земле — и ученый ищет на карте название “Праведная земля”, значит, преследует не добычу истины, а лишь сверяет новый факт со старой истиной. Ученый не пытается усилием своей мысли выявить скрытое под вопросом человеческое со-

держание, приспособить к нему шупальцы своей логики (и тем самым — обновить ее). Ученый действует, как запрограммированная кибернетическая машина, которая может дать ответ лишь в своей программе, по своему ведомству, если вопрос и просигнализирован кодом этого ведомства, и не может по своему почину разобрать ошибку, путаницу в сигнале, коде. Переносное значение сигнала ему непонятно.

“Все верно, все земли показаны, а праведной нет!.. *Пепел (негромко):* Ну? Нету? *(Бубнов хохочет).* *Наташа:* Погоди ты... ну, дедушка? *Лука:* Человек — не верит...”

Что это такое? Оказывается, недостаточно ни веских фактов, ни истин, ни логики доказательств: нужно еще, чтобы человек в них поверил, дал бы им свою веру, а без нее все эти факты и правды — дым. То есть, доверие для знания и логики стоит как высший предел их стремлений, потолок, которого они всеми силами, в том числе и хитроумными сплетениями доказательств, пытаются достигнуть: исторгнуть из человека его “я” и взять его себе.

Итак, знанию нужно в конце концов добиться, чтобы человек все же поверил доказательствам. Пока знание нанизывает их, они, кажется, держатся сами собой, своей “логикой”, но как только предстают пред высшего судию — доверие, тотчас обнаруживается, что искусственно созданный стержень, на который они нанизывались и держались, именно нужен был как эрзац доверия, и если оно (доверие) есть, — его и не нужно. Ведь логика вещей и ее знание — как и общество отчуждения — вертятся в царстве взаимной подозрительности: они не верят в разумность и себя, и всех вещей, а занимаются непрерывным контролем (ис-следовательской работой).

Чего же конкретно хочет логика, правда, добиваясь, чтобы человек в нее поверил? — Того, чтобы он слил их не с разумом своим, логикой (которые у него предполагаются одинаковыми со всеми), но соединил бы с этой правдой, системой доказательств, все свое индивидуальное существо — “я” — так, чтобы они (эти истины) срослись с ним, т.е. стали бы его убеждением, а не знанием. Последнее легко вкладывается в человека, но столь же легко и заменяется другим, если логика докажет истинность нового. Но знание-убеждение можно вынуть только с жизнью, душой, головой, “я” человека. Оно уже не поддается хитроумным аргументам: знает, что это “бесова” работа, от слабости, рядящейся в мнимую силу, идущая, — которая, как Мефистофель, хочет душу Фауста завлечь. Без этой живой крови логика вещей жить не может и потому идет на все уловки, чтобы исторгнуть “я” из человека. При этом опять-таки недостаточно договора, подписи — это все в сфере права и логики (форм отчужденного бытия). Нет, нужно еще признание Фауста: “Да, мгновение — прекрасно ты!” Не знание, а признание, т.е. действие, откуда-то свыше, чем знание, идущее, присоединяющее знание к чему-

то, а именно: к “я” — ибо это “да!” есть акт свободной воли индивидуума, а не автоматический результат доказательств.

Раз сама ее величество Правда ощущает свою недостаточность, значит, изнутри самой логики вещей каждый раз, в каждом акте познания, заново возрождается потребность: срастись с человеком, чтобы не просто “правда” была, а была — “Человек-правда”. То есть, то самое движение, которое Сатин выражает со стороны Человека (“Человек — вот правда!”), здесь обнаруживается со стороны логики, хотя она никогда так прямо об этом не заявит, не истолкует так тот факт, что доказательство добывается, чтобы ему — поверили.

Итак, через знание, логику хотят подцепить волю человека, которая, значит, имеет какую-то высшую и более широкую сферу владычества, куда чистое знание без пропуска воли (доверия “я”) войти не может.

“Человек — не верит... должна, говорит, быть... ищи лучше.

А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет...”

Вот оно, то, о чем мы только что говорили. “Должно быть” — это значит: то, что исходит из воли, т.е. той стороны сознания, которая прямо слита с материальным существованием человека, потребностями его естества, тела, что предстают в духе, как желания и интересы, — есть более мощный критерий существования, чем бессильное, отвлеченно-логическое “есть”, “нет”. (“Нет праведной земли” — на своем логическом воляпюке самодовольно заявляет наука география, полагая, что ее искусственно выработанные критерии более глубоки и сильны, чем критерии всего реального бытия; полагая, что все, что географией не охватывается, не укладывается в ее “участок”, — “от лукавого”).

Воля дает задания логике: “Должна быть, ищи лучше”. Как же реагирует на этот зов живой жизни логика вещей?

“Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет”.

Что значит: “мои планы”? Ведь планы-то науки, суть объективные факты, а не “его, личные”. Но в том-то и дело, что в столкновении с миром человека: воли, убеждения, — и Наука вынуждена обернуться как индивидуум, живой человек: как Ученый, который обижается, что ему не верят. Сталкиваются, следовательно, уже два существа на почве веры (т.е. незаметно закон безличной правды и логики подменился законом убеждения, веры и “я” человека). Разница между ними теперь не в том, что один верит, а другой — нет, а в том, что один — “отчудил” свое “я”, волю, передал ее “планам”: они — “верные” (а не человек — верен) — и сверяет новое не с собой (т.е. не верит себе, своему существованию), а с книгами и планами. К ним он испытывает новый фетишизм: они платят за все, а не он. Они солгут — они и отвечают, а он ни за что сам не отвечает.

А другой — человек. Он носит праведную землю в себе, в груди, как свое истинное “я”, как свое существование. Он — как раз тот человек, о котором говорит Сатин: “Человек может верить и не верить... Это его дело! Человек — свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам и потому он — свободен”.

И вот он, этот человек, полагает, что и другой, “ученый” — тоже человек; что, следовательно, правда, истина, которую тот ему сообщает, есть тоже его дело, что он за нее (за этот “ум”) в ответе.

“Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! А по планам выходит — нету! Грабеж! (Да — не истину, а его ограбили, оставили голым и пустым.— Г. Г.). И говорит он ученому: ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый... да в ухо ему — раз! Да еще!.. (Помолчав). А после того пошел домой и удавился!.. (Все молчат. Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу). Пепел (негромко): Ч-чорт-те возьми... история — не веселая... Наташа: Не стерпел обмана”.

Так заплатил свободный человек за свою веру, свой ум, за свое “я” — сам, по своей воле, заплатил: никто его не тянул на это. И этот акт его свободной воли есть высшее доказательство тому, что — “а все-таки она — вертится!”, что “праведная земля” есть, существует, никогда не умирает, ибо ее обитель — не в квадратных километрах, а в воле людей, в сущности Человека. И верно говорит Наташа: Человек “не стерпел обмана”, — т.е. правды отчужденной науки, этой мнимой правды, — и противопоставил ей свою, человеческую, правду, сцементировав ее нетленное бытие — кровью (Подобную же мысль — родную Горькому — мы встречаем в “Матери” в устах Рыбина: “не поверят люди голому слову — страдать надо, надо в крови омыть слово...”. Или: “Только разум освободит человека,— твердо сказал Павел.— Разум силы не дает! — возражал Рыбин громко и настойчиво.— Сердце дает силу, а не голова, вот!”).

И в романе “самоуверенность рассудка”, в которое впадает железный человек Павел, непрерывно корректируется сердцем Матери и Андрея Находки, которые лучше понимают жизнь и больше любят людей, чем Павел, кто любит сам процесс борьбы и себя в ней..).

А ученый? За что же его так? Именно — не за что — и это-то и есть высшее доказательство тому, что — пустая его истина, не добьется она сращения с человеком; что не дотянуться этой правде до состояния: “Человек — правда”.

Ведь если с юридической точки зрения разобрать этот казус с мордобитием и оскорблениями человека бранными, недозволенными словами, то все это произошло “без причины”. Разве ученый сволочь и подлец? Какое вообще имеют отношение эти, характеризующие индивидуальность, понятия — к истине? В том-то и беда, что — не имеют. Ибо

истина и человек полностью разъединились, и их мерки и критерии — несоединимы.

Да, ученый — не виноват. Напротив, он старался помочь человеку, потратил свой труд и время — и вот благодарность! Незаслуженные оскорбления и брань! Как некультурно!

Вот именно. Это-то лучше всего доказывает обесчеловечение и самой культуры, ибо высшее страдание человеческой души, у которой разбит идеал, выступает как нечто “некультурное”, не имеющее смысла, отрицательное.

Ученый оскорблен без причины. Но значит и самоубийство человека произошло без причины, — что и отнесут в спасительную (спасающую от необходимости понимания) формулу — “невменяемого состояния”. Говоря так, юридическая наука полагает, что человек — дурак, что он поступил без оснований, без причин. На самом же деле этим она точно расписывается в том, что раз такой величественный акт, как такое самоубийство человека, — не может быть объяснен ее силами (нет ему причины! — юридическую, т.е. в своих узких понятиях осмысленную, причину она выдает за объективную причину); раз для нее этот поступок — нуль, то, следовательно, и эта наука и закон — нуль для истинной глубины “вещей” и человеческого бытия.

Человек убил себя без оснований! Да, верно: не вне его, в каком-либо общепонятном отчужденном факте, интересе, цели (банкротство, угроза наказания и т.д.) коренится основание его самоубийству, а в этом поступке человек опирался только на себя, на свое “я”.

Человек убил себя в “невменяемом состоянии”! Это так именно потому, что сама наука отчуждения не вменяема по отношению к таким явлениям, что она не может “вменять” свою систему координат — в психику истинно свободного человека — и, зацепив ее так, разложить по своим полочкам. Именно свободный человек, который действует не в силу внешней необходимости, доступной освоению — логикой вещей, но по внутренней необходимости, — именно он — невменяем, иррационален, неисповедим для науки отчуждения. Для нее объяснить человека — значит соединить его с его “я”, которое из него извлечено, находится вне его и привязано к определенному месту, и с этим местом и совпадает. Но для этой процедуры (такого объяснения) необходимо предварительное отчуждение от человека его “я”, его сущности. На этом, уже исторически совершившемся факте, и возникает потребность в воссоединении человека со своим “я” — воссоединении не реальном, а идеальном, т.е. как объяснении умом.

Итак, в притче о праведной земле выявилось бессилие “логики вещей” понять бытие и человека. Это бессилие, однако, выступило в форме убеждения, что бытия и человека — *нет*. Иначе и не может поступить знание: для него существует лишь то, что оно *знает*, т.е. то, что укладывается в

систему его координат: того же, чего наука не знает, — просто нет: существовать и быть известным (истинным) для нее — одно и то же. Наука с ее планами и книгами перед вопросом человека о праведной земле оказалась в том же положении, в каком участковый полицейский Медведев — при первом знакомстве с Лукой. Медведев уверен, что он всех людей знает, по крайней мере, — “в своем участке”: “Медведев: Как будто тебя я не знаю... Лука: А остальных людей — всех знаешь? Медведев: В своем участке я должен всех знать... а тебя вот — не знаю.”

Но ведь и ученый убежден, что его “планы” и карты — самые “верные”, что ими все улавливается, и если что-то не укладывается в них, то его нет, не существует. Так и Лука словно виноват перед полицейским в том, что он не был известен, и должен либо ступившись и уничтожиться, либо перейти в известное состояние. А что это значит? — Это значит: на нем должна вновь подтвердить себя система тех “планов и карт”, суждений о человеке по месту в системе мира вещей (паспорт, анкета и т.д.), которой рассудок оперирует на своем участке (знания), — а он, как индивидуум X — неизвестность, — должен исчезнуть, уйти в небытие. Лука в ответ на это притязание полицейского разума, на его обвинение Луки в том, что он (разум) его (Луку) не знает, поясняет:

“Лука: Это оттого, дядя, что земля-то не вся в твоём участке поместилась... осталось маленько и опричь его...”. А участковый обо всей земле и мироздании судит по своему участку, примеряя к ним свой аршин. Но ведь и наш ученый, который всегда — специалист, есть такой же участковый: он тоже умозаключает о бесконечном бытии и человеке, примеряя к ним аршин того “участка” бытия, который вмещается в “логику вещей”. Кроме того: даже не всем знанием оперирует “ученый”, а частичным, произвольно огороженным: наукой географии — и, тем не менее, он уверен, что дал исчерпывающий (основанный на фактах, логике и доказательствах) ответ на вопрос о праведной земле.

Как не вспомнить здесь чрезвычайно логичные умозаключения Ужа о том, что есть небо, радость бытия и т.д.: ведь он заключает о них не с кондачка, а на основе эксперимента — по личному опыту: он видел все своими глазами и теперь твердо знает, что есть истина! Ученый мог бы ответить человеку, который оскорбил его действием и бранными словами: “Зачем же гордость! Зачем укоры! Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний” (это совершенно точно сказано, ибо мир воли — желаний не переводится на язык отвлеченного мышления, правды, отделенной от человека, — и, поскольку этот мир не ведом разуму, он выступает как сфера глупости и бессмысленности) “и скрыть за ними свою негодность для дела жизни?” (Тоже очень точно сказано: “годность для дела жизни” в наличном мире — это критерий осмысленного,

истины. Негодность для дела жизни = нелогичность-безумство) “Смешные птицы!..” (Это смех не от прерыва автоматизма, но из убеждения в разумности автоматизма исходящий. Так смеются над поскользнувшимся и разбившимся в кровь человеком. Это — смех от несоответствия жизни привычному представлению, а не освобождающий смех, что истекает от несоответствия нашего привычного представления — реальной, новой жизни). “Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю. Я видел небо... Взлетел в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю”.

Полицейский Медведев в ответ на замечание Луки, что участок-то его не охватывает всей земли,— все-таки признался: “Правильно, участок у меня не велик...” Но вооруженный знанием и логикой ученый Уж, чья мысль движется по аналогичной схеме,— в этом, как видите, не признается. Напротив, он скорее готов объявить нелепым, иррациональным, бессмысленным, несуществующим все то, что не... понятно ему.

Да, но если “логика вещей”, выработанная в мире отчуждения, действует только в этих пределах (как механика и математика Ньютона все же действительна в особых пределах — даже после революции в естествознании конца XIX в. и в XX в.), то как освоить мыслью, передать ее движением главное и глубинное содержание жизни, человечества и Человека, которое не только приоткрылось на рубеже XIX-XX вв., но все более настойчиво стало вторгаться, взрывать мир вещей и его логику?

Очевидно, первое условие для выработки этой новой логики “человекоправды” — это обнаружить в жизни такую реальность, где законы, и интересы, и логика мира отчуждения теряют свою силу — и где бытие... Точнее, такой, наиболее простой и явной всем сферой оказывается, по сути дела, **небытие**: царство мертвых. И “На дне” — не что иное, как “Разговоры в царстве мертвых” (вспомним диалоги Лукиана под этим названием), ибо это — люди изгой, “лишние”, не нужные обществу; но, с другой стороны, и оно само (и ничто в нем) — им не нужно. Сюда вытеснен Человек из мира отчуждения; и слесарь Клещ, опускаясь к концу пьесы на дно, тем самым возвышается до Человека.

Итак, перед нами царство “не от мира сего” — царство свободы, могущее выступить при наличном бытии царства отчуждения и его логики — лишь как **небытие**. Здесь люди никуда не торопятся, не преследуют никаких целей, а ведут блаженную, не возмущаемую ничем жизнь олимпийцев, проводя жизнь в играх (карты), возлияниях (водка как нектар), созерцании и размышлениях (разговоры), и лишь изредка, для забавы, вмешиваются в дела смертных: то Сатин шуточно подстрекает Пепла жениться на Василисе и стать их хозяином, то Бубнов и Сатин разнимают драку Василисы и Ната-



ши, Пепла и Костылева. Никакого изнутри идущего движения, событийного конфликта здесь нет. И те действия, поступки, столкновения интересов, которые все-таки в пьесе совершаются, вторгаются сюда сверху, это — толчки с поверхности, а не со дна. Единственная событийная фабула в пьесе — это сюжетная линия отношений Василисы-Костылева-Пепла-Наташи. Страсть Василисы к Ваське, и ее стремление удалить с пути ненавистного ей мужа и приводит в третьем акте к драке, убийству и затем — каторге. И в четвертом акте опять на дне — невозмущаемый покой: игры, возлияния, философствования о смысле жизни, Человеке и т.д.

Правда, в этом абсолютно эстетическом состоянии нирваны находятся лишь двое из обитателей ночлежки: Сатин и Бубнов. Они уже избавились от желаний и стремлений, страха смерти и великодушно добры (как Сатин) или великодушно злы (как Бубнов) к людям.

Да, они — две ипостаси одного состояния свободы и свободного человека. И Сатин (а не только Бубнов) циничен: походя, равнодушно разрушает иллюзии: так, он рушит мечты Актера (“ложь” Луки о лечебнице для “органонов”) — и в результате Актер, как и человек из притчи о праведной земле, кончает с собой. С другой стороны, и Бубнов благожелателен и добродушен. В четвертом акте он всех угощает водкой: “Я, брат, угощать люблю! Кабы я был богатый... я бы... бесплатный трактир устроил!”

Почему же Сатин ощущает жизнь как благо, счастье, радость, а Клещ — как непрерывное несчастье и страдание?

Сатин прекрасен потому, что он превозмог цели, не полагает их вне себя, а Клещ — целеустремлен: мечтает “работать”, чтобы вырваться со дна — “в люди” (т.е. стать таким же, как существа — роботы отчужденного мира). Целеустремленность здесь выступает как качество, унижающее человека, связывающее его по рукам и ногам, опутывающее его отношениями мира отчуждения и обесчеловечивающее его.

Эта легкость в жизни и характере человека есть нечто невероятное, “противоестественное”, исключительное в мире отчуждения, где люди привязаны к вещам и перетягиваются от одной вещи (места) к другой — через интересы, цели, заботы: человек думает, что это изнутри его идущие проявления (акты) его воли; на самом деле — это сквозь него проходящие силовые линии, тяготения, возникающие как отношения между вещами. И эту силу тяжести непрерывно ощущает там человек. Здесь же есть гармония с самим собой и бытием, и она возникает только тогда, когда Человек выключен из свистопляски целей и интересов.

У Сатина его мысли о Человеке выступают не как мечта, идеал, которому противостоит, как его внешняя “оболочка”, которую якобы надо снять, его (Сатина) настоящее существование шулера и тунейца, — нет, но именно как то, что прекрасно и полностью живет и осуществляется в нем. Он не

хотел бы стать Человеком — он *есть* таков: “Хорошо это — чувствовать себя человеком! (Он-то, следовательно, хорошо знает это чувство.— Г. Г. ). Я — арестант, убийца, шулер — ну да! (Дает он себе определение по месту в системе вещей: он не привязан к вещам, а отвязывает их с им присущих мест (“вор”); не им служит, а играет ими (“шулер”), и потому вещи хотят прицепить его к себе силой (“арестант”). Г. Г. ). “Когда я иду по улице,— люди смотрят на меня, как на жулика... и сторонятся и оглядываются... И часто говорят мне — мерзавец! Шарлатан! Работай! Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? (Хохочет). Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, барон! Не в этом дело! Человек — выше! Человек — выше сытости!”

Итак, Сатин идет по улице совсем не стыдливо, а празднично, горделиво, чувствуя себя Человеком,— стократ более остро и мощно оттого, что люди — рабы вещей и сытости, шипят на него. Он — Человек — совсем не несмотря на то, что он шулер, или “хотя” он шулер; не по принципу: “и в рубище почтенна добродетель”. Этот принцип и возникающая на его основе красота бедности не пробивает потолок отчужденного сознания. Напротив, он очень устраивает общество отчуждения и укладывается в “логику вещей”, порождая мысль, что раз (даже) в рубище (т.е. в плохой вещи) почтенна добродетель, то как украсит ее, придаст сколь более ей цены и сделает ее стократ более “почтенной” — хорошая вещь, ну, например, приличный костюм и накрахмаленная рубашка с манжетами! В “На дне” нет ахов и сострадания тому унижению, в котором пребывает Человек, откинутый на дно. Нет здесь и мужественного стоицизма и терпения во имя чего-то: будущего, идеала и т.д. “Человек за все платит сам и потому он — свободен”. А “во имя” и “на благо” предполагает, что цель и это “Во имя” (чего жертвуется) несет ответственность за человека: он же слагает с себя и передоверяет свободу воли другому.

Напротив, на дне, в небытии люди превращаются в чело-веков (Лука говорит Костылеву: “Есть люди, а есть — иные — и человеки”), ощущают себя индивидуальностями, свободными. И что ситуация “дна”, в которой оказывается человек, есть наивозможно близкое в системе общества отчуждения приближение к царству свободы и гармонии, обнаруживается хотя бы в необычайном сходстве диалога Сатина и Клеши с беседой Моцарта и Сальери: “Сатин: Я тебе дам совет: ничего не делай! Просто — обременяй землю! Клещ: Ладно... говори... Я стыд имею пред людьми... Сатин: Брось! Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живется... Подумай — ты не станешь работать, я не стану... еще сотни... тысячи, все! — понимаешь? все бросят работать! Никто ничего не хочет делать — что тогда будет? Клещ: С голоду подохнут все”.

Смотрите, с каким пафосом Сатин рисует эту картину, словно в этом состоянии неработы заключается какое-то высшее предназначение людей, реализация ими своей сущности как Человека, праздник счастья и гармонии. Но, может быть, это не так уж лишено смысла. Ведь то, что рисует Сатин, это же есть всемирная забастовка — свободное волеизъявление людей, дерзнувших ощутить себя Человеками, которые выше сытости. Такой отказ от работы — есть разрыв автоматизма бытия. А именно труд, отчужденный от индивидуальности и радости, труд, как работа, а не творчество, и есть тот обмен веществ — почти “вещей”, которым и питается общество отчуждения. В солнечной красоте вселенского праздника и карнавала людей-братьев изображен Горьким такой отказ от работы в “Сказках об Италии” — вспомните забастовку трамвайщиков.

Сатин здесь заходит с другого конца (как бы с итога) к той же мысли, которую высказывает умирающий Моцарт Сальери:

Когда бы все так чувствовали силу  
Гармонии! Но нет: тогда б не мог  
И мир существовать; никто б не стал  
Заботиться о нуждах низкой жизни;  
Все предались бы вольному искусству.  
Нас мало избранных, счастливых праздных  
Пренебрегающих презренной пользой,  
Единого прекрасного жрецов.

Мысль Сатина движется к этому же утверждению царства гармонии и красоты, которое совершится при условии (у Моцарта это — следствие) того, что люди перестанут работать, т.е. руководиться критерием сытости (“кто не работает — тот не ест”) и страхом голодной смерти (который лежит в основе целей, полагаемых Клешом). Лишь если люди скинут с себя гипнотизирующую власть и вырвутся из автоматизма заведенного извне бытия, они станут доступны, смогут внять зову творчества и гармонии, вообще понять и представить, что это такое. А до этого — людям нечем их почувствовать: они живут в совсем другом измерении.

И недаром этот же Сатин, который воспел гимн забастовке, разрыву отношений, построенных на взгляде на человека как на существо лишь едящее, равное (а не выше) сытости; которое “живет, чтобы есть”, а не “ест, чтобы жить” (в отличие от античной пословицы, созданной праздным классом рабовладельцев) — недаром из уст этого же Сатина звучит слава труду-творчеству: “Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна: я, может быть, буду работать... да! Может быть! Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!” Вся тайна этого труда-творчества в том, что он не есть внешняя необходимость (“обязанность”, “долг”), под давлением высокой сознательно-

сти или могучего пресса — страха голодной смерти — возникающая, т.е. его мерилом служат не результаты и плоды (это подсобный и само собой получающийся “продукт” творчества), а радость и счастье самого процесса активного самовыявления человеческого”я”, наслаждение своей творческой волей, силой и т.д. Именно так понимает труд рабочий Нил (“Мещане”): “Всякое дело надо любить, чтобы хорошо делать. Знаешь, я ужасно люблю ковать. Пред тобой красная, бесформенная масса, злая, жгучая... бить по ней молотом — наслаждение. Она плюет в тебя шипящими, огненными плевками, хочет выжечь тебе глаза, ослепить, отшвырнуть от себя. Она живая, упругая. И ты сильными ударами с плеча делаешь из нее все, что тебе нужно... Татьяна: Для этого нужно быть сильным. Нил: И ловким...”

Такой труд — это как борьба, укрощение зверя: человек выступает как бог, творец, демиург, запечатлевающий свою волю, свой замысел на хаосе, аморфном материале природы. Это радость битвы, единоборства, где “Человек — свободен”, ибо “за все отвечает сам”: и побеждает или гибнет.

Да, Сатин знает о таком труде. Но он совсем не стремится к нему как к цели, не мечтает о нем, ибо он — иная форма той же свободы, вольной радости жизни, того же ощущения себя человеком, которые он и так осуществляет и испытывает, живя в “озорстве”: изгоем из общества, шулером и т.д. Как Нил испытывает наслаждение творчества, чувствует себя сильным и ловким, когда бьет молотом по красной бесформенной массе, так и Сатин чувствует себя человеком, когда просто идет по улице под взглядами железных людей-рабов, которые так же, как и злая и жгучая масса металла, “плюют в тебя шипящими, огненными плевками” (“Мещане”): “Мерзавец! Шарлатан! Работай!” (“На дне”); они хотят “выжечь тебе глаза, ослепить, отшвырнуть от себя” (“Мещане”).

Сам образ жизни, состояние, в котором находится и чувствует себя Человеком Сатин, есть акт свободы воли, есть надругательство надо всем, что признают ценным люди, запертые в мире вещей. И главное — их оскорбляет то праздничное чувство жизни, которое он излучает из себя. Если бы Сатин был вор и нищий с совестью и стыдом (как Клещ), чувствовал бы себя виноватым и стремился бы выбиться “в люди”: трудом или капиталом, скопленным воровством, то он был бы еще приемлем, входил бы в структуру общества отчуждения: мало ли людей выбрасывается им “на дно” и в нищенство! Но обществу дорого, чтобы люди в этом состоянии страдали, стремились бы вернуться назад, врати в него, тогда общество еще пронизывает их силовыми линиями своих отношений, держит их в орбите своей власти (или если бы эти люди проявили героизм терпения, стоицизма, переносили бы, не ропща, эту “кару”, посланную “богом”, в надежде на лучшее). А вот Сатину — легко и радостно. Именно за эту радость бытия ненавидит общество Сатина: ведь эту радость

не оно ему дало (в законной форме награды за заслуги или вознаграждения за труд), а он сам “вырвал” (нет, без усилий, легко она досталась ему) “радость у грядущих дней” — и нет, он сам создал из себя, открыл эту радость. Он творец — не вещей и предметов, — а этой радости бытия — и высший творец: ибо всемогущее общество своей обесчеловеченной силой может создать атомную бомбу, но не может создать и крупницы вольной радости и счастья.

Вот почему оно завистливым сальериевским оком взирает на радостных, легких людей, освободившихся от стимула “презренной пользы” и изведавших бытие в царстве гармонии. Потому оно травит и убивает этих людей с удовлетворенным сознанием исполненного долга и умиляется себе.

*Моцарт* — Ты плачешь?

*Сальери* — Эти слезы

Впервые лью: и больно, и приятно,  
Как будто тяжкий совершил я долг,  
Как будто нож целебный мне отсек  
Страдавший член!

Сальери, отравив Моцарта, действительно вправе чувствовать себя спасителем человечества, обеспечившим ему счастье, хирургом, отрезавшим опасный орган. Ибо и сам Моцарт признал, что, “Если б все так чувствовали силу гармонии, тогда б не мог и мир существовать”. Люди несут по инерции бремя отчужденного труда — работы: они привыкают и не чувствуют его, и уже счастливы — да, уже не страдают и приучаются воспринимать мерку этой работы как разумную, а себя — гордыми и прекрасными (все это измерения общества отчуждения), и презирают, как бездельников, или снисходительно посмеиваются, как над чудаками-полудетьми и юродивыми (т.е. выродками), над людьми, живущими как “птичка божия”, — без целей. Но вот этот поезд отчужденного бытия всей своей массой наталкивается на такое препятствие, какое являют миру Моцарт или Сокол, или Сатин, — и тут же люди ощущают себя бесконечно несчастными, и бремя становится тысячекратно тяжелее. И, предвидя такие случаи, вожди отчужденного человечества предупреждают распространение заразы, отсекают эти органы. Героически возвышенный вариант этой ситуации мы видим в образе Великого Инквизитора (легенда Ивана Карамазова), изгнавшего самого богочеловека Христа во имя его же. Даже здесь “Во имя” более жизненно и нужно обществу, чем то живое, что под ним: нужнее даже богочеловека.

Двойственный вариант этого мы видим в Сальери. Наконец, Уж в “Песне о Соколе” той же логикой рассуждает о смерти Сокола: “Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо?”

Люди дна — это те, кто по своей воле или подвигнутые на это обществом, преступили черту общества отчуждения. От-

верженные! Униженные! Оскорбленные! Несчастные! — сочувствует им добродетельное буржуазное сознание, самоудовлетворенно ощущая себя-то правильно, разумно и счастливо живущим. И вдруг, каким-то ошеломляющим логическим ходом, Горький показывает, что эти люди испытывают истинное счастье и веселье жизни и чувствуют в себе присутствие Человека, горды и не променяют свое состояние на рабство у корыстных целей и интересов.

Таким образом, “дно” и выступает как такая область жизни, где может складываться способ мышления, противоположный логике вещей. С точки зрения этой логики, такое существование есть небытие, ибо там ничего нет: “Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу”, — размышляет Уж о небе. Да, там пусто, ибо нет вещей, на которые могло бы опереться “живое тело” (Человек — лишь живое тело!). Если в мире отчуждения человек овеществляется, известкуется (склероз), то здесь вещи расчеловечиваются: все вещные сущности выступают как человеческие. Вещи уже прозрачны, проницаемы, и логика вещей проскальзывает сквозь это бытие как пустоту и называет его небытием.

В этом пространстве, однако, идет своя жизнь, но идет она в иных измерениях и формах. Если посмотреть на нее из мира отчуждения и сказать о ней языком его логики (а на вооружении у нее нет другого языка), то это — бесплотное и беспредметное существование, которое мы в обычной жизни ведем лишь в сфере сознания, мышления. Да, в “царстве мертвых” одна форма жизни может осуществляться — “разговоры”. И в самом деле так это и есть: на дне, где нет вещей и интересов, нет и корыстного, практического, материального отношения к ним. От них остались лишь бесплотные сущности: понятия, мысли, названия, слова — и ими непрерывно перебрасываются, обмениваются люди дна. Но зато в этом вакууме создается исключительно благоприятная среда для просвечивания понятий, слов, которыми орудуют в мире поверхности. Сатин и Бубнов и действуют и живут прежде всего как существа лишь мыслящие — при этом абсолютно беспристрастно. Если на “земле” мышление людей отражает их практическую заинтересованность в вещах, то в небытии, на дне — благоприятная почва для деятельности чистого разума. Она также нуждается в свободе от практической злобы дня, как и высокое искусство. Отвлечение от вещей их идей, освобождение сущностей от вещей происходит в том же состоянии духа человека, что и воплощение идеалов в образы, в предметы. Ситуация отвлечения равна ситуации творчества.

Если проследить за репликами лиц, действующих в первом акте пьесы, то обнаружится определенная закономерность: люди, находящиеся еще на полпути на дно, чего-то хотят, стремятся и потому (имея цели) грызутся друг с другом; и

лишь одни Бубнов и Сатин словно превзошли сферу воли, “практического разума”, и лишь бесстрастно наблюдают маскаррад, произнося время от времени сентенции или посмеиваясь.

Вот Квашня рассказывает, как к ней сватался участковый Медведев, и все обсуждают это; Барон выхватывает у Нasti книжку “Роковая любовь” и дразнит ее; стонет умирающая Анна: “Анна: Каждый божий день... дайте хоть умереть спокойно. Бубнов: Шум — смерти не помеха”.

Форма высказывания Анны и всех остальных ночлежников — просьба, крик, т.е. то или иное навязывание своей воли, словом, эмоциональное высказывание, выражающее тот или иной интерес “я”. У Бубнова же форма высказывания — афоризм, т.е. безличная форма всеобщей истины, стоящей по ту сторону мира воли. Он лишь констатирует.

В той же самой сфере умиротворенного бытия пребывает и Сатин. Он просыпается с перепою, рычит и ведет следующий характерный для обоих разговор с Бубновым. “Сатин (*приподнимаясь на нарах*): Кто это бил меня вчера? Бубнов: А тебе не все равно?... Сатин: Положим так... А за что били? (следует полный силлогизм из двух посылок с выводом — Г. Г.). Бубнов: В карты играл? Сатин: Играл... Бубнов: За это и били... Сатин: М-мерзавцы...”

Вспомним разговор Василисы с Лукой и сопоставим с этим. У этих разговоров одни и те же слова и те же ступени в логическом движении мысли: Кто? За что (зачем)? Вывод: “проходимец”, “м-мерзавцы”. Но у Василисы расспрос ведется с пристрастием, и эта форма движения мысли на месте, так как служит определенной цели (другое дело, что она ее не достигает). Здесь же словно пародируется привычная автоматическая форма людских разговоров по логике вещей и демонстрируется ее пустота и ненужность в мире, где вещей (и целей) нет.

“Бубнов: А тебе не все равно? Сатин: Положим, что так...”. Сатин не совсем очухался ото сна и потому еще не знает, где он (во сне, очевидно, он пребывал в потустороннем мире — мире поверхности, где он, молодой Сатин, чего-то хотел, боялся, переживал и т.д.), потому он по инерции еще задает вопросы по “логике вещей”: кто? за что? и т.д. Но этот мир и его логика здесь — призраки. Все его различия здесь теряют силу: людям здесь все равно, все — едино, т.е. здесь — царство тождества. Далее, Бубновым строится буффонный силлогизм, а затем, когда в разговор вмешивается Актер, уже Сатин выступает как изощренный софист, ловящий человека на словах: “Актер (*высовывая голову, с печи*): Однажды тебя совсем убьют до смерти... Сатин: А ты — болван. Актер: Почему? Сатин: Потому что дважды убить нельзя. Актер (*помолчав*): Не понимаю... почему нельзя?”

Актер еще к мысли и высказыванию относится серьезно и вдумывается не в слова, а в мысль (вспомним Луку: “не в

слове — дело, а — почему слово говорится? — вот в чем дело”). Они для Актера — одно и то же, сращены. Сатин же, который уже перешел в иной мир и уже испытал трудности выразить его содержание и свое бытие в нем — логикой и словами мира вещей,— все время упирается в сократовскую проблему: почему слово не соответствует тому, что говорится, имеется в виду? Потому и в данном случае он нарочито не хочет понимать мысль Актера, придравшись к словесной форме ее выражения.

Мы совсем недаром здесь в сравнении упомянули Сократа и софистов. “На дне” — во многом по форме родственно платоновским диалогам и имеет тоже определенный предмет разговора: это — прение о Человеке и правде. Но это сходство формы есть следствие сходства мыслительной ситуации. Они стоят на двух всемирно-исторических рубежах в истории мышления и его предмета — жизни. Во времена Сократа и Платона как раз начинало выстраиваться общество отчуждения, общественные отношения отделялись от людей, обретали собственную жизнь и связь — и требовалось выработать объективное мышление, отделив понятия от вещей, правду от человека, то, что еще было слито в религиозно-художественном сознании Афин V века, когда полная жизнь целого (полиса) совершалась прямо через полную жизнь индивидуально-сти человека, а не через ее унижение и превращение в нечто, не имеющее значения, т.е. несущественное, пустое, случайное. Тогда-то и стала формироваться логика отвлеченного мышления и уже у софистов достигла такой степени отвлечения от жизни и реальности, что равно убедительно она могла доказать все, что угодно, даже прямо противоположные вещи. Рождение у мышления этого свойства означало, что теперь логика настолько могла опираться уже сама на себя, что критерием истины выдвинула не соответствие реальности, а правильность собственного построения, создала критерий истины — в себе же. Мысль здесь уже, проверяя себя, не сверяла себя с бытием, а смотрелась в свое же зеркало. Так началось самодвижение мышления, родившее в итоге могучую структуру аристотелевских силлогизмов,— форму, которой человеческая мысль абсолютно доверяла в течение более чем двух тысячелетий.

И вот на рубеже XIX-XX вв. выявилась новая всемирно-историческая задача: преодоление отчуждения бытия от человека должно сопровождаться и совершаться с помощью мышления, логики, вновь сливающихся с реальностью; с помощью истин, сливающихся с человеком, рассматривающих все в бытии не независимо от человека, как чего-то незначущего, не имеющего ценности и субъективно-произвольного, но в ракурсе человека, его блага и существования, просматривать любую “отвлеченную” истину, вещь и т.д. Если ранее пытались определить дело, вещь — “что” сделал человек? — то теперь сущность вещи и поступка обнаруживается не в них



самых, а в том, “кто” и “как” ее воплощал. Томас Манн, рассказывая о том, как Феликс Круль в детстве, проходя мимо лавки, взял горсть конфет, размышляет: может ли этот поступок быть назван “воровством”? Внешне — да, но у Круля это было актом высокого артистизма.

Необходимым переходным этапом в осуществлении этой задачи явилась та, родственная сократовскому периоду античной философии, чисто критическая деятельность наличного мышления, когда оно словно наслаждается противоречиями, в которых запутывается, и этим способом саморазрушения разрушает и бельма с людских глаз, приуготовляясь к освоению человекоправды. Эту работу мы видим у А. Франса, Б. Шоу, О. Уайльда, Т. Манна и др. Она идет и у Горького, но он делает и следующий шаг (как и Т. Манн отчасти, и Р. Роллан и др.) к выработке новой позитивной логики. Этот процесс в двух необходимых звеньях: разрушения и созидания — интенсивно протекает в “На дне”. Разрушить отвлеченную логику, обнаружить пустоту ее выкладок можно посредством “софистики”: выявляя противоречия самой себе, в которых она запутывается. Первая ступень этого процесса реализуется всеми ночлежниками, но прежде всего Бубновым и Сатиным, а также Лукой. Вторая — Лукой и Сатиным. Хотя, как мы увидим далее, и люди, стоящие на полдороге: Кощей, Актер, Васяка Пепел, Настя тоже не меньше дают для выстраивания нового града “Човекоправды”.

В “На дне” развивается *действие понятий*, и оно поначалу далеко превосходит по своей интенсивности материальные действия персонажей. Так, в первом акте невозможным делом оказывается... подмести ночлежку. Метла переходит из рук в руки, точнее — друг к другу переходят слова о том, что надо бы подмести и именно тебе и почему (все это обосновывается логично). “*Барон*: Мне некогда убираться... я на базар иду с Квашней. *Актер*: Это меня не касается... иди хоть на каторгу, а пол мести твоя очередь... я за других не стану работать... Мне вредно дышать пылью (*с гордостью*). Мой организм отравлен алкоголем”. — И, так, совершив полный круг, слова о “подмести” уходят и вновь возвращаются, пока пришедший в ночлежку постоялец Лука, как новенький, не приносит при поступлении эту искупительную жертву. Действие в пьесе идет так же, как в первой части “Обломова”, где герой в сфере “чистого разума”, мыслью, сном и разговорами обошел уже весь мир и свою жизнь (вплоть до детства — “Сон Обломова”), а в сфере “практического разума” — не слез еще с дивана и едва надел одну туфлю.

Да, но зато в сфере сознания — движение совершается и интенсивно. Актер вновь с гордостью повторяет звучные слова: “Мой организм отравлен алкоголем”, и второй раз Сатин выворачивает слово: “органон”. Актер (*настойчиво*): Не органон, а ор-га-низм. Сатин: Сикамбр. Актер (*машет на него рукой*): Э, вздор! Я говорю серьезно... да. Если организм —

отравлен (строит он точный силлогизм.— Г. Г.)...— значит,— мне вредно мести пол... дышать пылью... *Сатин*: Микробиотика... ха! (Вот ответ на серьезный силлогизм Актера.— Г. Г.). *Бубнов*: Ты чего бормочешь? *Сатин*: Слова... А то еще есть — транс-сцендентальный... *Бубнов*: Это что? *Сатин*: Не знаю... забыл... *Бубнов*: А к чему говоришь? *Сатин*: Так... Надоели мне, брат, все человеческие слова.., все наши слова надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз... *Актер*: В драме “Гамлет” говорится: “Слова, слова, слова! (К месту вспоминает он.— Г. Г.). Хорошая вещь... Я играл в ней могильщика... *Клещ* (вторгается практический мир действий.— Г. Г.) (выходя из кухни): Ты с метлой играть скоро будешь (опять пресловутая метла — как лейтмотив.— Г. Г.). *Актер*: Не твое дело... (ударяет себя в грудь рукой): Офелия! О, помяни меня в твоих молитвах..!” (Уже не к месту вспоминает он — просто другие красивые слова, фразы, изречения: они выступают и без логической связи с предыдущими, а просто как мотивы, лейтмотивы, ткнут какую-то подводную нить пьесы. Здесь книжная фраза: “Помяни меня в твоих молитвах, нимфа” перекликается с уже кровью выдавленной Актером просьбой Татарину перед тем, как повеситься: “*Актер*: За меня помолись...” — как затем и реплика Бубнова: “А ниточки-то гнилые” и т.п.— Г. Г.). <...>*Сатин*: Люблю непонятные, редкие слова...”

Итак, первая операция в разрушении логики — это разрушение, выворачивание наизнанку ее языка, слов, которыми она пользуется, отделение слов от автоматических значений и нанизывание самоценных слов, связываемых не логической последовательностью: не через “почему?” и “что значит?” — эти вопросы задают Сатину Актер и Бубнов, а “просто так” (Сам Горький любил, как он признается в “Детстве”, заниматься таким же выворачиванием слов: “яко же” — “Яков же” — “Я в коже” и т.д.). Непонятность слова выступает как невыявленная наделенность его каким-то более глубоким смыслом, идущим, быть может, из сферы и логики “человекоправды”, раз он непонятен в системе логики вещей, “наших слов”, которые “надоели”: ибо автоматичны, слышаны “тысячу раз”. Потому связи слов — мыслей цепью силлогизма, где слово одно следует после другого, как следствие, через причинно-временную связь, противопоставляется просто сопоставление слов рядом, как одновременностей. Их соединение осуществляется просто как перечисление: через “а еще есть”. Так, Сатин, сказав “органон”, “микробиотика”, говорит: “А то есть еще — “транс-сцендентальный”. Причем единственная их общность, благодаря чему они ассоциируются друг с другом,— это их особая звучность и непонятность, как слов сакраментальных.

С таким же успехом Сатин мог бы то, что он хочет высказать, выразить не только словами, а просто звуками, что он и делает. Вот первая реплика, которую он подает в пьесе:

“Бубнов (Сатину): Ты чего хрюкаешь? (Сатин рычит)”. И потом, на крик Клеща “Сатин громко рычит” — и это есть тоже мысль.

Подобно этому и Актер извлекает из своей памяти звучные реплики из пьес, ставшие крылатыми словами, т.е. заключающими смысл сами по себе, свободно от контекста логики вещей, и тоже нанизывает их рядом не связью логической причины, а связью “еще”.

Последовательность в движении мысли, строящаяся по принципу силлогизма, разрушается еще (Что это? И я заразился и стал так связывать мысли?) и тем, что в этой железной форме, созданной специально, чтобы в нее ложилась целеустремленно продвигающаяся мысль, завоевывающая новый вывод ступень за ступенью (посылка за посылкой), высказывается мысль бесцельно блуждающая, говорящаяся “просто так”, “ни к чему”. Так, Сатин вслед за признанием: “Люблю непонятные, редкие слова...” вспоминает: “...Когда я был мальчишкой... служил на телеграфе... и много читал книг. Бубнов: А ты был и телеграфистом? Сатин: Был... Есть очень хорошие книги... и множество любопытных слов... (Вот! Книги не мыслями ему вспоминались, а “любопытными словами”. — Г. Г.). Я был образованным человеком... знаешь? Бубнов: Слышал... сто раз! Ну и был... эка важность... (Вот что можно применить к каждой говорящейся здесь фразе. — Г. Г.). Я вот — скорняк был... свое заведение имел... (Ну, — ожидаем мы какого-то важного рассказа о жизни — ведь недаром, наверное, человек это вспомнил: пробудится то ли печаль о прошлом, то ли мечта, внутреннее какое-то стремление выскажется. ...А на что же на самом деле тратится этот выход мысли? Какая ассоциация возникает у Бубнова? — Г. Г.). Руки у меня были такие желтые — от краски: меха подкрашивал я, — такие, брат, руки были желтые по локоть! Я уже думал, что до самой смерти не отмою... так с желтыми руками и помру... А теперь вот они, руки... просто грязные... да!”

То есть, и себя он вспоминает не внутренне связанного с той, прошлой жизнью, “в мире ином”, и не свои содержательные жизненные отношения и интересы, но свою оболочку, панцирь, пустую деталь внешнего облика: желтые руки.

И такие великие категории нашего бытия и сознания, как страх, надежда, волнение тратятся в его высказывании на то, чтобы облечь собой такую содержательную “проблему”: отмоются его руки или так помрет он с желтыми руками? А такие великие итоги жизни, как: избавление от страха, исполнение желаний и осознание разумности бытия — предстают в том..., что руки уже не желтые, а “просто грязные”. Все, следовательно, к лучшему — и помрет он уже не с желтыми, а просто грязными руками. Так уже в самом рассказе Бубнова внезапно на полпути сламывается серьезная цепь силлогизма, и она повисает в воздухе. Но ее тут же добивают до конца:

“Сатин: Ну, и что же? (Теперь Сатин выявляет ту же бессмысленность высказывания по схеме: “кто”, “зачем”, “к чему” и т.д., которую в первом разговоре Бубнова с Сатиным на тему: “кто” его (Сатина) бил? — выявлял Бубнов, вопрошая Сатина: “А тебе не все равно?” — Г. Г.). Бубнов: И больше ничего. Сатин: Ты это к чему? Бубнов: Так... для соображения”. Ну, уж если по привычке ждете целенаправленного к выводу высказывания, то — нате вам, пожалуйста, получайте афоризм: “Выходит — снаружи как себя ни раскрашивай, все сотрется... все сотрется, да!”

Но вся-то штука в том, что Бубнов рассказывал лениво, “просто так”, совсем не имея в виду подвести к этой сентенции — он ее выкидывает в конце, чтобы отвязались. Эта заключительная сентенция, пусть даже железной цепью силлогизма связанная, по видимости, с предшествующим рассказом (ибо ее прямо и точно из него можно вывести: рассказ именно к ней по логике вещей подводит), все равно соединяется с этим рассказом связью “а еще”, т.е. через разрыв, а не через причину и цель.

Итак, “на дне” теряет силу форма силлогического движения мысли по логике вещей. Она может действовать там лишь, где есть зацепка целей, ибо всякое логическое определение связано с целью каждой вещи: определение существа вещи и есть выявление цели (отношения, связи), для которой она существует, т.е. вещь (человека, “истину”) надо опереть не на них самих, а на другое. А здесь сама жизнь произвела предельное абстрагирование людей от отношений, связей, целей и интересов, которыми руководствуются люди в обыденной жизни “наверху”.

“Клещ: Ничего нет! Один человек... один, весь тут...”. Вот: сама жизнь произвела здесь сведение всех частных определений, применяемых к людям и явлениям, до двух основных философских категорий: “все” и “единое”, — соединив их в одно положение: “все — равно”, “все — едино” (“все — равны”). Потому здесь растворяется и остраивается содержание всех определений, понятий: что есть человек, жизнь, стыд, совесть, правда и т.д. — легко выявляется их реальная суть и ценность, откуда она берется, и может быть обнаружена прямая связь всех этих “высоких” понятий (совесть, честь) с отношениями отчужденного бытия.

Начнем хотя бы с определения того, что есть человек. Человек здесь остается голый, “естественный”. “Бубнов: Что было-было, а остались — одни пустяки... Здесь господ нету... все слиняло, один голый человек остался... Лука: Все, значит, равны... А ты, милый, бароном был?”

Все атрибуты, признаки могут здесь выступать не в настоящем времени, не как то, что есть (а логика вещей и всякое определение может действовать лишь в настоящем времени: “Жучка есть собака”), а в прошедшем и будущем, где для логики нет опоры: нет реальности, видимых фактов, на кото-

рые она могла бы опереться, — все зыбки и мнимы; здесь от всех устойчивых понятий лишь тени и призраки остались (или являются). Единственным атрибутом человека остается здесь просто существование. О нем уже нельзя сказать: кто он такой (даже имени у него нет — см. размышления Актера).

Так, в четвертом акте теряет “атрибуты” бывший полицейский Медведев. Пьяный Алешка поет разгульную песню о куме, а Медведев еще по инерции старой привычки спрашивает: “Медведев: Мм... а если спросить: кто такая кума? (Видите, он еще домогается определения людей, претендует знать их. — Г. Г.). Бубнов: Отстань! Ты, брат, теперь — тю-тю!”

Вот теперь точное “определение” человека, так что и слов в языке человеческом для этого нет, а междометие лишь и даже звукоподражание осталось, т.е. то, из чего язык когда-то рождался (сравни бормотание детей: “тя-тя”, “тю-тю” и т.д.) Человек уже — не смысл, а звук, ибо всякое определение, значение возникает от связей в обществе, места человека в них. Теперь это место утрачено — и нет для человека значащего слова. Потому и Сатин — рычит, а далее: Человек — это не “есть” гордо, а именно “звучит гордо”.

Клещ до смерти Анны еще был “муж” и “слесарь”. Эти два определения у него остались от отношений и связей мира поверхности — и то они вели между собой бешеную борьбу: стать самим собой “слесарь” в Клеще сможет, лишь если убьет в нем “мужа”.

“Клещ: Эти? (Смотрите, вдруг какая спесь обнаружилась! — Г. Г.). Какие они люди? Рвань, золотая рота... люди! Я — рабочий человек... мне глядеть на них стыдно... Я с малых лет работаю... Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылезу... кожу сдеру, а вылезу... Вот погоди... умрет жена... Я здесь полгода прожил... а все равно, как шесть лет.. Пепел: Никто здесь тебя не хуже... Напрасно ты говоришь... Клещ: Не хуже! Живут без чести, без совести... Пепел (равнодушно): А куда они — честь, совесть? На ноги вместо сапогов... не наденешь ни чести, ни совести”.

Итак, формируясь в “логике вещей”, все прекрасные понятия, такие, как труд, стыд, честь и совесть сразу же совершают первое преступление перед Человеком: они рожают спесь, высокомерие, презрение, неуважение к людям — словом, сразу же, как первородный грех свой, несут бесчеловечность. Смотрите: Клещ, который лишь на одну ступеньку еще стоит над “дном”, в обществе отчуждения, не видит в своих сожителях людей: ему застила глаза его рабочая гордость, стыд и совесть. И вполне закономерно в его устах является следующее бессознательное и многозначительнейшее признание: “Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылезу... кожу сдеру, а вылезу... Вот погоди.. умрет жена...”

Оказывается, стыд, совесть, принципиальность и т.д. требуют человеческих жертвоприношений; пока жива жена Клеща, необходимость кормить и заботиться о ней связывает ему руки и мешает его целеустремленности. Живя в человеке, такие добродетели, как целеустремленность, стыд, совесть, побуждают его не только презирать дальних, но и лютой ненавистью ненавидеть прежде всего ближних своих. Итак, как только человек дал хоть на йоту засосать, на каплю соблазнить, связать, опутать себя, гипнотизировать хоть одним — пусть самым прекрасным понятием, целью из сферы отчужденных отношений (таким даже, как труд, совесть), он немедленно перестает быть Человеком, а лишь рабочим, честным, совестливым и т.д. и становится беспощадным врагом людям, которому ни до кого нет дела: пусть издохнут все, а он будет честным! В голос с Клещом именно это прямо проговаривает родственник ему Татарин, который чтит “закон” (“У-у, злой баба — русский баба! — осуждающе говорит он о Насте.— Дерзкий... Вольна! Татарка — нет! Татарка — закон знает!”). И высшей характеристики удостоился в его глазах Лука: “Старик хорош был... Закон душе имел!” — так этот Татарин доводит до логического конца принцип закона и честности:

*“Татарин (горячо):* Надо играть честна! *Сатин:* Это зачем же? Татарин: Как зачем?”

Этот вопрос о цели он, бессознательно живущий, никогда себе ни о чем не задавал, и тут же оторопел; а Сатин уже понимает, что по цели можно выверить и уловить реальное содержание всех человеческих определений, понятий и правил; своим вопросом он побуждает связать догматическое правило с целью и тут же заставляет Татарина, уже не защищенного правилом, проговориться, высказать суть правила человеческим языком, а не языком иллюзий.

*“Кривой Зоб (благодушно):* Чудак ты, Асан! Ты — пойми! Коли им честно жить начать, они в три дня с голоду издохнут... *Татарин:* А мне какое дело! Надо честна жить!”

Насколько великодушнее и человечнее жулики, не знающие ни стыда, ни чести, ни совести! “Нет на свете людей лучше воров!” — заявляет Сатин (а он-то знает, что есть Человек!), на что Клещ вновь упрямо твердит (*угрюмо*): “Им легко деньги достаются... Они — не работают...”.

Его прекрасный принцип: “работать!” — имеет высшей целью, оказывается, деньги, которые не дадут ему умереть с голоду, — вот суть и призвание Человека. Для вора Пепла деньги лишь — частная подробность, средство бытия: он не гипнотизирован ими как целью. Рабочая гордость Клеща и законолюбие Татарина питаются соками злобы и зависти. А те, “жулики”, даже к ним добры и снисходительны, зовут их чай и водку пить, и в конце пьесы даже Татарин и Клещ оттаивают, становятся людьми, когда у них обрубилась все цели и все надежды выбиться “в люди”: у Татарина

рабочую руку его обрубил, а Клещ уже не слесарничает, а просто так чинит гармонию Алешке: *“Клещ (выпив, отходит в угол к нарам): Ничего... Везде — люди... Сначала — не видишь этого... потом — поглядишь, окажется, все люди... ничего!”*

Татарин сначала было воспротивился по инерции ночному веселью: *“Татарин: Ночь, спать надо! Песни петь днем надо”*. Он еще полон логики четких различий, придаваемых всему разделением труда в обществе отчуждения: всему свое место. И эти определения, свойства вещей и действий предстают как необходимость: как “надо”, живущее над человеком, а не изнутри идущее “хочу”. “Надо” и человек “должен” звучат в “На дне” чаще всего в устах полицейского Медведева и хозяина ночлежки Костылева: им надо, чтобы “порядок” был. А здесь нет внешних пределов над желанием и волей свободного человека: он все может, что хочет (см. монолог Сатина): и ночь превратить в день, и тьму — в свет радости и веселья, и обаянию этой свободы не может не поддаться даже Татарин.

*“Татарин (улыбаясь): Ну, шайтан Бубна... подноси вина! Пить будим, гулять будим, смерть пришел — помирать будим! Бубнов: Наливай ему, Сатин! Зоб, садись! Эй братцы! Много ли человеку надо? Вот — я — выпил и — рад! Зоб! Затягивай... любимую! Запою... заплачу!.. Кривой Зоб (запевает):*

Со-олнце всходит и захо-оди-ит...

*...Барон (стоя на пороге, кричит): Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!*

*...Сатин (негромко): Эх... испортил песню... дур-рак! Занавес.”*

Оказывается — много человеку надо. И самоубийство Актера в момент, когда все жители ночлежки сливаются в братском единении, когда и в Татарине и в Клеще родился человек, а с ним — и любовь и радость, т.е., когда и они достигли состояния нирваны, в котором с самого начала пребывают Сатин и Бубнов, сразу опрокидывает красоту и разумность нирваны “дна” как небытия. Человек в нем свободен и красив — и абсолютно пуст, живет лишь отрицательным содержанием. И его красота носит тоже пустой, отрицательный характер: в нем лишь нет той гнусности и рабства, в котором живут и мечутся люди поверхности, — и все. Это — вакуум, безвоздушное пространство.

И вот перед нами раскрывается новая бездна: труднейшая задача позитивного творчества. Для этой задачи опускание человека на дно было необходимым моментом — как забвение того ложного, чему учили, стирание отчужденных писем, превращение души человеческой в *tabula rasa*, приуготовленную для новой, активной, положительной жизнедеятельности.

Но что и как, какой мир и какая логика будут теперь вырастать на промытой и очищенной субстанции Человека? Эта проблематика связана в пьесе с образом Луки — воссоздателя, точнее — собирателя Града души на обломках мира отчуждения.

Для него убеждение, что все — люди, все — равны, к которому лишь в конце приходит Клещ, есть исходное. Он и является в ночлежку с этим *credo*, выговаривая его в первой же своей фразе: “Лука: Мне — все равно! — Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха — не плоха; все — черненькие, все — прыгают... так-то”.

И не случайно Лука является в пьесе в тот момент, когда работа разрушения всех ценностей мира отчуждения и его логики вещей доведена уже до оргии отрицания. Ночлежники с упоением набрасываются на Клеща и одно за другим размазывают последние и коренные, якобы твердые основания наддонного бытия: труд, честь, совесть — и все это делается умно, красиво. И Медведев, когда он уже из полицейского опустился в простого человека, даже не подозревает, какую глубокую мысль о софистике Сатина-Бубнова высказывает, говоря: “Жулики — все умные... я знаю! Им без ума — невозможно. Хороший человек, он — и глупый хорош, а плохой — обязательно должен иметь ум”. Если мы, например, соотнесем Отелло и Яго, который, конечно, умнее наивного Отелло, нам открывается та бездна, которая здесь, в этой проблеме сокрыта. Просто ум без почвы человеческих отношений и ценностей — цинизм, софистика.

Сатин цинично пляшет канкан над трупом труда: “Работа? Сделай так (ишь-ты, какой-то добрый дядя должен ему сделать работу приятной, а сам он и пальцем для этого не пошевелит! — Г. Г.), чтоб работа мне была приятна — я, может быть, буду работать... да! Может быть! (И рядится это сибаритство в очень красивый идеал.— Г. Г.). Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!”

Бубнов потешается над совестью: “На что совесть? Я — не богатый...”

И затравленный их бесовской софистической логикой и все же не сгибающийся Клещ, как это ни парадоксально, представит последним оплотом и надеждой человеческого бытия: он все же чего-то хочет, верит, надеется, стремится, не примиряется с тем, что небытие есть естественная и единственная сфера, где человек может быть человеком. У них все пусто, все съедено отрицанием. У Клеща, пусть в изуродованной форме (бесчеловечность, жестокость) теплится еще жажда положительного, содержательного бытия человека, представление о том, что это возможно. Но и он унижен Пеплом, Сатиным и Бубновым; и Настя, в душе которой живет жажда чистой любви, поругана Бароном; и Актер, еще помнящий о таланте, осмеян Сатиным; да и Васька Пепел унижен послед-



ним, когда Сатин шутливо и цинично предлагает ему жениться на Василисе, убить Костылева и стать самому их хозяином, т.е. Сатин столь низко его ставит, что предлагает ему воспользоваться благоприятным для него стечением обстоятельств и враспи в общество отчуждения, чего сам Сатин бы не сделал.

И все это размалывание последних положительных устойчивых идеалов — ценностей в душах Актера, Насти, Клеца и Пепла — производится силой логики, во имя правды. Бубнов и Сатин, как софисты, просто до логического предела доводят логику вещей и разрушают эту логику ее же силой: примеряя к ней и всему ее же собственные критерии, договаривая все до конца, без иллюзий. Они, тем самым, и разрушают это мышление, обнаруживают его пустоту, но и сами не выходят из пределов логики вещей, не подозревают о возможности другой (идея Человекоправды является у Сатина в конце: после того, как старик (Лука) “проквасил нам сожителей” — и его, в том числе).

Вот почему неизвестно еще, на чьей стороне наши симпатии (точнее: в чьей позиции больше содержания и мощи): в позиции нелогичного, себе противоречащего Клеца, который косноязычно, но с черноземной мощью веры и надежды, с яростью глаголет о работе, стыде, чести и совести, — или в бесстрастной логике Бубнова и Сатина, чье спокойствие отдаст холодом мертвечины и человеческой падали (недаром Бубнов где-то в пьесе сравнивается с Вороном: это не Уж, но Ворон)? И Клец среди этих ливней цинической иронии воздевает руки горé и “бросает в небо богохульства” и возвышается до той же сатанинской мощи, которой обладали все великие несгибаемые бунтари и мятежники: от Каина, Прометея и т.д. и т.д.

Да, он здесь равен Каину — бунтарю и мятежнику. Для его веры в “бога”, т.е. в положительные ценности: труд, честь и совесть, потребовались сатанинские качества гордыни, мятежности, которых лишены расслабленно-самоуспокоенные “мефистофели” — олимпийцы Сатин и Бубнов, пребывающие (как некогда бог) в ненарушенном, гармоническом состоянии мира отрицанья и сомненья, в непротиворечивом равенстве себе — в нирване чистого небытия.

В этой нерушимости веры Клец могуч и прекрасен. В нем теперь залог, что Ессе Ното — “жив Человек”, “и посрамлен да будет Сатана” (“Фауст”). И посрамлена да будет их (Сатина и Бубнова) софистическая логика; она во имя правды разрушает все истинные отчуждения, но не дает и не подозревает о человекоправде, смешивая в одну кучу с ложью общества отчуждения — мечты Насти, Актера, Клеца, Пепла и т.д., видя в них только самообман, иллюзии (т.е. подходя к ним тоже с отчужденно-логическими позициями, сверяя их с “реальными” фактами бытия, что делает и логика полицейского Медведева, Василисы и Ученого из притчи о праведной

земле), но не подозревая в них качественно иное: энергию положительного выявления, творчества каждым своей индивидуальной сущности как Человека.

Именно это прозревает Лука, именно на этой ниве он работает, возвращая и лелея эти ростки.

Итак, мы приступаем к самому трудному: положительному житнетворчеству и человекостроению, а на их основе — к выявлению логики “Человекоправды”. Вначале попробуем более четко прояснить, в чем здесь проблема.

Мир, строящийся на отчуждении всего от человека и сделавший человека функцией вещей и места в обществе, вообще-то в высшей степени многообразен, развит, богат, строен, логичен и т.д. В нем есть единый источник движения — труд; мир этот развивает бесконечное множество потребностей, целей, отношений, а, следовательно, и человеческих свойств, которые движутся, и — как мир и человек ни сложен — все их и его можно понять, исходя из общества, как развивающегося, единого, целостного организма, следуя нити этого развития. То есть, этот мир, с одной стороны, бесконечно богат, а, с другой, — при этом богатстве — до конца познаваем.

Мы выявили, что этот мир пришел в антагонистические отношения к бытию человека и, созданный как организация жизни людей в обществе, грозит пожрать человечество (атомная бомба, роботы и проч.). Потребность в новом типе бытия назрела из столкновения общества с Человеком. Но если это общество все же могло породить столь богатый, сложный материальный и духовный мир и так организовать его, то что может родиться из человека, если в нем, допустим, поместить источник организации бытия, начало начал? Содержится ли в нем какой-либо плодотворный положительный принцип организации всей жизни, или, как в Сатине, все его содержание не имеет самостоятельного источника разнообразных качеств, а есть просто отрицательная величина: в нем нет того, что есть в людях-рабах общества отчуждения? Находящиеся в небытии, как собственной сфере человека, ночлежники друг друга различить могут лишь по прошлому бытию в мире отчуждения: ну, например, человек Барон есть потому барон, что у него сейчас нет того, о чем он рассказывает, что оно было; и Настя, чтобы уничтожить его “я”, с остервенелой яростью кричит ему: “Н-не было! Не было карет!”

Тем самым все равно исходным источником содержания и различий остается общество отчуждения и, исходя из его отношений и поставив к ним лишь знак “минус”, можно собрать какое-то содержание жизни, характера и мысли того же Сатина.

Вопрос: что может Человек предложить взамен отчуждения? Не получится ли мир, устроенный на началах Человека, лишь пустым, бесконечно скучным и неподвижным, в сравнении с кипящей интересами жизнью общества отчуждения? И это совсем не предполагаемая лишь опасность. Бубнов и

Сатин любят именно “голового человека”, абстрагированного от всех целей и качеств (“все — равны”), и торжествуют, когда люди опустошаются: Человек предстает лишь как абстракция; его свобода — как бездеятельность, его веселье — как радость самоуничтожения, самозабвения (пьянство). Никакого источника движения, деятельного различия здесь нет. Все тонет в пустом равенстве. Здесь люди просто живы. Ну, а “чем люди живы?” Из себя-то они могут ли породить содержание бытия (это “что”), или могут почерпнуть его лишь извне, в объективном бытии наличного общества?

И вот деятельность Луки есть попытка как-то справиться с этой величайшей проблемой. Его исходным пунктом является то абстрактное тождество, уравнивание людей, их ценности и содержания, которое является конечным пунктом, идеалом Бубнова и Сатина. Это — субстрат, исходный материал для его деятельности. “По мне ни одна блбха ни плоха” — это значит, что все те различия, качества, которые налипают на людях как следствие их места и отношений в обществе отчуждения, отбрасываются.

Но далее, исходя из Человека, начинается новое саморазличение, но уже внутреннее (а не со стороны общества отчуждения). В ответ на слова Костылева, выдвинувшего тезис: “Все хорошие люди пачпорт имеют” (т.е. “хорошесть” человека есть свойство, дарованное ему властями, и удостоверяется паспортом), Лука заявляет:

“Есть — люди, а есть — иные — и человеки...” *Костылев*: Ты... не мудри! Загадок не загадывай... я тебя не глупее. Что такое — люди и человеки?” *Лука*: Где тут загадка? Я говорю — есть земля неудобная для посева...”

Лука не дает ответ по форме: “Человек есть то-то и то-то” — это отчужденная форма мысли: определение сразу подменяет одно другим (“Жучка есть собака”), топит неповторимую индивидуальность в чем-то общем, полагает ее как подменяемую. Лука высказывается каким-то обиняком, так что не вкладывает в собеседника общезначимую безличную мысль в своей, когда-то, до мышления этого человека, сложившейся твердой форме, но будит индивидуальное соображение человека, так что тот, на основе своей натуры, приходит к выводу, который и имел в виду Лука, и не имел, не мог предполагать, ибо его конструкция иная. Здесь, в этом способе мышления и речи, взаимопонимание осуществляется не через выравнивающие мысли двух в единой для всех формуле, где индивидуальные мысли топятся, но через их напряжение и расцветание.

“И есть урожайная земля... что ни посеешь на ней — родит... Так-то вот...” *Костылев*: Ну? Это к чему же? (его автоматическое мышление не понимает этого языка: это для него загадка и увиливание от прямого ответа, т.е. ответа на вопрос, который есть то же самое, а не новое по сравнению с вопросом — Г. Г.). *Лука*: Вот ты, примерно... (опять — не общая формула, общезначимое доказательство, а индивиду-

альное разъяснение)... Ежели тебе сам Господь Бог скажет: Михайло! Будь человеком!.. Все равно — никакого толку не будет... как ты есть — так и останешься... *Костылев*: А я... — ты знаешь?(следует далее типичный ход отчужденного сознания: о себе индивиду нечего сказать — он опирает, делает себя достоверным через другое существование — Г. Г.) — у жены моей дядя, — полицейский? И если я..."

"Я — есть дядя моей жены" — вот что в определение себя как человека может сказать Костылев.

Итак, "люди" — те, кто целиком погряз и тождествен отношениям мира отчуждения. Они — безнадежны... "Человеки" — это те, кто, живя в мире, тем не менее имеют другой стимул действий и мыслей, коренящийся вне этого бытия. Где?

Где же источник той силы, которая, противодействуя тяготениям мира отчуждения, может стать (или всегда является) источником живой жизни людей во Человеке? Естественнее всего искать ее в том, что является главным врагом общества отчуждения. Таковым является человек как конкретная целостность, индивидуальность. Эта целостность есть организм, неповторимое тело. Упрощая, представим его хотя бы как шар. Шар можно сделать (освоить практическим деянием), но нельзя адекватно познать (т.е. освоить мыслью), например, измерить его объем, чтобы все было известно, точно переведено в количество, без остатка. И математика прибегает здесь к величинам нечетким, неустойчивым ( $\pi$  и т.д.), в которых она тщится своими (пригодными лишь для механизма) средствами возвыситься до постижения свободного организма (обладающего самодвижением существа, в котором не все предопределено).

Так и в своем освоении и познании человека — общество отчуждения хочет сначала раздробить его, сформировать его органы как механизмы, заменить неровные, кривые линии — прямыми — и потом уже снова воссоздать его на своей основе, в своих формах, измерениях и понятиях, — в целостность, которая уже будет не шаром (или каким-то каждый раз неповторимым, неправильным телом), а суммой бесконечных призм, кубов, параллелепипедов и т.д. — абстрактных определений, свойств (по месту) и форм жизни (Идея энтропии в современном естествознании то же выражает, лишь иными словами: механический порядок есть источник хаоса и дезорганизации бытия — и смерти, в конечном счете.). Общественное тело по имени "Этот Человек" будет слагаться в целостность из частичек: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, место жительства, профессия, образование и т.д. Плюс к этому человек есть — отец отличника, проситель, ожидающий автобуса, свидетель, № 395 в очереди за билетами на балет, избиратель, разиня — когда он переходит улицу, не замечая проезжающей машины: шофер, который видит в нем смертельного и ненавистного врага, чуть не наехав на

него, в сердцах говорит мне: таких людей я бы уничтожал! В этот миг это измерение (“разиня”) предстало за всего человека, — и так это всегда: в любой ситуации, которыми функционирует жизнь общества отчуждения, человек — весь тождествен одному измерению. А в целом он есть сумма бесконечного множества абстракций. Анкета и есть такая воссозданная целостность человека, собирающая в одно его основные, с точки зрения общества, измерения.

Итак, возвращаясь к нашему уподоблению, общество отчуждения, выстраивая человека как целостность, никогда принципиально не перейдет предела, за которым многогранная многоугольная фигура превратится в шар (сколько бы ни дробить и ни увеличивать число составляющих ее простейших или сложных фигур). Следовательно, то, что человек все же не превращается в составной механизм, а есть всегда — пусть изуродованный, со вмятинами, но организм, неправильное тело, целостность, “шар”, — и дается ему какой-то другой силой, полярной силе общества отчуждения. В измерениях логики последнего эта сила называется началом хаоса, противящимся порядку, разуму, — стихийным, природным, иррациональным, мистическим и т.д. Это — так, потому что сам разум отчуждения здесь обнаруживает свою ограниченность и, как мальчик, что бьет стол, о который он ударился, обвиняет и обзывает нехорошими словами это препятствие. Но “закрыть Америку” — “сие от него не зависит”.

Итак, первое определение этой искомой силы, которое сразу бросается в глаза, дано ей ее целью: сохранить индивида как целостность. Это и есть ее главное содержание. Эта сила, в противовес давлению общества на индивида, обозначаемого как “надо”, есть изнутри идущее стремление и обозначается языком общества как “хочу”. (Но учтем, что здесь еще новое, искомое выступает не в своих, а в старых, отчужденных определениях и характеристиках, на языке “логики вещей” выраженных).

Итак, “хочу” (суть которого, хотя человек в каждый момент хочет разного, единичного — всегда: “хочу быть самим собой, целостностью”) как противодействие индивида разрывающей его на частички силе общества отчуждения и есть тот исходный источник различий, который может родить в своем разворачивании богатый и разветвленный мир Человекобытия.

В “На дне” это “хочу!” в чистой и еще бессодержательной форме предстает в образе Алешки. Он выражает мощь этой своей молодой жажды положительного бытия через истерическое самоотвержение, отрицание всех желаний: “А я такой человек, что... ничего не желаю!”

Рассмотрим внимательнее, как рождается такое определение себя. “Я — человек с характером”, — заявляет Алешка сначала. Характер и есть одна из ипостасей, в которых целостность человека обозначается в терминах общества отчужде-

ния. Ну, а если пойти дальше, к выявлению сути этого характера: что же составляет содержание его "Я"? (О! Ужас! ловлю себя на том, что движусь, действую теми же отчужденными ходами мысли, как та же Василиса в распросах Луки. Да, не надо вопросов ставить — это предвзято и не даст знания нового. Лучше послушаем, что человек открывает о себе сам и вдумается в это.)

"Я — человек с характером... А хозяин на меня фыркает... А что такое — хозяин? Ф-фе! Недоразумение одно... Пьяница он, хозяин-то..."

Итак, чтобы познать себя как целостность ("характер"), человеку сразу нужно оттолкнуться от давящей на него силы. Но поскольку себя он ищет понять как человеческую целостность, то и сила общества в этом отношении уже не может выступить безлично, а тоже как человеческая целостность. Здесь она предстоит Алешке в облике человека, от которого он зависит, — хозяина. Следовательно, начать самовыявление (самопознание) себя во Человеке можно через определение этого другого человека, воплощающего в себе нажим силы отчуждения, как антиЧеловека, ничто, несуществование, просто "Ф-фе!" — звук пустой. И уже на помощь сюда потом по инерции влачатся бранные определения из отчужденной логики вещей: "недоразумение", "пьяница" и т.д.

"А я такой человек, что... ничего не желаю!"

В этом Алешка, кажется, сравнивается (в смысле — "становится таким же") с Сатиным и Бубновым, достигает их нирваны небытия, свободы от устремленности к каким-либо целям.

Но зачем же кричать об этом так надсадно? Бери пример с мэтров небытия! Ни Сатин, ни Бубнов об этом не говорят, а просто живут, ничего не желая. И вот как только это "ничего", "не хочу" выступило в этой форме — в истощном крике Алешки, это уже означает саморазоблачение жизни на дне (небытия, чисто отрицательного существования) как формы жизни естественной, будто бы присущей Человеку.

Нет, такое существование есть предел противоестественности, абсолютно враждебно человеческой природе. "Не хочу!" как крик — есть могучее и страстное: "хочу!", тяга по положительному проявлению человека.

"Ничего не хочу и — шабаш! На, возьми меня за рубль за двадцать! А я — ничего не хочу! И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой... пьяница, не желаю! Не хочу!"

Ах вот оно, оказывается, что! Себя человек чувствует хорошим (хотя доказать этого не может, ибо доказать можно лишь через отделившийся от человека предмет, поступок, т.е. вещь). И первая конкретизация его "не хочу ничего" — чистого отрицания желаний — есть положительное желание: хоч, чтобы мной не командовал хозяин...

Итак, первое “хочу” человека как основа, на которой будет строиться мир на новых началах Человека, есть выпрямление его “я”, утверждение в качестве источника силы и деятельности — энергии, идущей из “я”. Пусть она еще не ясна самому ему по своему содержанию, но первое условие будущей свободной творческой самостоятельности человека состоит в том, чтобы он почувствовал доверие общества к этой его силе, удостоверение ее как общественно значимой, — заведомо, априорно, без доказательств, без проверки, без еще вышедших из нее фактов, дел и т.д.

*“Лука (добродушно): Эх, парень, запутался ты...”*

И вот вся деятельность Луки далее будет заключаться в том, чтобы помочь людям распутать себя, свою сущность. Но не даром с ним, с Алешкой, Лука говорит “добродушно”: уже тем, что в нем так мучительно рвется наружу желание, Алешка отторгнут от сатинско-бубновской nirваны небытия и принадлежит миру живых. Для Бубнова же этот великий и прекрасный порыв человека к положительной жизни есть просто: “дурость человеческая”. Ну, что же, если это неумно, то значит сам бубновский ум, как и логика отчуждения (ум Бубнова есть ее alter ego — софистика), проскальзывает через живую жизнь, не улавливая и не понимая ее (потому она — глупа). Так пусть же такой ум и остается при своих козырях, самонаслаждаясь в пустоте своего искусственного имматериального бытия: сколько ни сравнивай ум с умом — к познанию реальности не выйдешь. Ты отвергаешь жизнь как не умную, а она идет себе мимо — и не удостаивает такой ум быть его собственностью (т.е. быть умной).

*“Настя: Несчастный!.. молоденький еще, а уж... так ломается...”*

Так вот, если, по терминологии Луки, “люди” уже не ломаются, ибо они переработаны обществом отчуждения в механизм, автоматически желающий общепринятого, то “человеки” — те, в которых бьет родник вольной воли и самоопределения, выламываются как из общества отчуждения, так и из сатинско-бубновского небытия. Их, еще не полностью нивелированная индивидуальность топорщится, корбит отчужденные отложения и напластования на человека; поэтому они, если посмотреть на них и попытаться объяснить глазами логики вещей, — уродливы, искореженные какие-то, выломанные. Такой уродливый выглядит Настя со своей книжной, “выдуманной” любовью; таким сумасбродом выглядит и Актер, мечтающий о лечебнице для “органонов”, и т.д. Но эта их искореженность — признак того, что в них пульсирует живая жизнь и деформирует, препятствует спокойному действию силы отчуждения. И вот отсюда — из несломленной индивидуальности каждого человека — идет источник различия всего в том искомом мире на начале “Человек”, который пытается строить Лука: “Он (человек. — Г. Г.) каков ни есть, а всегда своей цены стоит”. Итак, нет единой, всеобщей

“цены” людям, и пустое дело — ее искать. Точнее — она уже есть, предполагается в различии: “люди и человеки”. Но это еще пустое и бессодержательное различие, и не в том дело, чтобы его ко всем примерять, а чтобы на его основе идти и выявлять дальше: собственную цену — неповторимую индивидуальность каждого человека.

Итак, каждый индивид — источник особого качества, неведомого миру. Потому, если для участкового Медведева каждый человек ясен (“Я знаю — всех”): весь исчерпывается своим местом, и паспорт есть все, что есть человек, то для Луки каждый человек есть Х, неизвестность, влекущая загадка: “Все, милочок,— говорит он Сатину,— как есть, для лучшего живут! Потому,—то всякого человека и уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и что сделать может... может он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?..”

Это и есть руководящая максима и в поведении с людьми, и в познании их: не следует предполагать в них заранее того или иного, ибо наше предположение может основываться лишь на логике вещей: на месте, которое человек занимает в системе общества,— и может сбить с толку, помешать разглядеть, что человек есть по истине. Вместо предварительного дознания, вместо для всех равнозначной сетки координат (четко выраженной в пунктах паспорта и анкеты), нужно расслабиться, на момент сделать свое сознание листом без письмен,— и тогда в нем родится специальная, лишь для данного человека подходящая система мыслительных улавливателей, которая в итоге и родит в нашем сознании суть, правду этого человека, его правду, а не всеобщую.

“Я — знаю... я — верю!” — говорит Лука Насте, над рассказом которой о любви к ней Гастона потешается Барон.— Твоя правда, а не ихняя... Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит — была она!”

Для Луки этот ее рассказ есть откровение истинной сущности Насти. Он есть правда о ней. И потому он — священен. Лука ищет индивидуальную человекоправду и прозревает ее в том, что для всеобщей и “объективной” правды есть ерунда и ложь. Именно так рассуждает Барон: “Дедка! Ты думаешь, это правда? Это все из книжки “Роковая любовь”... Все это — ерунда! Брось ее!”

Если нацеленность сознания Луки в том, чтобы от всеобщей, вне человека живущей “истины” (логики вещей) добраться, восходить до сокровенной, индивидуальной истины, то для Барона (логики вещей) последнее есть лишь начало, ничего объективно не значащий момент, с которого следует идти в направлении мира вещей и его “реальных” фактов. С точки зрения последних, рассказ Насти об идеальной любви ложь, ерунда, обладает лишь нулевым или отрицательным



(т.е. враждебным “истине”) содержанием, ибо не соответствует очевидному факту: “Настя есть падшая женщина”.

Для “человекоправды” рассказ Насти, в котором выражена ее мечта, есть “факт”, заслуживающий гораздо большего доверия, чем даже реально совершенный ею “благородный поступок” или в действительности с ней приключившаяся такого рода чистая любовь. Ибо поступок и реальный факт любви тут же могут отягощаться зависимостями и отношениями мира отчуждения (деньги, жилплощадь и т.д.) и исказить сущность человека. Точнее: в этой сфере нам гораздо труднее вынести истинное суждение о человеке, ибо к факту реальному мы подходим с критериями проверки, доказательства: мы смотрим, а так ли это было на самом деле? Мы ищем свидетелей, подтверждения со стороны, вне человека как стороны потенциально лживой, “заинтересованной” (само общество этим расписывается в том, что, войдя в Человека, интерес общества тут же начинает противостоять уже не только человечности, но и самому обществу), т.е. делаем шаги, абсолютного противоположенные выявлению человекоправды, — шаги, от которых она съезживается, уходя в себя — и не обнаруживается. Ибо вся ее суть — доверие человеку: ведь он есть неизвестность и лишь сам может открыть себя миру, а шаблонные ключи и отмычки здесь не подойдут — лишь сломают драгоценный сосуд.

Следовательно, мечта человека дает его сущность в плане “человекоправды” — в более чистом, несмешанном виде, чем реальный поступок или деяние. Но и в мечте, как только она выражается в словах нашего “грешного” языка, может тоже улетучиваться неповторимая сущность, своя правда человека.

Итак, вообще этой сущности необычайно трудно проявиться: для нее нет еще, не выработано ни специфической формы действий, ни специфического языка мысли, слов. Потому так трудно людям понять себя и выразить то, что именно они хотят и могут. Это им приходится выражать косвенными путями. Так, Насте на помощь пришла книжка “Роковая любовь”, и если для логики вещей — это пустая блажь, то Лука с первого же появления в ночлежке, как старый боевой конь, заслышав клич трубы, наостряет уши и, “ловец человеков”, ловит человеческое.

Лука выступает как повивальная бабка, помогающая разродиться этой священной для мира сути каждого человека, этому заведомо удивительному, еще не ведомому ни миру, ни себе — Х, который, может, одарит человечество великими делами и мыслями. Он помогает людям найти себя, свою мечту, поверить в себя, т.е. совершить величайшей важности переворот в их бытии: чтобы они жили не автоматически, по воле обстоятельств и мест, которые их завели и приковали к себе, а сдвинулись с места и жили бы “из себя” (“Сатин: Старик живет из себя, он на все смотрит своими глазами”). Если до сих пор источник движения, содержания жизни таил-

ся в окружающем мире вещей: оттуда люди черпали и цели, и мысли, и слова, то теперь они сдвигаются с места: в них самих зарождается импульс, энергия, которой лишь и может быть выстроен принципиально новый мир человека.

Но не слишком ли мы преувеличиваем результаты действий Луки? Допустим, что таково направление и цель его действий. Но чего и в каких формах он реально достигает?

В случаях с Анной и Васькой Пеплом Лука, собственно, ничего особенно нового не открывает в самом бытии: той он рассказывает сказку о царствии небесном, “перепетую не раз и не пять”; этому предлагает ехать на освоение Сибири, что уже тогда, в начале XX века, осуществляли в России сотни тысяч поощряемых государством переселенцев. Еще и того беднее “идеал”, которой он пробуждает в Актере,— бросить пить. Все эти душеспасительные идеи, если посмотреть на них абстрактно, сами по себе тривиальны и непрерывно являются людям, как требования со стороны: пить — вредно; работать в Сибири — выгодно и для государства и для тебя; верь в лучшее будущее и т.д. Нет, ничего нового не открывает Лука в мире вещей и идей.

Зато он делает большее: он раскупоривает человека, открывает его самому себе — и, следовательно миру. Неважно, что первые из себя порожденные людьми желания, цели носят еще такой бедный характер; важно, что они возникли принципиально иным путем: не как навязывание человеку требований со стороны (“надо”), а как изнутри пульсирующая самодеятельность “я” — как “хочу”. Так что затем это “хочу” обретает твердость всеобщего принципа жизни: ведь не кто иной, как вор Васька Пепел заговорил в итоге языком “надо”: “Надо — так жить, чтобы самому себя можно мне было уважать”.

То есть, это и есть тот искомый новый принцип организации бытия, исходящий из человека, основанный на его свободной творческой самодеятельности. А то, что форма, материал, в который эта самодеятельность на первых порах отливается, носит не новый и часто еще такой бедный характер (как то, что мы видели у Анны, Пепла, Актера), то, во-первых, Человек живет в людях, несвободных от общества отчуждения, с рождения пропитанных его нормами быта и мысли. Во-вторых, творческая активность его “я”, чтобы вылиться в предметной форме, должна так или иначе отнестись к наличной жизни, ее предметам и идеалам, и из этого материала создавать свою действительность. А, в-третьих,— и это главное — само наличное бытие являет собой неисчислимое богатство созданных творческим разумом человечества прекрасных вещей, установлений, законов, идеалов, машин, наук, искусств, форм общежития и т.д.

Сама по себе действительность совсем не есть нечто бессмысленное и извращенное — таковым она выступает лишь в

формах отчуждения. Если же ток бытия польется из Человека, тогда все это заживет человечески осмысленной жизнью и обернется красотой и благом. Так что новому “человекомиру” незачем отрекаться от наличного бытия — напротив, нужно прозреть живущую в нем разумность, исполниться доверием к нему — тогда лишь и я наполнюсь человечески-осмысленным содержанием и, собственно, и открою впервые в себе Человека.

И, наконец, конкретная форма, в которую волеется про-снущаяся творческая самодеятельность Человека, — есть уже вопрос второй степени важности, по сравнению с самым актом пробуждения этой, изнутри идущей активности, основанной на доверии себе. Ее специфическая природа как раз в том и состоит, что ей нельзя точно предугадать (и познать) форму и дорогу: их она сама должна найти себе — и подарить миру. И если Клещ сетует на “Старика” (Луку), что он “поманил их” (“сожителей”) куда-то, ...а сам — дорогу не сказал”, то он этим выразил лишь начальную ступень пробуждающегося самосознания, которое уже чутко улавливает зов вдаль (“вблизи”, ибо это — к себе), но нуждается еще в помочах, чтобы сделать первый шаг.

Они (помочи) нужны именно для первого шага на искомом пути, дорогу же каждый должен найти, “сказать” сам. И призывание Луки — в том, чтобы начать в жизни это принципиально новое движение, чтобы перевернуть образ жизни человека и бытия: вызвать в людях ток самодвижения изнутри. причем сделать это он старается нарочито самым пустым, банальным словом, которое бы в будущем не обязывало пробуждаемого человека придерживаться именно этого конкретного содержания, совета, цели (чтобы он, пробудившись, опять не оказался связан в поисках своего пути верностью “заветам” учителя). Лука подсказывает элементарную форму — опору для первого самостоятельного шага в жизни, чтобы далее, опрокинув ее, эту форму-опору, человек шел бы сам, своим путем.

Сверхчеловек Сатин высокомерно третирует эту первую помощь людям. “Сатин (смеясь): И вообще... для многих был... как мякиш для беззубых... Барон (смеясь): Как пластырь для нарывов”.

Лука не бросает людей сразу в реку, чтобы они сами научились плавать по принципу естественного отбора сильных и слабых. Для Луки нет этого животного, абстрактного для человека деления; оно у него более содержательно и человечески: человек, “каков он ни есть — а всегда своей цены стоит...” И вся задача человека: выявив свою цену, открыть для человечества новый всеобщий принцип “цены” (оценивания) человека. А деление на сильных и слабых есть априорное правило оценки человека, которое заранее перерезает возможность проявиться в будущем как раз новой, его, индивидуальной сущности (“цене”). По этому принципу человечество не

имело бы ни Гоголя, ни Канта — ни других творцов, болезненных в детстве, когда не видно еще было своей “цены”. этих людей, а видно уже было, что они не дотягивают до цены “сильных”.

Следовательно, помочь людям встать на ноги, пробудив в них веру в себя, есть великая и сложная задача; и “ложь” (т.е. то, что выступает ложью, фантазией с точки зрения логики вещей) — для этого первого акта может явиться сто-крат более правдоносной (чреватой в будущем индивидуаль-ной человекоправдой), чем та абстрактная правда, на устойчи-вость к которой Сатин и Бубнов предлагают сразу выверять человека (как крестить его в проруби): “По-моему — вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?” Но ведь в том-то и дело, что живущая в отчужденном мире правда есть само-званка, но силой логики неотразимо бьет людей и мешает им преодолеть рубеж, перейдя который, они могли бы начать верить в себя, уважать себя. И прав Лука, говоря Пеплу: “И... чего тебе правда больно нужна... Подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя. *Пепел*: А мне все едино! Обух так обух...” Лука: Да чудак! на что самому себя уби-вать?”

Ведь большего и желать не может логика вещей: чтобы люди, окончательно поверив в нее, самоуничтожились физи-чески или духовно, т.е. навсегда отрезали путь к возрожде-нию человечества через “човекоправду”. Она, напротив, подначивает человека на самоубийство веры в себя, всячески разукрасивает его неверие в себя девизом: “Надо мужествен-но посмотреть правде в глаза”, т.е. принять правду логики вещей как абсолютную данность, предел, иже не перейдеши.

Вот почему, в противовес абстрактному требованию прав-ды, новый принцип больше дорожит жизнью человека. Сохра-нить жизнь человека, не причинять ему пустых страданий — с этой стороны выступает как цель и задача более существен-ная и содержательная, чем проверка его на устойчивость каленым железом абстрактной правды: ибо живой человек всегда, до последнего момента (как мы видим в *Анне*), есть источник, потенциал неведомой еще миру человекоправды, которую он скажет, может быть, даже тем, как он умрет. И Горький неоднократно и полемически рисует ситуации (ср., например, “*Болесь*”), где человек, самодовольно вещающий “правду”, разрушающий иллюзии, выступает как низший и более пустой экземпляр рода человеческого, чем человек, который чутко улавливает, чего хочет слышать, чтобы оно было, собеседник,— и высказывает ему это как объективную правду. Так и в романе “*Мать*” Андрей Находка справедливо высмеивает “жилетку”, которую надевает на себя рассудочно-железный человек Павел Власов, систематически дрессирую-щий мать, чтобы она привыкла к мысли о том, что всем им — один конец: тюрьма, ссылка и смерть.

Каков же первый шаг этого пробудившегося в человеке Человека? Уйти, бежать, сняться с места, начать новую жизнь, сначала. Место здесь обретает сакраментальное значение “заколдованного места”. Если в предшествующие времена место мыслилось людьми как спасающее их, и они описывали круг, приговаривая: “чур меня!”, то теперь, в обществе отчуждения, которое сделало людей функциями мест (жительства и работы), естественно, что и первый шаг к раскрепощению человека состоял в раскреплении его связи с местом, так что он начинает менять места и занятия, оставаясь самим собой, нося определитель свой в себе самом, а не в месте.

Апология и эстетика странничества, бродяжничества занимает центральное место в идеях Горького. Он не любит и не понимает крестьян, людей, привязанных к земле, к “родному пепелищу”. Их роевой образ жизни ему представляется тупым и не разнится в его глазах от мещанской окурщины.

Вдумываясь в реальную социально-экономическую основу этой горьковской эстетики снятия людей с насиженных мест, мы затрудняемся точно определить природу этого странничества. Россия ведь в тот период — конца XIX века — переживала ренессансную эпоху первоначального накопления, типичным для которой является именно утрата людьми прочных связей с землей, родней, ремеслом (занятием). Вместо всех средневековых устойчивых связей и определений человека по роду, земле и цеху, — встало одно, более высокое и общее определение — Человек. Природа горьковского гуманизма, следовательно, имеет и ренессансный момент в себе. Он родствен гуманизму западноевропейского Ренессанса XIV-XVI вв. Там тоже был бунт против средневекового отчуждения, и ренессансный индивид находил опору только в себе. Но потом он, этот Человек, не сумел построить мира человекоправды, ибо и проблемы, и задачи, и опасности еще такой не вставало: чтобы “созданное людьми поработило и обезличило их”, — вещи еще надо создавать. Быть может, и горьковская идеология гуманизма, эта ренессансная по характеру апология Человека, еще не занята задачей отчуждения (и это мы приписываем ему, домысливаем, глядя из более развитого состояния мира)?

Отчасти это действительно так. Уже потому, что главный враг, против которого направляет Горький свои мысли, — это окурщина, мещанство, т.е. не буржуазная, а еще средневековая категория. Против превращения человека в придаток машинной индустрии Горький выступает реже, хотя и это у него есть (ср. прелюдия к “Матери”, “Челкаш” и т.д.). Все это обнажает сращенный характер горьковской проблематики (как и ситуации самой русской жизни, где сливались задачи буржуазно-демократической и социалистической революции). И в нашем анализе “На дне” есть элемент модернизации — в более определенной, ставящей точки над “и” постановке проблем. Особенно ясно это видно в облегченном решении у

Горького проблемы разума и логики; доверие к ним у Горького несколько наивно и отдает еще просветительским рационализмом: путаница XX в. не предстала ему во всей своей силе. Он еще имеет дело с ренессансной путаницей — как “пестротой” (т.е. категорией добуржуазного чувственно-предметного состояния мира и мышления), а не с “абсурдным миром”. И Горький, не уставая, любит и описывает в их характерности этих “пестрых”, снявшихся с места людей — как Чосер в “Кентерберийских рассказах”. Их характерность — в них самих (“все мое ношу с собой”): не в местах, где они живут, а в случаях, которые с ними происходят. Их воспроизводит Горький.

И он любит этим состоянием и не торопится загонять людей в новый устойчивый мир, основанный пусть и на принципах Человекоправды (а может, это так лишь казаться будет, а поистине будет создаваться новый мир отчуждения, как это и было после Ренессанса: ср. иллюзии царства Разума просветителей и реальное царство буржуазии). Этот угол зрения на проблему и тогда уже вставал, и в “Матери” Горький задумывался: как “вогнать” в единое русло эту раскрепощенную энергию людей и начать строить новый, стройный, разумный мир — уже не на началах отчуждения, но на началах Человека? Но в основном и далее, после “Матери” Горький от этой проблемы отмахивался; и в автобиографической трилогии, и в рассказах отдавался любованию праздничной пестротой людей, освободившихся от одних связей и не торопившихся создать связи иные. Пусть себе поживут так: еще успеют вводить себя в рамки! Даже описанная в “Матери” авантюрная жизнь революционеров и радость, которую им доставляет страннический и “плутовской” (ибо их жизнь “нечестна”, строится на обмане наличного общества, хитром проскальзывании сквозь его поры) образ движения по жизни — сродни эстетике бродяжничества, знакомой нам по западноевропейскому плутовскому роману.

И в романе “Мать” революционерка Софья по пути в село, куда они с Ниловной, переодевшись богомолками (“Вдыхая полной грудью сладкий воздух, они шли не быстрой, но скорой походкой, и матери казалось, что она идет на богомолье. Ей вспомнилось детство и та хорошая радость, с которой она, бывало, ходила из села на праздник в дальний монастырь к чудотворной иконе” — настроение и цель, как и пилигримов в “Кентерберийских рассказах” Чосера.), несут запрещенные книги и газеты, рассказывает своего рода революционные анекдоты и фавль: “Весело, как будто хвастаясь шалостями детства, Софья стала рассказывать матери о своей революционной работе. Ей приходилось жить под чужим именем, пользуясь фальшивым документом, переодеваться, скрываясь от шпионов, возить пуды запрещенных книг по разным городам, устраивать побеги для ссыльных товарищей, сопровождать их за границу. В ее квартире была устроена тайная типография,

и когда жандармы, узнав об этом, явились с обыском, она, успев за минуту перед их приходом переодеться горничной, ушла, встретив у ворот своих гостей (*qui pro quo* с переодеваниями, как в фавль о хитростях неверной жены и глупом муже, не правда ли? — Г. Г.).

Однажды она, переодетая монахиней, ехала в одном вагоне и на одной скамье со шпионом, который выслеживал ее и, хвастаясь своей ловкостью, рассказывал ей, как он это делает. Он был уверен, что она едет с этим поездом в вагоне второго класса, на каждой остановке выходил и, возвращаясь, говорил ей: — Не видно, — спать легла, должно быть. Тоже и они устают, — жизнь трудная, вроде нашей”.

И когда Ниловна, восхищаясь тем полным, живым и радостным ощущением всего в жизни, которое она видела в своей спутнице, в то же время выражает ей сочувствие: “- Кто вас наградит за труды ваши? — спросила она тихо и печально. Софья ответила с гордостью, как показалось матери:

— Мы уже награждены! Мы нашли для себя жизнь, которая удовлетворяет нас, мы живем всеми силами души — чего еще можно желать?”

Когда человек начинает жить полностью из себя и проявляет себя еще не в созидании и организации бытия, но в своего рода озорстве по отношению к существующему, в артистическом проскальзывании сквозь поры твердой социальной системы, такая жизнь есть абсолютная свобода, прекрасна, и богаче, и индивидуальнее ее не придумаешь. Вот почему Софья заявляет: “нас” (революционеров) такая “жизнь” “удовлетворяет”. Радость чистой борьбы — хотя она плюс к этому имеет еще и обоснование высокой идеей: борьба за счастье народа — эта радость пронизывала чувством умиления к самим себе — таким хорошим. (Вспомним сцену из “Матери”, когда Павел, Андрей и Николай Весовщиков, обнявшись, уходят в ночь гулять от избытка счастья и взаимной нежности).

Итак, бытие человека в отрыве от старых и новых связей, т.е. человека-странника, перекати-поле, — для Горького представляется не несчастным состоянием опустошенности и одиночества (“Бродяга я... Никто нигде не ждет меня”), но состоянием свободы, полноты и личного характера жизни. Так что снять людей с мест — для Луки — есть все необходимое и достаточное, чтобы погрузить их в жизнь в сфере свободы. Сам он, перекати-поле, такую именно жизнь и ведет. В ответ на назидательное замечание Костылева: “Человек должен определять себя к месту... не путаться зря по земле...” — Лука замечает: “А если поэтому — везде место?”

Но если сравнить этот предлагаемый Лукой выход: “снять-ся с места” — с прошлыми судьбами персонажей “На дне”, то он будет звучать применительно к ним несколько странно. Ведь в самом деле — не их уж агитировать за снятие с насиженного места: ни у кого нет, наверное, за плечами

такого стажа скитаний по свету и бродяжничества, как у них; каждый из них давным давно выбился из своей среды, порвал связи с окурковским бытием — и именно в ходе скитаний забросило его в ночлежку Костылева.

Здесь очутились герои первых рассказов Горького о босяках: Челкаш, князь Шахро, “бывшие люди” и т.д.— и вот роковая власть места!.. Лишь только они осели, тут же, на новой ступени и в новом качестве начала возрождаться окурковщина: засасывающая окурковщина сатинско-бубновского цинизма и опустошенности. И уже нужно снимать людей с “дна”, как тоже мира отчужденного бытия, ибо общество отчуждения вполне устраивало бы наличие постоянной помойки, куда бы оно могло время от времени отваливать не ко двору пришедшихся индивидов: пусть их себе там безвредно ощущают себя Человеками и ведут душеспасительные разговоры о правде в царстве мертвых.

Так что же, Лука предлагает им вернуться к их прежнему, уже изведенному состоянию бродяжничества, ибо только в нем человек опирается целиком на себя, верен себе и реализует свою индивидуальность? Нет, он зовет к принципиально иному снятию с места: не по воле судьбы, не как гонимых внешней силой, но по своей воле, в поисках себя самих и присущей каждому формы жизнетворчества.

Но вся беда-то в том, что, кроме Луки, никто в пьесе не может найти этой присущей себе формы положительной деятельности: Лука, странствуя по свету и глядя на разную жизнь, встречаясь с разными людьми, беседуя с ними, вливая в них веру в свои силы, действительно полностью выражает свою индивидуальную сущность. Ибо она у него поистине самая всеобщая: быть движущейся по миру связью с людьми, ее материальной плотью. От этой связи вливается в людей ступок энергетической силы, и благодаря ей они чувствуют себя не покинутыми и заброшенными, но членами единой семьи Человеков.

Для той роли, которую осуществляет Лука: зажигать собственную правду каждого человека, как раз и нужно, чтобы сам Лука в себе не нес никакой своей особенной правды (идеала, пристрастия), кроме этой способности быть эхом любой особенной правды. Его индивидуальная активность и форма должна состоять в том, чтобы быть Протеем, т.е. чтобы не иметь своей формы и принимать в любой момент форму и суть человека, с которым он имеет дело. И, естественно, что обликом для такой русской всеобщей индивидуальности явился уютный спорый старичок: он и мудр (в нем всеобщий опыт: и от женщин он полысел, и в Сибири сторожем служил, т.е. он есть всезнание), и деятельен (странник с котомкой: “Старику везде место”). Он мягок, пластичен и эластичен. “Мяли много, оттого и мягок”, — признается Лука Анне. Мягкость его и есть эта предельная активность его сущности, которая проявляется в ее расслаблении, самоисчезновении, благодаря



чему и может суть другого человека отпечататься в нем, как в воске, полностью по своей собственной “мерке”. В этом и таится сила его воздействия: в беседе он не дает ничего, кроме сути данного человека, но как раз этого людям не достает, и ни в ком из людей с особенным пафосом они не могли бы найти себя, отразить целиком свою сущность: те слишком заполненно активны и благодаря этому не видят данного человека самого по себе и не дают ему увидеть в них — себя самого в отражении.

Лука же — это и есть всеобщее движущееся отражение, или бродячее самосознание бытия. Его движение по жизни есть возникновение сознания в других людях: и в них, их воскресших или впервые найденных ими своих индивидуальных сущностях, и “опредмечивается” шествие Луки. Он — как гегелевский Дух: в своем прохождении сквозь жизнь, все время, в каждой точке сливается полностью (до совпадения) с тем или иным человеческим существованием (его сознанием). В этом соитии он наполняет свою временную обитель всеобщей энергией, собранной им со всех людей, — и далее покидает эту и входит в другую индивидуальную форму. Но формы, пройденные им, уже далее живут самостоятельной жизнью. Так и наполняется новое бытие жизнью разнообразных явлений (“феноменов”).

Теперь понятно нам должно стать, почему Лука, когда воплощается в одного и говорит его индивидуальностью, “врет”, с точки зрения индивидуальности другого. Но, в свою очередь, этот, когда Лука входит в него, ошеломлен его точным всепроникновением в его душу, полным знанием его истины. Потому и ясно нам должно стать, что, оставшись без Луки, когда он, сделав здесь свое дело — “проквасив сожителей”, т.е. зарядив их своей (Луки) = индивидуально их (Актера, Насти, Сатина и т.д.) энергией, — пошел дальше, пробужденные индивидуальности (и пробужденные самосознания) сталкиваются во взаимоокрикующей борьбе: ибо каждому всеобщая правда Луки предстала в форме его собственной индивидуальности. И именно это брожение теперь и есть живая жизнь исчезнувшего, отлетевшего Луки.

И вот посмотрим, какой мир оставил после себя Лука. Четвертое действие пьесы — это уже не вяло и ворчливо идущие разговоры в царстве мертвых (как в первом действии), но разговоры, происходящие, “когда мы, мертвые, пробуждаемся”. Все полны какого-то свежего задора, силы, молодости, любви, понимания и в то же время живой ненависти и презрения друг к другу и непонимания друг друга — словом, это уже индивидуальные страсти, и они, забушевав, вздыбили людей на прямое столкновение их сущностей и правд. Каждый выдвигает свое понимание “старика” и, следовательно, всеобщего смысла жизни — и обвиняет всех остальных в абсолютном непонимании (ибо Лука сам всех понимал, но не оставил ключа, чтобы людям самим понимать друг друга):

“Настя: “Хороший был старичок!.. А вы... не люди... вы — ржавчина... Клещ: Он — жалостливый был... у вас вот... жалости нет... Татарин: Старик хорош был... закон душе имел! Кто закон душа имеет — хорош! Кто закон терял (имеются, в частности, в виду все остальные жители ночлежки.— Г. Г.) — пропал!.. Актер: Невежды! Дикари! Мель-по-ме-на! (кричит он Сатину, который нарочно, дразня Актера, спутывал муз.— Г. Г.) Люди без сердца! Вы увидите — он уйдет!” (“Он” — это он о себе говорит — о своей проснувшейся свободной воле, индивидуальности).

Наконец, в том же отвергающем других духе выступает и Сатин. “Сатин (ударяя кулаком по столу): Молчать! Вы все — скоты! Дубье... молчать о старике! (спокойно). Ты, Барон, всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и — врешь! Старик — не шарлатан! Что такое правда? Человек — вот правда! Он это понимал... вы — нет! Вы — тупы, как кирпичи... Я — понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, чорт вас возьми!”

Следуют далее знаменитые монологи Сатина, где все выше вздымается всеобщая мысль и правда о Человеке и жизни, которая начинает карабкаться на этот Монблан уже с первых секунд четвертого действия: в робких репликах Клеща о жалости, в полурусской речи Татарина о законе и т.д. В речах Сатина впервые найдены точные слова для выражения идеи Человекомира, и наиболее полно в форме прямых логических тезисов развернута гуманистическая концепция Горького:

“Человек — вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! (Очерчивает пальцем в воздухе фигуру Человека). Понимаешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы... Все — в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Че-ло-век! Это — великолепно! Это — звучит... гордо!”

Итак, здесь вроде осуществлено средствами мысли соединение людей во Человеке, создание единого понятия о Человеке. Но точно и только ли понятие это?

Сразу ошеломляет волевой напор этого размышления о Человеке. Мысль здесь движется не связной цепью силлогизмов, доказательств, обоснований одного другим. Нет, это — огненная, зажигательная речь оракула, вождя, пророка, глашатая, в которой каждая фраза принимается сразу, на веру. И как ее не принять, если она, во-первых, полностью совпадает с тем, что люди хотят слышать о жизни и себе? Потому они ей дают веру сразу, заведомо, даже до логического понимания ее, — то, чего так и не мог добиться в притче о праведной земле ученый со своими картами, планами и доказательствами. А, во-вторых, как ее не принять, если каждая частица, фраза этой речи есть афоризм (т.е. твердое тело мысли), обладающий пробивной силой: своевольно врывающийся, вламывающийся без спроса в сознание человека и

гнездящийся в нем в своем тоже твердом, не расчленяемом рефлексией виде?

Чтобы убедиться, что это так, что логического расщепления, развертывания твердого тела афоризма, мы обычно не производим, пусть каждый, положив руку на сердце, сознается себе: задумывался ли он когда-либо над тем, почему знаменитое изречение о Человеке дано именно в такой, логически совершенно нелепой форме: "Человек — это звучит гордо!.." "Ну и пускай себе — "звучит", — скажет логика, — от этого "гордость" никак не становится необходимым предикатом суждения о Человеке; таковой она станет лишь в том случае, если бы было сказано: "Человек — это (есть) гордо" — и без всяких восклицательных знаков и тире, окружающих мысль совершенно излишней атмосферой эмоционального ажиотажа, спекуляции на чувствах и т.д. И то, что у нас не возникает такой самгинской рефлексии, — и есть доказательство, что афористическая форма мысли здесь достигла цели.

Мысль о Человеке не есть суждение; она — лишь внешне походит на его форму. Концепция Человекомира, построенная логикой Человекоправды, как раз не может и не должна быть чисто философской концепцией. Она не должна отвлекаться от воли, "практического разума" (желаний, эмоций, "я" человека), ставить себе в заслугу беспристрастное познание, но осуществляет максимальное напряжение мысли, чтобы перелить ее прямо в волю и действие.

Монологи Сатина — это стремление логики превзойти свои границы и выйти сразу в мир действия. Это своего рода заклинания, магические действия со словами. Сатин, который в первом акте вяло соединял опостылевшие слова — через многоточия (в пунктуации Горького), — здесь соединяет их волевым напором: посредством тире перебрасывая мосты через еще не освоенные мыслью бездны и пустоты.

Организация мысли как афоризма приоткрывает нам тайну нелюбви (точнее — ревности) Горького к народным пословицам: и не только потому, что они создавались большей частью нелюбимым им крестьянством, но и потому, что они таят в себе какой-то иной, враждебный ему способ организации мысли, — стократ более чуждый ему, несмотря на то, что внешне он близок к излюбленной им форме афоризмов, изречений.

— Э! — кивнув головой сказал хохол (Андрей Находка в романе "Мать". — Г. Г.) — Поговорок много. Меньше знаешь — крепче спишь, чем неверно? Поговорками — желудок думает, он из них уздечки для души плетет, чтобы лучше было править ею".

В чем здесь дело? Откуда такое отмежевание от сокровищницы народной мудрости? Близость пословиц к создаваемым разумом афоризмам очевидна: и те, и другие суть больше, чем формы "чистого разума"; это — формы волевого сознания, действенного мышления. Но в них разная воля глаголет. В пословицах глаголет всеобщая воля человечества как чего-

то — пусть не отчужденного, но родового, надличного, в котором индивид растворен и своей воли еще не родил. Недавно пословицы в большинстве своем созданы в полупатриархальном, добуржуазном (т.е. до чистого отчуждения сложившемся) состоянии мира. Потому пословицы суть либо констатация положения вещей, которое кладет человеку предел иже не перейдешь, — либо извне идущее к индивиду требование мира. Пословица связывает “я”, волю (душу) индивида и приковывает его к полупатриархальному, растительному (“в желудке”) существованию.

Они, как формы мысли, — не суть заслуга индивида, его “я”, его сознания. Они лежат в сусеке родового сознания как готовые данности, запасенные на все случаи жизни, — и спасают индивида от собственного отношения к этим ситуациям, которые ведь всегда неповторимы. (Пословица тотчас подтверждает и случай, и индивида под известное, то же самое, удручает и сгибает волю и мысль человека автоматизмом бытия, в котором якобы “все на свете повторимо”).

Логика отчуждения, которой присуща форма силлогизма, разрушает пословицы. Но итогом ее деятельности является отдаление истины от Человека — и софистика, как кружение мышления на холостом ходу.

Новый, искомый способ мышления должен осуществить труднейшую задачу: добиться, чтобы индивидуальные правды людей могли бы взаимно понимать друг друга, чтобы это взаимопонимание шло не через соединение индивидуальных миропониманий и правд в одно, отвлекающееся от “частного” — общее, в котором бы нивелировались эти индивидуальные правды, но через их развертывание и шла бы и концентрировалась всеобщая Человекоправда.

Однако в сфере чистой мысли это непостижимо, ибо такое соединение правды с человеком (который есть не чистая мысль, а целостное существование во плоти, в воле и т.д.) предполагает выход познания из мышления и погружение в действие. Афоризм и есть напряжение мысли перейти в эту сферу. Мысль здесь сжата до предела, т.е. изгнана, уже самовытеснилась из своего абсолютного царства, где она в вольном пространстве могла бы на покое развертываться в гигантские томы и системы доказательств.

С другой стороны, афоризм, в отличие от пословицы, есть порождение индивидуального “я”, индивидуальной мысли, которая волевым усилием прямо (опять же, через тире) переносится ко всеобщей Человекоправде.

Итак, монологи Сатина суть кульминация идущего в пьесе познания Человека и его мира средствами чистого разума (“разговоров”), когда этот разум уже превращается в практически действенное мышление. Но монологи Сатина не суть кульминация четвертого акта пьесы. Действие идет дальше и уже покидает сферу мышления, разговоров — и переходит в более высокую и трудную (ибо она ниже, ближе к жизни)

сферу поступков — “практического разума”. И здесь одно за другим совершаются людьми дна свободные деяния: впервые щедр и добр к людям Клещ и ни за что ни про что чинит гармонь Алешке. Алешка уже не вопит истошно: “Я такой человек, что... ничего не желаю! Ничего не хочу и — шабаш!”, но шутит и увеселяет всех своей артистической игрой на гармошке. Барон впервые задумался над жизнью, которая прошла как во сне, словно не с ним случилась. А Настя впервые отвела душу в наслаждении мести, издеваясь над рассказом Барона о своем прошлом. Но кульминация все нарастает: Бубнов! Ворон Бубнов приходит добрый и щедрый, угощает всех: и бывший полицейский Медведев, и педантичный Татарин размягчаются — и вот уже звучит песня, и все сливаются во всеобщем воодушевлении, и души звучат в гармонии друг с другом. В песне найдено то всепонимание и понимание друг друга, согласие мыслей о жизни и старике, которое никак не удавалось достигнуть путем рассуждений (см. начало четвертого действия).

И, наконец, совершается последнее и высшее деяние свободной воли пробудившейся индивидуальности. Это — самоубийство Актера. Оно испортило песню, так же как песня перед этим “испортила” рассуждение. (Вот она — последовательность и иерархия форм освоения Человекомира: мысль, песня, поступок.) Оно вдруг начисто перечеркивает ту компромиссную форму свободного бытия человека внутри рамок общества отчуждения, которое осуществляется людьми “дна” во всеобщем братании: в самозабвении прекрасного размышления (монологи Сатина), пьянки, пляски или песни. Да, в них в пределах микромира “дна” действительно достигается полное раскрепощение, апофеоз свободы, счастливого самоощущения каждым себя — Человеком; но именно в пределах этого микромира, отведенного обществом отчуждения свободным людям. Веселье их хоть и есть нечто смущающее и из ряда вон выходящее, но в общем не колеблет более высоких водных слоев и тем более не достигает поверхности. Самоубийство Актера есть самовзрывание дна, бунт против вообще всякого внешнего или само-ограничения свободы Человека, радости и счастья. Оно есть покушение идеала Человека на всю жизнь сразу, во всей ее толще: со дна ее океана — до поверхности.

И этим уже “На дне” выводит нас в проблематику последующего этапа творчества Горького, отраженного в пьесе “Враги” и романе “Мать”, когда он, кажется, находит путь соединения идеала Человека с практическим действием в обществе — революционной борьбой масс за свое освобождение.

Но откуда черпает человек представление о том, что, помимо окружающего его отчужденного бытия, есть еще прекрасный “Човекомир”? Почему объективной очевидности отчуждения, говорящей ему: “так есть”, достигающей его сознания через четкое знание, логику фактов и доказательств, через разум, он противопоставляет (в нем есть потребность

противопоставить) субъективную очевидность (т.е. ясную лишь его душе и ее, души, силою держащуюся) “праведной земли” и утверждать: “Это — будет” (ср. речь Павла Власова на суде)?

Да из того же самого окружающего его мира: его предметов, отношений, законов, людей и т.д.! В мгновения, когда мы ощущаем братство людей, а себя — свободными творцами жизни (а это мы испытываем в счастье, в любви, созерцании природы, участвуя в творческом труде, в народных движениях и т.д., — словом, в эстетическом состоянии), тот же самый окружающий мир, те же самые вещи, люди, от которых мы воспринимали до сих пор лишь унижающее меня давление, вдруг предстают ослепительно благоственными, мудрыми, прекрасными: и такое, оказывается, счастье — жить среди всего этого, созданного вдохновенной волей и разумом свободного (точнее: непрерывно освобождающегося — и все более уже зависящего от собой же созданных прекрасных машин, учений, книг, государств и т.д.) — человечества! И так разумно и целесообразно устроен и развивался этот “божий” мир!

Следовательно, чтобы вернуть и себе, и людям это ощущение наличного бытия, как праздничного, разумного и прекрасного, — нужно вместо цепи отчуждения окружить, опоясать людей, поставить постоянным посредником между ними и наличным миром — атмосферу взаимного доверия, некорыстных отношений друг к другу и любви.

Если мир отчуждения объединяет людей посредством вещей, привязывая их к ним, то искомая атмосфера любви и доверия может возникнуть в таком союзе, объединении людей, который строился бы как прямая связь их друг с другом, прозревающая и любящая в каждом — Человека, свободную, неподменяемую творческую индивидуальность. Это то слияние, о котором говорил Сатин: “Человек — это не ты, не я, не они... нет! Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном!”

И коль скоро такая связь возникает, наличный мир и все вещи его переворачиваются: обнаруживают в себе не отчужденную, а человеческую сторону, ибо они все созданы Человеком, его творческой волей, хотя в условиях отчуждения.

В “На дне” этого деятельного, коллективного выхода к новой жизни еще нет. Лука, “старая дрожжа”, сделал свое дело: “проквасил сожителей”, как говорил о нем Сатин. В людях проснулся идеал Человека — и это первая ступень в постройке нового “Человекомира”. Она выступает как пробуждение хаотической множественности людских “я”: воли, стремлений, правд. Не с одной, а с бесконечного множества сторон вдруг брызнули источники самостоятельной творческой энергии. Люди расцветают, дивятся себе и наперебой стремятся явить миру свою правду; каждый чувствует себя новым мессией, спасителем человечества, благовещающим ему новый всеобщий принцип, закон бытия. На этой ступени наиболее

проявляются самобытные, неподменные индивидуальности, характеры, страсти людей. Она исключительно благоприятна для именно художественного вникания в жизнь. (Вот почему Горький в своем творчестве, в общем, сосредоточивается на воспроизведении этого состояния мира в пестрой разноголосице пробудившихся и празднующих первооткрытие своего “я” творческих индивидуальностей.)

Однако уязвимость, недостаточность первой ступени как раз состоит в том, в чем и ее опьяняющая красота: пестрая разноголосица пробудившихся “я”, бесконечных индивидуальных правд оборачивается катастрофическим разобщением людей, полным их непониманием друг друга, а отсюда наступающим после праздника (слияние всех в песне в четвертом действии “На дне”) — похмельем, в котором люди чувствуют удручающее одиночество, пустоту и бессилие перед навалившейся на них громадой вне них существующего мира. И это их ощущение своей приниженности тысячекрат сильнее, чем раньше, ибо оно первооткрывается благодаря тому, что только что первооткрылось их “я” и пробудилась вера в себя.

Пробудившийся в людях идеал человека так и остался закупоренным в каждом из них, не в состоянии воздействовать на мир, не находя себе выхода в общезначимое дело, а в крайнем случае разбивая человеческий сосуд, в котором он бродил (самоубийство Актера). В то же время сам мир отчуждения со своими бесчеловечными отношениями вторгается на “дно” и не дает разьединенным людям осуществить пробудившуюся в каждом из них мечту. Васька Пепел попал-таки в Сибирь — но не на вольное, счастливое житье с Наташей, а на каторгу. И другие так и не могут по-новому построить свою жизнь и остаются лишь при потенциале Человека, да к тому же так, что один не может понять другого.

Итак, данная стадия есть стадия двоевластия: существуют одновременно мир Отчуждения и мир Человека. Один — живет кругом, вне людских индивидуальностей и без них. Другой — только в них. Первый основан на полной подменимости = понятности людей, осуществляемой через сравнение (выравнивание их по вне их, к ним не относящейся мерке). Он есть общее действие, свободно совершающееся без индивидуальностей людей. Другой основан на неповторимости, драгоценности людей, на индивидуальности мерок и критериев. Но зато здесь и нет понимания людьми друг друга: они фатально заперты в себе. Моя вера в себя представляется тебе совершенно непонятной, неоправданной (Сатин: “Вы все скоты, дубье”, “ничего не понимаете”). На этой ступени каждый несет в себе весь, так сказать, Человекомир, всю его ношу — и именно поэтому не видит и не понимает другого. Эти миры неподменимы и несоединимы, ибо подмена и соединение лишили бы их как раз их основного специфического, присущего этой ступени качества — индивидуальности.

В этой ситуации благородный принцип, лозунг: “Надо уважать Человека”, “не мешай Человеку” (так часто повторяемый Лукой, а в конце — и Сатиным) — есть закрепление этой запертости людей в себе. Ибо раз все равно понять друг друга нельзя (“Верно, а может... и не верно”, — говорит Пепел о выражаемой Лукой индивидуальной правде Анны), а “все есть люди... все человеки”, и каждый в себе слышит мощный голос и может лишь абстрактно подозревать, по логике вероятности и аналогии, его в другом, но не понимать его, — то пусть уж каждый сам по себе тешится, не мешая другому.

Так великий принцип индивидуальной творческой самостоятельности, в которой и может лишь осуществляться Человек, оборачивается субъективной игрой в бирюльки своего воображения. Так совершающееся глубоко в душах людей единение и слияние людей в братстве, в ощущении себя Человеками — оборачивается в реальности их трагическим разобщением и одиночеством. Так вера в себя, доверие себе утрачивает характер мощного источника реального жизнотворчества, а предстает как утешительная иллюзия о себе, не имеющая всеобщего значения. Тем самым, без объективной пищи и возможности самопроявления в реальном предметном действии, сама вера в себя, свою силу хиреет и перерастает в неуверенность. В “На дне” только и слышишь: “это его дело”, “не твое дело” и т.д. — реплики, которыми люди словно расталкивают друг друга, огораживают себя, обороняются, т.е. окружают себя броней, становясь крепостью, недоступной для вторжения. Но в этой крепости они сами задыхаются, стремясь и не в силах выйти из нее.

До сих пор понимал всех — Лука. Ему лишь до всего дело. Он всех соединял с собой поодиночке, но не друг с другом. Он и был воплощенным их единством, и когда он был среди них, люди ощущали свою общность. Даже когда он ушел, в четвертом действии “На дне” всех соединяет хотя бы разговор о нем. Лука и был как бы их общим делом. Теперь оно исчезло, и люди вновь лишены понимания друг друга. Чтобы оно могло состояться, должно родиться в жизни и изнутри людей такое дело, которое будет одновременно и “его”, и “твоим”, и общим делом. Оно лишь и может стать оплотом, почвой и веры людей в себя, и их переливания друг в друга, а следовательно, — взаимного понимания, знания и новой логики.

Сосенки. Октябрь 1960.



Бедный Горький! Когда он был хрестоматием — к нему не подступись с живой мыслью. А когда нимб спал, над ним принялись мстительно издеваться молодчики-умники “насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом”... Но ведь не обманывал он, а, скорее, обманывался (“Ах, обмануть меня не трудно: я сам обманываться рад!”): душа его высокого и идеального алкала. А наследство его ПЕРЕмотали — аллилуйщики соцреализма. И опять не имел человек и писатель Алексей Максимович Пешков (Горький) своей меры понимания и оценки.

Более 33 лет тому назад, в октябре 1960 г. засел я писать раздел об образе у Горького в свою главу “Развитие образного сознания в литературе” для I тома “Теории литературы. Основные проблемы в историческом освещении”, что создавалась тогда в ИМЛИ. Но перечитывая “На дне”, так увлекся, что написал самостоятельное исследование про спор Правды и Лжи в этой весьма философской пьесе. Ослепительно простая мысль: что логика-то, какую орудует, есть “ЛОГИКА ВЕЩЕЙ” (а не человека) и приспособлена выражать функционирование предметов (а не жизнь душ и сущностей людских) — мне предстала как гносеологическое открытие Горьким того, что потом развернет экзистенциализм в мышлении XX в.

Такой приступ к Горькому оказался неожиданным, и, естественно, трудно было мне с ним пробиться в печать. Все же в сжатом виде удалось изложить эти идеи в этюде “Что есть истина? (Прение о правде и лжи в “На дне” М. Горького)” в журнале “Театр” (1966, № 12). Трактовка пришлась по душе актерам, и новая постановка “На дне” в “Современнике” резонировала с этой концепцией. На мой текст живо откликнулся Б. А. Бялик в полемической статье “Что же есть истина?” (“Вопросы литературы”, 1967, № 6). Он верно критиковал меня за дилетантизм (действительно, я не специалист-горьковед) и со знанием дела развернул историю споров вокруг “На дне” и спектр точек зрения, где и сходные с моими идеи высказывались... Те — и не те. Просто я более в корень заглянул: не в том дело — хорошо это или плохо лгать во имя блага, — а в том, что сам механизм логики вещей объективно не дает высказаться человеческой правде: и вот это устройство двух логик: вещей и человекоправды — и рассматривал я в своем трактате. Но, конечно, мой подход резко односторонен, и для полноты истины я бы опубликовал мой текст вместе с контраргументами Б. А. Бялика, как и с яркой саркастической внутренней рецензией Н. Н. Жегалова “Парадоксы литературоведческого импрессионизма и законные требования науки” на мою попытку издать книжечку про “На дне” в издательстве “Детская литература” в 1980 г. О, этот жанр внутренних рецензий! Обидно, как много умного застре-

вало на утробном уровне этих потайных умозаключений, не давая ни книге разродиться-выйти, ни мыслям рецензента обнародоваться! Но стиль моноистины не допускал диалога. И истина от этого страдала, и ум наш, и его объекты — в том числе, и Горький...

Ныне модно стало шпынять и пинать Горького, и встала задача защиты его — не в стиле апологии, но спокойным уяснением.

#### От редакции

Недавно опубликовано относящееся к 1972 году высказывание М. М. Бахтина (в разговоре с литературоведом В. Д. Дувакиным) об этой работе Гачева: "Гачев написал очень интересное исследование, не опубликованное до сих пор, о Горьком, в частности, о его босяцком периоде, о пьесе "На дне" и вообще о Горьком. Он говорит, что Горький был, в сущности, воплощением карнавального начала.

— Это Ваша идея.

— Да-да. Гачев вообще мой ученик, т.е. такой, неофициальный ученик. Так вот. Горький воплощал в себе карнавальное начало, жизнь он понимал только тогда, когда она выходила из обычной колеи. Вот та жизнь, которая протекала от карнавала до карнавала, серьезная, деловая и т.д., была в сущности, чужда его душе. А вот карнавальная, выведенная из своего обычного хода — вот тогда Горький чувствовал себя... человеком этой жизни" (журн. "Человек", 1993, № 6, с.159).

## ЛУКА И САТИН

(К истории сценических интерпретаций "На дне")

Умение заново открывать в классической пьесе то, что особенно созвучно дню сегодняшнему, — давняя и весьма плодотворная традиция русского театра. "...Каждый классический автор переживает в новой эпохе новое рождение"<sup>1</sup>, — писал в конце 70-х годов Г. А. Товстоногов.

Опыт работы театра немаловажен и для литературоведения, которое обедняет себя в том случае, если проходит мимо живой практики сценического воплощения классики. Наиболее интересные режиссерские и актерские трактовки, несомненно, помогают осмысливать сложные явления драматургии, часто опровергая устоявшиеся представления о пьесе или же, напротив, подтверждая их истинность.

Целостный взгляд, предполагающий анализ не только текста, но и его сценической интерпретации, особенно важен по отношению к такой пьесе, как "На дне", ввиду сложности ее смысла и противоречивости трактовок, как литературоведческих, так и режиссерских.

Горьковский спектакль вообще может состояться только в том случае, если по ходу действия между персонажами и в их душах вспыхнет спор, развернется дискуссия. В каждой пьесе у автора как бы для "затравки" возникает фигура, вокруг которой разгораются страсти, а финал, обычно, остается открытым, давая зрителю простор для размышлений. Если театр этого не понимает, если режиссер расставляет сразу все точки над *i*, предопределяя заранее ответы на дискуссионные вопросы, то спектакль получается посредственным, скучным. Многие годы игнорирование особой структуры горьковской драмы и существа ее образной системы приводило к однозначности оценок. Так, получался "положительный" Нил в "Мещанах" и "отрицательный" Лука в "На дне". Причем по отношению к последнему разоблачалась не только идея "утешительной лжи", действительно, терпящая крах по ходу движения сюже-

та, но и идея милосердия — человеческое, принципиально доброе отношение к людям, утверждаемое в пьесе. В черный, трагический час нашей истории разошлись эти понятия добра и правды, разошлись до того, что их стали противопоставлять друг другу.

Между тем граница между истинным человеколюбием и ложью якобы “во спасение”, против которой, как известно, выступал автор, в самой пьесе проведена достаточно отчетливо.

В третьем акте Лука рассказывает две истории: факт из своей жизни — нападение грабителей, оказавшихся на поверку просто голодными, отчаявшимися парнями, и притчу о “праведной земле”. Вывод из первой совершенно очевиден и вряд ли допускает двойное толкование: “Не пожалей я их — они бы, может, убили меня... али еще что... А потом — суд, да тюрьма, да Сибирь... что толку? Тюрьма — добру не научит, <...> а человек — научит... да! Человек — может добру научить...”<sup>2</sup>.

Не столь однозначен второй рассказ. Человек, всю жизнь веривший в существование “праведной земли”, узнав, что она не существует, пришел в отчаяние и удавился. Пророческая эта сказочка, написанная в самом начале XX века, весьма актуальна и в его конце. Вот по поводу этой притчи и возникает разногласие мнений. Лука-то хотел сказать, что не надо было открывать горькую истину: “Не всегда правдой душу вылечишь”. А Наташа, прослушав грустную историю, как бы невзначай роняет реплику: “Не стерпел обмана...”<sup>3</sup>

Зрителю и читателю представляется возможность самим определить, отчего погиб человек: оттого, что ему открыли правду или же потому, что стал жертвой самообмана?

В советском литературоведении, в школьном преподавании, в ряде посредственных, а то и попросту плохих спектаклей толкование пьесы нередко сводилось к тому, что в образе Луки автор “разоблачает” утешительную ложь. При этом совершенно игнорировались оценки поведения и взглядов Луки, данные в монологах Сатина в IV акте.

Происходило это не только под воздействием догматических, прямолинейно-разоблачительных тенденций господствующей идеологии. Поводом служили и неоднократные высказывания самого автора, дошедшие до нас из его интервью и воспоминаний современников. Известно, что Горький с самого начала упрекал театр и критику в недопонимании его замысла образа Луки. Очевидно, что в данном случае перед нами факт расхождения между концепцией авторской мысли, заданностью образа и его многолетней, реальной, самостоятельной жизнью на сценах мира. Явление удивительное, но встречающееся в искусстве.

Разумеется, между разногласиями Горького и Художественного театра по поводу исполнения роли Луки И. М. Москвинным и позднейшим отношением писателя уже к всей своей

пьесе, которую он в начале 30-х годов назвал устаревшей и вредной (См. ст. "О пьесах", П. С. С. т. 26. С. 25) — дистанция огромного размера. Но это уже факт биографии писателя, предмет специального исследования. Известный же вопрос Горького, который он считал основным в своей пьесе: стоит ли доводить сострадание до того, чтобы пользоваться ложью, как Лука? — разумеется, не отрицал права человека на сострадание к ближнему. Разве истина и доброта не две стороны одной медали или модели гуманистического сознания? Не два лика человеческих, явленных в неразрывном единстве? И не выражено ли это единство в образах Луки и Сатина? Другое дело, что и то и другое искажаются и калечатся в обществе, против несправедливости которого была направлена одна из первых и, бесспорно, наиболее глубоких пьес Горького.

Всю эту сложность прекрасно понимали современники писателя, режиссеры и артисты Художественного театра, когда впервые ставили его пьесу. Ходили на Хитров рынок, тщательно воспроизводили на сцене жестокую реальность, призывали "к восстанию", осуждали ложь, но в то же время И. М. Москвин — первый наш Лука — делал свое дело, дело милосердия и добра, без которых не нужна людям никакая правда. Макс Рейнгардт — современник Москвина — тоже был "воплощенным пониманием и милосердием"<sup>4</sup>.

История театра знала разные трактовки характера Луки. Сценическая жизнь пьесы неразрывно связана с движением времени. Даже если речь идет о долгой жизни одного и того же спектакля, как это было с "На дне" во МХАТе. Известный театровед, И. Н. Соловьева вспоминает позднего Москвина, уже в советское время продолжавшего играть Луку. Очевидно, это были 40-е годы. "Когда школьники моего поколения смотрели "по программе" этот давний, мало что сберегавший в себе спектакль, Москвин был старый. Его Лука казался вымотавшимся за жизнь, наверное, больше, чем это казалось на первых представлениях... Бормотанье с побряхтыванием, и приглядочка, и оклик при входе нараспев, с оттяжкой последнего слога: "Доброго здоровья, народ честно-ой!" — все казалось уже набитым. Тем бывало удивительнее, как в этой пятисотой для него, все повторяющейся в его жизни ночлежке ему раньше или позже, но становились небезразличны эти люди, становилось жалко их. Разваленность, безнадежность спектакля странно работала на мысль. Что тут Москвину-Луке стараться, сыграть бы. Но для чего-то это все-таки нужно. Пусть хоть для того, чтобы сорок лет спустя перед кем-то стояли усталые, с желтизной глаза старого человека, который не оставляет лямки. Чувствует: жалко. Говорит себе: буду тащить. И тащит"<sup>5</sup>.

Время явно вносило свои коррективы в трактовку этой роли. Лука М. Тарханова был уже хитер и, чувствуя непрочность своих позиций, приспособлялся к людям, быть может, в страхе перед одиночеством. Лука А. Грибова был еще более

равнодушен к людям, и желание “приспособиться” становилось одной из главных его целей. Однако не надо забывать, что не только Москвин и Рейнгардт, но и Тарханов, и Грибов — блистательные мастера второго и третьего поколений МХАТ — создавали сложные, объемные характеры. В их исполнении всегда был юмор, подчеркивалась мудрая афористичность речи Луки и его резкое, категорическое противостояние Костылеву, хозяину ночлежки. Таким образом, зритель 30-40 годов, воспитанный со школьной скамьи на беспощадном разоблачении идей милосердия, самоусовершенствования, терпимости, миролюбия и доброжелательства, все равно сочувственно относился к Луке на этих спектаклях.

Но правда, утверждаемая в пьесе, заключалась и в том, что доброта оказывалась в итоге беспомощной перед силами зла. По крайней мере, в бытовом, житейском плане зло торжествует, и Лука должен уйти со сцены. В пьесе спор идет не столько по линии моральной оценки Луки, сколько о том, что же может помочь человеку вырваться со дна, распрямиться и “звучать гордо”. В начале века верили, что зло можно одолеть, открыв глаза “на беспощадный ужас жизни”. Верится в это и теперь. Но беспощадность истины не отрицает милосердия, естественного стремления человека к добру.

\* \* \*

Одним из первых, кто на рубеже 50-60 годов забил тревогу по поводу снижения зрительского интереса к постановкам классических пьес, и в частности — горьковских, был Г. А. Товстоногов. “Сила горьковских спектаклей, поставленных в основном до Великой Отечественной войны, состоит в том, что они великолепно рисовали время, которое для многих советских людей еще не стало далеким прошлым. <...>Прошли годы <...> А театры по-прежнему следуют традиции, созданной четверть века назад. На горьковских спектаклях, ставящихся ныне, зрителей заставляют смотреть назад, а не вперед. Им показывают давно прошедшее, а не настоящее время”<sup>6</sup>.

В общем движении театра по обновлению классики в эти годы появились и новые трактовки пьес Горького. В постановках “На дне” переосмысление касалось прежде всего образов Луки и Сатина.

Вспомним спектакль “На дне” ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в постановке Л. Вивьена и В. Эренберга (премьера состоялась 31 декабря 1956 г.) с блистательным составом исполнителей. Достаточно назвать имена Н. Симонова (Сатин), К. Скоробогатова (Лука), Ю. Толубеева (Бубнов), Б. Фрейндлиха (Барон). С одной стороны, он открывал новый период, с другой — как бы подводил итог

всему лучшему, что было в отечественном театре Горького, начиная с 30-х годов.

Артисты были непосредственными учениками современников Горького, видели великие спектакли Вл. И. Немировича-Данченко и Б. Е. Захавы.

Исполнитель роли Луки, Скоробогатов, не впервые встретился со своим героем. Он играл Луку еще в 1949 г. на сцене бывшего Нового театра (ныне — театр им. Ленсовета) и тогда уже, создав сложный жизненный характер, был далек от прямолинейности разоблачения.

В постановке 1956/57 гг. Скоробогатов создал образ человека убежденного, вдохновенно проповедующего свои взгляды. В его исполнении Лука предстал фигурой трагической. Конечно, страшная действительность объективно вставала на пути “любого” Луки, независимо от характера его побуждений. Однако, в 1956 г. театру было важно нравственно реабилитировать героя, заподозренного в хитрости, расчете и сознательном обмане (“на чью мельницу льет воду утешительная ложь?”), героя, возведенного едва ли не в ранг классового врага. Отсюда и возникал пафос искренности и добра, которое человек может и должен бескорыстно нести в мир, к людям.

“Защита” Луки, как выражение защиты тех человеческих, нравственных ценностей, которые заложены в этом образе, стала вообще характерной чертой спектаклей 60-х годов. Особенно ярко это проявилось на фестивале, прошедшем в 1968 г. в Горьком, посвященном столетию со дня рождения писателя. Тогда еще положительная трактовка образа Луки встречалась достаточно редко. Поэтому, например, постановка хозяев фестиваля — театра драмы имени А. М. Горького (режиссер Б. Воронов) — вызвала горячие споры.

Возникли вопросы: каким же образом доказать несостоятельность философской позиции Луки в спектакле при положительной трактовке его характера? Не противоречит ли “добрый” Лука идее горьковской пьесы? Эти опасения высказывал Б. А. Бялик<sup>7</sup>.

Однако исполнитель роли Луки, старейший артист театра Н. А. Левкоев, страстно отстаивал право на свою трактовку. Он утверждал, что его герой был “прежде всего человеколюбом. У него органичная потребность делать добро, он любит человека, страдает, видя его задавленным социальной несправедливостью, и стремится помочь ему, чем только может... Я люблю своего Луку,— писал он в журнале “Театр”, — и никогда не откажусь от того, что этот человек нес и должен был нести добро. Он никогда не хитрил, не вилял, не уводил людей от сопротивления. А там, где нужно, и сам умел нападать”<sup>8</sup>. Впоследствии артист написал подробно о своей работе над ролью, о тех жизненных впечатлениях, которые легли в основу сценического образа. Его статья начиналась горячо и полемически: “Какими только прозвищами не награждали Луку критики и горьковеды — лжец, лицемер, жулик, пройдоха,

вредоносный утешитель, подлец. Разбирая образ, ставили его на голову, “мяли много”, выискивали всякие язвы. Ссылались при этом на А. М. Горького, на его определение Луки. Человеку, в том числе и писателю, свойственно ошибаться — задумал написать образ вредоносного Луки, а художественная правда подсказала другое решение. Нашли “научное” определение — Лука добр субъективно, но вреден объективно. Укладывали Луку в прокрустово ложе сложившегося стереотипа”<sup>9</sup>.

Совершенно иной, чем у Левкоева, и очень своеобразный характер Луки представил тогда же в своем спектакле Кировский театр драмы (режиссер В. Ланской). В исполнении И. Томкевича зрителя прежде всего поражала внешность героя. Вместо тихого, благостного старичка с вкрадчивыми движениями и мягкой походкой человека, привыкшего приспособливаться к любым обстоятельствам, на сцене появлялся высокая, нескладная, костлявая фигура. Угловатый, резкий в манерах старик, с высоким лбом и недобрый взглядом фанатика. Манера обращаться с людьми — активно-властная, если не сказать — деспотическая. Это проповедник, убежденный в правоте своих взглядов на жизнь и готовый за них драться, человек страстный, напористый, дерзкий, активно заинтересованный в жизни, в людях и субъективно, безусловно, сильный. Тем более трагичен был реальный итог его действий.

В 60-е годы вообще старались уходить от прямолинейно лобовых, обличительных оценок, избегали открытой, навязчивой тенденциозности, “указующего перста”. Авторские оценки становились очевидными для зрителя по ходу развития действия. Свобода сценической интерпретации образа проявляла себя в лучших спектаклях.

В ноябре 1968 г. состоялась премьера “На дне” в московском театре “Современник”. В постановке Г. Волчек интерпретация основных образов была прямо противоположна тому, что мы видели на сцене Кировского театра.

И. Кваша играл Луку скромным, внешне пассивным и даже робким человеком. В жуткой ночлежке, похожей на преисподнюю, этот тихий, аккуратный старичок появлялся без претензии на роль проповедника. Каким-то чудом сохранил он порядочность, чуткость и доброжелательность к окружающим, высоту нравственных позиций. А в этом аду, среди постоянных драк, преступлений и нищеты, просто необходим кто-то, с кем можно поделиться своим сокровенным, не боясь, что в ответ тебе плюнут в душу. Лука чувствует, что нужен и Насте, и Актеру, и Пеплу, хотя, очевидно, сам знает ограниченность своих возможностей. “А Лука, — один из тех же неустroенных людей, — писал о работе актера П. А. Марков. <...> Он ходит по миру, ища истину, подобно многим правдолюбцам, каких знала русская земля. Он не находит правды в ночлежке, как не отыскал ее пока нигде. Напрасно ищущий ускользающую истину, испытывавший много горя, старик, сколько это в его



силах, “утешает ночежников”. Но сам-то он бредет дальше без особой надежды”<sup>10</sup>. Так, театр, подчеркивая мысль о несостоятельности идеи “утешительства”, утверждал право людей на милосердие. В этом спектакле Луку со всех сторон звали голоса несчастных, погибающих, ищущих опоры.

В спектакле “Современника”, как и в Кировском, было много превосходных актерских работ, интересных режиссерских находок<sup>11</sup>.

Сатин в исполнении Е. Евстигнеева переосмысливался совершенно иначе, чем в Кировском театре. Отличался он и от “классического” прочтения этой роли в старой постановке Художественного театра и в спектакле, непосредственно ему предшествующем, — Вивьена и Эренберга.

Обратившись к постановке ленинградцев и сравнив последующие толкования роли Сатина с исполнением Н. Симонова, можно в какой-то мере представить себе амплитуду трактовок этого образа и его эволюцию с конца 50-х годов.

Николай Симонов — артист могучей, яркой индивидуальности, бурного темперамента и редкостного, высокого романтического настроения души. Его игра была одухотворенной, раскрывала внутренние глубины крупной личности. Внезапный душевный порыв, потрясенность и неожиданное прозрение, романтическая окрыленность, патетика — все эти проявления незаурядного характера были совершенно естественны для симоновских героев. Своеобразная живописность и театральность облика и поведения Сатина не казались ему надуманными. Наоборот, Симонов считал, что они органичны для “короля ночежки”, появлявшегося на сцене в “черном плаще, сотканном из дыр и заплат”. Артист был убежден, что именно “таким он создан и не может быть иным. Это не поза, не актерство, как бывает у иных, это — его существо”.

В образе Сатина для Симонова воедино сливались два человека: игрок и шулер, “безумно тратящий свою энергию, свой человеческий азарт”, и совершенно иной — “напряженно, постоянно мыслящий, стремящийся познать истину, осмыслить человеческое существование”. Этот последний — был духовно близок самому артисту. Сатинские монологи о Человеке в четвертом акте драмы (камень преткновения для многих исполнителей) у Симонова звучали естественно, их пафос находил свое внутреннее оправдание. Подготовленные подспудной, скрытой, но напряженной и непрерывной работой мысли героя на протяжении всего действия, они являлись кульминацией философской темы, которую артист раскрывал в этом образе. Симоновский Сатин становился своеобразным идеологом и совестью ночежки. В том, что на подобную высоту поднимался человек, опустившийся и пропащий, заключалась огромная сила художественного контраста. Становилось очевидным резкое несоответствие между духовным богатством человека и его положением в обществе, способном низвести незаурядную личность до уровня босняка.

Симонов начинал монолог о Человеке доверительно-интимно, обращаясь непосредственно к Барону. Затем поднимался на нарах, как бы вырастая и возвышаясь над убожеством ночлежки. Голос артиста креп, набирал полное звучание. По словам самого Симонова, перед внутренним взором его в этот момент возникала художественная ассоциация — скульптура Родена: “Огромная фигура, устремленная вперед и ввысь, как будто охватывающая мир своей мыслью, мощью своего гения обнимающая жизнь!” Симонов был убежден и убеждал зрителя, что такое пластическое и духовное решение образа заключает в себе истинно горьковское понимание: “Стоит только хотя бы немного принизить, “опустить” мизансценически и тонально речь Сатина,—писал артист о своем герое,— и это будет уже не Сатин, который любит “непонятные” красивые слова и потому всегда говорит возвышенно, приподнято. Стоит только измельчить его движения, жесты, и он станет не величественным, а жалким и смешным”<sup>12</sup>.

Таков был Сатин в исполнении Симонова, в творчестве которого оживало вечное “мочаловское” начало.

Развитие образа Сатина на сцене 60-70-х годов складывалось во многом в своеобразной полемике с этой традицией. Не каждому актеру было дано внутренне оправдать горьковский пафос. Попытки идти по пути Симонова у многих не удавались: горячая, искренняя патетика оборачивалась пустой риторикой, превращалась в холодную декламацию. Именно реакцией на пустоту и резонерство эпигонского исполнения роли Сатина можно объяснить стремление режиссеров и актеров свести этого героя с котурн, лишить его выпяченной декламационности. Но желая уйти от ложного пафоса, актеры зачастую утрачивали истинный. Театр кидался от одной крайности в другую — к будничности, даже натуралистической приращенности образа. Монологи “прогонялись” быстро и невыразительно. Текст воспринимался как авторский, лишь произносимый персонажем, но психологически с ним мало связанный, якобы не подготовленный ходом сюжета. Характерным явлением “момента отрицания”, реакцией на эпигонство был Сатин в Кировском театре. В исполнении А. Мая он меньше всего походил на пророка и монологи о человеке произносил буднично. В этом образе прежде всего подчеркивалось анархическое начало.

С подобной трактовкой можно спорить, но нельзя было не почувствовать в ней и определенных веяний времени. Если в начале века для русского зрителя важнее всего было услышать из уст Сатина “сигнал к восстанию”, то теперь очевиднее выступала режиссерская тенденция дегероизации персонажа.

Однако наиболее плодотворным оказался путь, по которому пошли создатели спектакля в театре “Современник”.

Е. Евстигнеев предлагал свое решение давней загадки: каким образом босяк, шулер мог возвыситься до вдохновенного

горьковского гимна Человеку? Сам автор признавался, что дал эти слова Сатину, так как их некому здесь больше произнести. Евстигнеев психологически подготавливал своего героя к знаменитым монологам последнего акта пьесы.

Этот веселый, остроумный и бесшабашный прожигатель жизни вначале представлял перед нами под плотным панцирем позерства и скепсиса. Но уже в конце первой части спектакля (второго акта драмы) страшная, вызывающая пляска у тела мертвой Анны выдавала всю силу и глубину тщательно скрываемого им душевного надрыва.

Беседа с Лукой разъясняла прошлое Сатина, которое еще более укрепляло симпатии к нему зрителя. После разговора со стариком Евстигнеев-Сатин был уже не тот, что прежде. Он вспомнил себя молодым, сильным, веселым и смелым, любящим людей и любимым ими. И в сцене последнего страшного скандала вел себя уже как настоящий человек. Первым бросался на помощь Наташе, первым удерживал Ваську от убийства Василисы, первым заступался за него перед полицией. Теперь он не боялся быть самим собой.

Кульминационную сцену последнего акта Евстигнеев проводил блестяще. "Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!". Артист произносил текст негромко, со слезами на глазах, со сложной интонацией, в которой переплетались гордость и горечь. Осознание трагического контраста между своим представлением о человеке и его действительным положением составляло реальный подтекст сатинских монологов.

Такой глубоко и горько задумавшийся Сатин, каким играл его Евстигнеев, наводил на размышления, вызывал критику на спор по поводу трактовки той или иной сцены. Однако при всех разногласиях было ясно, что сценическая история пьесы "На дне" обогатилась еще одним оригинальным толкованием образа Сатина. П. А. Марков утверждал, что именно благодаря работе Евстигнеева в спектакле доминировала "тема возрождения человека"<sup>13</sup>.

На сцене Владимирского областного драматического театра в 1975 г. "На дне" поставил молодой режиссер О. Соловьев. Спектакль получился в общем интересный, в чем-то спорный, со своими находками и промахами. Но что в нем заслуживало особенного внимания, — это совершенно поразительный Сатин в исполнении В. Смольникова. Монологи четвертого акта для него были абсолютно органичными собственными мыслями, рожденными в момент озарения и большой душевной потрясенности. Счастливая эта минута, казалось, была подготовлена всей его жизнью; вся судьба Сатина была ее залогом. Каждое слово, состояние, каждый момент роли были оправданы психологически, нигде и ни в чем не было ни тени риторики. Таким образом, в постановках 70-х годов все более характерным становилось стремление найти психологическое оправдание "внебытовым", романтически окрашенным мыслям о человеке.

В период 70-х — начала 80-х годов театры мало обращались к пьесе “На дне”. На сцене разговаривали все больше на “эзоповом” языке. Наибольшее внимание из пьес Горького привлекали “Дачники” и “Фальшивая монета”, в которых можно было высказать свое негативное отношение к действительности.

Новый этап жизни пьесы “На дне” начался в 1984 г. с необычайно яркой, “взрывчатой” постановки А. В. Эфроса в театре драмы и комедии на Таганке.

Выбирая пьесу, Эфрос точно почувствовал настроение современного общества и артистов, которые незадолго до этого оказались без своего руководителя, Ю. П. Любимова, вынужденного покинуть страну: “/.../ теперь при более близком знакомстве, когда я имел возможность пристальнее всмотреться в здешних актеров с их острым интересом к жизненной правде, горьковская пьеса в моем представлении вдруг ожила. Эти актеры не будут “изображать” Сатина, Барона, Актера, Квашню, а могут быть ими”<sup>14</sup>.

Одним из лейтмотивов спектакля стала музыка В. Высоцкого, которого уже не было в живых. “У Высоцкого есть песня “Дом”, — писал впоследствии Эфрос. — /.../ Когда я подумал, что эту песню можно использовать в спектакле “На дне”, вся горьковская пьеса для меня осветилась по-новому. Я почувствовал связь этой пьесы с вопросами сегодняшнего дня /.../. Во время работы над Горьким мы часто говорили друг другу в шутку, что все очутились на “дне” и что надо как-то подняться /.../. Быта не нужно в спектакле, а нужна горькая поэзия. И — надежда на единение. Нужна выраженная голосом Высоцкого *тоска по лучшей жизни*”.

Спектакль начинался таким эмоциональным взрывом, который сразу приводил в состояние шока. На зрительный зал обрушивались мажорные, усиленные динамиком звуки штраусовского вальса, в который врубались надрывные музыкальные фразы Высоцкого. Одновременно с шумом распахивались настежь ставни окон в кирпичной стене дома-ночлежки. Из них показывались фигуры людей, полных движения, жажды дышать и жить свободно, — людей, которые больше не могли и не хотели молчать.

Ничего подобного не было прежде в эфросовских спектаклях. Но здесь он, видимо, искал синтез своих стилистических приемов с теми, на которых были воспитаны любимовские актеры. Это был спектакль — крик, вызов, шумный, взрывчатый и очень сложный по своей стилистике.

На пустом открытом пространстве сцены, увеличенном боковыми помостами, выходящими в зал, люди бегали, перебрасывались истрепанными метлами, бесцеремонно таскали грязный матрас, на котором умирала Анна. Свой внутренний надрыв каждый из них выражал шумно, экспрессивно, порою

эксцентрично. “Люди в собственном доме маются, живут ску-ченно, но и трагически разобщенно,— комментировал свой замысел Эфрос.— Они “скисли душами”, утратили представле-ние о нормальной жизни, о любви, о труде. /.../ Они не замечают, когда кто-то умирает или кого-то убивают. Тоску-ют то ли по будущему, то ли по прошлому, а в настоящем жить не умеют.”<sup>15</sup>

При всей этой, казалось бы, бессмысленной суете сует режиссер не пропускал ни одной из тем, по которым велись дискуссии в пьесе,— о чести и совести, о работе, о милосер-дии, о пользе или вреде лжи и правды. Каждый фрагмент философского диалога мизансценировался, как бы прочерчива-ясь пластическим и интонационным курсивом среди общего движения, обретал завершенность своеобразной сценической новеллы внутри общего сюжета.

Временами в спектакле звучала музыка Моцарта и Белли-ни, являя собой трагический контраст с ничтожностью суще-ствования людей, как бы напоминая им о красоте и гармонии мироздания и мире иных, прекрасных духовных возможно-стей.

Проблема ответственности Луки за судьбы ночлежников вообще не поднималась. Замысел режиссера был далек от общепринятых трактовок. Лука, “человек бывалый, прошед-ший огонь, воду и медные трубы”, был потрясен разобщенно-стью и равнодушием обитателей ночлежки. “Тут если человек упадет, его никто не подымет; если женщина умирает, никто не принесет ей воды и т.д. А наш Лука это сделает, и если при этом он врет, что-то выдумывает, то лишь для того, чтобы другой не упал, не лишился рассудка”. Режиссеру хо-телось видеть в А. Трофимове, исполнителе этой роли, “чело-века, рвущего себе душу, когда она рвется у другого”. В спек-такле Эфроса утверждалось “активное — не обижай челове-ка!”<sup>16</sup>

Видимо, решить такую задачу актеру удалось не сразу и не до конца. Перед нами был человек тихий, сосредоточен-ный, погруженный в свои мысли, никому не навязывающий своих убеждений. Сожителям своим он старался помочь, но был, пожалуй, слишком замкнут, осторожен, к тому же не всегда внятно произносил текст.

Лучшей работой в этом спектакле, на мой взгляд, был Сатин в исполнении И. Бортника. Этот актер по своей факту-ре очень подходил к реальному, отнюдь не романтизированно-му образу полуинтеллигента, бывшего телеграфиста, или же образованного, начитанного мастерового. Сатин был достато-чен, реален и в то же время именно он олицетворял основную идею спектакля — идею взрыва этой никуда не годной жизни. Человек не должен больше молчать. Таково было в этот момент требование самой действительности. И спектакль объ-ективно выражал его.

Монологи Сатина были обращены прямо в зал. Казалось, он кричал на весь мир, что надо уважать человека, что, наконец-то, должно же это имя когда-нибудь зазвучать гордо! Он требовал от всех нас, чтобы мы признали, что именно в нас все начала и концы, что все зависит только от нас.

Трагическая логика горьковской пьесы возвращала Сатина к реальности. Он них, от обитателей ночлежки, мало что зависело. Но они увидели правду, посмотрели ей в глаза и перестали ее бояться. Льются прекрасные звуки такой горькой, такой русской, народной песни. Кажется, что в ней все пережитое за годы, прошедшие со дня создания неумирающей пьесы... Весть о смерти Актера обрывает ее. Но огромная вселенская жизнь продолжается. Звучит и постепенно замирает музыка. Тесно прижавшиеся друг к другу люди образуют скульптурную группу. Что ждет их впереди?

Спектакль театра драмы и комедии на Таганке ставился в очень сложное для страны время, накануне кардинальных перемен в духовной жизни нашего общества. Не все успело сложиться в этом спектакле, не все было завершено. Но он вышел вовремя, был точно соотнесен со временем, и, главное, не констатировал, а предвещал события, способствовал пробуждению общественного сознания.

\* \* \*

Постановка "На дне" стала лебединой песней Г. А. Товстоногова. В 1987 г. этой пьесой он завершил цикл своих горьковских спектаклей: "Варвары" — 1959 г., "Мещане" — 1966 г., "Дачники" — 1976 г. Каждый из них — веха в истории отечественного театра и новое открытие Горького.

Ощущение масштабности идей, заложенных в драматургии Горького, никогда не исключало в товстоноговских спектаклях внимания к быту и психологии человека. Еще в 50-е годы режиссер задался целью возродить образные и эмоциональные начала горьковской пьесы как произведения искусства, которое должно быть обращено не только к разуму, но и к сфере чувств и эстетического восприятия современного зрителя. Товстоногов всегда выступал против преобладания в спектакле рационалистического элемента над образно-эмоциональным. Он ставил перед собой задачу: вернуть героям Горького, которых в серых, заурядных спектаклях превращали в некий безликий "рупор авторских идей" — их первозданность, идти в работе от живой жизни, а не от театральных штампов.

Товстоногов был великим мастером развития и углубления традиций, которые он сочетал с ярким новаторством, неповторимым своеобразием собственного стиля и страстной полемичностью. "Классическая пьеса потому и классическая, что она таит в себе нечто важное для всех времен, — утверждал режиссер, — <...> Надо точно определить, что важно в данной

пьесе именно сегодня”<sup>17</sup>. О том, что ему казалось важным “именно сегодня” в пьесе “На дне”, он скажет после ее премьеры. “Я сделал попытку поставить не просто бытовую драму Горького, а философскую драму, размышление о человечности и милосердии. Пьеса — только основа, которая создает ощущение достоверности происходящего, но за этим стоят мысли, нужные нашему времени”<sup>18</sup>.

Замысел постановки “На дне” вынашивался годами и был осуществлен незадолго до смерти режиссера. Приступая к режиссерскому решению образов Луки и Сатина, Товстоногов буквально бросился в бой за те идеи, которые ему казались важными: “Горьковеды, которые писали об этой пьесе, уничтожали Луку и, по-моему, не поняли главного: все плохое о нем сказал Сатин, — говорил режиссер, полемически заостряя свою мысль. — Горьковеды повторяют Сатина. Но в то же время в итоге Сатин приходит к выводу, что человек — самое главное, ибо через человека в жизни все решается”<sup>19</sup>.

Создавая масштабный, “глубистый” спектакль на подтексте, рожденном современностью, Товстоногов акцентировал в пьесе необходимость добра, милосердия, человечности как единственных сил, на смерть противостоящих силам уничтожения жизни. У человечества нет выбора. Или победит милосердие, или гибель всем.

Защиту Луки, как убежденного проповедника сил добра, Товстоногов поручил Евгению Лебедеву, артисту, создавшему в конце 50-х годов замечательный образ Монахова (“Варвары”), а в 60-х открывшего с совершенно новой стороны старика Бессеменова (“Мещане”). “В чем смысл деяний Луки? — такой вопрос задавал себе Е. Лебедев, работая над ролью. — Вернуть людей к добру. Зла много в жизни. Добра мало. Добру учат. А ведь человек все может, если захочет <...> Мне кажется, что Горький вложил в Луку свою душу.

Лука — человек, у которого такой большой, такой тяжкий опыт жизни! Но он вышел из него с верой в человека... Пьеса “На дне” безусловно современна. Ведь это так важно, так насущно: добраться до души человеческой... Вернуть нравственность человеку! ... Мир должен быть миром, а не злом”<sup>20</sup>.

Эту личную убежденность, нравственный пафос своего собственного отношения к жизни артист привносит в исполнение роли. Понимая, что пьеса “На дне” не бытовая, Лебедев в то же время достоверен до мелочей. На ворота рубахи его странника пришиты разные пуговицы, но пришиты аккуратно. Правдоискательство и проповедничество — главное в жизни Луки, его судьба и миссия. На нем крепкие лапти, за онучами заткнута ложка: привык жить по-походному. Появившись в ночлежке, усталый с дороги, он тут же принимается за свое дело милосердия — вытаскивает умирающую Анну из подвала на воздух. Ключевая мизансцена — Лука сидит посреди ночлежки на табурете и выслушивает всех, кто обращается к нему за советом, за лекарством для души. Лебедев в этих

диалогах с ночлежниками напряжен, как струна, он работает, он верит, что можно помочь людям.

В спектакле Товстоногова каждый из исполнителей точно определяет отношение к Луке своего персонажа, меру воздействия на него старика. Не всех можно научить добру, хотя именно к этому стремится Лука-Лебедев. Но можно пробудить в человеке совесть, хоть на миг. Это уже не мало. "Лука сделал так, что Барон понял, как бессмысленна его жизнь; как ничтожен он сам"<sup>21</sup>, — говорит о своем герое О. Базилашвили. "Персонажи обуславливают друг друга, — замечает исполнитель роли Сатина В. Ивченко. — Так, нет Сатина без Луки, хотя они и встречаются на короткий миг <...> Лука помог Сатину активно осмыслить свою позицию"<sup>22</sup>. Сатин и Лука — не враги. Но Сатин — поначалу циничен и равнодушен к людям. По словам исполнителя, его позиция "жесткая", у него нет "сиюминутной жалости" к человеку. Сатин считает, что каждый сам должен найти в себе силы и опору для жизни. Но приходит он к осознанию своей правды о человеке, духовно прозревает под воздействием Луки.

Ивченко — артист очень своеобразный, с оригинальной и виртуозной пластикой, зарекомендовавший себя в Большом Драматическом театре ярким исполнителем ряда острохарактерных ролей, в которые он привносит элементы гротеска. "Сумрачный, горький, язвительный, — пишет Н. Рабинянц о Сатине-Ивченко, — <...> он заявляет себя с едкой иронией и бравадой, точно романтический Сатана в черном изодранном рубище. И лицедействует подобно персонажу оперной преисподней. Казалось бы, он глумится над миром, несчастными своими сожителями и самим собой, но не снисходит, чтобы страдать от этого. А существует обособленно, отделенный от окружающих демоническим отрицанием, освобождаясь от всяких обязательств перед жизнью. Но за опустошающим нигилизмом своего героя актер обнаруживает в кульминации спектакля энергию духа и мысли, достигающую силы прозрения..."<sup>23</sup>.

Пьесу Горького Ивченко воспринял философски, как "модель мира". Работа над образом Сатина привела артиста к Достоевскому. Погрузившись в мир правдоискательства "Братьев Карамазовых", он понял всю сложность отношения Горького к Достоевскому. Понял силу влияния последнего на автора "На дне". "Здесь и полемика, и свидетельство того, что Достоевский Горького "не отпускал". Для меня, — замечает Ивченко, — это было отправной точкой. Объяснить мир и себя в нем..."<sup>24</sup>.

Ведущие исполнители спектакля буквально "раскапывали" глубину образов горьковской пьесы, устанавливая их духовные связи не только с современностью, но и с классической литературой. А. Фрейндлих, например, ощутила родственную связь своей Насти с одной из героинь повести Куприна



“Яма”. О. Басилашвили казалось, что в Бароне мог найти конец чеховский Гаев.

Все актерские работы в спектакле Г. Товстоногова масштабны. Так, В. Стрельчик (Актер) играет трагедию погибшего таланта, К. Лавров открывает в Костылеве крупного хищника, злую ухватистую силу, способную раздавить человека.

Товстоногов создал немало спектаклей в содружестве с художником Э. Кочергиным и композитором С. Розенцвейгом. В “На дне” этот творческий союз раскрылся по-новому. Мрачная ночлежка, напоминающая бункер, с подвижными стенами, которые поднимаются на миг во время финальной песни и опускаются, символизируя наваливающуюся на людей безысходность после смерти Актера. В музыкальной партитуре спектакля со сложной системой звуковых лейтмотивов и эмоциональными стоп-кадрами акцентируются особо важные моменты.

Действие, начавшееся неторопливо, с подробным изображением быта ночлежки, постепенно к финалу сосредотачивается на духовной борьбе, вырываясь за рамки обыденщины. Финальные монологи Сатина обращены к зрительному залу. Рушится “четвертая” стена. Горький — публицист и проповедник — предстает перед нами в образе своего героя. Луч света прорезает тьму, бьет в глаза зрителям, не позволяя никому оставаться равнодушным. “Отстраняясь от образа, актер обращается к миру “от себя” — помощи ждать неоткуда, только в человеке единственная возможность спасения”<sup>25</sup>. Казалось бы, эта мысль уже не нова для нас. Но театр удесят�еряет силу ее воздействия, обрушивая на зрителя целую систему эмоциональных ударов.

“Пьеса “На дне” — глобальна. В ней есть загадка, которая всегда станет ускользать и которую постоянно надо будет разгадывать. Здесь, в этом сообществе людей, — модель мира, причем философский смысл этого понятия можно сколько угодно расширять...”<sup>26</sup>. В этих словах исполнителя роли Сатина сформулирован взгляд на горьковскую пьесу в Большом Драматическом театре.

Такова в основных чертах жизнь “На дне” с конца 50-х до конца 80-х годов. Проходит время, а пьеса не стареет, обретая новое звучание на сценах разных театров, заново рождаюсь на крутых поворотах нашей духовной жизни.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Товстоногов Георгий. Движение // Советская культура. 1979. № 88. 2 ноября.

<sup>2</sup> Горький М. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1970. С. 155.

<sup>3</sup> Там же. С. 156-157.

<sup>4</sup> Манн Генрих. Собр. соч. в 8 т. Т. 8. М., 1958. С. 211.

<sup>5</sup> Соловьева И. Немирович-Данченко. М., 1979. С. 200.

- <sup>6</sup> Товстоногов Г. Современность в современном театре. Беседы о режиссуре. Л. — М., 1962. С. 52-53.
- <sup>7</sup> Бялик Б. Примираящая ложь и воинственная правда. //Литературная газета, 1969, № 1, 1 января.
- <sup>8</sup> 1968 год — год Горького. //Театр, 1968, № 9. С.14-15.
- <sup>9</sup> Левкоев Н. Мой Лука и другие //Вопросы театра. М., 1986. С. 125.
- <sup>10</sup> Марков П. А. Человеческое в человеке. //Правда, 1969, № 178, 27 июня.
- <sup>11</sup> Подробнее об этих спектаклях см: Вопросы театра. М., 1970. С. 62-65, 71-75.
- <sup>12</sup> Симонов Н. Мой Сатин. //Театральная жизнь, 1964, № 6. С. 18, 19.
- <sup>13</sup> Правда, 1969, № 178, 27 июня.
- <sup>14</sup> Прочитывая заново. //Советская культура, 1984, № 146, 8 декабря.
- <sup>15</sup> Эфрос А. Сочинения. Кн. 4. М., 1993. С. 264, 265.
- <sup>16</sup> Там же, С. 363.
- <sup>17</sup> Товстоногов Г. Круг мыслей, Л., 1972. С. 150.
- <sup>18</sup> Товстоногов Г. Перестройка. Гласность, Театр. //Современная драматургия, 1988, № 2. С. 197.
- <sup>19</sup> Там же.
- <sup>20</sup> Новые спектакли. "На дне". //Театральный Ленинград, 1988, № 4. С. 5.
- <sup>21</sup> Там же. С. 4.
- <sup>22</sup> Там же. С. 5.
- <sup>23</sup> Рабинянц Нина. У последней черты. //Вечерний Ленинград, 1988, 19 декабря.
- <sup>24</sup> Театральный Ленинград, 1988, № 4. С. 5.
- <sup>25</sup> Вечерний Ленинград, 1988, 19 декабря.
- <sup>26</sup> Театральный Ленинград, 1988, № 4. С. 5.

## “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”. АВТОР И ГЕРОЙ.

Привычные для нас оценки “Жизни Клима Самгина” исходят из того, что это вершина творчества М. Горького, величественная эпопея, в которой воплощен правый суд художника над той частью русской интеллигенции, что не приняла социалистической революции, не поняла ее исторической закономерности и освободительной миссии пролетариата. Крупным планом это художественное развенчание совершается в образе Самгина, “пустой души”, а этот персонаж — главный посредник автора в его взаимоотношениях со всеми другими героями романа и одновременно объект его “скрытой сатиры”.

По этой логике в образе Самгина происходит внутреннее саморазоблачение интеллигента, отторгнувшего себя от великой революции, значит и от истории. И потому автор выступает в роли абсолютного антипода центрального героя, и в финале произведения, правда, недописанного, как бы от имени самого исторического времени, прогресса (а это высший критерий истины в глазах советских писателей), немилосердно расправляется с ним. Колесо истории (сапог солдата) настаивает Клима и раздавливает его, причем даже буквально, физически — в толпе, встречавшей Ленина в апреле семнадцатого года.

Подобная логика изначально, и особенно теперь, когда коренным образом меняются наши представления об отечественной истории и ее ценностях, могла вызывать и вызывает серьезные сомнения. Только ли по воле случая, оборвавшего жизнь писателя, роман остался незаконченным? Верно ли считать Клима Самгина лишь объектом сатиры, пусть “скрытой”, неявной, а автора произведения — безусловным его антиподом? Или отношение писателя к своему главному герою сложно и неоднозначно? А если так, то что за этим сложным отношением стоит? В чем Горький мог сходиться со своим героем? И не разделял ли он сомнений Самгина относительно судеб русской революции и судеб России?

Ответы на эти вопросы помогут в конечном счете разобраться в главном — в оценке художественной завершенности и целостности романа, т.е. реальной меры его художественности. В самом деле нельзя же до бесконечности не отдавать себе отчета в природе реакции читателя на книгу: читать “Жизнь Клима Самгина”, при всем обилии в нем интереснейших эпизодов, сцен и характеров, все-таки тяжело.

Короче, роман о Самгине оказывается немалой загадкой, и необходимо заново и непредубежденно его перечитать.

В романе поставлены традиционные для русской культуры вопросы: интеллигенция и революция, народ и интеллигенция, личность и история, борьба за свободу и судьба России. Интеллигенция предстает перед нами во множестве фигур, в круговерти различных идейных, философских и политических течений, во множестве точек зрения на жизнь — в диалоге, полилоге, “хаосе” голосов.

Подобный разросшийся, непрерывный диалог сообщает роману по преимуществу его форму, преобладающий способ повествования. Такая художественная форма, при явной избыточности диалогов в произведении, в основном соответствует тону и духу изображаемого времени — возрастающему его напряжению по мере приближения к революционным кульминациям эпохи. Перед нами проходят консерваторы и революционеры, атеисты, ницшеанцы и сторонники нового христианства, оптимисты и пессимисты, декаденты (Нехаева), народники (отец Клима Иван Самгин, его брат, ссыльный Яков, писатель Катин и многие другие), убежденные социал-демократы, марксисты (Степан Кутузов, Елизавета Спивак, Поярков, Гогин, Любаша Сомова), такие самобытные индивидуальности, как умный, трезвый и циничный интеллигент-делец Варавка, ироничный и скептический аристократ Туробоев, сочувствующий марксистам миллионер, “купеческий сын” Лютов, вечный защитник женщин врач Макаров, интеллигент-плебей журналист Дронов, пророк-идеалист Томилин, насквозь земная, отрицающая христианство и поверившая в святость хлыстовских радений Марина Зотова.

Разветвленная и многоликая система образов в романе держится концентрической формой повествования, единой господствующей в ней точкой зрения Самгина, а мы не перестаем ощущать, что Клим смотрит на все сквозь серые, дымчатые очки, обесцвечивающие, искажающие мир. Однако точка зрения резко “критически мыслящей личности” может служить и средством выражения авторской оценки, несмотря на то, что автор и его “отрицательный” герой в “Жизни Клима Самгина” во многом действительно расходятся. Именно поэтому проблема — автор и герой — есть первый и труднейший узел, который необходимо распутать, ради верного прочтения романа.

В анализе произведения в целом и авторской позиции в частности нельзя молчаливо обходить то немаловажное обстоя-

ительство, что “Жизнь Клим Самгина” создавалась в течение многих лет. Над четырехтомным романом Горький работал с 1925 до 1936 г., до смерти. Первая часть вышла в издательстве “Книга” в 1927 г., вторая там же, в 1928 г., третья — в 1931 г., четвертая, незаконченная, печаталась впервые частично в 1933 г. и полностью в 1937 г. Преломившиеся в романе концы и начала художественного сознания Горького, надо думать, расходились между собой резко, в чем-то даже как полюса.

Когда у Горького еще только начинал складываться замысел книги в 1923-1925 гг., то сознание художника вряд ли могло далеко отойти от недавних по времени “Несвоевременных мыслей”; отголоски их, вероятнее всего, еще были живы в нем. Последняя же книга создавалась в те годы, когда писатель вольно или невольно примирался с режимом сталинского тоталитаризма, по существу даже оправдывал его, освящая некоторые его идеологические устои своим авторитетом.

Очертим кратко названные выше полюса, пики в миропонимании Горького советской эпохи, наиболее остро обрисовавшиеся в период 1917-18 годов, с одной стороны, и в период 1929-36 годов, с другой.

Мировосприятие Горького, отлившееся в конце 20-х и 30-е годы в весьма жесткие формы, вместе с тем несет на себе черты некоего расплывчатого “социального идеализма”, просветительского рационализма с его установкой на всемогущий, генерируемый коллективом разум, на всемогущее знание. Подобные установки были восприняты Горьким когда-то от необычайно авторитетной для него традиции русской демократии 60-70 годов XIX в., а позже были закреплены — в соответствующей трансформации — его марксистской ориентацией.

Рационализм писателя проявлялся в утилитаризме и в принципиальной некосмологичности, надприродности его воззрений на мир и личность, когда человек утверждался в своей полной независимости от космоса, от самой Вселенной, от покоряемой им природы. Мир предстает в воображении Горького всего лишь “как материал”, “сырье для выработки полезностей”<sup>1</sup>, где “человек, враг природы”<sup>2</sup> и “природа, главный враг” человека, а космическое начало — нечто незначительное и отвлекающее от общественной борьбы: “космические катастрофы не так значительны, как социальные”<sup>3</sup>. Отсюда, от гипертрофии социального во взглядах Горького, и его преувеличенно романтическое представление о мере человеческой изменчивости, способности человека к развитию и переоценка идей воспитания, социальной педагогики.

Рационалистически-романтический, даже утопический крен мысли обнаруживался у Горького и в его трактовке художественного и исторического времени, не без его влияния утвердившейся в советской литературе 20-30-х годов. Из трех временных измерений действительности — прошлое, настоящее и будущее — ценностный приоритет Горький всецело

отдает не настоящему, тем более не прошедшему, а будущему. Во всех случаях “мудрости старости” он предпочитает “мудрость молодости”. Еще в дореволюционной статье “Две души” писатель стремился теоретически обосновать именно такой тип художественного мышления, связывая его в частности с идеей Г. Уэллса о двух типах ума в человечестве, один из которых держится признанием господства настоящего — это ум древний, воспитанный Востоком, присущий большинству человечества, а другой, — новый, “молодой” ум ориентируется на высшую ценность будущего. Не приходится сомневаться, что Горький отстаивает превосходство ума “западного”, “молодого” типа<sup>4</sup>.

В духе своей эпохи, безоглядно творившей культ нового, грядущего “завтра”, Горький недооценивал позитивную значимость прошлого, традиций, корней в жизни страны, как и отдельного человека. Хотя в своих публицистических статьях он не раз убежденно говорил о необходимости знания прошлого (“История деревни”, доклад на I съезде советских писателей и др.), Горький обычно, по долгу просветителя, акцентировал при этом мысль о тягостных и суровых сторонах истории, о “ненависти к прошлому”<sup>5</sup>, о том, что “наш самый безжалостный враг — наше прошлое”<sup>6</sup>.

Подобные убеждения писателя питали его мировоззренческое, не только биографическое (по условиям воспитания, городского детства и кругу привязанностей) отталкивание от крестьянства, стойкий его скептицизм в отношении к мужику, к деревне, а это в свою очередь многое определяло в понимании им социально-политической ситуации в стране в 20-30 годы, в годы укрепляющегося тоталитаризма. В разные годы в статьях, в письмах к молодым писателям Горький уличал русского мужика в “слепоте разума”, в том, что в деревне преобладают материальные, потребительские интересы над духовными, властвуют “инстинкт собственности” и “мистическая” любовь к земле, которые и делают крестьянство “неподдающимся влиянию” социалистических учений, невосприимчивым к новому в жизни.

Позиция Горького в отношении к крестьянству — один из серьезных факторов, объясняющих возможность молчаливого союза писателя со сталинизмом, вольного или невольного примирения с ним в конце 20-х и 30-е годы. Приведем выдержку из письма Горького от 5 июня 1930 г. Сталину о коллективизации: “Это переворот почти геологический и это больше, неизмеримо больше и глубже всего, что было сделано партией. Уничтожается строй, который создал человека крайне уродливо своеобразного и способного ужаснуть своим животным консерватизмом, своим инстинктом собственника”<sup>7</sup>.

В объяснении причин “союза” Горького со сталинизмом надо учитывать не только момент психологический (возможное малодушие перед устрашающей властью диктатора), но и обстоятельства иного порядка — положение, в которое он по

возвращении в СССР волей Сталина и уловками Ягоды был поставлен, — изоляцию (“узник в собственном доме”), мешающую ему адекватно представить и оценить обстановку в стране, а также весомость его собственных идеологических шор, предрассудков и иллюзий — ставку на сильную руку, на жесткий, волевой тип организатора жизни, неверие в крестьянство, упование на труд, способный своей “внутренней силой” преобразить человека.

И все-таки невозможно исключить совсем иного — значительных сомнений писателя, подтачивающих изнутри это воздвигаемое им в сознании мироздание. Серьезную трещину оно дало уже при первой непосредственной встрече писателя с лицом революции в октябре 1917 г. Вспомним его “Несвоевременные мысли”.

Вопрос о насилии стал важнейшим в расхождении писателя с правительством большевиков в 1917-1918 гг. С гневом Горький выступает против насильственных — “нечаевско-бакунинских”, как он их характеризует, методов борьбы, против пагубного для России идейного максимализма, против арестов правительством “всех несогласномыслящих”, в защиту интеллигенции, “мозга страны”<sup>8</sup>. Предостерегая от опасности иллюзий — “грез” о всемирной революции, об угрозе догматизма вождей, тех, для которых “догма выше человека”, и подстрекаемой “г.г. комиссарами” вражды между разными слоями населения страны, писатель расценивает Октябрь как преждевременный и опасный для России эксперимент, жестокий опыт. Изю дня в день М. Горький выступает с позиций защитника демократии и культуры.

Позднее Горький, как известно, счел свои разногласия с большевиками ошибкой. Однако проблемы и тревоги писателя, захватившие его в первые послеоктябрьские годы, еще долгое время, в течение почти целого десятилетия не оставляют Горького, хотя чаще всего не прорываются наружу, не высказываются вслух, а становятся предметом его внутреннего спора с самим собой. Одной из таких мучительных для него проблем, порожденных его размышлениями над событиями революции и гражданской войны, был вопрос о человеческой жестокости. В 1922 г. в Берлине вышла брошюра “О русском крестьянстве”. Задумываясь над причинами катастрофического падения ценности человеческой жизни — “человек теперь дешев”, — Горький видит в этом “отражение гражданской войны и бандитизма”<sup>9</sup>. Но с писателем трудно согласиться, когда он жестокость гражданской войны и революции объясняет “особой жестокостью” крестьянства и в целом русского народа, как его извечным и неотъемлемым свойством: “Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа”<sup>10</sup>.

Оценки русского национального характера, сделанные Горьким в статье “О русском крестьянстве”, перекликались с той спорной концепцией русского народа, которую он разви-

вал еще несколько лет назад в статье “Две души” (1915), вызвавшей в свое время горячую полемику в печати. Размышления писателя о России были включены в широкий план исторических отношений: Восток — Запад, но явно схематизировали, спрямляли эти отношения. Восток, по Горькому, — вечное лоно пессимизма, а следовательно, мистики, анархизма, бездеятельности и безличности; Запад же и его культура — воплощенный “дар жизни”, оптимизм, активность, культ труда и личности. В русском народе сосуществуют и сталкиваются эти два начала — восточное и западное, причем западная “душа” — славянская, тоже как бы недостаточно “западная”, т.е. недостаточно активная. Из подобного “двоедушия” и проистекает двойственность, неустойчивость русского народа, крайняя склонность его к эмоционально-психологическим и духовным экстремам и шатаниям — от “мягкотелой” мечтательности к жестокости, а также его “слабоволие” и “слабосилие”<sup>11</sup>.

Поясняя и отстаивая основные положения статьи “Две души” в “Письмах к читателю”, М. Горький развивал мысль о том, что основной чертой русского психологического склада является “бесправие, безволие и беззаботность человека по отношению к самому себе, к ближнему, к живым интересам своей страны” и подчеркивал необходимость для России “разбудить и воспитать ее волю к жизни”, укрепить в русском народе “пафос” и силу личности<sup>12</sup>. (Курсив мой. — Л. К.)

В публицистике Горького предоктябрьских и первых послеоктябрьских лет (1915-1922) обнаруживаются, таким образом, две противоположные тенденции в движении и колебаниях его мысли: с одной стороны, отталкивание от насилия, “силы” и “жестокости”, а с другой — некая ставка на “силу”, “волю к жизни”. Самое понятие “талантливости” личности отождествляется у Горького с “пафосом” и “напряженным стремлением человека к борьбе...”<sup>13</sup>. Первостепенная в представлении писателя значимость для России волевой силы, волевого человеческого типа, издавна завораживавших его, и возвышала в его глазах ценность организуемого большевиками пролетариата и самого типа большевика. В 1918 г., когда после покушения на В. И. Ленина рабочий класс, по воспоминаниям Горького, вновь обнаружил свой революционный “пафос” и сплоченность, — а значит, как полагал писатель, и способность победить хаос жизни, — в сознании художника начинает брать верх именно такой “человек-победитель”. Однако правота его принималась Горьким далеко не безусловно. Уже после отъезда за границу в 1921 г. сомнения не исчезали, вспыхивая у писателя иногда со всею остротой.

Это отчетливо сказалось в первом очерке о Ленине — “Владимир Ленин” 1924 г., который существенно отличался от позднейшей его редакции 1930 г. В образе Ленина, в обрисовке его взглядов, поведения и подходов к жизни выделен мотив не только простоты и прямоты, но и прямолинейности



и упрощения. Прочитывая этот очерк, мы постоянно ощущаем атмосферу напряженности спора, несогласий между Горьким и Лениным, — спора, который чаще всего дан не в прямом и двустороннем диалоге, а косвенно, в ответных репликах Ленина: “Вы говорите, что слишком упрощаю жизнь. Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?” Ироническое, характерное: “Гм-гм!”<sup>14</sup>. Это споры о роли насилия в революции, о жестокости, об интеллигенции и культуре: “С коммунистами я расхожусь по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией...”<sup>15</sup>. Авторская оценка, позиция повествователя в отношении к герою, к Ленину предстают в очерке весьма неоднозначными. В самом миропонимании Ленина Горький видит упрощение жизни: “Может быть, Ленин понимал драму бытия несколько упрощенно и считал ее слишком легко устранимой...”<sup>16</sup>. В речевой характеристике героя вместе с ощущением убежденности Ленина в своей правде не раз подчеркивается ее неприемлемость для автора-рассказчика (“Речь его всегда вызывала физическое ощущение правды и, хотя часто правда была *неприемлема для меня*, однако ж не чувствовать силы ее я не мог”)<sup>17</sup>. И, наконец, горестным итогом звучит обобщающее заключение писателя: “невозможен вождь, который — в той или иной степени — не был бы *тираном*”<sup>18</sup>.

Несколько раньше в письме к С. Н. Сергееву-Ценскому в связи с его романом “Преображение” Горький признавался: “И — начинается бесплодное борение двух непримиримых отношений к России: не то она несчастная *жерва истории*, данная миру для жестоких опытов, как собака мудрейшему ученому Ивану Павлову, не то Русь сама себя научает тому, как надо жить...”<sup>19</sup>.

Этот роковой вопрос: что же такое революционная Россия — открыватель новых путей или несчастная жертва истории, страна для экспериментов? — долго, наверное, до конца мучил Горького и, думается, так никогда им и не был решен. Внутренняя нерешенность этой дилеммы для Горького и объясняет двойственность авторской позиции в романе “Жизнь Клима Самгина”.

Обратимся к центру романа, его главному герою — Климу Самгину. Корень характера Самгина — и в этом типичная для интеллигенции болезнь духа в понимании Горького — гипертрофия “самости”, крайний индивидуализм. В это метит автор уже фамилией героя — Сам-гин — и всей историей его жизни, начиная с момента появления Клима на свет и сценой придумывания его имени: родители озабочены тем, чтобы выделить сына — имя должно быть и необыкновенно и просто-народно (прогрессивно). Стремление во что бы то ни стало выделиться из окружения, отличиться, с детства подогреваемое в Климе семьей, атмосферой дома, всей средой, постепенно формирует в характере героя расхождение роли и сущности (роль исключительного ребенка, ранняя поза солидности,

дымчатые очки, чтобы не походить на сверстников, выдумывание самого себя, ложные самооценки, когда, например, Самгин, автор скучных, посредственных статей, мысленно ставит себя рядом с Писаревым или Чеховым). Чтобы утвердиться в чувстве превосходства над людьми, Клим совершенствуется в умении находить, а чаще воображать во всех известных ему лицах неприглядные черты — глупость, тщеславие, злобу и пр. Для него узнать человека — значит уличить, “обнажить человека, вывернуть его наизнанку”, поймать на какой-то фальши. Это качество героя, надо признать, с излишней настойчивостью, почти навязчиво педалировано в романе. Смысл игры на понижение ценностей, которую постоянно ведет Самгин, точно улавливается в реплике Лютова, адресованной Климу (а перекрестный огонь самооценок персонажей — один из ключевых приемов их характеристики в произведении): “Легко, брат, убеждать людей, что они — дрянь и жизнь их — дрянь, они этому тоже легко верят, черт их знает почему! Именно эта их вера и создает тебе и подобным репутации мудрецов”<sup>20</sup>.

Такая установка героя приводит его к неизбежной потере непосредственности и естественности, культивирует в нем сухо рассудочное, черство рационалистическое отношение к миру. “Скучно”, “противно”, “глупо” — основной тон его восприятий реальной жизни, окрашивающий собой и тон повествования в целом. Иссущающе рефлектирующее, рассудочное его мировосприятие особенно недвусмысленно обнаруживает себя в сюжетах его любовных увлечений, в его отношениях к женщине (“слезка” за собой в страхе показаться смешным и глупым, например, в момент первого любовного признания Лидии Варавке) или в картинах его общения с природой. Красота природы его никогда эмоционально не захватывает, даже если это встреча с природой незнакомой и экзотической: величественные виды Казбека “раздражали Самгина”.

Во взаимоотношениях Самгина с людьми, с миром автор подчеркивает не только созерцательность и недостаточную действенность, но на поверку и устойчивое равнодушие, когда интерес к человеку (а он несомненно присутствует у Клима) не выходит за пределы холодного, испытующего и ироничного любопытства (вспомним, например, сцены смерти людей, близких Самгину, — жены Варвары, Марины Зотовой, Лютова, Туробоева).

Другой важнейший узел внутренних противоречий в характере Самгина — это его отношение к правде и иллюзии, к реальности и мечтаниям о ней — сквозной мотив не только “Жизни Клима Самгина”, но творчества Горького в целом, дилемму, на острие которой он испытывал многих своих героев, как испытывал в жизни самого себя.

Отношение Самгина к правде двойится. В своих собственных глазах он — сторонник полной объективности и трезвой правды, “не романтик”. И это уже некое противоречие, некий

даже парадокс: человек, “выдумывающий” самого себя, вся жизнь которого подчинена желанию “показать себя” (мудрецом, революционером, оригиналом и прочее), считает себя адвокатом правды. Но все не сводится к ложной самооценке. Клим и в самом деле не раз на протяжении романа оказывается “отгадчиком” правды. Одной из ключевых здесь является сцена освящения церковного колокола, когда Самгин с приятелями — Лидией, Лютовым, Алиной, Макаровым наблюдают, как огромный колокол поднимают на колокольню. Выразительно передано ощущение торжественности момента, восхищение чудесной силой народа (образ богатыря-кузнеца) и холодок всеобщего нарастающего напряжения. И вот в тот миг, когда у всех участников сцены создается впечатление, что люди возвышаются духом, внутренне растут в трудном общем деле (“выпрямились”, “как бы желая оторваться от земли”, “тянутся все, точно растут”), Клим опровергает это: “Врешь”, — подумал Самгин. И в чем-то оказался прав, словно предвещая последовавшее затем несчастье, когда сорвавшийся колокол задавливает молодого парня. Самгин здесь, как и в ряде других подобных ситуаций, выступает в роли “правдолюбца”, похожего на каркающего ворона Бубнова из пьесы “На дне”. Но такого рода философия правды была неприемлемой для Горького.

Как неприемлема и другого рода игра Самгина с истиной. Если в одних случаях Самгин выступает в роли трезвого реалиста, хотя ценность этой позиции снижена злорадным неверием его в возможности человека, то во многих других — он легко закрывает глаза на правду, на истинное положение вещей.

Таков в конечном счете смысл символического лейтмотива, скрепляющего во многом образный строй романа: “А был ли мальчик?” В то время как читатель знает, что “мальчик” был (эпизод гибели Бориса Варавки, безучастным свидетелем которой был Клим, — эпизод, послуживший источником мифа о несуществующем “мальчике”), герой пытается уверить себя и нас, что “мальчика” не было, а значит не было и никакой вины Клина перед ним. Мотив “мальчика”, восходящий к известному пушкинскому (мотив трагической вины героя в “Борисе Годунове”) становится у Самгина знаком кардинального свойства его мировосприятия — скептицизма, стремления прошедшие перед его глазами, но неудобные для него факты и явления объявлять иллюзией, действительностью несостоявшейся или недолжной, тем самым снимая всякую ответственность за них с себя самого. Именно так, как с обманувшей его исторической иллюзией, расстается Самгин с революцией 1905 года.

Используя внутренние монологи, в которых самооценки героя расходятся с реальным положением вещей, систему пародирующих Самгина фигур-“зеркал”, образы его раздвоенного сознания, образы снов с появлением двойников Клина,

потерявших тень, вес и лицо, наконец, в полной мере владея искусством компрометирующей персонажа бытовой детали, автор "Жизни Клима Самгина" приоткрывает в центральном персонаже весьма резкое несовпадение кажимости и подлинности. Адвокат по профессии, Самгин — вечный обвинитель по страсти; человек, слишком озабоченный собственной оригинальностью и уличающий всех окружающих в несамостоятельности мысли, он сам в своем мышлении не более, чем "система чужих фраз"; "покорный слуга революции", он по сути — лишь ее невольник, а потом и отступник. В изображении всего этого Горький недвусмысленно, хотя и без участия прямого, оценочного слова от автора, расходится с Самгиным, жестко судит его, освещая его фигуру светом едкой иронии и сарказма.

Однако в фигуре Самгина, его замысле и воплощении, потаенно присутствует и другая важная сторона. Автор "Жизни Клима Самгина" не любит своего героя, но так, как не любят неприятное существо, в котором ощущают некую родственную связь с собой, пусть даже с собой прежним. В Самгине есть нечто существенное, что принадлежит самому автору, его духовной биографии, причем не только отдельные суждения и оценки, но и определенные мировоззренческие установки, противоречивые состояния и сомнения, пережитые самим художником, позднее им или преодоленные, отброшенные или оставившие в его сознании глубокий след. Так, во многих скептических суждениях Самгина о русской деревне ("хитрая деревня", которая никого не жалеет), в его недоверии к мужику (сцены пребывания Самгина в провинции во время войны, его встречи с солдатами в 4-й части романа) нельзя не услышать отзвука настроений самого автора.

Авторский голос нетрудно угадать и в отношении Самгина к декадентству, к тому, что Клим называет "нехаевщиной". Пережив увлечение экзотикой декадентщины, роман с Нехаевой, Клим в конце концов выносит последний свой беспощадный приговор: "Смертяшкина". Вспомним, что такого рода оценками сам Горький не раз клеймил поэтов-символистов, например, Ф. Сологуба.

Можно обнаружить определенную близость автора к герою и в философской плоскости. Самгин отрицает значимость природно-космического плана человеческой мысли, не раз саркастически высказывается на этот счет, ядовито-иронически воспринимает "космизм" в речах появившегося на страницах романа писателя Л. Андреева (сцена на его квартире), полагает, что "космизм" сознания удобен как способ "отводить человека далеко в сторону от действительности"; "космологическая картина" Вселенной однажды является Климу во сне как некий кошмар воспаленного мозга.

В некоторых случаях, правда очень редких, Клим Самгин, вдруг мало похожий на самого себя, становится почти прямым выразителем авторского сознания. Так происходит во время

Нижегородской ярмарки, в сценах первых торжеств молодой торгующей и промышленной России. Броню привычных для героя скепсиса, апатии и равнодушия пробивает в Самгине неожиданное “лирическое” воодушевление, почти восторг по отношению к происходящему — от сознания ликующей мощи России и талантливости ее народа (сцена с народной сказительницей Федосовой).

Все это подтверждает нашу мысль о том, что расстояние между автором и развенчанным им “отрицательным” героем не столь велико, как представляется на первый взгляд. И это необходимо помнить, чтобы вполне понять и оценить позицию автора в этом произведении. Учитывая это, нужно пересмотреть привычное в нашем литературоведении толкование отношения автора к Степану Кутузову, в образе которого воплощен тип большевика, главного деятеля русской революции 1905 и 1917 гг. и которого привыкли считать выразителем кredo художника.

Степан Кутузов рисуется в романе существенно по-иному, нежели Павел Власов и другие горьковские герои этого типа. Стремясь создать впечатление многосторонности личности, Горький впервые знакомит читателя с Кутузовым в окружении веселой молодой компании, в роли талантливого певца, вводит в повествование сюжет его любовных увлечений (Марина Премирова), пользуется приемом внутренней самохарактеристики через его письма.

Даже в призме восприятий желчного скептика Самгина Степан Кутузов — единственная встреченная им на пути цельная личность, “существо совершенно исключительное по своей законченности”<sup>21</sup>. Но, обратим внимание, это законченность силы: Кутузов поражает окружающих способностью их подчинять, умением “сопротивляться людям”. И эта сила не раз обнаруживает себя как однолинейная и жесткая. Кутузов пренебрежительно отмахивается от “микстуры гуманизма”, “патоки гуманизма”. Он чужд жалости, когда ему рассказывают о стрельбе солдат по безоружным, о смерти лично ему знакомого человека (старого Дьякона) или о гибели множества рабочих в московском восстании: “Меньше, чем ежедневно погибает их в борьбе с капиталом, — быстро и как будто небрежно отвечал Кутузов”. Гогин, единомышленник Кутузова, отбрасывает мотивы совести и вины, прозвучавшие у Любаши Сомовой, потрясенной жертвами восстания. По мнению Гогина, она “не может изжить народнической закваски, христианских чувств”. Кутузов в своем безжалостном прогнозе революции допускает даже гибель “большинства”: “...большинство — думать надо — будет пассивно или активно сопротивляться революции и на этом погибнет”<sup>22</sup>. Оценка подобно-го безжалостного расчета в романе принадлежит Самгину: “это — жестоко”, и эту оценку, скорее всего, разделяет сам автор. Размышления Кутузова о морали и человечности отличаются безжалостностью и прямолинейностью: “Человек —

это потом”<sup>23</sup>. Все подобные суждения Кутузова складываются в конечном итоге в характеристику его философии как грубо “упрощенной”: “кутузовщина” очень упрощала жизнь...”<sup>24</sup>. Этот оценочный мотив ведется в романе, конечно, от имени Самгина, но много раз варьируется и повторяется от лица других персонажей и, подкрепленный характером Кутузова и его соратников, их образом действий, не может быть отброшен и в определении собственно авторской оценки. Напомним, что аналогичный упрек в губительном упрощении жизни и культуры непосредственно, от автора адресован большевикам и Ленину в очерке Горького 1924 г. “Владимир Ленин”.

Образ Ленина в “Жизни Клима Самгина” дан опосредованно (его фигура ни разу не появляется на страницах романа), в полилоге точек зрения на него, в разноречии голосов. Это сделано писателем, вероятно, намеренно, чтобы усилить впечатление сложности времени, противоречивости духовного состояния российской интеллигенции эпохи революции и самой фигуры Ленина. В “хаосе голосов”, судящих о Ленине, раздаются такие: нечто нечаевское (оценка, разделяемая Горьким в период “Несвоевременных мыслей”), Дон Кихот, “парень для драки”, ум, блестяще сочетающий иронию и пафос, Аввакум революции, надежда рабочих. Как видим, в составе художественного образа, сложно преломляясь, откладывались и сталкивались в “Жизни Клима Самгина” разные этажи художественного сознания самого писателя, разные моменты его духовного пути — начиная от позиций 1917-1918 гг. к 1924 г. и, наконец, 30-м годам, когда писалась последняя часть произведения.

Противоречия авторского сознания сказываются и в жанровой природе произведения. С одной стороны, роман, огромное по масштабам времени и пространства полотно, развивается, подчиняясь логике героико-эпического, эпопейного повествования. Это образная “хроника” событий национальной истории предреволюционной эпохи — картины и массовые сцены коронования царя и страшной Ходынки, Нижегородской ярмарки, Девятого января и баррикадных боев Московского восстания, революции пятого года, эпизоды, выражающие общественные настроения первой мировой войны и кануна Октября. Здесь господствует пафос неизбежности революции 1917 года, открывающий для России возможность “выскочить в царство свободы” — пафос надежды, ожидаемой победы.

С другой — в “Жизни Клима Самгина”, в развитии его основного сюжетного действия, можно заметить и иную образную логику — романа-трагедии. Роман перенасыщен образами смертей — убийствами, самоубийствами, гибелью ведущих действующих лиц романа (убийство Туробоева, самоубийство Лютова, гибель Тагильского, убийство Марины Зотовой, смерть Любаши Сомовой, Варвары Антиповой — жены Клима, наконец, гибель Самгина). Финал произведения (по наметкам и планам автора) — трагическая гибель центрального героя

произведения, под сапогом “мужика”, солдата. Глубокий трагический мотив звучит в библейской легенде об Аврааме, приносящем в жертву Богу сына Исаака, — символе, который становится одним из сквозных и ключевых в романе, начинается и завершает его композицию. Его смысл: интеллигенция (Исаак) — жертва истории во имя народа — трактуется здесь как миф народнического самосознания, а также плод фантазии “поумневшего” от страха перед историей потомка народников, Клина Самгина. Это на поверхности романа, на уровне прямых слов. Но на уровне его подтекста можно распознать совсем иное — отзвук тревожных сомнений художника, издавна мучивших его вопросов: не станет ли русская интеллигенция жертвой истории, а Россия — страной, “данной миру для жестоких опытов”<sup>25</sup>?

Однако в самые последние годы жизни писателя в его статьях начинает утверждаться принципиально бестрагедийная рационалистическая эстетика. И мы становимся свидетелями того, как присутствующая в романе трагедийная канва несколько затушевывается, трагизм подается как ложная самооценка интеллигентов самгинского типа, уклонившихся от законов истории.

Разноречия мысли, сомнений и авторской воли, стремящейся их подавить или сгладить, не могли, конечно, не влиять на художественное качество “Жизни Клина Самгина”. Авторская воля расщеплялась и раздваивалась, а облик автора, угадываемый в романе, неожиданно для самого художника становился похожим на ненавистный ему образ, и авторский голос начинал скрипеть по-самгински. Признаться же в тайном родстве с героем писатель ни в коем случае не хотел. И подобная несвобода, двойственность ценностной позиции несомненно лишала произведение необходимой художественной органичности и целостности.

И — последнее, вместо заключения. Известно, каждое значительное литературное явление по-разному видится и оценивается в разные времена. При этом иной раз случаются удивительные парадоксы — переключка резко несхожих между собой эпох и полярных мнений. Так происходит с оценками “Жизни Клина Самгина”.

В конце 20-х и в 30-е годы, уже при появлении первых частей романа, критика заметила странную близость автора с Самгиным и, разумеется, резко в духе времени осудила за это художника, осудила по идеологическим мотивам. Так, критик журнала “На литературном посту” В. Вешнев утверждал: “Клим — ширма, за которой спрятался сам Горький”<sup>26</sup>. Ж. Эльсберг развивал мысль о том, что автор “Жизни Клина Самгина”, прячась за “самгинские очки”, не может ни отграничить себя от Самгина, ни до конца его разоблачить — это грозило бы саморазоблачением, — во многом сходится с героем, разделяет его пессимизм и “объективизм”<sup>27</sup>. За всем этим, по мнению критика, скрывалась нечеткость классовых

позиций Горького, его отвлеченный гуманизм, вера “в культуру вообще”, возможно даже опасения за судьбу культуры в эпоху пролетарской революции,— словом, “ошибочное мировоззрение”<sup>28</sup>.

Отбрасывая сегодня негативные, избобличающие оценки и выводы бдительного критика, мы понимаем, что в самом анализе его немало верно подмеченного: в цепкости зрения критику не откажешь. Так разные эпохи, споря между собой, могут свидетельствовать об одном и том же. Но движение времени не просто переворачивает наши оценки, меняя в них знак минус на плюс, оно ведет нас вглубь и, надо надеяться, приближает к пониманию живого и противоречивого Горького.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 200.
- <sup>2</sup> Там же. С. 277.
- <sup>3</sup> Там же. С. 267.
- <sup>4</sup> Горький М. Две души. //Летопись, 1915, № 12. С. 128.
- <sup>5</sup> Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 24. С. 242.
- <sup>6</sup> Горький М. Революция и культура. Статьи за 1917 г. Берлин /6.г./ С. 13.
- <sup>7</sup> Горький М. — Сталину И. 5 июня 1930 г. //Известия ЦК КПСС, 1989, № 7. С. 215.
- <sup>8</sup> Горький М. Революция и культура. С. 9,12.
- <sup>9</sup> Горький М. О русском крестьянстве. Берлин, 1922. С. 26.
- <sup>10</sup> Там же. С. 47.
- <sup>11</sup> Горький М. Две души. //Летопись, 1915, № 12. С. 132,133.
- <sup>12</sup> Горький М. Письма к читателю. //Летопись, 1916, № 3, С. 173.
- <sup>13</sup> Там же. С. 175.
- <sup>14</sup> Горький М. Владимир Ленин. //Русский современник, 1924, № 1. С. 236.
- <sup>15</sup> Там же. С. 235.
- <sup>16</sup> Там же. С. 234.
- <sup>17</sup> Там же. С. 238. Здесь и в следующей цитате курсив мной.— Л. К.
- <sup>18</sup> Там же. С. 230.
- <sup>19</sup> Горький М. — Сергееву-Ценскому С. Письмо от июня 1923 г. //Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 29. С. 411-412.
- <sup>20</sup> Горький М. Полн. собр. соч. Худож. произведения в 25 т. Т. 22. С. 475.
- <sup>21</sup> Там же. Т. 21. С. 235.
- <sup>22</sup> Там же. Т. 22. С. 443.
- <sup>23</sup> Там же. Т. 23. С. 46.
- <sup>24</sup> Там же. Т. 21. С. 452.
- <sup>25</sup> Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 29. С. 412.
- <sup>26</sup> Вешнев В. Горькое лакомство. //На литературном посту, 1927, № 20. С. 52.
- <sup>27</sup> Эльсберг Ж. Глаза Максима Горького сквозь самгинские очки. //На литературном посту, 1927, № 15-16. С. 30,31.
- <sup>28</sup> Там же. С. 30,31.



## В ПОИСКАХ ОБНОВЛЕНИЯ (О рассказе Горького "Голубая жизнь")

Среди ведущихся в последнее время вокруг имени Горького ожесточенных идеологических и политических споров мы подчас стали забывать, что он прежде всего художник, и что одной из первоочередных задач современного горьковедения является освобожденное от догм и схем изучение именно творческого наследия писателя, в особенности тех произведений, которые позволяют по-новому взглянуть на его непростую литературную судьбу.

К таким произведениям несомненно относятся рассказы Горького 1922-1924 гг. Об особом месте этого цикла в его творчестве верно сказала Н. Берберова. По ее мнению, "эти годы, между приездом его из России в Германию и "Артамоновыми", были лучшими во всей творческой истории Горького. Это был подъем всех его сил и ослабление его нравоучительного нажима ... Между 1921 и 1925 годом он не поучал, он писал с максимумом свободы, равновесия и вдохновения, с минимумом оглядки на то, какую пользу будущему коммунизму принесут его писания. Он написал семь или восемь больших рассказов как бы для себя самого, это были рассказы-сны, рассказы-видения, рассказы-безумства"<sup>1</sup>.

В первые послереволюционные годы Горький, подобно многим другим писателям, остро почувствовал, что нужны иные формы искусства. В начале 20-х годов уже перешагнувший свой 50-летний рубеж, он ставит перед собой задачу: уйти от себя самого — прежнего Горького, научиться писать как будто заново (между прочим, это совпало с пятилетним перерывом в его литературной работе).

В этот период Горький внимательно присматривался к тому кругу русских писателей-современников, в творчестве которых сочетались реализм и модернизм, натурализм и символизм, реальность и фантастика. Стремясь к расширению воз-

возможностей творческого метода, он включал в художественную ткань своих произведений элементы искусства нереалистических течений. Напостовский критик В. Вешнев писал о произведениях Горького 1922-1924 гг.: "Он приобрел вкус к гиперболическому психологизму Достоевского, к розановщине, к сологубовскому бредовому вымыслу и к пустому андреевскому парадоксу"<sup>2</sup>. По замыслу критика, литературный ряд, в который он поставил пролетарского Буревестника, должен был дискредитировать Горького-художника. Однако Вешнев в общем-то довольно точно "угадал" художественные ориентиры "нового" Горького. Только к данному им перечню следовало бы добавить также имена А. Блока, А. Белого, А. Ремизова, Е. Замятина и др. — писателей, вошедших в русскую литературу в предреволюционные годы и значительно изменивших ее "лицо".

Среди произведений 1922-1924 гг. известный критик А. К. Воронский особо выделил рассказ "Голубая жизнь" — как, "пожалуй, самый характерный"<sup>3</sup> для творчества Горького этого времени. На примере этого рассказа мы хотим проследить, каким путем шел писатель к решению новых художественных задач.

Тема "Голубой жизни" — тема маленького человека, загубленного обывательским существованием — достаточно традиционна в русской литературе и восходит, вероятнее всего, к "Запискам сумасшедшего" Гоголя: отражение ужаса мещанского бытия через обнаженное, сверхчувствительное сознание психически неуравновешенной личности. На связь с этой повестью косвенно указывал сам Горький в письме к И. Б. Галанту: "... ни в одной психиатрической лечебнице не может существовать истории болезни Миронова, по той причине, что Миронова — не было... Я совершенно уверен, что истории болезни гоголевского сумасшедшего — тоже не существует"<sup>4</sup>.

Однако традиционная тема сострадания к маленькому человеку далеко не исчерпывает смысла горьковского рассказа. Возможно, прояснению этого смысла отчасти помогает обращение к одному из самых "загадочных" произведений А. П. Чехова — рассказу "Черный монах". При всех существенных отличиях двух рассказов, они оба построены на противопоставлении характера героя до и после выздоровления. Больной Коврин интересен, блестящ, почти гениален. Выздоровев, он превращается в сухого грубого эгоиста, самолюбивую посредственность — мотив, близкий горьковскому рассказу.

Гоголь кончает "Записки сумасшедшего" пронзительным криком человека о помощи и сострадании. Чеховский Коврин предпочитает болезнь и смерть бездуховности обывательского существования. У Горького выздоровление Миронова оборачивается его духовной смертью и обесчеловечением. Оно хуже сумасшествия. В финале рассказа автор после встречи с Мироновым признается в "настойчивом желании вновь свести его

с ума”<sup>5</sup>. Подобный подход к личности, особый интерес Горького к теме “иррационального” человека подтверждаются и прямыми высказываниями писателя этого времени. “Я особенно люблю,— признавался он,— людей недоделанных, не очень “мудрых”, немножко “сумасшедших”, “безумных”, люди же “здравомыслящие” мало интересны мне”<sup>6</sup>.

Сюжетно и тематически “Голубая жизнь” связана не только с рядом произведений классической литературы, но и с таким “пограничным”, стоящим где-то между реализмом и модернизмом романом, как “Мелкий бес” Ф. Сологуба. Эти произведения объединяет и общая тема мещанского кошмара уездной России, и основной сюжетный мотив — постепенное “схождение” с ума главного героя, и искусное смешение в повествовании реальности и галлюцинаций больных Передонова и Миронова, и, наконец, появление “черта”. У Сологуба это — знаменитый образ Недотыкомки. Героя Горького тоже мучает “бес” — столяр Каллистрат. Однако сходный с “Мелким бесом” мотив как бы “перевернут” в “Голубой жизни”. Если Передонов из такого “человека в футляре”, мнимого блюстителя нравственности и порядка захолустного общества постепенно превращается в обезумевшего убийцу, то Миронов, напротив, из безумного мечтателя превращается в финале в бездушного, эгоистичного, жадного обывателя.

Хотя формально повествование “Голубой жизни” ведется от лица автора, все изображаемое подается сквозь причудливую призму смятенного, тревожного восприятия героя. В отличие, скажем, от “Записок сумасшедшего” Гоголя, где болезнь героя объявлена уже в самом заглавии повести, здесь мы далеко не сразу начинаем догадываться о его состоянии. Роль галлюцинаций повышается незаметно, от эпизода к эпизоду. Повествование скользит по тонкой грани между реальностью и болезненными галлюцинациями героя, нигде не срываясь, однако, в полную фантазмагорию и бред. Авторское отношение к изображаемому, как правило, проявляется лишь в легком ироническом подтексте. Когда Горького попросили назвать художника для иллюстрирования “Голубой жизни”, он ответил: “Художника указать — не решаюсь, но думаю, что хорош был бы некто с уклоном к юмору”<sup>7</sup>.

После сцены в сумасшедшем доме, в который попадает Миронов, наступает резкая смена манеры повествования, совпадающая с развязкой. Автор-рассказчик, присутствие которого было до этого едва ощутимо, внезапно врывается в художественный мир рассказа. Следующий эпизод начинается сразу, без всякого перехода, прямой речью автора: “Много присочинил?” — спросил я доктора Александра Алексина, когда он рассказал мне историю этой болезни.— Конечно, ты бы присочинил больше,— ответил он, усмехаясь.” В подстрочном примечании к этой фразе автор замечает: “Кажется, я так и сделал.”

Горький идет на откровенное обнажение приема, весьма популярное у писателей 20-х годов. Он не только сообщает нам историю создания рассказа, но даже делится в примечании своим писательским "секретом".

Е. Б. Тагер указывал на особую художественную функцию подобных авторских отступлений в рассказах Горького 1922-1924 гг.: "... устанавливая дистанцию между автором и изображением, они подчеркивали "сочиненность", "заданность" этого изображения, некий авторский "умысел"<sup>8</sup>. Эта мысль подтверждается и высказываниями самого Горького по поводу рассказов начала 20-х годов. В письме к И. Б. Галанту он намеренно подчеркивал, что "Миронов "Голубой жизни" такая же выдумка, как и героиня "Рассказа об одном романе"<sup>9</sup>. В другом письме к тому же адресату писатель назвал героев этих произведений — "детьми" своей "фантазии"<sup>10</sup>.

Вероятно, для Горького в те годы это было принципиально важно. Многие из его дореволюционных произведений носили очерковый характер, были автобиографичными. Писатель ярко и талантливо описывал то, что сам когда-то пережил, те события, свидетелем коих он сам являлся. В начале 20-х годов Горький ощутил необходимость научиться "сочинять", создавать произведения с прихотливыми сюжетом и композицией, "выдуманными" героями. Вероятно, ему хотелось побороть стереотип читательского восприятия его произведений как отражения одной "голой" правды без прикрас и вымысла. Отсюда и откровенное признание прямо в тексте "Голубой жизни" о сочиненности истории Миронова. Меняется в связи с этим и художественная функция автора. В отличие от многих дореволюционных произведений Горького, в которых автор часто играл роль судьи изображаемой жизни, учительную роль, здесь он прежде всего, или всего лишь, сочинитель данного текста.

Конечно, это не мешало Горькому использовать и свой личный жизненный опыт, искусно вплетать в сюжетно-образную структуру рассказа собственные наблюдения и впечатления действительности, даже... свои сны! Интересно в связи с этим отметить, что писатель для изображения сновидений Миронова использовал запись собственного сна, сделанную им примерно за год до создания рассказа<sup>11</sup>. Тревожный образ приснившейся ему огромной луны, качающейся в небе, "как маятник часов", он воспроизвел при описании первого сна героя; "космический" образ мечущейся по небу и слизывающей звезды рыжей лисы — во втором его сне.

Концовка рассказа построена на противопоставлении с его первой основной частью. В первой части очень много музыки, мир буквально пронизан ею. Песни поют маляры, отец; герою постоянно слышатся то "медный гул благовеста церквей", то "пение медных труб военного оркестра", то "струнный звук гудящих пчел и пение жаворонка и т.д. Даже глобус играет "Чижика". Убегая от скуки и серости обывательской жизни,

Миронов находил утешение в “потоке ласковых звуков”, “певучей тишине” вселенной. Прекрасны и разнообразны в первой части рассказа окружающие героя пейзажи: сад с цветущими липами, закаты солнца, голубоватые сумерки, “льди́стая чаша небес”, луна и звезды, “хвостатые тучи” и облака. Все это исчезает в финале. Мир вокруг вылеченного героя как будто ослеп, оглох, омертвел. Автор усиленно нагнетает это впечатление. И хотя теперь действие происходит в Ялте, на берегу моря, мы их не видим так же, как не видит их Миронов. Вместе с автором мы оказываемся в беззвучном, бесцветном мире, в тесном пространстве переплетной мастерской Миронова: “В маленькой тесной комнатке очень душно от запаха кожи, клея и машинного масла. Где-то в углу, над шкафом с книгами, неохотно погибала муха”. Заунывное гудение обреченной мухи — вот все, что осталось от звучащего тысячью голосов мира. Черты мертвенности подчеркиваются и в портрете самого Миронова: “жесткие усы”, “глуховатый”, “однотонный”, “бесцветный” голос, “вялый” тон, “тусклый” взгляд, “неохотная” речь, “ровный, мертвый ряд вставных зубов”.

Характерно изменение цветовой насыщенности описаний. В первой части Горький охотно пользуется самыми яркими красками: рыжий козел, оранжевое солнце, коричневый дом с зелеными наличниками, рыжебородый лиловый поп, пунцовая кофта и желтый гребень Серафимы и т.д. (Об особом значении голубого цвета будет сказано ниже). В финале рассказа нет ни одного цветового эпитета, кроме чисто графических (“серый нос”, “черные ногти”), лишь усугубляющих впечатление скуки жизни и духовной мертвенности героя.

Разрушение в конце радужной призмы “Голубой жизни” могло вызывать у читателя чувство даже какого-то разочарования: так просто, оказывается, объясняется вся странная таинственность “голубого” мира. М. Пришвин сказал в одном из писем Горькому: “Меня очень увлек рассказ “Голубая жизнь”, один момент я стал трепетать за Вас, и вдруг все перешло в медицину — конечно, я выругался”<sup>12</sup>.

Связывая поэтику романов Достоевского с жанром античной мениппеи, М. Бахтин писал о пристрастии подобного рода литературы к “морально-психологическому экспериментированию” и определил ее формально-содержательные особенности: “...изображение необычных, ненормальных морально-психологических состояний человека — безумий всякого рода (“маниакальная тематика”), раздвоения личности, необузданной мечтательности, необычных снов, страстей, граничащих с безумием, самоубийств и т.п. Все эти явления имеют в мениппее не узкотематический, а формально-жанровый характер. Сновидения, мечты, безумие разрушают эпическую и трагическую целостность человека и его судьбы: в нем раскрываются возможности иного человека и иной жизни, он утрачивает свою завершенность и однозначность, он перестает совпадать

с самим собой”<sup>13</sup>. В рассказе Горького тоже есть и “маниакальная тематика”, и “необузданная мечтательность”, и “необычные сны”. Но, перефразируя Бахтина, можно сказать, что герой в финале как раз утрачивает свою незавершенность и неоднозначность, начинает полностью совпадать с самим собой, в нем навсегда закрываются возможности иного человека и иной судьбы. И это подсказывалось художественной задачей.

Уже здесь, как и в некоторых других произведениях того времени (например, в “Рассказе о герое”), Горький подошел к проблеме изображения бесцветного, анемичного и вялого характера (проблеме, вставшей во весь рост в романе “Жизнь Клима Самгина”) и нащупывал те приемы построения системы образов, которые могли бы разрешить эту задачу. Недаром он позже писал: “Рассказы 22-24-го гг.”... это — ряд поисков иной формы, иного тона для “Клима Самгина”, — работы очень трудной и ответственной. Лично для меня поиски эти я считаю очень полезными...”<sup>14</sup>. В “Самгине” герой окружен целым хором персонажей, каждый из которых какими-то своими гранями “отражал”, усиливал или оттенял по контрасту стоящий в центре характер.

В “Голубой жизни” принцип “зеркального отражения” характерен для построения большинства образов. Наибольшее число “отражений” у главного героя. В первой части — это столляр и отец, подчеркивающие, оттеняющие “чужачества” Миронова. В конце рассказа Миронов — воплощение обыденности и мещанского здравомыслия — обретает новое “отражение”: он как бы “замещает” в мире своего покойного тестя, “почтенного” Ивана Ивановича Розанова.

В “Голубой жизни” дwoятся и взаимоотражаются даже самые эпизодические образы. Например, образы докторов: к больному герою приходит как “посланник божий” фельдшер Исаков, затем он попадает к самому “богу” — доктору больницы для умалишенных. И в развязке Горькому понадобилось несколько рассказчиков: некий доктор, который рассказал ялтинскому знакомому Горького доктору Алексину историю Миронова, Алексин, пересказавший ее автору, и, наконец, сам автор, который поведал ее читателям.

По принципу “зеркального отражения” создаются и женские образы. Образ матери — огромной, вечно пьяной, с “мощным телом”, с запахом лука и моченых яблок — корреспондирует с образом девицы Серафимы. Обе они воплощают бездуховное, плотско-материальное начало жизни. На описание Серафимы, переходящее местами в карикатуру, автор не жалеет красок: “толстенькая, на коротких ножках”, с “жадным блеском множества мелких зубов”, “багровым румянцем”, с “раздражающим запахом густого, липкого пота”, “огромными полушариями бедер”, “резиновым телом” и т.д.

Противоположностью девице Серафиме является болезненная, тонкая, будто бесплотная “голубая” Лиза. Как бы следуя

эстетическому канону символиста Сологуба, Горький создает два “вечных типа” женщины — Альдонсы и Дульсины, “грубой румяной бабищи” и прекрасной “Незнакомки”. В соответствии с декадентским идеалом женской красоты болезненная Лиза Розанова предстает в восприятии Миронова как осуществление его заветной мечты, почти как Прекрасная Дама. Портрет девушки, данный влюбленными глазами Миронова, по-своему связан с романтической и символистской традицией: “Лиза Розанова понравилась Миронову в первый день Пасхи, когда он увидел ее одетой в голубое платье... маленькая, стройная и в то же время пышная, как необыкновенный цветок, она была вся голубая, даже в голубых чулках”. Но в восторженное отношение героя к “голубой” Лизе вносится ошутимая ироническая окраска. Ведь прежде Миронов замечал в ней другое: “тонкая, плоская фигурка, остроносое, птичье лицо с круглыми глазами и капризным или болезненным изгибом бескровных губ”, “лечится козьим молоком, противно пахучим” и т.д. Короче, “девушка так же некрасива, как сам он”. Это несоответствие позволяет догадываться, что Лиза Розанова может претендовать на звание Прекрасной Дамы только в расстроенном воображении Миронова.

В рассказе Горького используются и переосмысливаются некоторые устойчивые образы-символы модернистского искусства. Остановимся на одном из них — цветовом символе “голубой”. Голубой цвет в поэтике символистов — это цвет таинственного, неземного, “иных”, “нездешних” миров. Символический голубого цвета широко пользовались не только русские поэты-символисты, но и близкие им художники. В 1907 г. возникло сообщество художников, само название которого — “Голубая роза” — указывало на приверженность его членов определенным идеалам и символам. А программное произведение одного из ведущих художников группы, П. Кузнецова, называлось “Голубой фонтан”.

На эту традицию указывал А. Блок (сам внесший большой вклад в разработку цветовой символики) в статье “О “Голубой птице” Метерлинка”. Статья, написанная в 1920 г. для артистов Большого драматического театра, была, вероятно, известна Горькому. Блок даказывал в ней, что русское название пьесы Метерлинка “Синяя птица” — неверно, оно связано с тем, что в немецком и французском языках синий и голубой цвета обозначает одно слово. Однако в русском языке эта традиция связывается издавна с одним из главных произведений немецкого романтизма — “Голубым цветком” Новалиса. Именно ей, считает Блок, следовал Метерлинк в своей сказочно-символической драме. Обобщая литературно-художественные искания в области цветовой символики, Блок далее писал: “... цветок голубой, небо голубое, лунный свет — голубой, волшебное царство — голубое... и дымка, в которую закутана вся метерлинковская сказка и всякая сказка, говорящая о недостижимом, — голубая, а не синяя”<sup>15</sup>.

Горький не только подхватывает в "Голубой жизни" традицию символического истолкования слова "голубой", но и по-своему переосмысливает ее. Так же, как у романтиков и символистов, это цветовое определение используется им прежде всего для обозначения романтических мечтаний героя, которые воплощаются в образах "голубой жизни" и "голубого города", "голубой музыки" и "голубой тишины", даже "голубых мыслей и слов". Необычность в реалистическом повествовании таких определений смягчается в контексте многочисленных опирающихся на реальность эпитетов: "голубой дом", "голубое платье", "голубой туман", "голубая пустота небес" и т.п. Как и у А. Блока, в рассказе намечено смысловое разграничение синего и голубого цвета. Но для таких персонажей, как Розанов и столяр Каллистрат, этих разграничений не существует. Для них дом Миронова — синий. Когда же столяр выкрасил верхнюю часть дома темно-синей краской, "густой цвет сделал треугольник над окнами тяжелым и как будто приплюснул к земле голубой дом".

В первой, основной части рассказа все явления и предметы видятся как бы сквозь двойную призму: призму восприятия героя (в глазах которого "голубое" сохраняет всю свою мистическую таинственность и привлекательность) и призму легкой авторской иронии. Убогая жизнь уездной русской глуши, изображенная в произведении, входит в явное противоречие с определением "голубая". Отсюда — драматический и в то же время иронический оттенок уже в самом названии рассказа.

Любопытно отметить, что А. Н. Толстой почти одновременно с Горьким написал рассказ "Голубые города"<sup>16</sup>, где основной конфликт — противоречие мечты героя о будущей счастливой жизни с окружающей пошлой действительностью — изображается с помощью сходного с горьковским символа. Правда, у Толстого он теряет свою многозначность и превращается в простой знак, эмблему. Сближает рассказы писателей, при всем их видимом различии и разном уровне мастерства, также тема сумасшествия героя, не могущего примириться с грязью и пошлостью жизни.

Русская критика еще в 10-е годы, в связи с появлением окурковского цикла, заговорила об обновлении творческой манеры Горького, трактуя его в духе синтеза реалистических и модернистских черт, писала о "расширенном, обогащенном ... новыми техническими приемами", "более разнообразном и гибком по форме" реализме писателя<sup>17</sup>. Эти тенденции значительно усиливаются в прозе Горького начала 20-х годов. Двойственность изображаемой реальности, символический подтекст отдельных образов характеризуют содержание его произведений.

Сам Горький считал наиболее важным в структуре "Голубой жизни" образ-символ музыкального глобуса. 13 июля 1924 г. он писал В. Ф. Ходасевичу: "Написал рассказ, в котором глобус, примерное изображение земного шара, вертятся



вокруг оси, наигрывает: “Чижик, чирик, где ты был?”<sup>18</sup>. По прошествии времени, в 1930 г. он даже стал утверждать, что “в “Голубой жизни” интересен только глобус, который играет чирика”<sup>19</sup>. Этот емкий образ, который проходит через все повествование, сам Горький сопоставил с образом из рассказа “Енблема” — статуей богини справедливости, которую отправили в сумасшедший дом. Эти символы абсурдности бытия, объединенные горькозато-шутливой интонацией, или, по определению автора, “уклоном к юмору”, связаны с третьим символом парадоксального мироустройства: не где-нибудь, а именно в сумасшедшем доме Миронов смог обрести свою мечту о райской жизни. Об этом комплексе художественных идей Горький в шутливой форме писал Сергееву-Ценскому: “Сергей Николаевич, ей-богу, это блестящая идея: отправить богиню справедливости в сумасшедший дом! Оцените! А в другом рассказе, “Голубая жизнь”, у меня глобус — сиречь земной шар — “Чижика” играет. Считают, что это тоже не плохо”<sup>20</sup>.

Символическое звучание как отдельных образов, так и всего произведения усиливается благодаря музыкальному принципу развития действия. Все основные образы, возникнув впервые в тексте рассказа, появляются в нем снова и снова, варьируются, раз от раза обогащаясь новыми обертонами и проходя через все повествование как музыкальный лейтмотив. Этот прием использовался и ранее. Можно говорить, например, о музыкальности многих произведений Чехова. Но символисты возвели его в ведущий эстетический принцип. Затем он перекочевал в русскую прозу 10-20-х годов. Например, у превосходного стилиста Е. Замятина выделение яркой детали, черты и ее многократное повторение, как припева, становится одним из главных принципов создания образа, его смысловой доминанты.

В рассказах начала 20-х годов, и в частности, в “Голубой жизни”, Горький также широко использует этот прием. Сошлемся на один из центральных образов рассказа — образ столяра Каллистрата. Он выделяется своей многозначностью и символическостью, искусным смешением реалистических и фантастических черт. На это обратил внимание М. Пришвин. “Но замечательная там наметилась фигура *Столяра*, — писал он автору 10 апреля 1926 г., — вроде как бы чёрта, особенного, Вашего, естественного чёрта. Да, у Вас, конечно, есть свой чёрт, как и у Ремизова, только у того мистически-условный, а у Вас естественный и очень уж читаемый чёрт”<sup>21</sup>.

Дав однажды яркую, но краткую и четкую, как формула, портретную характеристику столяра, писатель затем вновь и вновь возвращается к ней, видоизменяя отдельные черты и детали, причем с каждым разом усиливает “бесовское” в его облике. Вот самый первый, еще вполне спокойный, нейтральный и реалистический его портрет: “... легко шагает тонкий, стройный столяр Каллистрат, босый, в переднике, выпачканном охрой и клеем, с темным ремненным венчиком на светлых

курчавых волосах; под его ястребиным носом светятся золотые усики. Накручивая на палец острую медную бородку, он ... звонко говорит: "Скука". Через несколько страниц описание внешности столяра приобретает уже некий зловещий оттенок: "Золотилась курчавая голова столяра, резко чернел венчик ремня на лбу его. Необыкновенны были зеленоватые глаза, насмешливые и хитрые, их острый блеск вызывал впечатление укола иглой. Человеку с такими глазами ни в чем нельзя верить". Постепенно столяр приобретает все более фантастический и устрашающий облик. Теперь уже Мионову кажется, что вокруг его головы колышется то дымное облако, а то и огненное пламя: "курчавые волосы на голове его извивались, как языки огня... Зеленоватые глаза ядовито блестели все видя, все понимая... Страшное лицо". И, наконец, Мионов с ужасом "догадывается", что столяр — не кто иной как "остромордый дьявол с козлиной бородою". Отметим, кстати, некоторую параллель: постепенное усиление зловещих черт в облике столяра и сологубовской Недотыкомки из "Мелкого беса". Вначале маленькая, серая, юркая, она в конце романа являлась Передонову "то кровавою, то пламенною, она стонала и редела"<sup>22</sup>.

Неоднократно возвращаясь к портрету столяра, Горький неизменно подчеркивает одну деталь: ременной ободок вокруг его лба — типичная деталь "убранства" мастерового. Но автор использует для ее обозначения слово из церковной лексики — венчик. А когда в одном из очередных описаний появляется еще и определение — "черный венчик", — в памяти может возникнуть таинственный образ "в белом венчике" из поэмы А. Блока "Двенадцать". В "белом венчике" — Иисус Христос, в черном — некто ему противоположный и противостоящий.

В образе столяра Горький еще раз обратился к типу русского озорника и чудака, человеку, отношение к которому было у писателя отнюдь не однозначным. Наряду с человеческим и художническим увлечением им, в ряде произведений, начиная с самых ранних, встречается и его полное развенчание (хотя бы, например, в рассказе 1897 г. "Зазубрина"). Трудно согласиться с мнением Е. Б. Тагера об эстетизации Горьким этого образа в "Голубой жизни", в котором воплотились черты "поэта, мечтателя, фантаста, разукрашивающего своей выдумкой" жизнь обывателя и способного "очаровать даже... Константина Мионова"<sup>23</sup>. На наш взгляд, столяр не только противостоит миру обывателей, но одновременно является и его порождением. Многочисленные выдумки столяра смешны или глупы. Не случайно именно столяр испортил играющий глобус, "сломал всю музыку." В "Голубой жизни", как и в других рассказах начала 20-х годов, Горький стремился к предельной сложности изображаемых характеров. Создавая целые ряды как бы двоящихся, дополняющих друг друга персонажей, он ни разу не противопоставил их по принципу

“светлое — темное”, “доброе — злое”, “положительное — отрицательное”. Это касается и образа столяра.

А вот как раскрывается одна из основных тем рассказа — тема сумасшествия. Она возникает уже в первых строках произведения, но звучит поначалу еле заметно. Появившись впервые в образе “распухшего, лишенного лучей, оранжевого солнца”, как будто ускользнувшего из “колонии для душевнобольных”, эта тема прослеживается пунктирно, постепенно все усиливаясь. То столяр в шутку пишет на фасаде мионовского дома “Дом сумасшедшего”. То сам Миронов принимает столяра за сумасшедшего. В конце первой части рассказа опять возникает зловещий образ солнца, уходящего за крышу колонии для умалишенных. Затем Розанов говорит столяру: “Ты сам и свел его с ума”, и т.д. В сцене в больнице тема звучит наиболее сильно, а затем, дойдя до кульминации, заглушается в эпилоге, когда Миронов рассуждает о том, как и из-за чего сходят с ума люди. И, наконец, завершается в финале рассказа энергичной авторской репликой: “Нет,— подумал я,— Константина Дмитриевича Миронова уже никто и ничто не сведет с ума!”.

По тому же принципу развиваются и некоторые другие темы, мотивы и образы: переплетаются, сливаются, затем вновь расходятся, звучат то глуше, то сильнее, образуя вместе сложную музыкально-образную структуру произведения. В рассказе все, вплоть до мелочей, тщательно продумано, взвешено, каждая деталь “работает” на основную идею. В присущей рассказу жесткой конструктивности кроется и некий недостаток. В 20-е годы Горький упрекал некоторых писателей (например, Е. Замятина<sup>24</sup>) в излишней “сделанности” их произведений, лишаящей их необходимой естественности и простоты. Однако и сам он в эти годы художественного экспериментирования не избежал того же греха. Наряду с несомненными достижениями в области формы Горький в какой-то мере утратил прежнее очарование безыскусности, стихийности и свободы своего таланта.

Писатель не только воспринимал отдельные формальные достижения “нового” искусства, но и полемизировал с его философско-эстетической проблематикой. Современные исследователи обнаруживают в рассказах 1922-1924 гг. спор с определенными течениями философской идеалистической мысли. Это относится и к “Голубой жизни”. Горький сам указал на некоторых адресатов своей полемики в написанном незадолго до этого очерке “А. А. Блок”: Л. Толстого, Ф. Достоевского, В. Розанова, Л. Андреева и др. По мнению Горького, всем им было свойственно недоверие к человеческому разуму. Эту же черту как основную писатель выделил и в облике героя своего очерка — А. Блока.

При всем интересе Горького начала 20-х годов к иррациональному в человеке, ему, приверженцу Разума, трудно было понять и принять недоверие и, как ему показалось, даже

страх Блока перед мыслью, перед разумными началами цивилизации. В очерке он воспроизводит следующее высказывание поэта: "Если б мы могли совершенно перестать думать хоть на десять лет. Погасить этот обманчивый болотный огонек, влекущий нас все глубже в ночь мира, и прислушаться к мировой гармонии сердцем". И тут же, после этих слов Блока, признается: "... я перестал понимать его"<sup>25</sup>. Блок для Горького — это свет далекой звезды, планета, пролетающая далеко от его собственной орбиты. «В общем: человек "декаданса"». Он производит на писателя "странное впечатление", говорит "быстро, неясно", "какими-то бредовыми словами", "глаза Блока почти безумны"<sup>26</sup>. И только история, рассказанная о поэте барышней с Невского, делает его "понятным и близким" Горькому.

Конечно, мы не отождествляем героя "Голубой жизни" и героя очерка "А. А. Блок"<sup>27</sup>. Но проверка высоких идей путем переноса их в мещанско-обывательскую среду, снижения и пародирования вообще была характерна для творчества Горького. Оба образа, созданные Горьким примерно в одно время, вызывают определенные сходные ассоциации, проистекающие, думается, из единого контекста духовных и художественных исканий писателя начала 20-х годов. Чрезвычайно волновавшие Горького и остро стоявшие в искусстве его времени вопросы о роли разума в развитии человечества, о соотношении мысли и интуиции явились предметом размышления как в рассказе "Голубая жизнь", так и в очерке "А. А. Блок".

Доминанту характера Миронова составляет страх перед необходимостью думать. Тема недоверия к разуму, к мысли, возникая в первой же фразе рассказа ("Константин Миронов, сидя у окна, смотрел на улицу, пытаясь не думать"), лейтмотивом проходит через все его страницы, развивается и приобретает все новые повороты и оттенки. "Думать я не люблю", — признается Миронов. Думы — это "пыль, от них только темнеет все". "Мысли — как черви, нароешь червей, они возьматся, извиваются..." и т.п.

Тяготясь мыслью, герой мечтает научиться "думать звуками", "вторить всему, о чем думалось, песней без слов", погрузиться в музыкальную стихию бытия, раствориться в ней. Выше уже говорилось, какое большое место занимает в рассказе "музыкальное оформление": песни, звуки оркестра, пение птиц и т.д. Символично звучит в этом контексте последняя фраза рассказа: "Глобус столяр, должно быть, хотел исправить, но окончательно сломал всю музыку..." Сломалась не просто игрушка, сломалось что-то в душе героя, ушла из нее музыка, а вместе с этим перестала для него звучать и музыка бытия, музыка мира.

Мысль Горького в этом рассказе не только противостоит, но в чем-то и перекликается с заветными мыслями Блока о музыке как первооснове бытия, о музыкальном устройстве

мира, о гармонии вселенной. Свою философскую концепцию музыки поэт наиболее четко выразил в докладе "Крушение гуманизма", на котором присутствовал Горький и впечатления от которого легли в основу его очерка о Блоке. Временами кажется, что при описании мечтаний Миронова, его внутреннего мира писатель пользовался лексическими средствами, как будто позаимствованными из художественного арсенала символистов и, в частности, Блока. Вот как, например, изображен процесс погружения героя в некое мечтательно-созерцательное состояние, в грезы наяву: "Он любил погружаться в тишину, как в воду... тогда он чувствовал себя свободным, легким, качался, плыл, и в нем возникала приятно певучая, бесконечная дума, лишенная слов, форм, образов."

Тогда небо, земля и все на ней как бы плавилось, таяло, медленными волнами текло куда-то, кругами поднималось беспредельно вверх, сам он весь звучал, и в то же время его не было, был только тихий полет.

Он не знал, не испытал ничего лучше и таинственнее этого бездумного, певучего подъема земли к звездам и с ними все выше, туда, где, вероятно, обитает некое величественное и необыкновенно ласковое существо, — оно-то и есть неиссякаемый источник этой опьяняющей музыки...

Но когда он пытался вообразить творца музыки мира, пред ним... возникал из голубого тумана образ нагой женщины... образ женщины надзвездных высот... (курсив мой — Н. П.)".

В заключение обратим внимание еще на одну параллель. В очерке о Блоке после записи о встрече с ним в Летнем саду писатель вдруг сообщает о своем знакомстве с матросом Балтфлота В. (Матрос и Блок — ассоциация, по-видимому, идущая от революционного духа "Двенадцати", и, возможно, от устного рассказа поэта Горькому о том, как к нему явился некий матрос, чтобы занять его квартиру, но, прочитав тут же на месте поэму "Двенадцать", ушел. Случай этот поэт описал в своем дневнике). Эпизод с матросом, свято, хотя и наивно верящим в науку, противопоставлен мотиву недоверия к разуму в предшествующем описании. Матрос с увлечением рассказывает Горькому о машинке "замечательной простоты: труба, колесо и ручка. Повернешь ручку, и — все видно: анализ, тригонометрия, критика и вообще смысл всех историй жизни. Покажет машинка и — свистит!" "Мне, — заключал автор, — эта машинка тем особенно нравится, что — свистит"<sup>28</sup>. Между глобусом, играющим "Чирика" в "Голубой жизни", и машинкой, которая свистит, невольно намечается некая связь, угадывается нечто общее: особое увлечение Горького этих лет художественным коллекционированием всего странного, причудливого, абсурдного, забавного. Сближает эти образы и эмоциональная окраска — мягкая ирония, легкий юмор.

Горький начала 20-х годов существенно обновляет свой метод новыми приемами письма и организации образной структуры текста, активно участвуя в создании новой русской литературы XX столетия.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Берберова Н. Курсив мой. (Автобиография). //Вопросы литературы, 1988, № 10. С. 234.
- <sup>2</sup> Вешнев В. Горькое лакомство (М. Горький к 10-летию Октября). //На литературном посту, 1927, № 20. С. 45.
- <sup>3</sup> Воронский А. Литературно-критические статьи. М., 1963. С. 372.
- <sup>4</sup> М. Горький. Полн. собр. соч. М., 1973. Т. 17. С. 624.
- <sup>5</sup> Текст рассказа здесь и далее цитируется по изданию: М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 17.
- <sup>6</sup> Молодая гвардия, 1925, № 10-11. С. 11.
- <sup>7</sup> Архив А. М. Горького. М., 1966. Т. 11. С. 245.
- <sup>8</sup> Тагер Е. Б. Творчество Горького советской эпохи. М., 1964. С. 174.
- <sup>9</sup> М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 624.
- <sup>10</sup> Там же. С. 614.
- <sup>11</sup> См.: Там же. Т. 18. С. 419.
- <sup>12</sup> М. Горький и советские писатели. //Лит. наследство. Т. 70. С. 330.
- <sup>13</sup> Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 134.
- <sup>14</sup> Архив А. М. Горького. Т. 10. Кн. 2. С. 351.
- <sup>15</sup> Блок А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1973. Т. 5. С. 512.
- <sup>16</sup> Рассказ Горького написан весной 1924 г., вышел из печати весной 1925 г. "Голубые города" написаны и изданы также весной 1925 г.
- <sup>17</sup> Неведомский М. О "новом" Максиме Горьком и новой русской беллетристике. //Запросы жизни, 1912, № 8. С. 490.
- <sup>18</sup> Новый журнал (Нью-Йорк), 1952, Кн. 31. С. 195.
- <sup>19</sup> Архив А. М. Горького. Т. 11. С. 245.
- <sup>20</sup> М. Горький. Собр. соч. Т. 30. С. 71.
- <sup>21</sup> Лит. наследство. Т. 70. С. 330.
- <sup>22</sup> Сологуб Федор. Мелкий бес. Рассказы. М., 1989. С. 245.
- <sup>23</sup> Тагер Е. Б. Творчество Горького советской эпохи. С. 211.
- <sup>24</sup> См.: Примочкина Н. Н. М. Горький и Е. Замятин (к истории литературных отношений). //Русская литература, 1987, № 4. С. 152.
- <sup>25</sup> М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 227.
- <sup>26</sup> Там же.
- <sup>27</sup> Подчеркнем, что герой очерка — не есть "буквальный" А. А. Блок, но (как и герои других литературных портретов Горького) художественный образ.
- <sup>28</sup> М. Горький. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 227-228.



ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА КОЛЯДА

27 декабря 1992 года скоропостижно скончалась Елена Григорьевна Коляда, старший научный сотрудник Института мировой литературы, кандидат филологических наук, наш товарищ и коллега по многолетней совместной работе.

Е. Г. Коляда родилась 1 ноября 1927 года в Москве, в семье гуманитариев. Ее отец Григорий (Грицько) Коляда, автор нескольких поэтических сборников, в начале 20-х годов был активным деятелем левых литературных группировок на Украине. Мать, Е. А. Бакич-Шестакова, редактировала в Учпедгизе педагогические труды, преподавала общественные науки.

После окончания Московского городского педагогического института им. В. П. Потемкина, защиты диссертации и кратковременной работы в Центральном государственном архиве литературы и искусства Е. Г. Коляда в 1955 г. пришла в Институт мировой литературы и трудилась здесь до конца дней своих: сначала — в Архиве А. М. Горького, а затем /с 1980 г./ в редакции “Литературного наследства”. Горьковедение в широком контексте изучения русского литературного процесса XX столетия стало преимущественной областью ее научных интересов. Будучи превосходным архивистом и одаренным литературоведом, Е. Г. Коляда активно участвовала в подготовке и редактировании ряда томов “Архива А. М. Горького”, была в числе текстологов и комментаторов Полного академического собрания сочинений Горького. Ее работы пуб-

ликовались в трудах сектора горьковедения, а затем Отдела русской литературы конца XIX — начала XX в. ИМЛИ, в журнальной и газетной периодике.

Один из самых красноречивых примеров деятельности Е. Г. Коляды как архивиста — ее участие в томе XII “Архива А. М. Горького” /М., 1969/, отмеченном критикой среди наиболее сложных и значительных книг этой серии. Кроме незавершенных художественных замыслов и статей, большую часть тома составили неизвестные горьковские заметки о литературе, языке, автобиографические и другие записи. Особую трудность представляло восстановление авторской системы этих заметок и записей (нарушенной при разборе архива после смерти писателя), что потребовало глубокого проникновения в творческую лабораторию Горького. Душой этой работы стала Елена Григорьевна. Ею же написано и предисловие к книге, в котором четко сформулированы способы классификации заметок и текстологические принципы их издания.

Чем бы ни занималась Е. Г. Коляда, в ее публикациях новизна проблематики органически сочеталась с новизной документального материала, как бы вырастала из него. Такова одна из особенно интересных ее работ — большая глава о “Журнале для всех” в книге “Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века” (М., 1981). Это — первое в нашей научной литературе развернутое исследование об одном из весьма заметных и своеобразных периодических изданий того времени.

Умение понимать и ценить документ как важный источник историко-филологического знания сблизило Елену Григорьевну с “Литературным наследством”. В томе 70 — “Горький и советские писатели” (М., 1963) Е. Г. Коляда приняла участие в редактировании всего тома и опубликовала с научным комментарием прежде не появлявшуюся в печати в таком объеме переписку Горького с Б. Пастернаком, М. Пришвиным, М. Шолоховым, М. Зощенко, А. Платоновым, Б. Пильняком, К. Фединым, О. Форш и др.

В 1977 г. вышла монументальная 95 книга “Литературного наследства” — “М. Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка”, — где специально отмечалась “большая научно-исследовательская и редакторская работа по подготовке тома”, которую провела Е. Г. Коляда. Ей принадлежит здесь также значительная часть публикации обширной переписки Горького с А. В. Амфитеатовым, ряд других работ. Среди них по своему научному весу выделяется документальное исследование “О Горьком и Лопатине” (по письмам известного русского революционера Германа Лопатина к общественному деятелю, публицисту, издателю В. Л. Бурцеву, тексты которых были получены из-за рубежа И. С. Зильберштейном, и по другим архивным материалам). Оно проливает новый свет не только на взаимоотношения Горького и Лопатина, но и в целом на почти не изучен-



ный последний период жизни Лопатина (после его выхода из Шлиссельбургской крепости в 1905 г.). Автору работы удалось — в числе многих других данных — установить неизвестные факты деятельности Лопатина как участника бурцевских зарубежных изданий (например, как “безымянного публикатора целого ряда материалов” в журнале “Былое”).

В течение последних нескольких лет Е. Г. Коляда в качестве ведущего редактора работала над новым горьковским томом “Литературного наследства”, куда должна войти, в частности, неизданная переписка 20-х годов и большой раздел “Письма о Горьком”. Елена Григорьевна отдавалась делу с энтузиазмом, разыскивая новый материал, расширяя круг авторов тома, в том числе зарубежных. Ее редакторские советы были основательны и авторитетны. Участвовала она и в редактировании двухтомного “Путеводителя” по “Литературному наследству”.

В эти же годы, наряду с работами в “Литературном наследстве”, Е. Г. Коляда принимала участие в серийном издании “Горький и его эпоха”. Во 2-м его выпуске (1989 г.) ею была опубликована со вступлением и комментариями статья Горького 1925 г. “Призвание писателя и русская литература нашего времени”. Благодаря этой публикации, наш читатель смог впервые познакомиться в отечественном издании с весьма важным горьковским выступлением (ранее печатавшимся только в переводе на венгерский язык).

Публикация писем Л. Н. Лунца к Горькому в настоящем сборнике — последняя законченная Е. Г. Колядой работа, к которой она не успела написать предисловие. Остались неосуществленными, среди других, и два замысла — монографически обобщить свои разыскания, касавшиеся творчества А. В. Амфитеатрова и издательской деятельности В. С. Миролюбова.

Елена Григорьевна была яркой личностью, натурой поэтической. Любила и глубоко чувствовала природу, музыку, тонко понимала живопись, искусство кино. Занятия литературой были не только ее профессией, — она постоянно и естественно жила в мире этих впечатлений. С душевным волнением воспринимала она события общественной жизни, дела Института, судьбы товарищей, была доброжелательна и участлива.

Шли годы, но Елена Григорьевна оставалась верна себе. Казалось, время не в силах изменить ее ни внутренне, ни даже внешне. Мы по-прежнему видели ее молодой, красивой, обаятельной.

Такой запомнят Елену Григорьевну все, кто знал и любил ее.

Редакция “Литературного наследства”  
Архив А. М. Горького  
Отдел русской литературы конца XIX —  
начала XX вв.

## СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

|                 |   |
|-----------------|---|
| А               | — автограф  |
| АГ              | — Архив А. М. Горького ИМЛИ РАН                                       |
| АМ              | — авторизованная машинопись   |
| ЛЖТГ            | — “Летопись жизни и творчества А. М. Горького”                        |
| Лит. наследство | — “Литературное наследство”   |
| МК              | — машинописная копия  |
| НМ              | — неавторизованная машинопись   |
| РГАЛИ           | — Российский государственный архив литературы<br>и искусства          |
| РЦХИДНИ         | — Российский центр хранения и изучения<br>документов новейшей истории |
| ЧА              | — черновой автограф   |

# УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аввакум 9, 298  
 Авенариус Р. 44  
 Авербах Л. Л. 164, 169, 177, 178, 180, 182-186, 190, 193, 199-202, 204  
 Аврамов Р. П. 70, 72, 83, 92, 93  
 Авсаркисов М. П. 38, 64  
 Агабеков Г. С. 173, 196  
 Агранов Я. 64, 67  
 Адлер Б. Ф. 93  
 Азеф Е. Ф. 172, 196  
 Айхенвальд Ю. И. 117, 130  
 Алданов М. (наст. фам. Ландау М. А.) 16, 23  
 Александр I 124  
 Алексин А. Н. 35, 58, 303, 306  
 Алексинский Г. А. 13, 22  
 Аллилуева Н. С. 185, 204  
 Аля-Алексинский (наст. фам. Романов А. С.) 46  
 Амати 178, 201  
 Амон О. Ф. 174, 197  
 Амфитеатров А. В. 45, 63, 316, 317  
 Андреев А. А. 200  
 Андреев Л. Н. 32, 53, 88, 94, 116, 130, 139, 296, 302, 311  
 Андреева М. Ф. 49, 70  
 Анненков Ю. П. 159  
 Анненский И. Ф. 111  
 Арагон Л. 206  
 Ардов Т. (наст. фам. Тардов В. Г.) 131  
 Аристотель 236  
 Артузов (Фраучи) А. Х. 175, 198  
 Арцыбашев М. П. 117, 130  
 Астров В. Н. 189  
 Астровы, братья 67  
 Афиногенов А. Н. 184, 186, 202, 204  
 Ахматова (урожд. Горенко) А. А. 64, 109-111, 126, 127  
 Ашкинази З. Г. 69  
 Ашукин Н. С. 154  
 Бабель И. Э. 139, 206  
 Базаров (наст. фам. Руднев В. А.) 10-13, 22, 24, 43-45, 174, 197  
 Бакагин В. В. 13  
 Бакич-Шестакова Е. А. 315  
 Бальзак О. де 147  
 Барбюс А. 74, 77-79, 90, 91, 93, 94, 206  
 Барри Д. 102, 120  
 Басилашвили О. В. 284, 285  
 Бах Р. 50  
 Бахтин М. М. 270, 305, 306, 314  
 Бебель А. 53  
 Бедный Демьян (наст. фам. Придворов Е. А.) 195, 196  
 Безродный М. 129  
 Бейлис М. 38, 62, 172, 195, 196  
 Беллини В. 281  
 Белоголовый А. А. 29, 32, 51  
 Белопольский И. Р. 118, 131  
 Белый Андрей (наст. фам. Бугаев Б. Н.) 93, 139, 141, 143, 154, 156-157, 302  
 Бенуа А. Н. 113  
 Берберова Н. Н. 70, 129 (жена), 151 (Н. Н.), 160, 161, 301, 314  
 Бердяев Н. А. 47  
 Берман Я. А. 43  
 Беседовский Г. З. 172, 173, 196  
 Бианки В. В. 164, 168, 192  
 Бич Р. 105, 123  
 Бласко Ибаньес В. 39, 65  
 Блок А. А. 8, 35, 36, 58, 77, 90, 98, 109, 111, 113, 117, 121, 126, 128, 131, 302, 307, 308, 310-314  
 Блок Л. Д. (урожд. Менделеева) 58, 59  
 Блок Ж. Р. 93, 206  
 Бобров, гравер 120  
 Богданов А. (наст. фам. Малиновский А. А.) 9, 10-12, 13, 22, 25, 26, 42-47, 174, 197  
 Богородский Ф. С. 171, 194  
 Бокий Г. Н. 163  
 Большаков А. П. 210  
 Бомбаччи Н. 14  
 Бонч-Бруевич В. Д. 50  
 Бортник И. С. 281  
 Боткин С. П. 22  
 Бочарова И. А. 6  
 Боярский А. И. 38, 64  
 Браиловский 168, 193  
 Браун Ф. А. 93  
 Брет-Гарт (наст. фам. Гарт Ф.) 115, 130, 139  
 Броше 174, 197  
 Брюсов В. Я. 117  
 Бубнов А. С. 175, 198  
 Будда 82  
 Будберг М. И. 70, 72, 150, 160  
 Букшпан Я. М. 22  
 Булгаков С. Н. 47  
 Булгаков Ф. И. 123  
 Бунин И. А. 118  
 Буранов Ю. Я. 53  
 Бурцев В. Л. 52, 196, 316

Бухарин Н. И. 49, 56, 163, 166, 189  
Буш Н. А. 29, 30, 32, 50, 51  
Быков П. В. 112, 127  
Быстрянский В. А. 111, 125, 127  
Бялик Б. А. 22, 269, 275, 286

Вагнер Р. 93  
Вайнберг И. И. 22, 52, 62  
Вайян-Кутюрье П. 93  
Валентинов Н. (наст. фам. Вольский Н. В.) 9, 21, 22  
Валентинов — см. Плеханов Г. В.  
Вандервельде Э. 91  
Ван-Эйки, Г. и Я. 78, 91  
Василевский И. М. (псевд. Не-Буква) 68

Василий (наст. фам. Устинов Н. У.) 46  
Введенский И. И. 103, 121, 122  
Вейс Д. Л. 37, 61  
Венгеров С. А. 108, 125  
Вербицкая А. А. 118, 131  
Вересаев (наст. фам. Смидович) В. В. 138

Веселый Артем (наст. фам. Кочурков Н. И.) 174  
Вест Р. (наст. фам. Фейерфельд Ц. И.) 85 (Вебб), 93  
Вешнев В. (наст. фам. Пржецлавский В. Г.) 299, 300, 302, 314  
Вивьен Л. С. 274, 277  
Вилонов Н. Е. (псевд. Михаил) 25, 26, 45, 46

Вильгельм II 91  
Виноградов А. К. 181, 202  
Витязев П. (наст. фам. Седенко Ф. И.) 19, 23

Витя, Виктор — см. Шкловский В. Б.  
Волков А. А. 67  
Волчек Г. Б. 276  
Волынский А. Л. 109, 113, 124, 126  
Воровский В. В. 55, 60  
Воронов Б. Д. 275  
Воронский А. К. 23, 154, 155, 159, 161, 302, 314

Ворошилов К. Е. 175  
Врубель А. А. 113, 128  
Всеволод — см. Иванов Вс. Вяч.  
Высоцкий В. С. 280

Гагарины, князя 128  
Гак А. М. 51  
Галант И. Б. 302, 304  
Галлигарис 191  
Гамарник Я. Б. 175, 198  
Ганецкий (наст. фам. Фюрстенберг) Я. С. 37, 61  
Гауптман Г. 65

Гачев Г. Д. 6, 207  
Гаччи Отелло 191  
Гед Ж. 91  
Геллер М. Я. 67  
Гельфонд О. И. 43  
Гендерсон А. 91  
Герцен А. И. 108, 125  
Гершензон М. О. 47, 109, 125  
Гессе Г. 166  
Гете И. В. 80  
Гиппиус З. Н. 37, 52, 53, 61, 124  
Гладков Ф. В. 203  
Гоголь Н. В. 155, 256, 302, 303  
Годин Я. В. 118, 131  
Головин Ф. А. 38, 64  
Голсуорси Д. 104, 122  
Голубков М. М. 204  
Гольбах П. А. 44  
Гончаров И. А. 101  
Горбунов Н. П. 67  
Горелов А. Е. 194  
Городецкий С. М. 153, 157  
Гредескул Н. А. 69  
Гржебин З. И. 17, 34, 36-38, 52, 54-57, 60-62, 94, 113, 121, 128, 154, 161  
Гржебин Т. Н. 109, 126  
Гржебина Е. З. 62  
Грибов А. Н. 273, 274  
Грибоедов А. С. 52  
Гримм Д. Д. 29, 51  
Грин А. (наст. фам. Гриневский А. С.) 124  
Гринберг З. Г. 107, 124  
Гринвуд Д. 104, 122  
Груздев И. А. 70, 152, 158, 200  
Гувер Г. 65  
Гуернашелли (Гуернаскелли) 191  
Гукасов А. О. 171, 174, 194  
Гуль Р. 67  
Гумилев Н. С. 63, 64, 68, 77, 90, 111, 120, 121, 124  
Гэцци Ф. 164, 172, 194, 195  
Гюго В. 93

Даманская А. Ф. 14, 49, 60 (Д. А.)  
Дан (наст. фам. Гурвич) Ф. И. 24, 30, 43, 51, 52, 178, 200  
Данте Алигьери 134  
Дежнев С. И. 118, 131  
Дейвис А. 115 (Девис), 130  
Дейч Л. Г. 113, 128  
Деникин А. И. 33  
Депп Г. Ф. 29, 30, 32, 50, 51  
Деренталь А. А. 8  
Десницкий (псевд. Строев) В. А. 114, 129  
Джекобс В. 104, 123  
Дженкинс Э. 99, 104, 119  
Джером К. Джером 102, 120

Дзержинский Ф. Э. 49, 58, 62, 67, 90, 193, 199, 205  
 Диккенс Ч. 100, 103, 104, 122, 123  
 Дикушина Н. И. 58  
 Лицен И. 43  
 Дмитриевский С. Д. 172, 173, 196  
 Добровейн И. А. 85, 86, 93  
 Добролюбов Н. А. 101  
 Добужинский М. В. 113, 128  
 Довгалецкий В. С. 199  
 Донзель М. 88 (псевд. Парижанин), 94  
 Достоевский Ф. М. 30, 100, 112, 284, 302, 305, 311  
 Дрейден С. Д. 115, 129  
 Дроздов А. М. 143, 154  
 Дубнова Е. Я. 6, 271  
 Дубровинский И. Ф. 43, 46  
 Думова Н. Г. 22  
 Дымов О. (наст. фам. Перельман О. И.) 118, 131  
 Дюамель Ж. 85, 93  
 Дюма А. — отец 138  
 Евстигнеев Е. А. 277-279  
 Ежов Н. И. 167  
 Енукидзе А. С. 193  
 Ермолаев Г. 201  
 Есенин С. А. 153, 157  
 Жаботинский В. Е. 137  
 Жданов А. А. 133, 140  
 Жегалов Н. Н. 269  
 Железняков А. Г. 92  
 Жермен А. 88, 94  
 Жид А. 206  
 Жуковский В. А. 102, 103, 121  
 Зайцев Б. К. 22, 117, 131  
 Зайцев 114, 129  
 Закс (псевд. Гладнев) С. М. 18, 33, 34, 37, 54, 55, 57, 61  
 Замятин Е. И. 22, 67, 108, 113, 124-126, 136, 137, 139, 140, 155, 157, 159, 164, 166, 302, 309, 311, 314  
 Захава Б. Е. 275  
 Зильбер В. А. — см. Каверин В. А.  
 Зильберштейн И. С. 41, 316  
 Зиновьев (наст. фам. Радомысльский) Г. Е. 27, 46, 48, 49, 54, 57, 63, 90, 94, 128, 129  
 Злобин В. А. 61  
 Зозуля Е. Д. 154  
 Золотарев А. А. 166, 173, 196  
 Золотарев Д. А. 173, 196  
 Зошенко М. М. 93, 127, 139, 146, 148, 152-157, 160, 316

Ибаньес — см. Бласко Ибаньес В.  
 Иван IV, Грозный 89  
 Иванов А. К. 102, 120  
 Иванов Вс. Вяч. 93, 112, 127, 139, 143, 144, 146-148, 152-158, 160, 200, 203  
 Иванов Вяч. Вс. 68, 155, 163  
 Иванов К. В. 120  
 Иванов-Разумник (наст. фам. Иванов Р. В.) 142, 153, 157  
 Ивановский Н. В. 54  
 Ивченко В. М. 284  
 Игельстрём А. 65  
 Игнатов Е. Н. 65  
 Игнатъев А. М. 182, 203  
 Изгоев (наст. фам. Ланде) А. С. 47  
 Измайлов А. А. 117, 131  
 Ильин Яков 39  
 Ильинский М. А. 51  
 Ионов (наст. фам. Бернштейн) И. И. 108, 125, 181, 202  
 Иоффе, инженер 189  
 Исаков С. Г. 49  
 Искандер Ф. А. 162  
 Каверин (наст. фам. Зильбер) В. А. 93, 133, 139, 145, 146, 152-154, 156, 157, 160, 161  
 Кадыан А. Ю. 38, 62  
 Кадыан, доктор 62  
 Калинин И. А. 197  
 Камегулов А. Д. 194  
 Каменев (наст. фам. Розенфельд) Л. Б. 46, 49, 50, 62, 64, 66, 71, 90, 94, 153, 163, 166  
 Каменский А. П. 118, 131, 172, 195, 196  
 Кан З. Ф. 54  
 Кант И. 256  
 Каплун Б. Г. 107, 124  
 Каплун С. Г. 137, 160  
 Каратыгин Е. С. 54  
 Карлейль Т. 115, 120  
 Кауфман, генерал 51  
 Кафенгауз Л. Б. 22  
 Кваша И. В. 276  
 Кейн Х. 102, 120  
 Керн Г. 157, 161  
 Кибальчик С. — см. Серж Виктор  
 Кириленко К. Н. 140  
 Киров (наст. фам. Костриков) С. М. 167, 190, 206  
 Киршон В. М. 177, 184, 186, 202, 204  
 Кистяковский Б. А. 47  
 Клайман 186 (англичанка), 204  
 Ключев Н. А. 153, 157  
 Коган Л. А. 52  
 Коган П. С. 158  
 Кок П. де 100, 119

- Колобаева Л. А. 6, 287  
 Колумб Х. 75  
 Колчак А. В. 33  
 Кольцов (наст. фам. Фридлянд) М. Е. 206  
 Коляда Г. А. 315  
 Коляда Е. Г. 52, 133, 139, 140, 315-317  
 Кони А. Ф. 113, 128  
 Константин (Романов К. П.), вел. кн. 106, 124  
 Корди-Шкловская В. Г. 145, 156  
 Корин П. Д. 166  
 Короленко В. Г. 8, 77, 88, 90, 94, 98, 117, 118, 131, 160  
 Косарев А. В. 201  
 Коцюбинский М. М. 169, 193  
 Кочергин Э. С. 285  
 Крамер Н. 50  
 Красин Л. Б. 27, 48 53, 64, 69  
 Красовская Е. А. 102  
 Крашенинников С. П. 118, 131  
 Кржижановский Г. М. 36, 59  
 Крогус А. А. 29, 30, 50, 51  
 Крпоткин П. А. 51  
 Крючков П. П. 71, 163, 165, 170, 172, 173, 175-177, 180, 183, 187, 188 (податель), 190, 194, 195, 197-202, 204, 205  
 Крючкова Е. З. 199  
 Крыленко Н. В. 197  
 Ксения Александровна, вел. кн. 61  
 Кудашева-Роллан М. П. 72, 192 (жена), 197, 206  
 Кузнецов П. В. 307  
 Кузьмин 113  
 Кукольник Н. В. 177, 200  
 Кульбакин В. Д. 92  
 Куприн А. И. 117, 130, 284  
 Курский Д. И. 194  
 Кускова Е. Д. 38, 64-67  
 Кутепов А. П. 172, 195  
 Кэн Х. — см. Кейн Х.  
 Лабриола А. 24, 44  
 Лавров К. Ю. 285  
 Лавуазье А. Л. 67  
 Ладыжников И. П. 37, 41-43, 45, 61, 68, 145, 156  
 Лазаревский Н. И. 63, 67  
 Ланской В. В. 276  
 Лао-цзы 82 (Лаодзе), 92  
 Ларичев В. А. 197  
 Латманизов М. В. 64  
 Латышев А. 52  
 Лебедев Е. А. 283, 284  
 Лебедев-Полянский П. И. (наст. фам. Лебедев П. И.) — см. Полянский В.  
 Левин Л. Г. 179, 201  
 Левинсон А. Я. 102, 119  
 Левитин А. 64  
 Левкоев Н. А. 275, 286  
 Лежава А. М. 40, 68  
 Лемке М. К. 108, 111, 124, 125 (Маврин М.)  
 Ленин (наст. фам. Ульянов) В. И. 5, 7-27, 29, 30-36, 38, 40-64, 66-69, 71, 90, 92, 94, 122, 174, 196, 197, 287, 292, 293, 298, 300  
 Ленский В. (наст. фам. Абрамович В. Я.) 131  
 Леопольд — см. Авербах Л. Л.  
 Лесков Н. С. 83, 93, 98, 117, 130  
 Леткова (в замуж. Султанова) Е. П. 113, 124, 128  
 Либединский Ю. Н. 185, 186, 200, 202, 204  
 Либкнехт К. 48  
 Лидин В. Г. 154  
 Лилина З. И. 113, 128  
 Липшиц Ж. 174 (Лифшиц), 197  
 Литвинов М. М. (наст. фам. Валлах М.) 69  
 Литвинов 174 (учитель), 198  
 Лозовский С. А. 46  
 Локнер Л. -П. 95  
 Ломброзо Ч. 164  
 Лондон Джек (наст. фам. Гриффит Д.) 115, 118, 130, 131  
 Лопатин Г. А. 52, 316  
 Лукас М. 78, 91  
 Луначарский А. В. 8, 10, 12, 41-43, 46, 50, 57-59, 107, 124-126, 135, 136, 159, 196  
 Лундберг Е. 37, 61  
 Лунц Л. Н. 6, 93, 108, 113, 124, 127, 133-140, 142, 143, 145, 147, 149-154, 156-161, 317  
 Лутохин Д. А. 162  
 Львов-Рогачевский В. (наст. фам. Рогачевский В. Л.) 147, 157  
 Любимов Ю. П. 280  
 Люксембург Р. 48  
 Ляхович К. Н. 8  
 Магомед (Мухаммед) 262, 266  
 Май А. 278  
 Майский И. М. 159  
 Макс, Максим — см. Пешков М. А.  
 Максимов — см. Богданов А.  
 Малиновский Р. В. 55, 56 (Роман)  
 Мальро А. 192, 206  
 Мандельштам О. Э. 124, 139, 140, 154  
 Манн Г. 285  
 Манн Т. 237  
 Мансикка В. Й. 65

- Манухин И. И. 14, 22, 32, 36, 52, 53, 59, 101, 119  
 Марголис И. А. 54  
 Марецкий Д. П. 189  
 Марков П. А. 276, 279, 286  
 Маркс К. 44, 53, 54, 112, 197  
 Марр Н. Я. 66  
 Мартов Л. (наст. фам. Цедербаум Ю. О.) 18, 52  
 Маршак С. Я. 192  
 Масальская А. С. 51  
 Масарик Т. 39, 65  
 Мах Э. 44  
 Маяковский В. В. 108-112, 126, 127  
 Мельгунов С. П. 22, 63  
 Менжинский В. Р. 173, 175, 180, 189 (Вячеслав Рудольфович), 197, 205  
 Мережковский Д. С. 25, 37, 61, 106, 117, 124  
 Метерлинк М. 307  
 Мехлис Л. З. 201  
 Мечников И. И. 31  
 Мечников И. Н. 109, 126  
 Мещеряков Н. Л. 56  
 Миккола И. Ю. 65  
 Миллер Ф. 102, 121  
 Милюков П. Н. 30, 51, 172, 195  
 Минин К. 118, 131  
 Минц Э. Г. 57, 59, 63  
 Минц И. И. 190, 205  
 Миролюбов В. С. 317  
 Михаил — см. Вилонов Н. Е.  
 Михайлов А. Д. 72  
 Михайлова С. Б. 22  
 Могилянский М. М. 169, 193  
 Модэ 191  
 Молчанов В. 41  
 Монахов Н. Ф. 115, 129  
 Монтескье Ш. Л. 74, 90  
 Морьер Д. 105, 123  
 Москвин И. М. 114, 129  
 Москвин И. М. 272-274  
 Мотя, Матвей Семенович — см. Погребинский М. С.  
 Моцарт В. А. 230, 233, 281  
 Муравьев М. Н. 119  
 Муссолини Б. 93, 178, 200  
 Надеждина Н. Е. 47  
 Нансен Ф. 39, 65  
 Наполеон I (Бонапарт) 262, 266  
 Наташа — см. Семенова Н. П.  
 Неведомский М. (наст. фам. Миклашевский М. П.) 314  
 Некрасов Н. А. 98, 101, 107-109, 111, 119, 123-125, 195, 196  
 Немирович-Данченко Вл. И. 275, 285  
 Никё М. 58  
 Никитин Н. Н. 93, 127, 139, 143, 144, 150, 152, 154-156, 160, 161  
 Николаев 206  
 Николаевский Б. И. 164  
 Никулин Л. В. 178, 200  
 Ницше Ф. 99, 115, 119  
 Нобель Э. 67  
 Новалис (наст. фам. Харденберг Ф.) 307  
 Новорусский М. В. 66  
 Овидий (Публий Овидий Назон) 88  
 Овсянко-Куликовский Д. Н. 111  
 Овчаренко А. И. 22  
 Огородников Н. А. 67  
 Одоевцева И. В. (наст. фам. Гейнике И. Г.) 113, 128  
 Ольденбург С. Ф. 29, 30, 32, 36, 50, 51, 60, 66, 109, 125  
 Орешин П. В. 153, 157  
 Орлов А. 193  
 Осадчий П. С. 36, 59, 60, 166, 175, 198  
 Осипов В. П. 29, 32, 36, 50, 51, 59, 60  
 Останкович Софья 191  
 Оцуп Н. А. 40, 68, 107, 124  
 П. П. — см. Крючков П. П.  
 Павленко П. А. 203  
 Павлов И. П. 31, 293  
 Павлова М. М. 53  
 Панаев И. И. 125  
 Панаева (урожд. Головачева) А. Я. 107, 119, 124  
 Панкратова А. М. 200  
 Парамонов Б. М. 10, 22  
 Парижанин — см. Донзель М.  
 Пастер Л. 53  
 Пастернак Б. Л. 172, 196, 316  
 Пахом (наст. фам. Люшвин В. С.) 46  
 Пергамент М. Я. и О. Я. 50  
 Перский С. 92  
 Перюс Ж. 72  
 Петр I, Великий 76, 89  
 Петр, Петр Петрович — см. Крючков П. П.  
 Пешков М. А. 40, 67, 70, 91, 95, 163, 167, 170 (сын), 176, 185, 186, 189, 194, 195, 199, 204  
 Пешкова Е. П. 62, 67, 72, 89, 91, 95, 166, 174, 188 (Е. П.), 198, 205  
 Пешкова Н. А. 165, 170, 176, 177, 189, 194, 199  
 Пешковы М. А. и Н. А. 194, 205  
 Пий XI 178 (папа), 200  
 Пильняк (наст. фам. Ворай) Б. А. 113, 114, 128, 139, 141, 143, 144, 146, 154, 155, 160, 316

- Пименова Э. К. 112, 127  
 Пинкевич А. П. 114, 129  
 Пиранделло Л. 137  
 Писарев Д. И. 294  
 Платон 213, 236  
 Платонов А. П. 316  
 Платонов С. Ф. 196  
 Плетнев Д. Д. 35, 58  
 Плеханов Г. В. (псевд. Валентинов) 24, 25, 44, 46  
 Плещеев А. Н. 102, 121  
 Погребинская А. Б. 198  
 Погребинский М. С. 163, 169, 176, 179, 180, 181, 183, 193, 198, 199, 201-203  
 Подвойский Н. И. 37, 61  
 Познер В. С. 113, 127, 152  
 Покровский М. Н. 175, 198  
 Полонская Е. Г. 109, 125, 135, 152, 155  
 Полянский В. 158  
 Попов С. Ч. 191, 206  
 Постышев П. П. 200  
 Потемкин В. П. 315  
 Потресов А. Н. 52  
 Примочкина Н. Н. 6, 97, 154, 301, 314  
 Пришвин М. М. 192, 305, 309, 316  
 Прокопович С. Н. 38, 64, 66  
 Прокофьев А. Н. 175, 189, 198  
 Протопопов С. Д. 8  
 Пуанкаре Р. 80, 92, 174, 198  
 Пушкин А. С. 83, 93, 108, 125, 274  
 Пьер А. 92  
 Пяст (наст. фам. Пестовский) В. А. 124  
 Пятницкий К. П. 10, 22  
  
 Рабинянц Н. 284, 286  
 Радек К. Б. 166  
 Раевская-Хьюз О. 68, 154  
 Разгон Л. Э. 129  
 Райт Х. -Ч. 65  
 Рак М. 174 (жандарм), 198  
 Рамакришна Б. (Чаттерджи Г) 105, 123  
 Рамзин Л. К. 197  
 Рассел Б. 20, 23  
 Рафаэль Санти 12  
 Ревякина И. А. 7  
 Регинин В. (наст. фам. Раппопорт В. А.) 200  
 Рейнгардт М. 273, 274  
 Ремизов А. М. 126, 139, 141, 155, 302, 309  
 Ржевская Н. Ф. 70, 72, 319  
 Рид Ч. 105, 123  
 Роден О. 278  
 Родэ А. С. 39, 66, 113, 127  
 Рождественский Вс. А. 102, 121  
 Рожков Н. А. 17, 26, 27, 29, 47, 48  
 Розанов В. В. 108, 302, 311  
 Розенцвейг С. Е. 285  
  
 Роллан Мадлен 86 (сестра), 93, 95, 96  
 Роллан М. П. — см. Кудашева-Роллан М. П.  
 Роллан Р. 5, 70-73, 76-80, 82, 83, 85, 86, 88-96, 164, 166, 172, 174, 190, 191, 194, 195, 197, 200, 206, 237  
 Романес 39  
 Романов Г. К., вел. кн. 53  
 Рониер Э. 88, 94  
 Рославлев А. С. 118, 131  
 Рубинштейн Б. Н. 37, 61  
 Рыков А. И. 17, 19, 38, 55-57, 60, 71, 94, 163, 193  
 Рютин М. Н. 186, 204  
 Рябушинский С. П. 167, 201  
 Рязский Г. Г. 171, 194  
 Рязанов (наст. фам. Гольдендах) Д. Б. 32, 53  
  
 Савинков Б. В. 63  
 Садовский Ю. 196  
 Садофьев И. И. 158, 160  
 Сазонов П. В. 113, 128  
 Салтыков-Шедрин М. Е. (наст. фам. Салтыков М. Е., псевд. Н. Шедрин) 101, 220  
 Сальери А. 230, 233  
 Самба М. 91  
 Саути Р. 120, 121  
 Свечников В. 165  
 Свириденко С. 112, 127  
 Свифт Д. 125  
 Северянин (наст. фам. Лотарев) И. В. 110  
 Сейфуллина Л. Н. 178, 200  
 Селезнева И. Н. 7, 47, 51  
 Семашко Н. А. 50  
 Семенов А. А. 166, 168, 192, 193  
 Семенова Н. П. (урожд. Угловская) 166 (жена), 168, 169, 192, 193  
 Серж Виктор (Кибальчич С.) 164, 191, 192, 206  
 Серафимович (наст. фам. Попов) А. С. 203  
 Сергеев-Ценский (наст. фам. Сергеев) С. Н. 8, 98, 116, 130, 139, 293, 300, 309  
 Серман И. З. 140  
 Сеченов И. М. 53  
 Симонов Н. К. 274, 277, 278, 286  
 Симонян А. М. 22  
 Синклер Э. 65  
 Сипельгас-Ольшанский 205  
 Скворцов-Степанов И. И. 18, 19, 23, 174, 197  
 Скоробогатов К. В. 274, 275  
 Слезкин Ю. Л. 154  
 Слепков А. Н. 189, 204, 205



- Слонимский М. Л. 93, 108, 112, 124, 127, 133, 139, 144, 145, 148, 152-155, 157-159, 161
- Смольников В. 279
- Соболев Ю. 154
- Соболь А. (наст. фам. Нежданов Ю. М.) 154
- Содди Ф. 85, 93
- Сократ 213, 236, 237
- Солженицын А. И. 64
- Соловьев Вл. С. 111
- Соловьев В. А. 200
- Соловьева И. Н. 273, 285
- Сологуб (наст. фам. Тетерников) Ф. К. 98, 116, 130, 296, 302, 303, 307, 314
- Соломон Г. А. 172, 196
- Сорокин П. А. 17, 18, 23, 64
- Сперанский В. Н. 205
- Спиноза Б. 44
- Спиридонова Л. А. 70, 95, 162
- Сталин (наст. фам. Джугашвили) И. В. 48, 66, 68, 71, 155, 162, 163, 167, 174, 175, 188-191, 193, 195, 204-206, 290, 291, 300
- Старовер (наст. фам. Панкратов И. И.) 25, 46
- Стендаль (наст. фам. Бейль А. М.) 88
- Степанов — см. Скворцов-Степанов И. И.
- Стецкий А. И. 200
- Стивенсон Р. Л. 138
- Стонов Д. М. 154
- Стржельчик В. 285
- Строев — см. Десницкий В. А.
- Струве П. Б. 47
- Суварин Б. М. 164
- Суворов С. А. 43
- Сулима-Самойло А. 186, 187, 204, 206
- Сун-Ят-Сен 203
- Суханов (наст. фам. Гиммер Н. Н.) 174, 197
- Таганцев В. Н. 38, 59, 62, 63, 67
- Таганцев Н. С. 62, 63
- Таганцева 62
- Таганцевы 63
- Тагер А. С. 195
- Тагер Е. Б. 304, 310, 314
- Тагор Р. 93
- Тарасевич А. Л. 38, 64
- Тарасов Е. М. 131
- Тарле Е. В. 166
- Тарханов М. М. 273, 274
- Твардовский А. Т. 221
- Твен Марк (наст. фам. Клеменс С.) 116, 130
- Теккерей У. 102, 120
- Терехов Г. А. 64
- Терешин С. Я. 29, 32, 50, 51
- Терц Абрам (наст. фам. Синявский А. Д.) 133
- Тимоша — см. Пешкова Н. А.
- Тихвинский М. М. 39, 67
- Тихонов А. Н. 37, 61, 109, 121, 125, 126
- Тихонов Н. С. 93, 145, 152, 154, 155, 161, 194
- Товстоногов Г. А. 271, 274, 282-286
- Толстая А. Л. 64
- Толстой А. Н. 117, 131, 146, 157, 308
- Толстой Ив. 154
- Толстой Л. Н. 51, 70, 81, 88, 94, 120, 139, 311
- Толубеев Ю. В. 274
- Тома А. 91
- Томкевич И. С. 276
- Томский М. П. 166
- Тонков В. Н. 29, 49, 50
- Тополянский В. 52
- Торо Г. 115, 130
- Тренев К. А. 8
- Трофимов А. 281
- Троцкий (наст. фам. Бронштейн) Л. Д. 20, 40, 66, 68, 88, 94, 158
- Трояновский А. А. 21
- Трубецкой С. П. 124
- Тургенев И. С. 138
- Туркин В. Н. 30, 51
- Тынянов Ю. Н. 138, 140, 155
- Уайльд О. 99, 118, 119, 124, 237
- Уитмен У. 109, 126
- Ульянова М. И. 35 (Мария Ильиншчна), 58, 62 (Мария Ильинична)
- Ульяновы 62
- Уншлихт И. С. 59, 64, 67
- Упрыжкин 168, 193
- Урицкий С. Б. 174, 197
- Успенский Г. И. 101
- Устинович 168
- Уханов К. В. 164
- Ухтомский С. А. 63
- Уэллс Г. 17, 18, 65, 290
- Фадеев А. А. 185 (Саша), 202, 204
- Федин К. А. 133, 134, 139, 140, 143, 145, 147, 152, 154, 157, 159, 161, 316
- Федоров С. П. 31, 52
- Федосова И. А. 297
- Федотов А. А. 197
- Философов Д. В. 61
- Фирин С. Г. 180, 184, 201
- Флейшман Л. 68, 154
- Флобер Г. 100
- Фома (наст. фам. Козырев Н. Н.) 46

- Форш О. Д. 112, 113, 124, 157, 316  
 Фотиева Л. А. 62  
 Франк С. Л. 47  
 Франс А. 65, 92, 237  
 Фрейндлих А. Б. 284  
 Фрейндлих Б. А. 274  
 Фридман С. 200  
 Фриче В. М. 111, 127  
 Фукс Э. 27, 48  
 Фурье Ш. 113, 128  
  
 Халатов А. Б. 173, 196  
 Хлебников Л. М. 60, 61  
 Хинчук Л. М. 38, 64  
 Ходасевич В. М. 102, 120  
 Ходасевич В. Ф. 22, 57, 63, 66, 67, 93, 113, 124, 129, 139, 147, 148, 149 (Влад. Фел.), 150, 151 (Влад. Фел.), 158-161, 308  
 Ходасевичи 114, 149, 151  
 Хоружий С. С. 52  
 Христос (Иисус Христос) 92, 310  
 Хрусталева В. М. 53  
 Хъетсо Г. 65  
 Хьюз Р. 68, 154  
  
 Цейтлин А. Г. 189  
 Цензор Д. М. 118, 131  
 Циперович Г. В. 64  
  
 Чапыгин А. П. 157  
 Чарская Л. А. 118, 132  
 Чернов В. М. 18, 32, 52  
 Черномазов М. Е. 55, 56 (Мирон)  
 Черносвитов К. К. 67  
 Черный Саша (наст. фам. Гликберг А. М.) 110, 111, 126  
 Чернышевский Н. Г. 136  
 Черткова О. Д. 185 (Лапочка), 188 (Лапочка), 189 (Лапа), 204, 205  
 Чехов А. П. 88, 94, 116, 130, 131, 285, 294, 302, 309  
 Чосер Дж. 258  
 Чудакова М. О. 133  
 Чудовский В. А. 113, 128  
 Чуковская М. Б. 106 (жена)  
 Чуковская Е. Ц. 97, 120, 121, 123, 126, 129, 130  
 Чуковский К. И. 6, 66, 97-99, 101-107, 109, 110 (К. И.), 112-116, 118-132, 137  
 Чуковский Н. К. 154  
 Чулков Г. И. 131  
 Чумандрин М. Ф. 184-186, 200, 202, 204  
  
 Шавров В. 64  
 Шагинян М. С. 112, 113, 124, 155  
 Шаляпин Ф. И. 174, 198  
 Шварц Е. Л. 137, 140  
 Шверник Н. М. 200  
 Шевченко В. Я. 178, 201  
 Шейдеман Ф. 48  
 Шекспир У. 45, 135  
 Шехтель Ф. О. 201  
 Шешуков С. И. 201  
 Шилейко В. К. 121  
 Шиллер Ф. 75, 91  
 Шимкевич Андрей 197  
 Шишмарева М. А. 122, 123  
 Шкловский В. Б. 108, 111, 113, 124, 127, 138, 140, 143, 146, 147, 149, 154, 155, 156, 158  
 Шляпников А. Г. 9  
 Шмелев И. С. 8, 139  
 Шпильгаген Ф. 115, 130  
 Шолохов М. А. 174, 316  
 Шоу Б. 99, 119, 237  
 Шуркевич П. А. 36, 59, 60  
  
 Щепкин Н. Н. 67  
 Щерба Л. В. 32, 36, 51, 53, 59, 60  
 Щупак Я. Д. 66  
  
 Эберт Ф. 48  
 Эйнштейн А. 166  
 Эльсберг Ж. (наст. фам. Эльсберг Я. Е.) 299, 300  
 Эмерсон Р. 115, 129  
 Энгельс Ф. 44, 53, 54, 197  
 Эренберг В. В. 274, 277  
 Эренбург И. Г. 145, 159  
 Эренталь А. 43  
 Эррио Э. 93  
 Эфрос А. В. 280, 281, 286  
  
 Южин А. И. 135, 159  
 Юниверг Л. 62  
 Юшкевич П. С. 43  
 Ющинский А. 62, 195  
  
 Ягода Г. Г. 6, 71, 162, 163, 164-170, 172, 173, 175-177, 179, 181, 183-185, 187, 189-191, 194, 195, 198, 199 (Генрик), 200-206, 291  
 Ягода И. Л. (урожд. Авербах) 170, 180 (Лия Леонидовна), 183-186, 191, 194, 201, 203  
 Якобсон Р. 136  
 Яковлев А. С. 154

## СОДЕРЖАНИЕ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| От редакции . . . . . | 5 |
|-----------------------|---|

### I

|   |     |
|---|-----|
| Писема М. Горького к В. И. Ленину /Предисл. И. А. Ревякиной;<br>публ. и примеч. И. А. Ревякиной и И. Н. Селезневой/ . . . . .   | 7   |
| Из переписки М. Горького и Р. Роллана. /Предисл., подготовка<br>текстов Горького и примеч. Л. А. Спиридоновой; подготов-<br>ка писем Р. Роллана и примеч. Н. Ф. Ржевской при уча-<br>стии Л. А. Спиридоновой/ . . . . . | 70  |
| Переписка М. Горького с К. И. Чуковским. /Предисл. и подго-<br>товка текста Е. Ц. Чуковской и Н. Н. Примочкиной; при-<br>меч. Н. Н. Примочкиной/ . . . . .  | 97  |
| Письмо А. М. Горького Л. Н. Лунцу и письма Лунца к Горько-<br>му /Предисл. М. О. Чудаковой; подготовка текста и при-<br>меч. <u>Е. Г. Коляды</u> / . . . . .  | 133 |
| Переписка М. Горького с Г. Г. Ягодой. /Предисл., публ. и при-<br>меч. Л. А. Спиридоновой/. . . . .  | 162 |

### II

|   |     |
|---|-----|
| Гачев Г. Д. Человек против Правды в пьесе “На дне” . . . . .                                | 207 |
| Дубнова Е. Я. Лука и Сатин. /К истории сценических интерп-<br>ретаций “На дне”/ . . . . .   | 271 |
| Колобаева Л. А. “Жизнь Клим Самгина”. Автор и герой. . . . .                                | 287 |
| Примочкина Н. Н. В поисках обновления. /О рассказе Горько-<br>го “Голубая жизнь”/ . . . . . | 301 |
| Елена Григорьевна Коляда /1927-1992/ . . . . .  | 315 |
| Указатель имен (сост. А. А. Тарасова) . . . . .   | 319 |

**Научное издание**

**Утверждено к печати  
Институтом мировой литературы им. А.М.Горького РАН**

**НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОРЬКИЙ**  
**(к 125-летию со дня рождения)**

**Редактор издательства Гудимова Г. А.  
Технический редактор Щипина Е. Ю.**

**ЛР № 040126 от 16.10.91**  
**Формат 60х90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.**  
**Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,5. Печ. л. 20,5.**  
**Тираж 1500 экз.**

**Специализированное издательско-торговое предприятие «Наследие»**  
**121069, Москва, ул. Поварская, д. 25<sup>а</sup>.**

**Отпечатано в Московской типографии № 2 РАН**  
**121099, Москва Г-99, Шубинский пер. 6**

**Зак. 1707**

